

АБИШ
КЕКИЛЬБАЕВ





АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

2 ТОМ



Алматы
Жазушы, 2001

ББК 84 Каз 7-44
К 28

Кекильбаев А.

К28 Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI томах. – Алматы: Жазушы, 2001. – 472 с.

Т. 2: роман, повести, рассказы, статья

В романе «Конец легенды» получили дальнейшее воплощение по-современному переосмысленные историко-философские, художественно-эстетические ценности казахского народа.

В повестях и рассказах автор талантливо воссоздает не только нравственный облик яркого и сурового прошлого, но и поднимает глобальные проблемы современности.

К $\frac{4702230200-30}{402(05)-2001}$ без объявл. – 2001 ББК 84 Каз 7-44

ISBN 5-605-01744-6 (общ.)
ISBN 5-605-01755-1 (том 2)

© «Жазушы» баспасы, 2001
© А. Кекильбаев, 2001

КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КРАСНОЕ ЯБЛОКО

Крошечные воронки, появляющиеся под копытами устало бредущих коней, тут же вновь заполняются песком. И мгновенно исчезают бесчисленные следы на склонах вздыбленной гряды барханов, оставленные отрядом угрюмо взирающих окрест телохранителей, едущих на отборных скакунах саврасой масти впереди, на расстоянии пущенной стрелы. Зыбучий песок, безмолвный и бездушный, издревле привыкший к непостоянству и тщетности бытия, мигом стирает малейший отпечаток на бескровном лице этого безбрежного серо-пепельного мертвого пространства.

Как бы ни старался Повелитель, вступив в Великую пустыню, отвести взгляд от всепожирающего сыпучего песка вокруг, однако никак не мог избавиться от гнетущего ощущения его беспредельной ненасытности. И каждый раз, когда он, утомленный однообразным, удручающе монотонным сухим хлясканием копыт увязающих в песке по самые щетки лошадей, досадливо откидывает занавеску у окна своей крытой повозки, перед глазами его простирается все то же унылое песчаное море.

Ранняя, чахлая весна. Скучная, убогая равнина, и нынешней зимой обделенная снегом, утомляла глаз. На кривых сучьях саксаула и жузгена еще не развернулись почки. Все вокруг погрузилось в дрему. Горбатые барханы, невзрачные, раскорячившиеся кусты точно застыли в извечной неподвижности, прижавшись к убитой земле.

На стыке зимы и весны здесь всегда бушуют бури. Самая свирепая и затяжная из них, именуемая в народе «черепашьей», отшумела лишь недавно. Пять суток кряду, словно из преисподней, бил им в лицо раскаленный докрасна зной пустыни. Пыльный смерч смешал землю и небо. Казалось, какая-то чудовищная сила, распалая себя, в пепел, в прах истолкла всю твердь земли и провеивала ее на жестоком ветру. Несметное войско, ничего не видя и не слыша в этой черной кутерьме, с тупым упорством брело, тащилось, грудью налегая на валивший с ног коней упругий шквал. Точно вздыбился весь мир и белый свет померк... Где земля, где небо – не разобрать... Ломило уши от рева ветра... Смерч, возбуждаясь, крепчая, гулял-свистел по всей вселенной. И казалось, не угомонится он никогда, не уймется, пока не разнесет, не разъест всю землю в прах. Вконец осатаневший ветер шквалом набрасывался на крытую ханскую повозку, норовя зашвырнуть ее в пучину мрака.

Кони вымотались, храпели; песок забивался в ноздри, в уши и глаза, и изнуренные воины с трудом двигались против ветра. Но Повелитель велел продолжать поход. Какой смысл в привале, если в голой пустыне нет ни кустика, где б можно было укрыться?

Наоборот, очень даже возможно, что разбушевавшаяся буря играючи разметет-расшвыряет по пустыне все повозки и тюки. Ведь не один караван бесследно исчезал под этими безмолвными барханами.

Не в правилах Повелителя было отправляться в походы в весеннюю распутицу или по чернотропу. На этот раз, стремясь вернуться в родные края к началу весны, он поневоле изменил обычаю. Однако, чувствуя какое-либо сопротивление, он становился упрямее, ожесточеннее и сильнее стискивал зубы. В самом деле, кто могущественнее на этом свете: этот шальной, безумный ветер, лишь дважды – в весеннюю и осеннюю пору – обрушивающийся на землю, или он, владыка, способный при желании перевернуть вверх тормашками весь этот бранный мир?!

И все же зло брало, что он, всемогущий, перед которым трепетало все живое, не в силах был укротить – ни копьем, ни саблей – вздорный нрав разгульного ветра. Тысячники, темники то и дело кружили вокруг его повозки, как бы умоляя о привале, но Повелитель был непро-

нищаем. Он сидел неподвижный, угрюмый и, казалось, не слышал, не замечал вовсе надсадного воя бури.

Пять дней и ночей ярилась буря – предвестница благодатной весны. Потом весь мир враз утишился, словно обессиленный после камлания баксы-шаман. Повсюду вокруг – кучками и поодиночке – валялись вылезшие, должно быть, на свет божий из трещин черепахи. Ветер расшвырял их как попало. Иные лежали брюхом кверху и беспомощно сучили уродливыми ножками.

В тот день, когда улеглась буря, к полудню войско добрело до барханов. Склоны песчаных дюн, исхлестанные ветром, напоминали иссохший остов диковинных ископаемых чудовищ. Глубоко увязая в серый сыпучий песок, брели воины уже несколько дней. Еще недавно, всего несколько дней тому назад, они терпели великие муки из-за шквального ветра, теперь их изводила, угнетала глухая непробиваемая тишь. В груди сжимался, щемил беспокойно-горячий, с кулачок, комочек, точно опасаясь умолкнуть, остановиться невзначай в этом оглохшем от тишины и неподвижности выморочном пространстве.

Вокруг, куда ни посмотри, горбатились бурые барханы, и как бы ни спешило войско преодолеть их один за другим, пока еще и намека не было на надежную твердь. Пустыня, изборожденная тяжелыми песчаными складками-морщинами, простиралась во все стороны. Сколько бы ты ни всматривался в затейливую и таинственную, как сура корана, вязь, начертанную ветром-каллиграфом на податливо-мягком песке, не вычитаешь ничего, что бы могло взбодрить онемевшую мысль. Наоборот, эти причудливые письмена поневоле навевали тягостные думы о том, что сама жизнь не что иное, как бессмысленные, беспорядочные знаки на песке, как случайные, постоянно меняющиеся, призрачные следы в этом однообразно тусклом и безбрежном мире. Ведь так же, как весенняя буря, которая после многодневного буйства, вдруг разом обессилив, смиряется сама по себе, все, что человек привычно называет жизнью, со всеми ее страстями и суетой, остается завтра безжалостно стертым и погребенным сыпучим песком по имени Время.

Четыре долгих года провел он в походах, сто тысяч коней истоптали, истыкали копытами немало чужих земель. Неужели когда-нибудь и это точно так же бесследно развеет ветер и поглотит песок? Если человеческая

жизнь — нечто мимолетное, как шальной степной ветер, что просвистел и унесся прочь, значит, и прожитые годы, старательно нанизывающие подряд и без разбора все ничтожное и сокровенное, так же призрачны и бесплодны, как этот зыбкий, шуршащий песок под ногами. Выходит, между небом и землей нет ничего, кроме низменной суеты и бессмысленности? Выходит, все-все проходит, и только непостоянство постоянно, вечно?

Кто знает... может, так оно и есть. Разве мало унижений испытал он в прошлом? Разве не мыкался вот в этой недоброй пустыне с женой и сынишкой, спасаясь от гонений? Разве не эти проклятые пески, отупляющие даже сейчас, когда он смотрит на них из расшитой золотом повозки, обжигали ему тогда пятки до кровавых волдырей? Даже чахлого кустика не мог он найти в те черные дни, чтобы пальцами разгрести под ним песок в надежде коснуться истресканными от жажды губами желанной прохлады и влаги, и тогда в отчаянии казалось, что никогда уже не суждено ему выбраться из ненавистой скряги-пустыни, иссушившей его тело и душу, и никогда не дожить ему до того счастливого мгновения, когда он может или мог бы ополоснуть рот глотком живительной воды. Но кто о том знает теперь? Ведь даже он — он сам! — вспоминает о том разве что в безысходной тоске. Прошлые унижения стерло нынешнее могущество. Прошлые муки искупились нынешним счастьем. Но ведь так может забыться и сегодняшнее. Тогда что собой представляет Завтра, о котором беспрестанно твердит жалкий человеческий род? Что оно? Безумный разрушитель всего сущего на земле, равнодушный губитель всего, что живет сегодня, или карающий меч судьбы, бессмысленности и непостоянства, одинаково беспощадный ко всему и ко всем? Что оно, это Завтра?

Если оно и впрямь меч карающий, то к чему тогда Сегодня, олицетворяющее неминуемую смерть с хищно разинутой пастью? А если Сегодня — вечно, бессмертно, то где — Вчера? Где оно, что было вчера? Где они, что жили вчера? Как случилось, что те, кто еще вчера сражался с ним, сегодня погребены песком забвения? Неужели их сразила лишь его пощады не знающая сабля? Нет, конечно! В своей гибели они повинны сами. Вернее, слабость их повинна. Выходит, Вчера — попросту разновидность слабости. Точнее, другое ее название. Лишь ос-

лабев, обессилев, Сегодня превращается в Вчера. А неумная, все сокрушающая сила способна дерзко схлестнуться не только с сегодняшним, с Сегодня, но и бросить вызов самому Завтра... Истинное имя силы – Вечность. Только необузданная сила, мощь в состоянии находить с нею общий язык. Гибель слабого predetermined уже Сегодня; кару для посредственности, для середняка готовит Завтра; и только сильный, не признающий никого и ничего, бессмертен, как сама Вечность.

Сегодня – это еще неопределенность, какая-то зыбкая серединная межа между страхом и надеждой. Это доля презренного большинства. Это плавание на утлой лодочке в ограниченном, строго очерченном пространстве. И только. Лишь в таком шатком положении – между явью и забвением – жалкий люд способен постичь и признать волю сильного. А без него тьма-тьмущая слабых – сброд. Лишь тот, кто наделен такой могучей волей и в состоянии держать чернь между Страхом и Надеждой, может превратить ничтожных в реальную силу. В руках такого Сегодня оборачивается грозным оружием в борьбе с Завтра... Каждому своему военачальнику он неустанно внушает: «Какие бы напасти ни подстерегали тебя, не попадайся в тупик, из которого нет вывода. Заранее позаботься о лазейке для спасения...» Слабость – тот же тупик... Надо иметь в запасе уйму уловок, чтобы не очутиться в ее тенетах.

Разве не о том же говорится в священном писании?

Спросил однажды муравей у пророка Соломона: «Ведаешь ли, отчего всеблагий подчинил себе ветер?» Соломон не нашелся, что ответить. «В том заключен намек, что царство и могущество твое когда-нибудь ветер же и развеет». Поблуднел мудрый Соломон, услышав это. «Ибо сказано: устами ничтожного аллах сообщает свою волю великим», – сказал муравей и уполз восвояси. Если уж от самого Соломона отвернулось счастье, то что говорить о других. Но, лишившись счастья, он ведь не лишился славы. И потому не следует ли из этого, что счастье – призрачное благо бренной жизни, а слава – достояние величия и вечности?

Разве славу Соломона сберегли до нынешних дней не все те же бедные дехкане – безымянные труженики-муравьи, которым несть числа? И разве не они, не те же самые ничтожные, чьими устами аллах сообщает свою

волю великим, воздают им славу и почести по всей земле? Не случайно любое деяние великих черни кажется исполненным смысла и значения. Ведь именно толпа вознесет тебя до небес, глядя на твои, недоступные ее разумению свершения. Скакун, на котором скачет слава, — людская молва. Пока нерасторопная истина в устах разумного взберется в седло, пустозвонная молва в устах горлопана уже поскачет, развевая полы, по низовьям и верховьям.

Пустобай, распространяющий молву, шалает от одного звона. Он воспринимает лишь грохот славы. И не станет надрывать глотку в надежде отведать от славы тихой и скромной. Главное: что бы ни делал, нужно делать так, чтобы удивить, ошеломить этого ничтожного маленького человечка. Ошеломленный, он не в состоянии отличить хорошее от плохого, добро от худа. Ну, вот, к примеру, идет впереди, тяжело переваливаясь, ногами-бревнами вспарывая хрусткую гладь песчаных холмов, неуклюжий верзила слон, груженный золотом и драгоценностями поверженных южных стран, и тот, кому этот слон в диковинку, отнюдь не станет рассуждать, хорошее это животное или плохое. Глядя на его чудовищную громадность, несуразно длинный хобот, человек, вероятно, не испытывает в первый момент ни страха, ни ужаса, ни отвращения даже, а только и прежде всего — удивление.

Размеры твоих деяний — все равно во имя добра или зла — должны быть непременно больше, внушительней, чем в силах охватить их маленький глаз маленького человека. Малым твоим добром он так и так не удовольствуется, а за малое твое зло начнет тебя же ругать и склонять на все лады. Разобьешь кому-нибудь нос в кровь, тебя осудят и поднимут галдеж; если же утопишь в крови половину вселенной, тобой начнут восхищаться и говорить о тебе с благоговением и страхом.

Пока ты жив, старайся удивлять всех, кто тебя окружает. Те, кого ты сумел удивить при жизни, будут удивлены и после твоей смерти. И, прислушиваясь к их рассказам, начнут удивляться потом и те, кто тебя и в глаза не видел. Важно только сохранить кое-где приметы своей славы и верноподданных потомков — живой отголосок былого твоего могущества, которые не дадут угаснуть восторженной молве, подбрасывая изредка в костер легенды хвост воспоминаний.

Не всякому такое дано. Это удел избранных. Но тебе-то это вполне доступно, пока владеешь несметным богатством и держишь в руках тумены послушного войска. Только не прозевай своего часа, не дряхлей... И не обленись от пресыщения... Иначе уподобишься незадачливому любовнику неверной, похотливой бабенки: едва выскользнешь из ее опустошающих объятий, как на твое место уже метит другой, более удачливый и сильный. Таков он, тот лживый, изменчивый мир. Разве сам ты не достиг могущества и славы, ловко воспользовавшись слабинкой других? Теперь старайся, чтобы они ни за что не догадались о твоей слабости... Пусть о том знает всевышний. И только.

Один всевышний... Да-а... ранее, бывало, возвращаясь с победой, он не ломал себе голову, размышляя обо всем. Мысли сохранялись в глубокой тайне, в самом закоулочке сердца. И оберегал он ее, эту сокровенную тайну, не только от чужих, словно какую-нибудь святыню, которую хранят в потайном местечке за семью замками, но и от самого себя, подальше, в глубине души, радуясь тому, что она всегда при нем, и одновременно боясь даже лишний раз о ней подумать.

Тогда зачем, по какой причине вдруг всколыхнулось, всплыло наверх все сокровенное, много раз передуманное до мелочей, взвешенное до крупницы, тщательно оберегаемое от всех живых? Зачем он вновь и вновь, жует свою жвачку, давясь отрыжкой, словно старый, шелудивый верблюд? Ведь если уж хранить тайну тайн своих, то следует ее хранить, как верную дамасскую саблю. Если без толку размахивать ею, не мудрено ненароком и выронить из рук. А став добычей врага, твоя сабля тебя же и обезглавит.

Потому-то он и не позволял себе передумывать то, что было им однажды решено. А сегодня с ним творилось что-то непонятное. Прежде, как бы он ни уставал от изнурительных походов, в душе не чувствовал подобного смятения. Или, может, его вконец истомила многодневная свирепая буря великой пустыни, особенно опасная в эту пору — на стыке зимы и весны?.. С чего бы это? Ведь немало стран покорено, немало тронов опрокинуто. Он наконец-то на этот раз свел счеты и в прах разнес двух давних, коварных, немало крови ему попортивших соперников, не говоря уже о карликовых правителях, которых без труда поработил попутно.

Раньше, глядя на то, как падали к его ногам чужие короны, он испытывал сладостное и грозное удовлетворение. На этот раз все в нем точно онемело. Может, причиной тому непрошенная, незванная гостья — старость, подстерегающая его с некоторых пор на каждом шагу? Она, пожалуй, похуже любого врага. Ее никаким войском не одолеешь. И сабля не берет, и златом не откупишься, и хитростью не упредишь. Она, словно кровный твой враг, незаметно берет в осаду и не обрушивается врасплох, а изводит, изморит постепенно, подтачивая силу и веру, вселяя тайный страх.

И вот теперь она же, старость, крепко напоминает, что дальние и долгие походы отныне не для него.

И, думая об этом, он почувствовал, как сердце точно каленой иглой кольнуло.

Когда-то, давным-давно, добившись трона и короны, он ясно понял, что, покоряя одного за другим своих бесчисленных врагов, проведет свою жизнь не на золотом троне, а в походном седле.

Так оно и случилось. Так он и жил до сих пор. Многие народы и страны покорил. В краях, доступных копытам коней, осталась неподвластной ему лишь одна-единственная страна. Народу в ней видимо-невидимо, как муравьев в муравейнике, и, должно быть, потому не трепещут перед ним, как другие. Более того, время от времени подсылают к нему своих редкобородых, узкоглазых послов, и они, то угодливо припадают к его стопам, то горделиво-полусонно взирают на него, важно плетут словеса с подчеркнутым достоинством на каменно-непроницаемых лицах. Давно на них он точит зуб, но, кажется, пробил час судьбы, дошел и до них черед. Остальные три стороны света он подмял под себя, да так, что не поднять им больше головы. И потому, чтобы в будущих походах не думать о покоренных уже странах и не тратить силы на подавление возможных мятежей, он приказал заблаговременно истребить поголовно всех побежденных воинов. Теперь уж можно не оглядываться.

Сейчас и победоносное войско его, сокрушившее немало врагов и наводящее ужас на чужеземцев, как никогда в славе и силе. И пока оно не растеряло грозного воинского духа, он намерен после недолгой передышки вновь отправиться в далекий поход.

По пути он пополнил свое войско успешными подрас-

ти воинами ранее покоренных стран. Песок повизгивал, шуршал под копытами тысяч и тысяч коней, голубые копы, ощетинившись, сверкали в лучах солнца, из барханов и дюн все шли-текли, словно черные тучи из-за ущелий, грозные тумены, и казалось, не из похода возвращается великое войско, а, наоборот, выступает в кровавый поход. Воины веселы, бодры, точно джигиты после жарких девичьих объятий. Боевые знамена и бунчуки сотников и темников горделиво развевались на пустынном ветру.

И лишь по тяжело навьюченным караванам и по множеству рабов, закованных в кандалы, и пленниц можно было догадаться, что войско возвращается из победного похода. Да-а, что бы там ни было, он решил вступить в столичный город всем войском, многочисленным, как комариная туча. Пусть народ лицезрит своего властелина, завоевавшего три стороны света, во всем могуществе и блеске, пусть полюбуется его мощью, шалея от гордости и спеси...

Вдали над белым песчаным холмом Повелитель неожиданно увидел странный силуэт, похожий на тонкий шест. Он был голубее самого прозрачного неба и впивался своим острием в окутанный дымкой марева горизонт. Пораженный властелин хотел было подозвать немедленно провидца из свиты, чтобы узнать, не божий ли то знак, но, заметив, что шест все явственнее обозначался на фоне неба, обретая темно-синюю окраску, решил повременить.

Наконец-то кончились могучие барханы и дюны и пошли мелкие, разрозненные холмики. Чувствовалось, что пустыня на исходе и скоро нога коснется желанной тверди. Все чаще попадались островки с чахлыми кустиками.

Когда песчаные увалы остались позади, горизонт, зажатый ими, вдруг сразу раздвинулся, расширился.

И вместе с горизонтом, по-весеннему зыбким, смутным, с просинью, медленно, по-кошачьи отступавшим назад, туда, к неотвратимо удалявшимся, точно в страхе от несметного полчища, барханам, отодвигался, уплывал и таинственный голубеющий шест.

Вот тумены обогнули дикие заросли саксаула и жузгена, поднялись на суглинистый перевал и выбрались на твердь долгожданного плоскогорья. Впереди, далеко-далеко, в дымчатом мареве дрожала, зыбилась гряда пестрых гор.

Еще некоторое время спустя в урочище, значительно ближе от пестроголовых гор, в сплошной дымке, показались силуэты больших и малых строений. Голубой шест особняком, загадочно завис над ними, постепенно погружаясь в густую синеву неба.

Вскоре четко вырисовался город в долине. Точно выплыл из голубого марева войску навстречу со своими голубыми, будто воздушно-невесомыми, минаретами. Прямой как стрела голубой шест, упиравшийся вершиной в небо, обернулся – и Повелитель увидел теперь это ясно – величественной башней. Раньше ее не было в его столице. Стройная, округлая, чем ближе, тем причудливей переливавшаяся всеми красками башня напоминала молодую, нежную женщину в голубом шелковом платье, истосковавшуюся по далекому, измученному дорогой возлюбленному и машущую ему рукой. Здесь, на равнине, широко раскинувшейся во впадине, земля обрела вдруг рыжеватый оттенок. Вокруг – то здесь, то там – шевелились, суетились крохотные черные точки. Весна властно преобразила ровное поле в окрестностях города. Многочисленные сохи, запряженные лошадьми, волами, а то и людьми, вспарывали, бороздили упругую, с едва заметным, еще блеклым покровом пашню, будто вырезали тесьму на могучем теле земли. На равнине за городом войско, под которым стонала и прогибалась земля, в честь возвращения с победой двинулось торжественным строем. В первых рядах, натянув до звона тетиву, шли лучники; за ними, грозно вскинув стальные сабли и острые копья, – сабельные и копьеносцы. Дальше, гремя кандалами, тащились пленники-рабы и брели тяжело груженые добычей караваны верблюдов. За караваном, покорно опустив головы, прошли юные красавицы, пленницы из разных племен и народов.

И лишь в конце, замыкая шествие, в окружении десяти тысяч верных нукеров, проплыла под тягучий рык кернаев ханская повозка.

Караульные отряды, обступив торжественный строй с двух сторон, сопровождали войско до главных городских ворот. Поля, вспаханные под бахчу, хлопчатник, овощи, перешли вскоре в тщательно ухоженные фруктовые сады. На деревьях недавно, видно, лопнули клейкие почки. Все вокруг точно в сиренево-белых прозрачных платицах. Под раскидистыми ветвями виднелись бурые глиняные

дувалы вокруг маленьких дворишков. Здесь начиналась окраина города. На широких лавках, протянувшихся по обе стороны улиц, сверкал, сиял, переливался, притягивая невольно взор, диковинный товар со всех концов света — китайские шелка, драгоценности, изделия из золота и серебра, сукно, замша, дубленая кожа, мех, пушнина, всякая утварь, поделки; в воздухе плыл густой, пряный дух сушеного урюка, сочной, крепко поперченной самсы, сладкого и жирного, паром исходившего плова, хрустко поджаренного на саксаульных углях кебаба.

Неожиданно кончились сады, окутанные дымчатой кисеей, все плотнее, выше становились дувалы и все многолюдней улицы. Едва головные части войска хлынули в город, точно пенистый резвый ручей — мутную лужу, как за крепостной стеной на холме, опоясанном глубоким рвом с водой, зычно затрубили кернаи. И тут же откликнулись в ответ разом все кернаисты под поисковыми знаменами и бунчуками и посыпалась оглушительная дробь походных барабанов — даулпазов. От раскатисто-ликующего гула, взметнувшегося над городом со всех минаретов и круглых куполов, от утробного рева тысячи надрывающихся кернаев и мощного цокота несметных копыт задрожала, застонала земля.

Жители столицы, потрясенные невиданным зрелищем, пугливо озираясь на сурово ощетинившиеся копья, смотрели во все глаза с дувалов, из щелей и окон на торжественное шествие победителей.

Все внимание Повелителя было поглощено новым минаретом, вызывающе гордо устремившимся к бескрайней шире неба...

Пир в честь победы и окончания похода длился два месяца. Шумная, многолюдная равнина после торжеств сразу же опустела. Столичный город вернулся к обыденной привычной жизни. Народ казался бодрым, оживленным после длительного отдыха, веселья и гульбы.

И только одного Повелителя усталость не покидала.

На другой день после окончания пира он перебрался в тихий загородный дворец на вершине холма, окруженный тенистым, недоступным солнцу и зною садом. По величю и богатому убранству дворец не уступал другим, однако в нем Повелитель никого не принимал. И сад на холме был запущенный, дикий, как и все непроходимые леса вокруг урочища. В нем обитали косули-елики, води-

лись павлины, фазаны, и не были они прирученными, как в других садах. В этом дворце Повелитель не устраивал пиров и не принимал послов. Он предпочитал уединенную прогулку по саду, куда пробирался по мостику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Гулял он один, без свиты, без спутника. В сад вообще никто не допускался, кроме членов ханской семьи. Но и они не осмеливались приходить сюда без личного его позволения. По воле Повелителя, бывало, привозили к нему маленьких внуков, с которыми он весь день проводил в саду, а вечером, посадив их в повозку, отправлял назад к Старшей Ханше.

На этот раз он и за внуками не посылал. Старшая Ханша через гонца передала просьбу поговорить по одному неотложному делу, но хан и его не принял, передав, что ему сейчас не до разговоров. Долгий, нелегкий поход и двухмесячное разгульное пиршество вконец утомили его. Никого не хотелось сейчас видеть.

Он забирался в укромный прохладный уголок сада и подолгу сидел на валунах у звонкого, говорливого родника. Только вот здесь, на крохотном клочке земли, рядом с вечным родником, он не чувствовал себя могущественным властелином. Здесь он мог не повелевать, и были ему непослушны, неподвластны и неустанно журчавший прозрачный родник, и бесчисленные птицы, безмятежно щебетавшие в густой зеленой листве, и лупоглазые стрекозы, трепетавшие тонюсенькими крылышками над самой водой. Здесь никто его не боялся. Пожалуй, одни только чуткие косули, невзначай наткнувшись на него, ошалело мчались прочь в густые заросли. Но пугались они его не потому, что был он властелином, а лишь потому, что принадлежал к многочисленному недоброму племени двуногих.

Когда он направлялся к любимому роднику, вооруженные телохранители и дворцовые слуги, избегая с ним встречи, мгновенно убирались восвояси.

Часами в глубокой задумчивости сиживал Повелитель возле одинокого родника. Здесь вызревало окончательное решение о далеких и опасных походах. Здесь на сонной поляночке, в райском уголке, под переливчатый говорок ручейка, решались судьбы тронов и коронованных владык.

Мысли роились в голове Повелителя, текли непрерыв-

ной вереницей, как эта родниковая вода, сочившаяся из глубины земли. Но вода текла ровно, размеренно по одному и тому же извечному руслу, а мысли Повелителя, едва зародившись в глубине души, неизменно путались, метались, растекались беспорядочными ручейками во все стороны.

Вот и сегодня он пришел к роднику, чтобы обстоятельно обдумать предстоящий вскорости нелегкий поход, но думы нежданно-негаданно набрели на загадочный случай с яблоком. Красное наливное яблоко, с едва заметным, тоненьким надрезом сбоку он вернул вчера, не дотронувшись, а сегодня во время трапезы служанка вновь поднесла его на золотом подносе.

Он его сразу узнал среди других яблок, схватил и разломил: из середины, извиваясь, выполз червь. Он не имел привычки выказывать гнев перед слугами. Положил яблоко обратно, будто ничего не заметил.

Служанка убрала поднос. Повелитель сурово сдвинул брови, но сделал вид, что прощает оплошность прислуги, подавил нарастающую ярость.

Он устремил все подмечающий, сверлящий взгляд на служанку, но не усмотрел в ее движениях, походке ни тени робости или смущения, кроме того, что она чуть-чуть прикусила нижнюю тонкую губу.

Но разве не все служанки испокон веку прикусывают губы и заученно улыбаются, выказывая подобострастие перед властелином? Выходит, эта, что унесла сейчас с ханского стола червивое яблоко, не почувствовала никакой вины перед ним? Или, занятая делом, ставя и убирая посуду с яствами, она и впрямь ничего не видела? Но... подмечать, ловить каждое движение из лице Повелителя и удовлетворять любую его прихоть разве не обязанность челяди? Однако ведь может быть и так, что поджатые губы служанок не просто дань вежливости или учтивости, а искреннее смущение перед мужчиной-повелителем? Теряются же перед ним, испытывая невольный трепет, не только слуги, но и визири, полководцы и даже родные дети. Что уж говорить о бедной, беззащитной женщине? Она не то что за выражением лица Повелителя, а за собственными поступками от страха не уследит. Где уж ей все вокруг подмечать?..

Порой Повелитель поневоле поражался непонятливости своих приближенных, тому что их разумению оказы-

вались недоступными самые простые вещи. Потом, размышляя об этом наедине с собой, приходил к выводу, что поражается напрасно. Ведь ему-то легко: у него нет необходимости кому-либо угождать или стараться понравиться, а его подчиненным, угодливо ловящим каждое его слово, постоянно смотрящим ему в рот, следящим за каждым движением бровей, не мудрено, разумеется, споткнуться на ровном месте.

Во время беседы с приближенными он искусно заставлял их высказываться без утайки, а сам между тем лишь молча слушал. Даже не перебивал собеседника. И тот чувствовал себя робким учеником, плохо выучившим урок, перед строгим, педантичным до угрюмости наставником. Повелитель, точно окаменев, смотрел собеседнику в глаза, не выказывая ни единым движением своего осуждения или одобрения. Не простое искусство — умение слушать. Иной верткий, пронырливый льстец, угадав настроение Повелителя, начинает ловчить, подстраиваться, подлаживаться, как заурядная шлюха, скрывая свои подлинные мысли и побуждения. А Повелителю совершенно ни к чему, чтобы его подчиненные что-то утаивали, скрывали. Ему выгоднее, чтобы перед ним все выворачивали наизнанку свои душонки, с покорностью выкладывали все свои тайные тайны. Ибо в подвластном ему мире только один-единственный человек имеет право на какие-то тайны — большие и малые, все равно. Это он сам, властелин! А всем остальным, готовым ради него пролить кровь и пожертвовать жизнью, какой смысл иметь еще какие-либо секреты?! Да, да... он должен, обязан знать, что думает и делает каждый, кто находится под его властью. Нет покоя его душе, пока он не визнает до донышка все, что в сердце и помыслах приближенных. Здравый человек не садится на коня, чьи повадки ему не знакомы. Точно так же неразумно окружать себя людьми, которые не отвечают за свои слова и поступки, не знают своих возможностей и не ведают, где свернут себе шею. К тому же следует помнить, что твоя тайна, пока она при тебе, — твое оружие, но с того дня, как ты однажды кому-то ее доверил, она уже оружие чужое. И Повелитель искони стремился прежде всего обезоружить своих приближенных, раз и навсегда лишив их сокровенной тайны. Потому в беседе он позволяет им говорить свободно, без стеснения, без оглядки. Боже упаси, чтобы он обрывал

чью-нибудь речь неуместным словом. Наоборот, прикидывался незнающим, задавал нарочито наивные вопросы. И тогда собеседник, не чувствуя подвоха, с долей приятного превосходства отмечал про себя, что всемогущий и всевидящий властелин не такой уж всемогущий и всевидящий, как о нем говорят, коли не догадывается о простых вещах, и начинал с детским простодушием и откровенностью выкладывать все подробности, о которых еще минуту назад был склонен умолчать.

Таким образом, заставив собеседника распахнуть перед ним душу до последнего закоулочка, вызвав его на чистосердечную исповедь, Повелитель потом без сострадания давал понять, что он отнюдь не такой простак, как тому, собеседнику, на мгновение почудилось, что он, как истинный провидец, наделенный к тому же верховной властью, все-все знал и видел давным-давно. Бедняга, пустившийся в откровенность, тут спохватывается и подавленно умолкает, вдруг сразу ощутив всю пропасть своего ничтожества. После этого он становится покорным, послушным, точно годовалый верблюжонок, которому пробили ноздрю, чтобы было сподручней вести его на поводу...

В конечном счете, разве не в этом заключается превосходство всех владык, всех сильных мира над остальным людом — в том, что, имея власть выведать тайну каждого, они сами никого в свою тайну не посвящают и никогда о ней не разглагольствуют? Ведь с самого сотворения мира когда и где бывало, чтобы кто-то осмеливался выпрашивать тайну самого правителя?

Властелин должен быть не только немногословным, но и уши свои он не позволит осквернять какими-либо недостойными слухами. Если он опустился до чьих-либо нашептываний, то уж поистине впору снять с головы золотую корону и поставить ее плевательницей перед сплетником с поганым хайлом.

Тех, кто охотно и подленько наговаривал на других, он ненавидел люто, точно бешеных собак. Кое-кто из неисправимых холуев, тайком сообщавших ему, что о нем говорят за глаза, нашел успокоение на виселице. С тех пор никто не совался к нему с подозрительными слухами. Визири и родные сыновья без его просьбы или поручения никогда ни о ком не заикались. Чрезвычайной важности события сообщались ему — с ведома и согласия

членов его семьи или высокопоставленных служителей дворца – только предсказателями из личной свиты. При этом недобрая весть доводилась до него намеками. И если ему требовалось знать все подробности, скрывающиеся за иносказанием, он вызывал к себе гадателей и приказывал истолковать донесение. Те известную им недобрую весть тоже не сообщали открыто, а преподносили лишь разные ее толкования, которые он мог понимать, как ему угодно было. На основе намеков и их толкований Повелитель сам выносил решение и определял меру наказания виновнику. Находить истинную суть каждого иносказания, а также единственно правильный выход из создавшегося положения и точно определить степень вины – нелегкое занятие даже для властелина. Ибо, как нигде больше, здесь всякая поспешность и очевидная всем несправедливость, несомненно, наносят непоправимый урон даже безмерному ханскому престижу. И в этом вопросе он свято придерживался своего излюбленного правила: «При любой напасти опасайся тупика, на всякий случай всегда оставляй себе лазейку». Он стремился не связывать самому себе руки. Известно, что жалобы и сплетни чаще всего касаются отдельных личностей. Повелитель, способный без угрызения совести утопить в крови тысячи людей и уложить на поле брани тысячи воинов, однако крайне осторожен и щепетилен в вынесении приговора одному человеку. В этом сказывается одна из кощунственных несуразностей презренного бытия. В самом деле, в бою чем больше загубишь невинных душ, чем больше перебьешь воинов-сыновей, взлелеянных горемычными матерями, – тем громче слава предводителя-хана, и – наоборот – малейшая несправедливость, допущенная им в мирной жизни хотя бы в отношении к последнему нищему, накладывает несмываемое пятно на его честь. Милость, милосердие, проявленные повелителем к какому-нибудь ничтожному смерду, способны вытравить из сознания толпы жуткую славу кровопийцы, повинного в гибели тысяч и тысяч невинных, и посеять молву о мудром, человечном и справедливом хане – таком справедливом, что может мечом правосудия, как говорится, повдоль рассечь волосок.

В этом он окончательно убедился много лет назад во время южного похода.

...После многомесячного изнурительного пути войско

остановилось на широкий равнине неподалеку от чужестранной столицы на берегу могучей реки, по которой с рокотом катились гривастые волны. На противоположной стороне копошились голоногие, до блеска загоревшие дехкане. Они цепочкой шли по пахоте и что-то сеяли. Долину подковообразно окружали горы. По склонам густо росли смешанные леса. Оттуда, за рекой, со стороны гор, струились густые, вязкие запахи наливавшихся соком фруктов, от которых приятно кружилась голова.

Запестрели шатры по всей равнине. Затрубили кернаи, рассыпалась раскатистая дробь походных барабанов. Погруженные и ленивую дрему равнина и горы точно ожили и откликнулись гулким, многократным эхом. Из курчавых зарослей тугая ошалело выскочили лоси и косули и понеслись в открытую степь. Разом и со всех сторон со свистом полетели им вдогонку тучи стрел. Несметное войско мигом раздобыло себе мясо.

Дехкане на том берегу разбежались врассыпную, побросав на пашню деревянные сохи, мотыги, кетмени, мешки с семенами. Но ни одна стрела не полетела им вслед.

Топот, треск все явственнее доносились со склонов гор: встревоженные звери косяками пробирались сквозь непроходимые заросли тугаев в безопасные ущелья за увалами.

Воины нарубили дров, натаскали на холмы хворост. И когда опустилась черная южная ночь, по всем склонам и увалам враз ярко вспыхнули бесчисленные костры.казалось, все звезды с летнего неба спустились на землю. Черный горизонт зловеще полыхал зарницами.

И на следующий день воины отдыхали на зеленой равнине. И опять наступила ночь. И вновь запылали костры, охватив пожаром все окрестности. Костров было больше, чем звезд на небе, и жители осажденного города перепугались насмерть. Уже на третий день ранним утром они толпами вышли из крепости, сдаваясь врагу на милость.

Повелитель приказал не допускать беженцев к равнине, где расположилось войско, а загнать на узкий длинный мыс между цепью гор и буйной рекой. Потом, решил он про себя, когда враг начнет метать камни из камнеметов, он погонит их против своих же в первых рядах.

В тот же день после обеда старший сын Повелителя, не утаив страха, заявил с порога:

– Их уже почти сто тысяч!

– К вечеру беженцев станет больше, чем наших воинов, – высказал опасение кто-то из эмиров.

Полководцы, сидевшие чинным рядом по обе стороны золотистого шатра, переглянулись. Повелитель сразу догадался о сомнениях, закравшихся при этой вести в души его военачальников. Серолицый хазрет, положив увесистый, в кожаном переплете коран на серебряную подставку и отрешенно перебирая коралловые четки, деревянным голосом изрек:

– Уа, мой Повелитель! Да будет вам известно, что истребление богомерзкого племени иноверцев, погрязших в пороках, пакостях, есть очищение души во имя аллаха. Я, покорный слуга всемогущего творца, готов собственноручно перерезать им глотки. Если мы их сейчас, еще до наступления ночи, не перерубим поголовно, совершим роковую ошибку.

Старший сын и главный визирь в два голоса поддержали святого хазрета.

– Да, да, ошибка может стать роковой.

– Хазрет говорит истину.

После полудня огромное войско двинулось к мысу. Беженцы нестройно приветствовали его. Лучинки вышли вперед и встали цепью. Через мгновение туча стрел обрушилась на безоружную толпу. Истошные вопли взметнулись к ясному и равнодушному небу; страшный вой, стоны, крики, визг прокатились эхом по ущельям, и река тоже, точно обезумев, загрохотала еще яростней. Крайние ряды беженцев падали, будто скошенные. Кольцо лучников сжималось все плотнее. Живые, защищаясь, спешно складывали мертвых штабелями, сооружали укрытие. И тут в побоище ринулись копьеносцы...

Вскоре был смят непрочный заслон из трупов, и тогда над головами обреченных засверкали сабли. Сам святой хазрет, не порешивший в жизни даже паршивого ягненка, не удержался от соблазна: ринулся, размахивая сабелькой, на безоружных иноверцев.

Беженцы сопротивлялись, как львы. Никто уже не вопил от страха и ужаса, никто уже не молил о пощаде; охваченные безумной яростью, кто отбивался кулаками, кто впивался зубами в глотку насильника, кто, уже падая, цеплялся за ноги. Скрежет зубов, свист сабель, гулкие удары кулаков, предсмертный хрип, стоны – все перемешалось, сливаясь в гул побоища.

К закату дня беженцы на узком перешейке были истреблены до последнего человека. Бредя по щиколотку в крови, воины сложили трупы штабелями и подожгли их. Всю ночь пылали зловещие костры, распространяя зловонный чад, и аспидно-черное низкое небо чудилось закопченным дном гигантского котла, в котором на том свете поджаривают грешников.

На следующий день, совершив утренний намаз, Повелитель вызвал белобородого хазрета почитать священную книгу. Хазрет гнусаво-монотонным голосом нараспев прочитал суру и истолковал ее как доброе предзнаменование, благословляющее предстоящую битву – газават веру во имя всемогущего. По его словам выходило, что аллах создал иноверцев низкородными, презренными рабами, а правоверных – избранниками судьбы, достойными радости, наслаждений и счастья на том и этом свете, и потому им, обласканным самим пророком, предоставляется право безнаказанно вытравлять человеческую нечисть, Благочестивый хазрет, воздев руки, благословил священный газават: да водрузится над страной гяуров зеленое знамя пайгамбара-пророка. Повелитель переправил войско на противоположный берег буйной реки. Он сам сел на коня, определил левый и правый фланги, ударную группу, резервные полки, объехал войско перед приступом.

Противник выставил конницу и двадцать тысяч сабель, тридцать тысяч пеших воинов и сто двадцать боевых слонов. Связанные друг с другом, слоны выстроились в ряд. К спине каждого был пристегнут открытый паланкин, в котором сидело по шесть метких лучников. Между слонами на специальном устройстве громоздились камнеметы и огнеметы, изрыгавшие пламя. Рядом с огромными и неповоротливыми слонами ханские воины на малорослых гривастых конях казались смешными и беспомощными.

На широкой равнине медленно сходились две армии. И когда головные части уже сошлись лоб в лоб, Повелитель поднялся на холм в середине войска, расстелил молитвенный коврик и, обратив лицо в сторону священной Мекки, сотворил намаз.

Бормоча заученные слова молитвы, он покосился краешком глаза на поле брани и увидел, что передовые части его войска по-немногу, по-кошачьи отступают под градом камней и неумолимым натиском боевых слонов.

Повелитель встал, свернул молитвенный коврик и распорядился немедленно бросить на фланги отборные полки из резервной части. Неприятель, увлекшись наступлением по центру, не заметил, как его с двух сторон стремительно сжимают в тиски. Застигнутые врасплох фланги начали лихорадочно перестраиваться на ходу, готовясь к отпору, а головная часть, ведомая боевыми слонами, все глубже увязала в ловушке. Вскоре фланги оказались отрезанными от центра, и сто двадцать боевых слонов очутились сразу в окружении. Неприятель отчаянно бился, старался сомкнуть ряды, вырваться из тисков, но было уже поздно. Силы его иссякали с каждым мгновением.

Лучники теперь легко сбивали стрелков на паланкинах. Разъяренные воины, обнажив клинки, набрасывались на слонов. Громадные, неуклюжие животные, связанные к тому же между собой, сбивались в круг, беспомощно перебирали толстенными ногами, подставляя крутые бока под пики и сабли неприятеля. Оказалось, боевые слоны страшны лишь с виду. Даже четырнадцатилетний внук властелина захватил одного слона и привел его на поводу к грозному деду. Приятно пораженный храбростью внука властелин обнюхал ему лоб.

К тому времени воины успели порубить врага, очутившегося в кольце. Все поле было усеяно трупами. Кони спотыкались о них, косили глазами, испуганно пофыркивали.

Победители, точно ошалев от крови и предчувствия богатой добычи, ринулись лавиной в раскрытые настежь городские ворота.

И пока Повелитель отдыхал в богатом дворце поверженного противника, его воины, разнуздавшись, чинили разбой и насилие.

Дикий грабеж продолжался две недели. За это время и похоть потешили, и корджуны добром набили. У иных награбленное имущество на двух лошадях не умещалось. Некоторые гнали перед собой до ста рабов и рабынь. Повелитель еще раз убедился, что алчности человеческой нет предела.

Особенно поразил его тогда один случай. Однажды, проезжая в сопровождении свиты по центру захваченного города, он натолкнулся среди бела дня на драку. В стороне стояла пара лошадей, а рядом — десяток пленных, мужчин и женщин, в наручниках и связанных между

собой. Драчуны дубасили друг друга с такой яростью и увлечением, что не заметили подъехавшего Повелителя. Узкоглазый, поджарый, чернолицый вцепился обеими руками в горло молодого, пышноусого крепыша-слепца. Узкоглазый был пьян, голова его под ударами слепца моталась во все стороны, словно ботало на шее ишака. Однако хваткие руки не отпускали жертву.

Унизительная сцена вывела Повелителя из себя. Теряя самообладание, он выскочил из повозки, кинулся к драчунам и с размаха ударил саблей узкоглазого по правому плечу. Тот, охнув, мешком плюхнулся оземь. Почувствовав неожиданную помощь, слепец ухватил подол Повелителя.

— О, кто вы, мой избавитель, добрый, милостивый человек?! Единственная память осталась от матери — бриллиантовое ожерелье. Буду молиться за вас, назовите свое имя...

— Имя мое после узнаешь. А тебе скажу: если бы каждый дрался так истово, никто бы не мог вас победить. Ты истинный воин, слепец!

Повелитель приказал отобрать у узкоглазого корджун, набитый драгоценностями, и высыпать их на голову слепца. Пленников, стоявших связанными и стороне, отпустил тоже.

— О аллах! — все восторгался, выстанывал слепец. — Кто это — сей великий из великих, справедливый из справедливых?

— Сам непобедимый Повелитель, — ответил кто-то из свиты.

С тех пор, в какой бы город и в какую бы страну он ни вступал, его всюду и неизменно опережала легконогая молва-слава не о сотнях тысяч невинно загубленных, а о несчастном слепце, которого защитил от грабителя добрый и справедливый Повелитель.

С тех пор он дал себе зарок, что отныне облагодетельствует каждого смертного, чья мольба дойдет до него.

Именно тогда, после этого случая, Повелитель, вернувшись из похода, издал приказ обезглавить каждого, кто клеветает на ближнего.

Поэтому и поныне никто не осмелится приходить к нему с жалобой или наветом, ибо если выяснится ложь, шептуну не сносить головы. Подлую беду, которую Повелитель обязан знать, сообщают ему только предсказатели, шейх и дервиши, и то лишь осторожными намеками.

Не исключено, что и красное наливное яблоко, поднесенное ему на подносе, определенный намек. Но что может означать червь, выползший из сердцевины? Опасность, нависшую над ним? Однако кто и что может угрожать ему в своей стране, на своей земле?! Поблизости не осталось ни одного достойного врага, способного посягнуть на его могущество. Чванливому и коварному послу с востока он сам дал понять, что скоро двинется на них с копьем и мечом, и дабы тот собственными глазами убедился в мощи и боевитости ханского войска, продержал его два месяца на пиру и ристалище и лишь потом отпустил домой. Пусть расскажет там, с кем предстоит иметь дело. Пока он доберется, здесь ханские тумены же оседлают боевых коней.

Вчера Повелитель беседовал с лазутчиками и сыщиками, разосланными по всем улусам под маской бродяг-дервишей и юродивых-дивана. По сведениям в окрестностях царит порядок и благодать, и никакая опасность ниоткуда не угрожает.

В самых отдаленных уголках и на больших караванных дорогах вдоль границ он содержит многотысячную тайную армию осведомителей среди дервишей, купцов, пастухов, погонщиков, но и они не ведают о каком-либо мятежном духе.

От сборщиков налогов и податей, наместников городов, тайных агентов и соглядатаев, расставленных повсюду, тоже не поступило тревожных сведений.

Так зачем подобным образом понадобилось намекать на какие-то неурядицы в дальних, за тридевять земель краях?.. Неужели, пока он находился в далеком походе, здесь, в его дворце, что-нибудь случилось?

Каждого из приближенных, кого Повелитель подозревал хоть в чем-нибудь, он старался — где бы ни находился — неотлучно держать при себе. В последний раз, зная, что поход продлится долго, он оставил во дворце главного визиря. Если тот запустил руку в казну, беда небольшая. Из-за этого вряд ли стоит прибегать к тайным намекам. Каждый раз перед походом и после возвращения Повелитель лично сам проверяет казну. Так что воровство, если оно и впрямь имело место, обнаружится само по себе. К тому же главный визирь — человек степенный и трезвый, которому в равной мере присущи ум и хитрость, вспыльчивость и самообладание. Не мог он

проявить алчность и покушаться на ханскую казну. Разное поговаривали о главном визире, но Повелитель не придавал значения этим рассказам. Кому неведомо, что у государственных мужей недостатка в недругах не бывает...

На что же тогда намекает червивое яблоко?.. Родной очаг в сохранности, семья – в добром здравии. На пиру в честь победы присутствовали все. Немыслимо, чтобы за что время что-то круто переменилось и земля вдруг перевернулась вверх дном. Скорее всего служанка допустила оплошность...

Но... заметив, что яблоко с червоточиной, его должны были просто-напросто выкинуть. Почему же его второй раз принесли на подносе? Выходит, это делалось сознательно, с умыслом. В чем тогда тайна? Может, немедля пригласить гадалея? И к сеиду¹ своему он зашел после похода второпях. Не поговорили толком, по душам, как бывало прежде...

Повелитель сперва сам тщательно, не спеша, обдумывал свой сон или чье-нибудь иносказание, а потом уже прибегал к услугам предсказателей и толкователей. Итак, красное наливное яблоко с червяком в сердцевине... Это ведь, должно быть, намек не на злодейство, а на... измену, предательство. Да, да, поистине так! Но чья измена? Какое предательство?

Какой безумец в пору ханского всемогущества дерзнул на измену? Разве не на гибель обрекает себя тот, кто осмелился предать властелина?

Он в уме перебрал всех предводителей войска. Ни у одного, по разумению Повелителя, не было сейчас причины-повода для такого шага. Посла очередного удачного похода – и особенно в канун новых – он щедро одаривал полководцев, с головы до ног осыпая золотом. Так он поступил, присвоив себе несметные богатства южных стран. Так он поступил и после покорения земель, где заходит солнце. Не скупясь, роздал он огромную долю добычи верным предводителям и храбрым воинам. Ибо знал: благоразумно баловать их щедрыми подачками, воздавать сторицей за все заслуги. Тогда они с готовностью ринутся в любую кровавую бойню.

¹ Сеид (точнее – пир) – духовный учитель, наставник.

Лет десять тому назад, когда решалась судьба похода на южные страны, на верховном совете-диване возникли разногласия. Старший сын пылко настаивал на походе: «Если мы захватим золото того края, покорим весь мир!» Советчики и эмиры осторожничали: «Народу в тех краях больше, чем мух. Если мы их и одолеем, то потом сами растворимся в них. Они поглотят нас, как море песчинку. Потомки наши родной язык забудут».

Тогда хан приказал раскрыть коран. Наткнулись на суру, гласившую: «О, великий пророк! Иди войной против иноверцев, истребляй без пощады нечестивцев!»

Золото южных стран переубедило боязливых ханских эмиров, выправило им, как говорится, искривившийся было рот. В том походе стало им ясно, что можно победить и покорить народы, если их даже больше навозных мух. Ну, а в стране, где восходит светило, богатства должны быть и вовсе без счета. Уж кто-кто, а его соплеменники, вкусившие соблазны земных благ, это прекрасно сознают.

Кто же именно теперь усомнился в удаче предстоящего похода?

Всякий раз на этом месте мысли Повелителя обрывались. Родник монотонно бормотал свой бесконечный сказ. Чуткая листва на высоких деревьях непостижимым образом улавливала дуновение в этом безветренном уголке и о чем-то перешептывалась. «Думай, думай», – казалось, советовали листья и родник.

В этом земном эдеме надеялся он найти отдохновение, но неугомонные сплетники – шуршащие листья и журчащий родник – назойливо нашептывали что-то, смущали душу, и раздосадованный Повелитель встал и пошел по узкой тропинке. Она, извилистая, как сама ложь, повела его вновь ко дворцу.

Недавнюю дремотную садовую тишь вдруг словно ветром сдуло. Все вокруг наполнилось беспорядочными звуками. Белорудые, с кулачок, синички заполошенно металась по веткам, верещали без умолку, раздувая зобы, будто им тоже не терпелось сообщить Повелителю важную весть.

По обочине дороги пронеслась дикая коза. Казалось, она с утра, затаившись, подстерегала Повелителя и теперь понеслась вовсе не с испугу, а поддразнивая его тугими гладкими ляжками.

Извилистая тропинка пролежала под урючиной. Перезрелые плоды, сорвавшись, усеяли землю. Прелый запах гнили струился в воздухе. Жирные зеленые мухи роились, кружились над кучей опавшего, истлевшего урюка, справляя обильную трапезу.

Что еще может быть противнее гниющих фруктов? Еще недавно это были девственно нежные, белые соцветия. Потом появилась завязь, плотная, темно-зеленая, гладкая. Ее лелеяла листва и бережно качало, баюкало кряжистое, раскидистое дерево. Она впитывала живительный сок, сосала солнечную грудь неба. Вот завязь обернулась плодом. Он заметно созревал, наливался, покрывался позолотой, маня взор своей красотой. И вот дозрел. А перезрев, сорвался, начал подгнивать и стал добычей мерзких зеленых мух – суетливых спутниц тлена. Вот и все... Прелестен, пригож плод, пока красуется на ветвях... А сорвется с вышины – и превратится в прах, в позор и унижение, как этот урюк, гниющий под ногами. Ни жалости, ни сострадания к нему не будет. Одно отвращение... Кому есть дело до того, что вчера еще это был прекрасный плод, даровавший прохладный сок и медовую сладость...

Создатель не наделял плоды на дереве разумом, достоинством, гордым желанием всегда и неизменно оказаться на высоте. А вот человеку доступна простая истина: падение с вышины, куда так долго и упорно лез, – смерть. И потому владыка, подстерегаемый злорадством и завистью врагов, постарается не падать, а взбираться все выше и выше.

Тропинка вывела его к мостику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Повелитель весь подобрался, посуровел; взгляд, затуманенный зыбкими думами, вновь обрел колючий, жесткий блеск. Холодный, неприступный, он вошел во дворец.

Когда служанка внесла обед, он – по-прежнему мрачный – восседал на широком возвышении, укрытом тигриной шкурой, у выложенного мозаикой хауза в середине зала.

Молодая служанка смущенно прикусила губу, точно невинная девочка на ложе у пожилого мужчины, и осталась рядом. Маленький поднос поставила на круглый дастархан. Как бы старательно ни прикусывала она губы, однако на лице не было и намека на стыдливый

румянец. Овальное лицо, густо покрытое пудрой, белело непроницаемо, длинные ресницы, не в меру насурьмленные, ловко прикрывали многоопытную осведомленность и подспудное упрямство, придавая лицу выражение лживой покорности и простодушия.

Обычно Повелитель не удостаивал своих слуг взглядом, но на этот раз посмотрел пристально и ощупывающе. Служанка ничуть не оробела.

Что же получается? Неужели она до сих пор не обратила внимания на червивое яблоко? Неужели все еще ни о чем не догадывается? А если, допустим, ей все известно, как она может при этом не смущаться перед ним?

Нет, служанка и лицом не дрогнула. Накрыла, как положено, дастархан, сдержанно и учтиво поклонилась и, не полностью разгибая стан, неслышной, волнующей походкой, свойственной одному только женскому племени, направилась к выходу. Пышные чресла упруго подрагивали под яркой шелковой накидкой.

Лишь когда закрылась за нею дверь, он посмотрел на дастархан. Взгляд тут же споткнулся о красное наливное яблоко. На этот раз надрез был шире, заметней. Да и яблоко лежало чуть в сторонке, отдельно!

Ясно: служанка знает все!

Рука хана невольно потянулась к колокольчику под подушкой.

Тотчас в дверях показалась и поклонилась служанка.

Повелитель изо всех сил старался не поддаться приступу бешеного гнева. В злобе он даже не сразу смекнул, что хотел сказать покорно застывшей у порога служанке.

— Яблоко это... в здешнем саду сорвали?

— Нет, милостивый Повелитель, вам его прислала Великая Ханша.

— Ступай.

Служанка послушно повернулась, и он успел заметить легкую ухмылку в уголке прикушенных губ...

...Скользкая ухмылка, мелькнувшая в уголке тонких губ служанки, мерещилась теперь ему и на поверхности мерно журчащего родника. Вода, робко сочась из груди земли, образовала ручеек, и по нему изредка пробегала легкая зыбь, точно чистая улыбка младенца. Даже в серебристо-нежном бульканье ручейка чудились ему искреннее сочувствие и печаль...

Отныне и этот укромный уголок, скрытый от проныр-

ливого взора света, омрачен смятением неумемного духа. Казалось, даже серый валун под Повелителем ворочался, выражая непокорность. Может, и трепетные листья на верхушках деревьев шепотом передавали друг другу тайну, которую тщетно все эти дни пытался разгадать Повелитель.

Раньше здесь, у родника, как-то сами по себе разрешались все его тревоги и сомнения и просветлялась, оттаивала заскорузлая, очерстневшая от хлопот и дум душа. На этот раз облегчение не приходило.

«...прислала Великая Ханша...»

В последний поход он забрал с собой Старшую Ханшу и подросших внуков. Однако походная жизнь и лишения вскоре надоели им, и он — это было два года назад — отправил их обратно.

Весной, возвращаясь из длительного похода, он выслал вперед нарочного с доброй вестью, и тот, вернувшись в войско, ничего существенного не доложил.

Потом, до начала грандиозного пира в честь победы, он почти полтора месяца отдыхал во дворце старшей жены и внуков, находившемся в полдневном пути от столицы. И за это время Великая Ханша даже не заикалась о какой-либо напасти.

Ни тени досады или озабоченности на лице ханши не заметил он и во время пира. Как же следует понимать этот знак неблагополучия, поданный ему теперь? Выходит, если бы это произошло раньше, то с какой стати молчала она столько времени?

Сыновья часто навещали мать. Но ездили они во дворец ханши не потому, что были больше привязаны к матери, а потому, что тосковали по своим детям.

Может, сыновья что-нибудь натворили? Но... с какой стати стала бы вдруг жаловаться на них ханша? Ведь они беспрекословно подчиняются ее воле.

Повелитель заблаговременно позаботился о том, чтобы пресечь возможные распри между сыновьями. Неспроста говорится: о хуе не думаешь, добра не жди... Так вот, на случай, если всевышний призовет его к себе, Повелитель давно уже собственными устами объявил законного наследника. И у того пока не должно быть подлых намерений. Наоборот, может, братья против наследника что-то замышляют? Однако и такое вроде исключено. Они ведь все единоутробные. Одной пуповиной

связаны. Самый старший, рожденный от другой матери, остался наместником одной из покоренных южных стран. Остальные трое слишком молоды и еще не познали вкус власти. Что же тогда могло случиться?.. Или в канун далекого и опасного похода нашлись смутьяны, подло сбивающие ханских сыновей с праведного пути? Не мудрено. Ведь, встретившись с женами и детьми после семилетней разлуки, многие отнюдь не горят желанием вновь оседлать боевых коней и пуститься в неведомые края, где можно сложить голову. Зная это, Повелитель в последнем походе щедро одарил всех, кто отличился отвагой и верностью. Не поспешил ли он со своим даром? Не разумней ли было повременить? Не раздавать добычу, а только посулить?

Когда-то одному из своих эмиров он дал совет: «Насколько узки глаза у тюрков, настолько же скупа и алчна их душа. Единственный способ заставить служить их верой и правдой – тешить их глаза золотом, а душу – хвалбой. У других отними, а своих – подкупай».

Разве не этой мудрости следует он сам? Разве, завоевав много стран и отняв их золото, он не потратил его на подкуп своих приближенных? Иначе чем еще, кроме золота, можно вырвать из бабьих объятий этих обленившихся похотливых самцов, называемых мужчинами?

И чтобы ублажить их алчные души и заткнуть ненасытные глотки, он швырнул живоглотам добычу, а честолюбцам роздал чины. Пусть подавятся!

Казалось, все предусмотрено, и ничего не должно было случиться. Посла, прибывшего из страны, где восходит солнце, он не подпустил ни к своим эмирам и предводителям войск, ни к родным сыновьям. Неужели тот пройдоха нашел-таки муравьиную лазейку в его искусно расставленных тенетах и сумел каким-то образом напасть?

Да-а... как бы там ни было, знак тревоги подан неспроста. Ведь когда Великая Ханша прислала нарочного с просьбой поговорить по важному делу, он не принял его. Но ханша выказала явное нетерпение, с намеком передав красное червивое яблоко. Может, следует срочно вызвать всех сыновей? А вдруг кого-то из них и впрямь охватил бес единовластья? Тогда неожиданный и срочный вызов отца может только насторожить возжаждавшего высшей власти нечестивца и ускорить развязку его чер-

ных помыслов. Нет, нет, о срочном сборе сыновей сейчас не может быть и речи. Тут, видно, что-то другое. Если даже допустить, что кого-то из сыновей и поразила подлая страсть, то вряд ли раньше всех так встревожилась бы Великая Ханша, толкая в муках рожденное чадо под топор палача.

Между тем Великая Ханша оттолкнула от себя только старшего сына, рожденного от другой, покойной ныне жены. Ханша настояла на том, чтобы отослать его подале, на край земли, наместником завоеванной страны.

По совету святого сеида она добилась того, что наследником трона был объявлен старший сын, рожденный от нее. Повелитель долго оттягивал решение о наследнике, потому что не хотел обидеть своего первенца, но тот — то ли боялся козней честолюбивых братьев, то ли пожалел отца, очутившегося меж двух огней, — сам вдруг отказался от наследного права и попросил только отправить его правителем южной страны.

И, вспоминая великодушный поступок своего любимого сына-первенца, Повелитель испытывал каждый раз неловкость, перемешанную с болью и жалостью, и как-то весь сникал, сжимался, точно от непомерной тяжести вины. Вот и сейчас, едва вспомнилось о старшем сыне, разом схлынули изнурившие его за эти дни сомнения и думы, и мысли вернулись к тем годам, полным мытарства и лишений.

Предки его до седьмого колена были предводителями войска. Прадед, к примеру, возглавлял войско старшего сына Великого Хана. Эта традиция по наследству от поколения к поколению дошла и до него. И он служил предводителем войска у эмира — престарелого правителя этого края. Старый эмир любил и почитал его пуще родного сына. Выдал за него дочь. И когда тесть пал жертвой вражеских интриг, на трон его сел Он.

В то время жители Двуречья разделялись на сорок племен, раздираемых смутой и междоусобицей. Все они были тогда подвластны потомкам Великого Хана, обитавшим за тридевять земель. Усевшись на трон, он первым делом попытался объединить множество мелких ханств. Каждому из кичливых ханов-марионеток было отправлено тайное послание: «Предлагаю объединиться и прогнать всех остальных. Управлять Двуречьем будем

вдвоем». И от каждого от этих марионеток, шалеющих от неумемного желания большей власти, он вскоре получил горячее согласие. Так он ловко подлил масло в костер и без того не затухающих распрей. Натравив друг против друга спесивых правителишек, он терпеливо выжидал в стороне, по-прежнему суля дружбу и помощь тому, кто наголову победит всех остальных.

В это время с огромным войском приближался сюда сам Верховный правитель. Узнав об этом, Он опередил всех соперников и первым встретил – с поклоном и почестями – Великого Хана. Руководила им при этом единственная цель: добиться признания и преимущества в глазах потомков великого Повелителя. Однако на этот раз судьба отвернулась от него: потомки Великого Хана почему-то не поверили ему, лишили его трона и вновь назначили предводителем местного войска. А позже пустили слух, что он замышляет покушение на своих правителей, и решили его умертвить. Но всевышний миловал: наказ об убийстве попал ему в руки. Он успел бежать. Несколько лет провел он в мытарствах, хоронясь в тех самых гибельных песках, по которым нынешней весной он возвратился с войском из похода. Вместе с женой, как затравленный, метался по барханам. На склонах бесчисленных дюн, на раскаленном песке остались их следы. Ноги, изнеженные теперь ворсистыми коврами и пуховыми подушками, были тогда иссечены колючками, ранены занозами. Те следы на песках давно уже стер ветер пустыни. Раны давно уже вылечило время. И о тех горестных днях он вспоминает теперь лишь при виде старшего сына или думая о нем. Потому он и дороже, роднее всех остальных сыновей. Не будь его, первенца, кто знает, достиг бы он нынешней славы и могущества.

Скитаясь в пустыне, находясь на грани жизни и смерти, он попался в лапы бека правителя какого-то племени, обитающего в песках. Вместе с женой швырнули его в темницу-зиндан глубиной в сорок кулаш¹. В этот сырой затхлый колодец днем не проникал луч солнца, ночью – луч луны. Высоко-высоко над их головой, у узкого отверстия, слабо брезжил свет, точно насмехаясь над обреченными супругами. Изредка в колодец, склонившись,

¹ Мера длины, расстояние между вытянутыми в стороны руками.

заглядывал страж, заслоня блеклый свет своей лохматой бараньей шапкой и ввергая пленников в густой мрак.

Тихо. Только изредка негромко, точно ржанье жеребенка, позванивали железные оковы на руках жены, когда она, измученная пронизывающей сыростью, ворочалась на дне зиндана.

Супруги все эти дни не проронили ни слова, будто не желая бередить изъедавшие душу раны от досады и гнева. Лишь время от времени тяжело вздыхали.

Так прошло сорок девять дней и ночей. Пятидесятая ночь выдалась лунной. Пленники заметили это по меряющей белизне струящегося у отверстия света, похожего на отблеск серебряного подноса.

Молодая жена, с ожесточенным упрямством сносившая все муки в смрадном подземелье, вдруг забилась и беспомощно заскулила. Жар охватил ее тело. По лбу струился липкий пот. Закованный, он мог только подставить ей плечо. Надсадный плач-стон становился все громче. Неведомая боль, казалось, рвала ее на части, ломала кости, выматывала душу, и женщина, не зная, как унять, утишить эти адские муки, обезумев билась головой о глухие стены зиндана.

Потом... потом она вдруг обмякла, потеряв сознание. И в этот самый миг откуда-то прорвался – сначала тускло, как бы захлебываясь, потом вдруг во всю мощь – возмущенно-резкий, незнакомый крик, от которого у него зазвенело в ушах.

Молочно-белый свет над головой на мгновение погас и вновь забрезжил.

Тут же что-то, скользнув, упало ему на грудь. Он подбородком нащупал ключ, ухватил зубами их, изловчившись, отомкнул оковы на руках жены.

Она очнулась от крика и снова вся зашлась в знобной дрожи.

– Бери ключ – отомкни оковы! Живо! – прикрикнул он.

Она послушно зашарила вокруг.

– Быстрее! Ну!..

Раздирающий душу плач не умолкал.

Наконец ей удалось отомкнуть и снять оковы. Руки его коснулись чего-то скользкого, теплого. Ребенок, еще соединенный пуповиной с матерью, надрывался изо всех сил.

Он склонился к скрюченному тельцу, зубами перегрыз теплую пуповину и, вырвав у жены прядь волос, крепко перевязал ее.

Потом осторожно прижал беспомощное существо к груди, стараясь отогреть его своим теплом, своим дыханием и, чувствуя, как оно доверчиво приникло к нему, успокаиваясь, он вдруг ощутил неведомую, торжествующую радость, отчего сразу исчезли все напряжение, вся боль, унижение и горечь, выпавшие ему за последние месяцы.

Сперва он обвязал арканом жену и помог ей выбраться, потом, придерживая одной рукой ребенка, вылез сам. Чернобородому спасителю в мохнатой бараньей шапке он сунул, сорвав с шеи жены, яхонтовое ожерелье и, выхватив из его рук саблю, направился к шатру бека.

Сбежалась, услышав возню у зиндана, вооруженная стража, но, пораженная зрелищем, остановилась: босоногий, простоволосый мужчина решительно шел на них, держа в одной руке голенького ребенка, в другой — обнаженную стальную саблю.

У входа в шатер два привратника преградили ему дорогу, но сабля в руке пленника дважды ослепительно блеснула при свете луны. Так отбиваются плеткой от злых собак. На порог, обливаясь кровью, рухнули два трупа.

Ведя за собой жену, ворвался он к беку. Теперь бросились наперерез телохранители, Бек повел подбородком. Занесенные сабли послушно опустились.

Кто знает, что пришло в голову бека? Он приказал отвести пленников в отдельную юрту и содержать сорок дней — пока окрепнет новорожденный и очистится от скверны роженица. После этого срока, определенного самим шариатом, бек подарил супругам по скакуну и отпустил восвояси.

Позже, через много лет, когда он — с благословения аллаха — беспощадно расквитался со своими врагами и обидчиками и стал единоличным правителем этого края, направил он свое тысячекопытное войско в пустыню, против того племени, чьим пленником был когда-то. Оставалась еще неделя пути, когда вдруг увидел на берегу бурной реки отряд: воины в мохнатых бараньих шапках в знак покорности спешили и вонзили пики в песок.

Когда ханское войско приблизилось, трое из отряда пошли навстречу. В том, остробородом посередке, Повелитель признал бека.

Остановившись в пяти шагах, бек твердо произнес:

– Вот – коран, а вот – сабля. Воля твоя. Хочешь – мы на коране поклянемся в верности тебе. Нет – так бери саблю и руби наши головы. Мы против тебя оружия не поднимем.

До самой смерти бек остался одним из преданнейших и почтеннейших эмиров.

Первая жена покинула юдоль печали тридцати девяти лет от роду. В честь любимой и верной спутницы суровой жизни, без ропота разделившей невероятные тяготы, лишения, унижения и опасности, согревавшей его ожесточившееся сердце своей тихой и светлой любовью, одарившей его первенцем-сыном, он потом построил величественную мечеть.

Каждый раз при виде старшего сына Повелитель теплел душой. Вспоминались далекая, невозвратная молодость и незабвенная жена, так и не познавшая безмятежной жизни ханши. И отправил-то он любимого сына правителем в далекий край скрепя сердце. До сих пор, когда он представляет судьбу сына, томящегося, точно в изгнании, на чужбине под постоянным прицелом ненавидящего вражеского взора, холодная оторопь охватывает все его существо. С отъездом старшего сына он неизменно чувствовал себя одиноким и осиротевшим, все равно, находился ли среди многотысячного войска, или восседал на шумном, знатном пире, или отдыхал в кругу остальных сыновей и ватаги внуков. И, кажется, только теперь он убедился в том, что у каждого – кто бы он ни был, – живущего под этим бездонным и равнодушным небом, есть только один-единственный неизменный вечный спутник – одиночество.

Помнится, в предсмертный час мать, преодолевая недуг и немощь, сказала ему:

– Сын мой... ты достиг своего желания. Я же ухожу из этого мира в печали и горести. Ты был моим единственным сыном, как одинокое священное дерево в голой пустыне. Таким же одиноким я тебя и покидаю. Так вот, слушай. Не почитай трона своего выше своих башмаков. От холода и сырости он не спасет. Не думай, что роскошный дворец твой надежнее твоей кольчуги. И его стрела пронзит. Не считай, что твое войско неуязвимее твоего щита. И его глаз совратит. Не полагайся особенно на отпрысков своих, народившихся от разных баб. И они

тебя предадут. Да будет тебе известно: много баб и наложниц не заменят одной жены. А ее-то у тебя и нет, сын мой. Бабы, с которыми ты делишь постель, – все равно что кобылицы в одном табуне. Ребенок в утробе им ближе, чем ты на их чреслах. Сам знаешь: стригунок, окрепнув, начнет кусать табунного жеребца. Вот и берегись. Множеством сыновей не кичись. А то у матерого волка было много волчат, да выкусили они его из собственного логова, и окошел он, старый, на холодном ветру. Не трать понапрасну силы, желая угодить всем своим бабам, а почитай одну и заслужи ее веру и любовь. У отца ты был единственным сыном, потому он и передал так рано повод правления тебе. У тебя же сыновей много, и если ты не хочешь, чтобы твои щенки перегрызли друг другу глотки, не уступай трона никому из них до самой своей смерти. И лишившись власти, не околачивайся возле бабы, у которой от тебя много детей. Опираясь на них, она обесчестит тебя, унизит твое достоинство. Держись за бездетную. Униженная своей бездетностью, она сможет защититься от соперниц только тобой и потому будет преданно любить и почитать до последнего часа...

Мать говорила эти слова шепотом, будто опасаясь, что кто-нибудь может их подслушать, говорила очень четко, убедительно, крепко стискивая при этом руку сына, и он, вслушиваясь в мудрую речь, почувствовал оторопь. Выказав все, что находилось на душе, мать плотно сложила бледные дряблые губы, отвернулась лицом, и в тусклых глазах ее, казалось, угасал, постепенно удаляясь в неведомое, теплый жизненный свет. И когда иссушенная хворью и старостью мелко дрожавшая рука ее безжизненно упала на пышную перину, суровый властелин, покоривший половину мира, вдруг ужаснулся и растерялся, как сосунок, насильно отлученный от матери.

С тех пор каждый раз, возвращаясь из далекого похода, он вспоминал предсмертные слова матери.

Таким образом, теперешняя Великая Ханша – вторая жена, занявшая место первой. Она из влиятельного богатого спесивого рода. Он к тому времени был ханом, на гребне власти и удачи, забавлялся прекраснейшими наложницами со всего света, но чтобы обуздать гордыню и приторочить к своему седлу древний могущественный род, косившийся на него за то, что он не принадлежал ни к

белой, ни к черной кости, а был как бы пегим, с расчетом взял себе ее в жены.

Дочь кичливого, честолюбивого племени, видя, как к ногам Повелителя падают одно за другим знамена разных стран, все более привязывалась к нему. На слухи-кривотолки, исходившие от ее сородичей, она перестала обращать внимание. И сородичи, заметив крутые перемены в настрое единокровной дочери, также понемногу охладевали к ней. Отныне они охотнее обращались к самому Повелителю – своему зятю. Тот бесчисленные тяжбы и неукротимые прихоти чванливого рода разрешал и удовлетворял быстро и легко. Теперь же, когда само солнце и луна на небе с опаской взирают на его все сокрушающее копье, сородичи жены не осмеливаются задирать носы и предпочитают помалкивать о своем знатном происхождении, об исконной причастности к избранной белой кости.

Со временем они вовсе перестали упоминать своих досточтимых предков, а восславляли всюду и везде только своего зятя. Потом подросли ханские сыновья, стали участвовать в походах и выказывать удаль и отвагу, и хвастливые родичи жены превозносили уже не столько самого Повелителя, сколько его сыновей, говоря: «В жилах наших племянников все же течет кровь славных предков. Вот увидите, они и своего родного отца превзойдут!»

Великая Ханша, народившая ему трех сыновей, с годами обрела достоинство счастливой матери и уже не смотрела, как прежде, льстиво в рот крутонравому супругу. Более того, в последнее время она всех внуков держала при себе и проживала безвыездно в своем дворце, полагая, что Повелитель должен сам приезжать к ней, если, конечно, чувствует в том потребность.

Несколько лет назад, следуя наставлениям покойной матери, он женился на девочке шестнадцати лет. Поводками и статью она напоминала ему первую жену. Нежная, кроткая, небалованная, не познавшая отравы власти.

В последний поход он – по обыкновению – забрал Старшую Жену, оставив здесь, на родине, Младшую. И вот она, юная ханша, в честь супруга построила башню. Самую видную и высокую из всех, что вознеслись над столичным городом.

Этот тихий, уединенный дворец, в котором хан проводил сейчас свой недолгий отдых перед новым походом,

он подарил Младшей Ханше. На склоне лет он решил не разъезжать, как прежде, из дворца в дворец, а обосноваться здесь до конца своих дней.

Может быть, именно это возбудило ревность Великой Ханши? Над его носом пронеслась пчела. «Неуж-жели не мог об этом сразу догадаться?» Листья над головой зашуршали, перешептываясь громче.

Он сам поразился своей неожиданной такой простой догадке. В молодости мысли его были, пожалуй, резвей; они настигали цель мгновенно, точно молодая гончая, а не плутали, будто вслепую, вокруг да около.

Ну, конечно, самодовольная гордячка-ханша, державшая мужа при себе, никак не одобряет теперь его уединения с юной женой. Даже, когда он ставил мечеть в память умершей жены, Великая Ханша, помнится, долго хмурила брови. Если раньше ее постоянно терзала ревность из-за мечети, то теперь ее вовсе сводит с ума новая величественная башня, сооруженная по воле молодой соперницы.

Чем еще, кроме сплетен о близких, может привлечь внимание к себе стареющая ханша? Она хоть рассказками пытается обратить на себя благосклонность мужа. Значит, и красное наливное яблоко – всего лишь черный знак ее душевной скарденности. А коли так, то нечего напрасно ломать голову. И, подумав так, он сразу почувствовал громадное облегчение, словно раздавил червя сомнения, точившего все эти дни его душу.

В эту ночь впервые за долгое время он спал спокойно. И проснулся бодрым. После завтрака велел заложить повозку.

В золотисто-пестрой повозке в сопровождении конной свиты, выехал Повелитель из дворцовых ворот в сторону новой, невиданной башни.

В душе он испытывал неприязнь, если не сказать ненависть, ко всем дворцам и башням покоренных им стран, как, впрочем, и к золотым тронам и коронам врагов. Ему мало было сознавать себя могущественнее всех правителей на свете, он хотел, чтобы и столица его была краше и богаче всех столиц. И потому он из каждого похода привозил тысячи пленных мастеров-умельцев.

Каждый раз, возвращаясь из дальних стран, он придирчиво осматривал свою столицу. Сейчас он мог быть спокоен: город вырос, могуч и прекрасен, и из виденных Повелителем городов нет ему равных.

Особенно довольным он остался в последний раз, когда Младшая Жена, чутко угадав настрой его души, построила в честь супруга башню, дерзко и гордо устремившуюся ввысь, к небу.

И место для нее выбрано удачно: издалека и со всех сторон сразу бросается в глаза. Открытая взору местность. И все другие минареты, достойные соперничать красотой, находятся на расстоянии.

Вот она, вся голубая, приветливо улыбнулась ему. Душа светлеет, радуется при одном ее виде. Даже бесцветному, вылинявшему в знойную пору небу башня придает необыкновенную голубизну, и над нею небесный купол кажется чище и прозрачней.

Чем ближе, тем заметнее возвышалась башня. И уже не такой улыбчивой она становилась, а строгой, замкнутой. Вблизи, у подножья, это впечатление усилилось: башня отрешенно и сурово подпирала небо.

Противоречивые чувства, все эти дни попеременно овладевавшие ханом, вдруг разом умолкли. Гордая башня, во всем своей блеске возвышавшаяся перед ним, словно подавила и развеяла все сомнения. То, что такого чуда не было ни в одном другом городе мира, приятно тешило самолюбие. Будь оно в чужом, вражеском городе, многочисленная услужливая свита с топорами и ломом давно бы уже набросилась кромсать, рушить каменное чудище, надменно взирающее на грозного владыку вселенной. На этот раз все нукеры застыли с разинутыми от изумления ртами.

Отныне этой башне суждено глядеть свысока на весь необъятный покоренный мир, точно гордый ханский стяг — символ его всемогущества.

Великий Повелитель углядел в этом минарете нечто свойственное ему самому: башню видать на краю земли, и она милостиво манит, влечет к себе всех, но — когда окажешься рядом — становится строгой и недоступной, как сам Повелитель.

Невозможно оторваться от башни. Он стоял перед ней замороженный, точно пылкий юноша перед прелестной и загадочной в своей красе женщиной.

Сейчас он испытывал необыкновенную радость, близкую к восторгу, и признательность ко всему миру, достойно восславившему его имя и честь, — к голубой башне, придавшей блеска его могуществу, к прозрачному небу,

чистым куполом нависавшему над ней, к мастеру, в течение семи лет изо дня в день по крупице, по кирпичику без устали воздвигавшему такую махину, к юной супруге, преданным женским сердцем догадавшейся о подавленности и усталости его души после изнурительного похода и подготовившей дивный подарок, глядя на который дряхлый дух обретал вдруг орлиную мощь и порыв.

Стоило немного отдалиться, как лик башни постепенно теплел. Голубые плиты, вблизи холодно и даже сурово мерцающие глазурью, на расстоянии начинали улыбаться. Чем дальше, тем труднее было оторваться от этого чуда. Гордая красавица, вблизи не удостаивавшая тебя даже взглядом, вдруг издали таинственно-завлекающе посмеивалась и властно притягивала к себе. Зачарованный, поневоле кружишься вокруг.

При внимательном взгляде можно было убедиться в том, что в башне преобладают не мужская доблесть и достоинство, а сдержанная гордость, скромная благосклонность и душевная ласка, свойственные женщине. Сколько их, сказочных дворцов и минаретов – видел-перевидел он за долгие годы близких и дальних походов, но такой таинственной красоты, сотворенной чудодеем, встречать не приходилось. Необычное обаяние башни как бы околдовало взор и душу Повелителя, и он никак не мог понять рассудком тайну такой магической красоты.

Башня воплотила в себе тоску по возлюбленному женщины, которая оставалась неприступно-глухой к тем, кто жаждал ее близости и благосклонности, и кротко улыбалась единственному, желанному, находившемуся вдалеке, звала его с мольбой и тоскою, суля радость и ласку.

Зодчий, выстроивший эту башню, проникновенно передал неизбывную тоску и любовь юной ханши к своему возлюбленному, так долго не возвращавшемуся из далекого похода...

Вблизи башня ослепляла яркой, броской красотой, а постепенно удаляясь, окутывалась голубым маревом, точно погружалась в печаль, от которой щемило сердце.

Она выражала немую мольбу: «Неужто покидаешь меня?.. Не уходи... Останься... Ради всего святого останься... побудь со мной... со мной...»

«Стой! Вернись!»

Неожиданный, как окрик, властный зов грубо оборвал все думы, точно поразил его в самое сердце. Повелитель

вдруг резко выпрямился, оттолкнувшись спиной от мягкой подушки сиденья, но промолчал...

До самого дворца он старался больше не смотреть в сторону башни. Он не мог сейчас предположить, на какие лады истолкуют завтра праздные нукеры его неожиданный порыв, и потому поспешно откинул голову на спинную подушку и прикрыл глаза.

Неспокойно было на душе, отчего-то мутило, и он не притронулся к обеду. Только отведал ломтик дыни, охлажденной в меде, и от приятного холодка тошнота исчезла. На этот раз яблока не было. У служанки — он это сразу заметил за легкой накидкой на ее лице — глаза были подчеркнута вежливо опущены долу...

Когда служанка вышла, он уставился на монотонно сочившуюся прозрачную воду в хаузе, выложенном посередине дворцового зала из бурых, розовых, голубых мраморных плит, и задумался... Глядя на капли, похожие на слезинки и бесследно исчезающие где-то в глубине бассейна, он чувствовал, что сердце его смягчается, оттаивает. Плотный наст суровости и жестокости, намерзший в душе за долгие-долгие годы, вроде рыхлел, крошился от каких-то неведомых ему нежных чувств, напоминавших ласковый весенний ветерок, и Повелитель весь обмяк, поддавшись печали одиночества. В нем вдруг неожиданно проснулась жалость. Он и сам еще не мог понять, чего ему стало жаль: то ли этой воды, зажатой в каменные тиски и потому исходившей безутешными слезами, то ли сироту-башню, оставшуюся там, в зыбком голубом мареве... Что-то чистое и нежное, охватившее всю его душу, напомнило вдруг снова Младшую Ханшу. Да, да... она, бедная, в облике этой башни передала ведь не только свою многолетнюю тоску по любимому, нетерпеливое желание скорой встречи и неумную страсть, обжигавшую ее невинное существо, но и намекала на свое безысходное одиночество в среде чуждых ей людей, на обиды, которые приходилось терпеливо сносить, на подавленный дух, на отчаяние, вырывавшееся в безмолвном крике: «Приди же... услышь меня... пойми... защити!» Разве сочетание надменной холодности и кроткой нежности, гордости и покорности, тоски и страсти не означает всеобъемлющего понятия — любовь?!

Уж кто-кто, а он прекрасно знает, что это такое... Когда в те далекие годы скитаний измученная жена, сты-

дьясь опереться на него, бывало, лишь редко, по-девичьи прикасалась к его плечу и невнятно просила: «Сил моих больше нет... поддержи чуть-чуть», — он ясно видел в ее усталых глазах причудливый клубок всех этих человеческих чувств.

Это же сокровенное выражение — точь-в-точь как у матери — он заметил в глазах старшего сына, смущенно скрывааемых под густыми бровями, когда тот перед отъездом в далекую страну едва ли не тайком зашел проститься с отцом.

И вот сегодня, отъезжая от голубой башни, он вдруг на мгновение ощутил все то же редкое, не определимое человеческой речью священное чувство, которое приходилось ему видеть в глазах двух самых дорогих на свете людей. Казалось, теперь он догадывался о тайне, заключенной в красоте той башни. Ему неодолимо захотелось увидеть молодую ханшу, увидеть сейчас же и заглянуть... нет, смотреть долго-долго в ее безгрешные, по-детски преданные глаза.

Он почувствовал вдруг дрожь в сердце. Давно уже не испытывал он такого трепета, такого приятного волнения. И он был сейчас поражен — то ли этим необыкновенным своим состоянием, то ли тем, что мог столько лет прожить так глухо, так немо, не испытывая ничего подобного. Одно лишь желание властно охватило его — скорее, тотчас увидеть Младшую Ханшу. Он даже не мог сейчас отчетливо представить себе ее. Не так уж и часто удавалось оставаться с ней наедине. А на людях, понятно, Повелителю не положено заглядываться на собственную жену... Кажется, большие, черные, как смородина, с влажным блеском глаза придавали ее худощавому личику выражение кротости и печали: нос точеный, маленький, с чуткими ноздрями; подбородок круглый, нежный, и губы не тонкие, которые обычно не в состоянии скрывать горячее желание, и не толстые, чувственные, а в меру полные, пухлые, податливые. Словом, она обладала внешностью, как принято считать, женщины стыдливой, сдержанной, скромной и верной в любви, которая не обжигает, не ошеломляет дикой, необузданной страстью, а ласкает и согревает ровным душевным огнем, не пьянит колдовскими чарами и дразнящим смехом, а завораживает томной, благосклонной улыбкой.

Именно любовь такой женщины воплотила в себе гран-

диозная башня. Неспроста, видать, сам пророк Соломон, нашедший путь к людским сердцам через сердце возлюбленной, зная толк в любви и многоликой женской красе, называл ангелоподобными тех, кто невинной нежностью и кроткой женственностью умел без зримых пут связывать мужчин.

И еще говорят: пророк Соломон имел обыкновение наслаждаться вкусом и ароматом сладкого вина, лишь прикасаясь к нему губами. Мудрец понимал, что сладость чувств в их умеренности. А он, Повелитель, в своих бесконечных походах не об услаждении плоти и духа заботился, а довольствовался случайными и грубыми утехами.

Выходит, прожив жизнь, он так и не познал радости выпавших на его долю власти и могущества. Сердце остыло рано и не искало других удовольствий, кроме лицезрения падавших к его ногам вражеских знамен и золотых корон покоренных им владык.

Выходит, власть и могущество, к которым он стремился, корона на голове и трон под ним лишили его многих человеческих радостей, связав по рукам и ногам. Такова тяжкая участь властелина. Сейчас он не может даже вызвать к себе Младшую Жену, которая находится с ним рядом, в одном дворце. Изведавший за свою жизнь немало обид и унижений, уже привыкший к суровости, он не подпускал особенно к себе даже членов своей семьи, а жен навещал только ночью. Вообще, встречи с женами в дневное время не были приняты, за исключением отдельных случаев, вроде приема послов, совещания с советниками или семейных бесед с участием всех детей и внуков.

Теперь этот обычай, введенный им, невидимыми путями связывал его самого. При всем своем желании он был лишен возможности вызвать ханшу к себе или навестить в ее покоях. Сейчас, когда Старшая Ханша подала ему явно предупреждающий знак, а слуги, наверняка осведомленные обо всем, подстерегают каждый его шаг, нетрудно себе представить, какие вспыхнут кривотолки, если он среди белого дня отправится вдруг на свидание с Младшей Женой...

Он нетерпеливо дожидался вечера. Время, обычно такое скоротечное, вдруг, как назло, поползло улиткой. И солнце неподвижно застряло в зените.

Не находя себе места в одиноком зале, Повелитель снова отправился на прогулку в сад. Он добрал до люби-

мого родника, однако не усидел и здесь, чувствуя, что в мыслях разброд и смятение. Он долго ходил взад-вперед по кривой тропинке и все чаще поглядывал на солнце.

Бесстрашный в бою, на ратном поле, он сейчас не решался подходить к постели собственной жены и, точно неопытный жених, смутно предвкушающий радость первой брачной ночи, с нетерпением и тайной боязнью ждал, ждал, когда, наконец, закатится солнце и наступят желанные сумерки.

Тени от деревьев постепенно удлинялись и уже начали сливаться. Ранние сумерки поплыли по саду. Повелитель вернулся во дворец. От долгого ожидания, должно быть, в сердце опять закрались тревоги и сомнения. В непомерно огромном зале, так ослепительно ярко освещенном светильниками, он вдруг вновь затосковал, остро ощутив свое полное одиночество в этом безбрежном мире. Будь он на поле брани в окружении грозно ощетинившихся копий, не почувствовал бы страха даже при виде летящей на него вражеской конницы. Будь он молодым и пылким джигитом, бросился бы, не раздумывая, в опочивальню ханши. А теперь он вышел из того возраста, когда слепо идут на поводу бесшабашного порыва. К тому же не к старой спутнице своей он стремился, чтобы поговорить по душам; развеять тоску и печаль, а к почти незнакомой — хотя и жена — юной особе. Ведь Младшая Ханша, точно одна из многих безымянных наложниц, с которыми он лишь поспешно удовлетворял мужскую потребность, не говорила ни единого слова. Кажется, уже тридцать лет прошло с тех пор, как Повелитель ни с кем не делится сердечной тайной. И о чем он может сейчас говорить с Младшей Ханшей? Что они скажут друг другу — по существу чужие — мужчина и женщина? Верно: совсем еще молоденькая ханша — его жена. Верно: она не посмеет перечить ни одному его слову, ни одной его прихоти, как и весь этот город, как каждый дом и каждый человек в его столице. Вся страна падает перед ним ниц. Половина мира в его власти. Но ни с одной живой душой, обитающей в этой половине мира, он не может поговорить искренне и откровенно. И Младшая Ханша — всего-навсего одна из этих многих безголосых его подданных. Оба они, точно пленники, уже несколько дней томятся в этом одиноком дворце. Однако она, жена, не может решиться и прийти к нему, мужу! Разве не сущий

ад — этот мир?! И телом, и душой принадлежат ему все живые существа половины вселенной, как говорится, они и на его ладони, и в его кулаке, однако все, все, как один, — чужие, чужие... Все ждут от него только высочайшего повеления. Он и раньше хорошо знал, что все в покоренном им мире, — кроме, конечно, его самого, — живут с невидимой петлей на шее, именуемой властью, и покорно барахтаются в тенетах его могущества. Самого-то себя он считал свободным от этих тенет. Но сегодня с горечью убедился: невидимая петля, захлестнувшая горло других, спутала незаметно и его руки-ноги. Раньше люди боялись его взгляда и его слова, теперь и он стал бояться людского глаза и людской молвы...

Вот он, крадучись, точно кот, выбрался из своей опочивальни. Таинственные путы, удерживавшие его до полуночи, и теперь еще не развязались, а как бы продолжали болтаться на ногах.

И узорчатые мраморные плиты на потолке, и сурово молчавшие глухие стены по сторонам, и стылые тени, укрывшиеся за колоннами, и тугой ворс ковров, податливо стелившийся под ногами, и даже светильник в его руке — все-все, казалось, пристально выслеживало каждый шаг Повелителя: тысячи жадно шныряющих из-за углов глаз и неистощимых на сплети, но пока лишь невольно и выжидающе прикушенных губ с великим нетерпением — так мерещилось ему — ждали, когда он переступит порог опочивальни Младшей Ханши, чтобы тут же с тайным злорадством и холопским усердием растрезвонить об этом по всему свету.

Тьма тем людских голов принадлежат ему, но только не их мысли. Тьма тем языков в его власти, но только не их речи. Один он не в состоянии уследить за каждым из этой тьмы, но все они вместе не спускают с него одного глаз. Каждое движение, каждый шаг толпы ему неведомы, но его каждое движение, каждый шаг на виду у всех.

Вот и сейчас в этом одиноком дворце, не смыкая глаз до полуночи, неустанно следят за ним.

Вот два евнуха-привратника — белобородые, красноглазые, одряхлевшие, — приложив руки к груди и сломившись в поклоне, молча расступились перед ним. Похожие на живые мощи, они всем своим обликом выражают покорность и отрешенность и глаза опустили долу, но едва он пройдет мимо, они посмотрят друг на друга с двусмысленной ухмылкой.

Повелитель весь напрягся и резко, точно кинжалом ударил, обернулся: и впрямь — оба евнуха за его спиной уже подняли было головы, но, обожженные ледяным взглядом Повелителя, поспешно склонились и вновь устались в пол.

Тяжелая дверь упруго отворилась и, захлопнувшись за ним, будто что-то пробурчала дубовым косякам.

Повелитель вступил в еще одну просторную и освещенную посередине комнату. В углу, где зыбился сонный сумрак, кто-то закопошился, скользнул тенью. Распрямляя затекшую поясницу, неторопливо поднялась старая служанка, приставленная к Младшей Ханше. Все ханские жены, поступая к нему во дворец, проходили через ее руки. Она была неизменной служанкой поочередно всех его Младших Жен. И не только служанкой, а советчицей, пестуньей... Эта старая женщина, близко не подходившая за свою жизнь к ханскому ложу, обучала неопытных таинствам любви и искусству нравиться Повелителю. Хорошо сознавая исключительность своего ремесла, она держалась, не в пример другой прислуге, вызывающе гордо. Ходила с достоинством, говорила важно. И, сейчас, заметив властелина, не засуетилась, не засеменила угодливо навстречу, а пошла степенно, стараясь унять старческую дрожь в коленях. Пожалуй, и казначей, верный страж всех ханских драгоценностей, не позволял себе такой вольности. Старуха свысока смотрела не только на всех дворцовых слуг, но покровительственно обращалась с ханшами и даже с самим Повелителем. Старая образина, должно быть, вообразила себе, что без ее услуг он не найдет пути к своим женам. Особенно спесивой становилась она, когда он возвращался на далекого похода. Вот и сейчас поплыла она навстречу, волоча по полу подол серого атласного платья, плыла через весь длинный зал, словно считая в уме каждый шаг.

Все заметнее вырисовывались черты ее серого, в тяжелых складках лица. Сначала четко обозначались кустистые бурые брови. Потом — длинный, с горбинкой нос, хищно спускавшийся на дряблые, истонченные губы. водянистые, точно пеленой подернутые дремуче-клейкие глаза, испытывающе долго, будто, не узнавая, выставились на Повелителя и отвернулись лишь тогда, когда он нахмурился. Путаясь в длинных, пышных рукавах, она открыла перед ним дверь.

Повелитель, стараясь скорее избавиться от липучего взора старухи, вошел в опочивальню Младшей Ханши.

Здесь царила сутемень. Он не сразу разглядел ложе ханши. Оно темнело, чуть возвышаясь, в правом углу. Он сделал шаг вперед. На истерзанной постели, среди помятых подушек, вдруг что-то шевельнулось, и одеяло странно взбугрилось в двух местах.

Властелин вздрогнул. Бугры под одеялами замерли. Глаза Повелителя лишились прежней зоркости, и чем пристальнее вглядывался он сквозь сумрак в угол, где находилось ложе ханши, тем заметнее кружилось, мельтешило все вокруг. Шевеление под одеялом возобновилось; в непристойных содроганиях что-то вздымалось посреди развороченной постели и тут же спадало, вдавливалось в пышные перины. Он ступил еще немного вперед. Под одеялом ни признака жизни. Будто сама ханша куда-то бесследно исчезла.

Сумрак натекал вокруг широкого ложа, становился гуще. Здесь струились причудливые запахи цветов, духов, розового масла и молодого разгоряченного женского тела, возбуждая угасшие в дремучих уголках заскорузлой души упоительные чувства. Повелитель явственно ощутил, как напряженные, будто стальная струна, жилы его от этого дурмана приятно ослабевали, смягчались, точно засохшая шкура на теплом пару. Слабость ударила в ноги, прокатилась по животу, и он, боясь упасть, не двигался с места.

Перед затуманившимся взором опять промелькнуло что-то белое над изголовьем. Сердце его сжалось, а сладкий дурман, охвативший его расслабленную плоть, мигом исчез, испарился. Из-под подушек и одеял с края ложа вскинулись, словно в безумии, тонкие оголенные руки. Они изломанно заметались в сумраке, что-то ловили в воздухе и, точно подбитые, упали вдруг на скомканное одеяло и лихорадочно, до боли, до хруста сплелись пальцами. Потом с какой-то произвольной страстью руки сграбастали мягкое, точно невесомое, одеяло, скомкав, притянули его к себе, стиснули, и пышный сугроб постели, сдавленный в тисках объятий, осел, подтаял. Из-под края одеяла он увидел ее лицо, пылавшее, как в жару. Пуховая подушка громоздилась в стороне у изголовья.

Голова ханши неестественно завалилась набок, тонкая шея напряженно вытянулась. Густые волосы рассыпались,

наполовину закрыв чистый широкий лоб. Веки смежились. Опухшие губы горели, разлепились. Рот болезненно скривился, жадно ловил воздух. Зубы хищно оскалились, и когда она их стискивала, казалось, слышался скрежет. Эти руки, сдавившие в беспомощности одеяло, этот пересохший, перекошенный рот говорили о неодолимой и ненасытной страсти, охватившей юную ханшу. Прерывистое дыхание женщины, до иступления доведенной низменным желанием даже во сне, больно кольнуло слух Повелителя. Этот хриплый, непристойный стон он слышал впервые подростком. Уже тогда избегавший шумные мальчишеские ватаги, он однажды оседлал коня и поехал к лощине под крутым горным увалом, где ставил силки на ловчих птиц. В это время от небольшого зимовья у подножия увала направилась в лощину женщина. Она шла за водой, и кувшин на ее плече размеренно покачивался, и колыхалась на ее лице легкая просторная паранджа. Едва женщина скрылась за ущельем, на тропинке, круто спускавшейся по каменистому склону, показался густобородый всадник на гривастом вороном коне.

Мальчик заметил и женщину, и всадника, но они его совсем не интересовали. Он был всецело поглощен ястребком, чертившим замысловатые круги над склоном увала. Вдруг снизу, из лощины, донесся сиплый женский крик. Мальчик схватил лук и, прыгая по камням, с выступа на выступ, понесся к ущелью. Раза два он споткнулся, упал, больно ушибся, содрал кожу на ладонях. Голос женщины слабел, доносился все реже, и мальчик, перепуганный, бежал из последних сил. Наконец он добрался до крутого обрыва, под которым находилось ущелье, изготовился прыгнуть, как чутким слухом уловил не крик, зовущий на помощь, не отчаяние, не жалобный плач, а неслышанное доселе, глухое, вразяжку, с придыханием, стенание. Так стонут не от боли, а от неведомой сладостной муки, от наслаждения, так истомленно выстанывает, перхает овца от избытка нежности к ягненку-сосунку спуская молоко... Мальчик брезгливо пнул камень, скатил его вниз в ущелье, и побрел назад к своим силкам.

Некоторое время спустя он увидел, как верзила-всадник проехал ручей на дне лощины и поднялся по крутизне на противоположный берег.

А потом из ущелья показалась женщина и пошла по белеющей извилистой тропинке легкой, танцующей по-

ходкой, играя упругими бедрами. Кувшин, наполненный водой, мерно покачивался на ее плече.

Над одиноким зимовьем на краю лощины вился к полинявшему летнему небу еле заметный сизый дымок...

Мальчик почувствовал досаду. Пораненные ладони горели. Непонятная зудящая дрожь, щемящая боль, сильнее, ощутимее, чем в кровь содранные ладони, охватывали его всего, когда он вспоминал тот поразивший его случай. То давнишнее ощущение вдруг овладело сейчас Повелителем. Такая же щемящая боль в груди.

Он с отвращением отвернулся от истерзанного ложа ханши, точно увидел что-то омерзительное, гадкое.

Он не помнил, как выскочил из опочивальни. Не обратил внимания ни на старуху, медленно поднимавшуюся в углу, ни на евнухов-привратников. И только пройдя через все комнаты ханши, спохватился: а ведь теперь прислуга начнет бог весть что болтать по поводу его излишне короткого ночного свидания с юной женой. От этой догадки в груди его заныло, будто бешеные псы рвали ее на части. Он пошел еще быстрее, и чудилось ему сейчас, будто собственная опочивальня находится чуть ли не на краю света.

Усталый, взмокший, добрался он до постели. Ему все продолжало казаться, что за ним изо всех углов несуразно огромного зала со злорадством следят сотни невидимых глаз. Вокруг ни звука, кроме тихого бульканья воды, тонкой струйкой сочившейся в хаузе. И воздух будто загустел от духоты и мрака. Повелителю стало трудно дышать. Он направился к хаузу, но было нестерпимо больно смотреть сейчас на покорную воду, заключенную в камни, все чудилось, что гнев, сковавший грудь железным обручем, вдруг обернется непрощеной, ненужной жалостью. Повелитель подошел к окну, выходившему в сад. Посредине круглого дворца были разбиты пышные цветочные клубмы, а в хаузе бил фонтанчик. Едва Повелитель подошел к окну, как под бледными лучами заходящей луны — то здесь, то там — суетливо скользнули в укромные углы сада какие-то тени. То были сарбазы из охраны и ночные сторожа, собравшиеся вместе и придумывавшие себе какую-то забаву от скуки, но при виде в неурочный час властелина у окна, поспешно разбежавшиеся по своим местам.

Луна склонилась к горизонту. Неверный свет ее освещал

щал лишь хауз на дворцовой площади и противоположные окна. Та сторона дворца, где находились ханские покои, погрузилась в густой мрак.

Тихо-тихо. Царила ночь, лукавая, полная тайн. Ночь, сомкнувшая уста, закрывшая глаза. Все бесконечные дневные хлопоты и суета сгинули разом, и наступила власть тишины и мрака. Пора воровских дум, воровских поступков, воровских чувств. Пора дьявольского наваждения, когда весь мир точно забирается под душное покрывало. Пора сокровенных желаний, буйства плоти к похоти, торопливо сбрасывающей непрочные путы дневного отдыха. В эту пору каждой живой душой правит искуситель-шайтан. Бесчисленные невидимые твари, порождение неистребимой человеческой скверны, хоронящейся от дневного, божьего света и строгого людского глаза, под покровом ночи ликующе выползают из всех щелей. Человек ведь только днем человек, а ночью его трудно отличить от обыкновенного животного. Ночью он храпит или предается низменным утехам. И только утром, с первыми лучами солнца, с пробуждением души в нем вновь умирает животное и просыпается двуногое существо, именуемое человеком и обладающее свойством стыдиться дневного света и бояться взора и молвы себе подобных. Но каждое из этих двуногих существ спасительной ночью может отключиться от осточертевшей дневной суеты, сбросить тягостные путы напряжения и предаться одиночеству и покою, не видя чужих глаз и не слыша чужих речей. У него, Повелителя, и таких ночей нет. Словно при свете ярко пылающего костра сидит он один-одинешенек даже темной ночью. Воровские глаза, затаившиеся по углам тьмы, видят его отовсюду; ему же совершенно неведомо, что происходит вокруг него за черной завесой ночи. Дневных человеческих забот на нем ничуть не меньше, чем у других, однако он напрочь лишен коротких ночных наслаждений.

Какая все-таки это мука — бодрствовать душевной ночью в одинокой пустой опочивальне в окружении ползучих тварей и двуногих скотов, испаряющих вонючий дух похотливой плоти?! Разве не рай по сравнению с этим — тревожные походные ночи, пропитанные запахом изопревших портянок? Разве не ангелы — безмятежно храпящие в обнимку с копьём и с седлом у изголовья храбрые воины в ночь перед боем, не ведающие о том, суждено ли

им завтра остаться в живых или лежать на поле брани? Разве не истинное наслаждение – чуткая дремь или напряженные, ночь напролет, думы о предстоящей сече? Отчего же эти безумцы так спешили домой?! Что они нашли здесь, у родного очага?!

Мысли Повелителя неожиданно оборвались. Так талая вода, вырвавшись вдруг из привычного русла, в стремительном разбеге ударяется о крутой берег. Вспомнились ему опочивальня жены, откуда он только что вернулся, и непристойное выстанывание шайтаном похоти терзаемой ханши. И в тот же миг отвратительная дрожь вновь охватила его, будто все эти бесчисленные ночные твари и ползучие гады, только что мерещившиеся ему во всех углах, поползли по нему от ног к груди.

Он тут же отвернулся от окна, подошел к хаузу. Начал пристально вглядываться в знакомые вещи, словно желая удостовериться, не во сне ли все это с ним происходит. Он увидел свое пустовавшее ложе. Почувствовал на лице прохладу воды в хаузе. Поднес к позолоченной трубочке, торчавшей из глыбы мрамора, палец, и прозрачная ледяная вода, сочившаяся из неведомых недр земли, точно ужалила его.

Он вздрогнул, весь подобрался.

– Боже милостивый... выходит, это красное яблоко...

Он вслух проговорил эту фразу и осекся, словно испугавшись, что кто-то мог его подслушать. Жуткая догадка вдруг мелькнула в голове, и он испугался, старался не додумывать ее, однако рой навязчивых подозрений и тревог обрушился на него со всех сторон, не давая вернуться пугливой мысли. И она, бедняга-мысль, словно кляча с истершимися копытами, робко побрела по каменистой тропе, выщербленной бесконечными вопросами, и окунулась в густой клубящийся туман сомнений.

Совершенно очевидно. Старшая Жена намекает на Младшую Ханшу. Бабы-соперницы, ослепленные взаимной неприязнью... Мысль резвой рысцей выбралась на привычную колею, однако неожиданный вопрос встал ей поперек дороги и схватил за повод... Ну, конечно, так... Именно так! Разве не собственными глазами я видел только что, как она, раскинув объятия, страстно звала кого-то и даже отдалась ему в безумии? От чего еще, как не от бурных мужских ласк, от истомы млеет молодая, еще не познавшая материнства женщина?..»

Но кто он, этот мужчина, возбуждавший в ней сладострастие? Может, он сам, ее супруг? Нет, не-ет... это исключено. Он не мог в ней, наивной девочке, растравить неумемную жажду любви. За две-три ночи, проведенные на ханском ложе, он, опытный мужчина, не заметил в ней, робкой и стыдливой, ни малейшего намека на ненасытность, необузданность желаний. Значит, во сне она так страстно возжелала другого. Другого! Сердце Повелителя больно кольнуло. Он опять явственно ощутил свое полное одиночество в этом недобром мире, и от мимолетной жалости к самому себе наст на душе, смерзшийся камнем, точно стронулся. Но тотчас подумалось: кто перед кем в обиде? Кто кому сделал больнее? И утишившийся было глухой гнев вновь всколыхнулся.

Какой наглец осмелился переступить через его могущественный дух и позариться на священное ханское ложе?! Разве кто-нибудь в подвластном ему мире может посягнуть на то, что принадлежит одному Повелителю? Разве не сопровождают его в походах все мужчины, достойные женской благосклонности? Разве оставался здесь хоть кто-нибудь, кого бы могла удостоить вниманием юная ханша?

Он с усилием укротил нетерпеливое, мстительное желание — как голодный беркут набрасывается на добычу — и принялся спокойно обдумывать ответ.

Кого же могла встретить молодая ханша, пока ее супруг находился в походе? Те, что оставались в ханском дворце, были примерно в его же летах. Вряд ли среди них кто-то способен так распалить молодую женщину. Он перебрал в уме всех придворных мужчин. Каждого оценил, взвесил и так, и эдак, и выходило по нему, что ни один не обладал необходимыми достоинствами, чтобы вскружить голову юной ханши.

Но кто он, кто этот счастливый безумец, сумевший найти дорожку к сердцу его Младшей Жены и заронить в ней такую страсть, что она грезит им и наяву, и во сне?

Мысли, растревоженные, взбаламученные, ревниво обшарили всю округу и опять вернулись на исходный круг. От этих назойливых и неуловимых тревог закололо в висках. Тело медленно наливалось тяжелой, равнодушной усталостью, и не было уже желаний следовать за верткой, все время ускользающей мыслью... В самом деле, стоит ли из-за любовных томлений спящей молодой женщины изнурять себя ревнивыми догадками? Мало ли что может

померещиться во сне или в бреду? А может, приснился ей не кто-нибудь, а именно он, ее Повелитель? Могла же она просто соскучиться по нему за эти долгие годы разлуки и истомиться по сладким ночам на опостылевшем от одиночества ханском ложе? Сколько дней они живут рядом, в одном дворце, сколько ночей она, должно быть, напрасно ждет его, исходя слезами от тоски и обиды?! И вот, наверное, вконец извелась, исстрадалась и забылась в тяжелом, как больной бред, сне. И почудилась желанная любовь, явилось ей, возбужденной постоянными думами о нем, видение...

Если бы она не истомилась по нему, разве приказала бы построить башню, которая привела его сегодня, при осмотре, в восторг и умиление? Разве она, горделивая голубая башня, не воплощение возвышенной любви?.. Любовь...

Счастливая и легкая догадка, только что сбросившая путы сомнения, тут словно вновь ударилась и разбилась об острую скалу, именуемую любовью.

Да, да, совершенно нетрудно разглядеть в голубой башне выражение яркой, неистребимой любви. Это видно сразу и в каждом кирпичике. Но чья это любовь? И к кому она обращена? То ли преданной жены, с мольбой зовущей запропастившегося в походах возлюбленного супруга, то ли любвеобильной неверной красотки, издалека манящей любовника?

Разве не смотрел он сегодня долго-долго на нее, не в силах отвернуть взор? И разве не звала чудо-башня его к себе? Чью же любовь воплотил зодчий в своем творении? Что он хотел показать? Если тоску женщины по далекому мужу, то почему при приближении башня обретает надменный и холодный вид? И почему она вновь манит, не отпускает, едва от нее удалишься? Выходит... выходит, зодчий изобразил вовсе не тоску ханши по отсутствующему мужу, а жар своего сердца, свой порыв, свою душевную тягу к ней!.. Свою неодолимую страсть, свою любовь! Да, да, поистине так! В этом и заключена вся тайна тайн голубой башни.

Повелитель еще не знал, радоваться или огорчаться так внезапно и просто возникшему разрешению всех его мучительных сомнений и вопросов. Пелена точно спала с его глаз. Страшная тяжесть, разливавшаяся по всем жилам, сразу исчезла.

Он вновь и вновь, словно боясь потерять нить, повторил про себя поразительное откровение, посетившее его явственно и отчетливо, как действительность. Он был совершенно убежден, что нашел отгадку присланной Старшей Ханшей красного наливного яблока с червячком в сердцевине. Отгадка найдена, теперь нужен бесспорный свидетель, очевидец. И его найти нетрудно. Достаточно расспросить Старшую Жену: все без утайки выложит. Достаточно заговорить с той же служанкой: ничего не утаит. Даже евнухи-привратники и те наверняка кое о чем осведомлены. А уж кто определенно и безошибочно знает все — это старший зодчий. Весь вопрос теперь в одном: кого из них следует вызвать и допросить?

Повелитель приложил ладонь ко лбу и задумался. Но теперь мысли его текли не вяло, не вразброд, как до сих пор, а стремительно, окрыленно. И опасливые сомнения о возможном уроне ханскому достоинству и чести в случае необдуманых и скоропалительных поступков он тотчас развеял решительно и без труда. Он ведь прекрасно знает слабые места всех подозрений, так к чему же о том еще спрашивать и говорить во всеуслышание?! К чему искать каких-то очевидцев? Следует сразу хватать за руку подозреваемого! А те, до которых и дошли кое-какие сомнительные слухи, уж сумеют, опасаясь ханской кары, держать язык за зубами. Промолчат, будто им глотки песком забили. Один только он, Повелитель, властен развязать им язык. Значит, он вызовет к себе самого мастера, построившего голубую башню, допросит его. Из его собственных уст услышит, таким образом, доподлинную правду — подтверждение или отрицание своих домыслов и подозрений. Пусть только наступит рассвет, и Повелитель отправит гонца за мастером. А может, лучше всего отправить за ним старшего зодчего? Наверняка это самое верное... Ведь еще неизвестно, что откроется на том допросе. В случае чего старший зодчий весьма может пригодиться... Повелитель встал. Он только сейчас заметил: в окно струился зыбкий свет. Занимался новый день. Сизая пыльца мерцала в зале. Казалось, и хауз перед ним, и сонная вода застыли, густо покрывшись золотисто-серым налетом, словно кучкой холодного, невесомого пепла под таганом. Чуть-чуть коснись только, и все рассыплется, разлетится в прах. В глубокой задумчивости стоял Повелитель...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ МИНАРЕТ

1

Надо же было такому случиться!.. Сумей он себя в тот миг пересилить и подавить неуместный кашель, чинная ханская свита, на почтительном расстоянии осматривавшая мечеть, наверняка прошла бы мимо. Но попутал черт: ни с того ни с сего вдруг запершило в горле.

О нет... отнюдь не «вдруг»... Поджилки его затряслись, когда до него дошла весть о том, что сам Повелитель соблаговолил сотворить намаз в новой мечети. Еще больше растерявшись от того, что, словно мальчишка, выдал свой тайный страх, он покосился на обступивших его мастеровых и заметил на их обычно хмурых лицах неопределенное, зыбкое выражение — нечто размягченно-среднее между радостью и боязнью.

И только немногим, кто был уже в годах мудрости, удавалось сохранить сдержанность и достоинство. Они принялись закручивать кончики усов, как бы говоря: «Что ж... да будет так!» И при этом в глубине их зрачков вспыхивали затаенно-лукавые искорки.

Молодым же было неведомо, как следует относиться к подобной вести — то ли ликовать, то ли огорчаться, — на побледневших лицах застыло замешательство. Он, зодчий, испытывал странный озноб каждый раз, когда по утрам во двор медресе неподалеку въезжала пестро-золотистая повозка. В то мгновение из сотен глоток рабочего люда, копошившегося на строительных лесах от подножья до самого верхнего купола, дружным вздохом неизменно и разом вырывались одни и те же слова: «Вон сам приехал!»

И тогда зодчему чудилось, что эти три слова, исторгавшиеся одновременно из стольких грудей, раскалывая утреннюю прозрачную тишь, докатывались до ушей властелина, степенно выбиравшегося из крытой повозки. И весь день он невольно взглядывал на медресе. «А вон и сам смотрит!..» Этот благоговейный шепот, исходивший от крохотных фигурок на голубом покато куполе, явно доходил до зодчего, стоявшего на вершине минарета.

От одного только упоминания о властелине зодчий зяб-

ко вздрагивал, будто в затылок вонзилась стрела, и испуганно озирался в сторону медресе, где, взметнув острые копья, кольцом стояла отборная охрана. Но, убедившись, что ни один воин не шелохнулся, он понемногу успокаивался. Однако покуда солнце не клонилось к закату и пестро-золотистая повозка в сопровождении вооруженной свиты на вороных скакунах не возвращалась в ханский дворец, зодчий не находил себе места.

На четвертый день месяца рамазан на этом месте властелин сам наблюдал, как закладывался фундамент под мечеть. Однако тогда у зодчего не хватило смелости поднять глаза на Повелителя, молча стоявшего среди огромной свиты. Два человека попеременно подавали зодчему маленькие, плотные кирпичики, и он их сосредоточенно укладывал ряд за рядом, от волнения даже не следя за строгостью линий.

С того дня прошло четыре месяца. Пятьсот человек в горах тесали камни. Двести человек шлифовали их до блеска. Девяносто пять слонов доставляли их на стройку... Изю дня в день в течение четырех месяцев с восходом солнца пестро-золотистая повозка въезжала в просторный двор медресе, а в предвечерний час, сопровождаемая вышколенной свитой, возвращалась во дворец. В течение четырех месяцев зодчий бесчисленное число раз слышал: «Вон сам смотрит!»

Три дня назад мечеть закончили. Четыреста восемьдесят колонн — каждая высотой более семи кулаш — поддерживали ее внушительный остов. В этой мечети, построенной сплошь из мрамора и отделанной золотом, правоверные должны молиться за здоровье властелина и благословлять его на священные походы.

Нежно-голубой купол мечети, казалось, придавал голубизны самому небу. Выжженный нещадным летним солнцем до тускло-серой безликости, весь в каких-то белесых пятнах и подтеках, он сегодня, благодаря стараниям умельцев-чудодеев, засиял ровно, прозрачно.

Лишь сегодня, на третий день нетерпеливых ожиданий, грянул, растекаясь с вышины, гортанный голос муэдзина, взывавший правоверных к намазу священной пятницы. После намаза торжественно-благостный Повелитель вышел из новой мечети и любовался снаружи ее красотой. Вокруг мечети величественно возвышались четыре минарета. У подножья одного из них застыл в

волнении и молодой зодчий. Повелитель приблизился. Зодчего охватило смятение. Он даже не поднимал головы, словно боясь, что голубой, прямым шестом устремившийся к небу минарет за его спиной вдруг обрушится, ему на голову. В горле пересохло, дыхание сперло, в груди стало тесно. Он будто окаменел и был готов в эти мгновения стойко вынести любые муки. И тут как назло, точно божье наказание, запершило в горле, что-то некстати зашевелилось там, ища выхода, и он, уже задыхаясь, судорожно повел раза два кадыком и захлебнулся кашлем. Потом еще... и еще. Лицо побагровело, надулось.

Пестрая ханская свита, проплывавшая мимо, круто остановилась. В тот же миг унялся и злополучный кашель. Слепящиеся глаза ненароком скользнули по нерослому человеку в середине свиты. Он, запрокинув голову, смотрел на вершину минарета. Что-то подсказало зодчему, что этот невысокого роста человек и есть всемогущий Повелитель. И зодчий поспешно отвел глаза, еще ниже опустил голову.

– Чей мастер построил? – слышался тихий, ровный голос.

– Из дальнего рода Ор-тюбе, – твердо и спокойно ответил старший мастер.

Выждав, пока удалилась роскошная свита и улегся серебрястый перезвон их украшений, он осторожно устремил взгляд вслед и наткнулся на встречные любопытные взоры. Многие рассматривали уже не минарет, а застывшего в трепетном волнении его творца.

Наутро следующего дня перед огромными воротами, украшенными причудливой мозаикой из драгоценных камней, среди шестидесяти мастеров стоял и юный зодчий из Ор-тюбе – Жаппар.

Привратники, вооруженные секирами, провели их внутрь. Приятным ароматом повеяло в лицо, словно из укромного уголка вдруг дохнул свежий запашистый ветерок. То было прохладное дуновение от бесчисленных фонтанчиков в хаузах, искусно расположенных в придворцовом саду. Крупным красным песком посыпанные тропинки были влажны, будто после недавнего дождя.

По обе стороны аллеи на каждом аккуратно подстриженном дереве сидело по одному заморскому павлину, и на их переливающихся многоцветьем перьях, точно бриллианты, поблескивали прозрачные капли.

Шесть индийских слонов, покрытых розовыми атласными попонами и с ярко-пестрыми паланкинами на широких спинах, покоряясь воле дрессировщиков, неторопливо и неуклюже опускались один за другим на колени и, грузно раскачиваясь, вновь не в лад поднимались. Шестеро ловких и поджарых пышноусых дрессировщиков в ослепительно белых и высоких чалмах, сидя в паланкинах, размахивали короткими дротиками и что-то отрывисто выкрикивали.

Тонконогие косули с любопытством взирали из-за деревьев на это диво, но, едва почуяв приближавшихся людей, разбегались врассыпную.

Шестьдесят прославленных умельцев со всего света подошли сначала к трем мальчикам, смиренно восседавшим на пышном персидском ковре под легким шатром возле могучего тутового дерева, и, опустившись на одно колено, молча поклонились. Приняв поклон, мальчики встали и повели мастеров в глубину сада к тенистой лужайке перед дворцом, где на вышитой плотной подстилке возлежал, подмяв две пуховые подушки под бок, сам Повелитель. Он задумчиво смотрел на выложенный мрамором синий хауз, в котором плавали румяные наливные яблоки, а посередине, вскипая и вспыхивая радужными искрами, взмывал тугой струей белопенный фонтан. Когда до Повелителя осталось шагов двадцать, все спускались на колени и, сложив руки на груди, принимались отвешивать поклоны.

Повелитель едва высунул руку из-под широкого рукава и сделал какой-то знак семерым визирям, почтительно сидевшим в сторонке.

Главный визирь приложил обе руки к груди и направился в угол тенистого навеса.

Вскоре он появился вновь. За ним несколько джигитов несли небольшие плоские чаши на длинных, до земли, шелковых полотенцах.

Главный визирь что-то сказал, но юный зодчий от удивления и волнения ничего не расслышал и не понял.

Джигиты с чашами на вытянутых руках подошли к коленопреклоненным мастерам и со звоном просыпали на их опущенные головы по горсти мелких золотых и серебряных монет. Потом, наклонившись, протянули с подноса каждому небольшой, с кулак, тугий мешочек, завязанный шелковым шнурком.

Главный визирь дернул подбородком. Обласканные ханской щедростью мастера разом встали, отступили на несколько шагов и, отойдя к тутовому дереву на обочине тропинки, расположились в его тени. Повелитель приступил к приему, чужеземных послов. Они также сначала отвесили поклон трем мальчикам – любимым внукам властелина. Потом мальчики приняли из их рук свернутые трубочкой грамоты и направились к Повелителю. В трех шагах от него они преклонили колени и с низким поклоном протянули свитки. Дворцовые слуги подвели послов под руки, за ними цепью тянулись слуги с подарками. В десяти шагах от Повелителя послы опустились на правое колено, сложили ладони и уронили головы на грудь. Слуги замерли рядом. К послам направились теперь визири и так же под руку подвели их еще ближе.

Послы робко сделали насколько шажков и, не размыкая ладоней, присели на пятки.

Повелитель обменялся с ними несколькими фразами. Мастера под тутовым деревом ничего не расслышали. Многие были впервые допущены в ханский сад и теперь глазели на все это пышное великолепие с разинутыми ртами.

Послов усадили на возвышение через тропинку напротив визирей.

На почтительном расстоянии от ханской свиты слуги поставили плоские кожаные чаши с дымящимися кусками мяса и, поклонившись, бесшумно удалились. Явившиеся вместо них мужчины в кожаных фартуках, как по команде, вытащили из ножен кривые ножи и с необыкновенной ловкостью начали крошить мясо на мелкие кусочки.

В тенистом ханском саду к струящимся запахам цветов и свежести прозрачных фонтанов примешался густой сытый дух копченой конины, брюшного конского сала, вяленого огузка и нежной сладковатой баранины. Покрошив мясо, джигиты искусно разложили его по золотым, серебряным и глиняным чашкам.

Показалась новая группа слуг с расписными деревянными мисками. Не расплескав ни капли жирного бульона, они поставили миски на землю, добавили какую-то приправу, подготовили тузлук. Потом, перемешав его, разлили половником по плоским чашам с мясом, поверх горки, сложив вчетверо, положили тоненькую лепешку и тоже удалились.

Распорядители дворцовых церемоний поднесли чаши с блюдом Повелителю, послам, визирям, а менее именитых гостей, тех, кто сидел поодаль и пониже, принялась обслуживать дворцовая челядь.

После мяса угощали фруктами. А завершили трапезу хмельным кумысом, настоящим на меду.

Потом в круг вступили посольские свиты, учтиво стоявшие все это время в сторонке. Они несли подарки для властелина и шли медленно, степенно, с поклонами, позволяя насладиться взору диковинными и дорогими дарами — алмазными саблями, инкрустированными драгоценными камнями, шубами из редчайшего меха с вышитым орнаментом, иранскими коврами, слитками золота, жемчугом, рубином, сапфиром, сверкавшими на подносах, шкурами неслыханных зверей. Подойдя к Повелителю, они на мгновение опускались на колени, замирали. Повелитель знаком показывал, что благосклонно принимает подарки. Послы сгибались в подобострастном поклоне.

Посольские свиты чинной цепью потянулись к ханскому дворцу.

Повелитель встал. Высочайший прием был окончен.

Шесть гигантских слонов, опускаясь на колени и касаясь длинными хоботами земли, воздавали честь гостям, возвращающимся с ханского приема.

Стража у ворот опустила копья и склонила головы. В тот же день Повелитель объявил, что в честь окончания строительства мечети устроит большой пир.

На открытой, зимой и летом пустующей равнине за дворцовым садом темной ночью запылали костры, один за другим выростали шатры. Здесь на площади и раньше проводились многолюдные торжества: всем жителям города были отведены определенные, заранее размеченные улицы-ряды в соответствии с их состоянием, общественным положением, чином и ремеслом. По обе стороны «улиц» протекает звонкий арык. Каждый заблаговременно знал место, где ему полагалось ставить свой шатер.

Уже на следующее утро огромное пространство за садом запестрело разноцветными шатрами. С самого края лепились небольшие, невзрачные шатры сапожников, портных, мелких ремесленников; ближе к середине заметно возвышались более просторные и красочные; а в самой середине торжественно раскинулись пышные шатры честолюбивых и спесивых богачей.

Бесчисленные шатры, заполнившие широкую равнину и словно по ступенькам поднимавшиеся к середине все выше и выше, казались издалика сказочно-пестрой многокрылой и многоярусной ордой-ставкой, горделиво устремившись к поднебесью. И, как завершение необыкновенного ансамбля, в самом его центре за огромным четырехугольным пологом, высотой в полтора человеческих роста, возвышался величественный ханский шатер. Его венчал купол на двенадцати жердях-шестах в двадцать человеческих ростов. С вершины каждого шеста спадали, словно струясь, разноцветные шелковые ленты. В глазах рябило от этих гигантских ярких гирлянд, точно сплетенных из живых цветов. С четырех углов непомерно огромного шатра тянулись к середине четыре столба, крест-накрест связанные волосяными арканами и с полумесяцем на верхушках, а на их стыке была сооружена крохотная башенка.

Изнутри шатер был отделан ярко-красным сукном с золотой вышивкой. По четырем углам, у основания купола, были нарисованы орлы, взметнувшие перед полетом крылья. В доме с шатром Повелителя расположились одиннадцать юрт его жен. Каждую из юрт окружал туго натянутый шелковый полог разных цветов. Шатер властелина связывали с юртами причудливые, как лабиринт, проходы.

Одиннадцать юрт и шатер находились за общей оградой, вокруг которой выстроились дубовые бочонки с вином.

Шесть вооруженных отрядов, днем и ночью не смыкая глаз, сторожили ханскую ставку. Без особого разрешения главного визиря никто не смел приблизиться к ней.

Перед гостями Повелителя охрана опускала отточенные копья, холодно сверкающие на солнце.

Между склоненными копьями прошел в ханскую ставку и зодчий из Ор-тюбе. Повелитель оказал ему великую честь, пригласив его в первый день пира, чтобы в своем шатре угостить вином.

Трон Повелителя был установлен в середине шатра, а за ним тянулись ступеньками возвышения для многочисленной ханской семьи.

Едва гости чинно расположились по своим местам, как в шатер, звеня подвесками и, кувыркаясь, вбежали придворные шуты. На площадке перед троном они показали

шутливое представление, высмеивающее ничтожных правителей-шахов, побежденных великим Повелителем в последнем походе.

Гости, однако, не осмеливались смеяться в присутствии властелина; не смеялся и Повелитель, соблюдая достоинство. Выходило, будто шуты забавляли самих себя.

Наконец представление кончилось, и казначей швырнул на поднос главного шута вышитый мешочек с монетами.

Шуты, склонив головы до земли и мелко перебирая ножками, отступили к выходу.

В этот миг из-за соседнего полога показалась Великая Ханша. Она была в пышном красном платье, вышитом драгоценными нитями. На груди притягивало взор ожерелье, в котором симметрично перемежались рубин и жемчуг. Длинный подол несли сзади на вытянутых руках пятнадцать молодых женщин. Лицо Ханши было густо покрыто белилами, брови насурьмлены. Воздушная вуаль слегка скрывала увядающие черты. На голове возвышался в форме минарета безукоризненный тюрбан, щедро усеянный драгоценными камнями. Края его волной спадали на плечи. Макушку тюрбана украшала золотая коронка с тремя крупными пламеневшими рубинами. Пышные перья филина обрамляли голову ханши, мягко свисая к ее ушам. Сложный головной убор ханши тяжело колыхался при каждом ее шаге, и несколько женщин придерживали его с боков. Черные волосы ханши были распущены на плечи. Огромная свита из ста разнаряженных женщин сопровождала старшую жену Повелителя.

Шествие ханши и ее свиты возглавляла группа евнухов. Они шли размеренной, тяжелой поступью, раздуваясь от важности и спеси, и на многочисленную толпу, низким поклоном приветствовавшую ханшу, глядели свысока, с едва скрываемым презрением.

Ханша уселась чуть позади властелина.

Через мгновение из-за другого полога вышла Младшая Ханша в сопровождении не менее пышной и величественной свиты. Она заняла место чуть пониже Старшей Ханши. А уже за нею расселись семь снох Повелителя.

Ханский шатер мгновенно преобразился, стал похож на сад эдема, по которому разгуливают вечные девственницы-гурии.

Молодой зодчий чувствовал себя как во сне и, замирая

сердцем, все глядел и глядел на прелестных женщин, разнаряженных в шелка и атлас, увешанных золотыми, серебряными, бриллиантовыми украшениями, и в глазах его рябило, и слегка кружилась голова от буйства бесчисленных ярких красок.

Когда ханши и их свита, шурша одеяниями, позванивая подвесками, наконец-то расселись, всем поднесли вино и кумыс. Сначала вышли ханские отпрыски-ханзады — с белоснежными полотенцами в руках, за ними — статные, ловкие, как на подбор, юноши-слуги, неся на золотых подносах маленькие золотые чашки с напитками.

На полпути ханзады преклонили правые колени. Потом шелковым полотенцем осторожно обхватили чашки, поданные слугами, и, подойдя к ханшам, с поклоном протянули им напитки. Как только ханши приняли из их рук чашки, ханзады отступили на шаг и, опустившись на колени и потупив взор, ждали, пока им вернут пустую посуду. Потом все так же, полотенцем обхватив опустошенные чашки, передали их слугам и, вновь поклонившись, вышли из шатра. Среди гостей, на отдельном деревянном возвышении сидели и шестьдесят мастеров. Испить ханскую чашу до дна являлось непреложным законом. К заходу солнца, заметно пошатываясь, уже плохо соображая, что к чему, гости покинули ханский шатер и разбрелись по своим улицам.

Надвигалась летняя ночь. На черном южном небе перемигивались звезды. Дневная духота растворилась во мраке. Между бесчисленными шатрами, как бы перемигиваясь, запылали яркие костры. Вокруг костров толпился возбужденный весельем люд. Вечернюю тишь распарывал могучий рев длинных, как шест, кернаев; им вторили несмолкаемая дробь барабанов, перезвон дутаров, выражавших хмельную радость и восторг жадной до зрелищ толпы, тягучий, глухой напев гыжаков, тонкая трель рожка и других диковинных инструментов. В круг костра то врывались тонкостанные юноши в тюбетейках, в пестрых легких халатах, туго перепоясанных яркими кушаками, и, загораясь от собственной удали, пускались в залихватски-огненный пляс; то врывались, кружась в истоме, легконогие красавицы, шелестя шелковыми нарядами, мелькая черными, туго заплетенными косичками и белыми, как серебристая рыба в воде, руками.

Разморенные вином и обильной пищей мужчины рас-

полагались группами по несколько человек возле медного самовара, с наслаждением потягивали чай и, похохатывая, отпускали двусмысленные шутки.

Ровно потрескивал огонь под огромными казанами, и, когда повара приоткрывали плотные деревянные крышки, сладкий аромат доспевающего плова струился над землей, наполняя сытным духом всю округу. Черноусые гладкие шашлычники, засучив рукава по локоть, сноровисто вращали шампуры над саксаульным огнем, и от кебабов, покрывающихся румяной корочкой, сочился жир, с шипением капая на уголья... С усов и молодых, и старых стекало вино.

Слух ласкали сладкие напевы, ноздри щекотали приятные запахи.

Под черным небом причудливо выплясывали над тысячей костров багровые язычки пламени.

Все сильнее разгоралось веселье. Все громче звучал смех под покровом ночи.

На ханском пиру гулял-веселился народ.

Во время таких торжеств строго запрещались козни, интриги, взаимные упреки и обиды. В час веселья человеку надлежит быть выше мелких недоразумений. Важно не переступить границы приличия. Ну, а для драчунов и смутьянов, дерзко нарушающих заведенные порядки, на всякий случай было поставлено на холме поодаль несколько виселиц.

После пира Повелитель отправился в новую мечеть, сотворил намаз, получил благословение святого сеида и выступил в поход на запад.

2

Богач Ахмет, у которого жил зодчий Жаппар, выдавал дочку замуж.

Три недели продолжалась суматоха на тихой улице, где в вечернюю пору обычно слышалось одно лишь сонное бормотание арыка. И больше всех суетился, раздуваясь от спеси, сам бай Ахмет.

Падкий до шумных торжеств, торговец еще за неделю до свадьбы приказал достать из заветного сундука давно приготовленные праздничные одежды и с утра до полудня вертелся у зеркала.

— Эй, жена, подойди-ка.

А жена в это время то ли сад поливала, то ли лепешки

в печке-тандыре пекла – не расслышала сразу зов мужа.

– Оу, жена, оглохла, что ли?

Со двора, словно из-под земли донесся заполошный голос:

– Что случилось, бай-ака?!

Торговец возмутился:

– Да иди же, тебе говорят!

Жена, торопливо вытирая о подол руки, тотчас присе-менила.

– Посмотри-ка на меня.

– Ну...

– Не нукай! Не видишь разве?

– Вижу, бай-ака...

– Что, дура, видишь?

– Вас вижу, бай-ака...

Бестолковость благоверной вывела Ахмета из себя. Сорвав с головы огромную чалму, замахнулся на жену, застывшую в недоумении, и вытолкнул вон.

Молодой зодчий отдыхал на глиняном возвышении у входа, прислушивался к их перепалке и тихо смеялся. Сколько раз приходилось ему быть свидетелем причуд хозяина. Он был неизменен в своих привычках...

Обычно возмущение бая Ахмета проходит не скоро. Но постепенно его ворчание утихает, глядишь – и через часок-другой он торжественно появляется в дверях. На голове – искусно закрученная десятиметровая чалма, на плечах – багрово-красный бархатный чапан, на ногах – синие сафьяновые кебисы. Тугое брюхо крепко-накрепко затянуто широченным ремнем в серебряных пластинах. На груди чапан расстегнут, чтобы виднелась ослепительно белая шелковая рубашка.

– Как я выгляжу, почтенный устод?

– Отменно, бай-ака!

Бай Ахмет, самодовольно ухмыляясь, спускается по ступенькам беседки и кричит жене, хлопчущей в углу двора:

– Эй, жена... скажи всем: сегодня лавка закрыта.

И, размахивая руками, точно стреноженный, мелко-мелко перебирая короткими ножками, он направляется к воротам.

Возвращается торговец при вечерних сумерках. Едва войдя в ворота, вопит:

– Жена! Осталась у тебя вода в кумгане?

Потом, опустив ноги в теплую воду в медном тазу, он громко рассказывает, желая, чтобы услышали его все – и жена, подливающая из чугунного кумгана кипятков, и Жаппар, учтиво вышедший навстречу хозяину, и дочь, готовящая ужин у тандыра, и ишак, сосредоточенно хрумкающий сено в углу двора, и арба-двуколка, задравшая оглобли кверху, и глиняный дувал, местами обвалившийся и почерневший от времени, и редкие звезды, тускло мерцающие на еще белесом небе, и тихая улица, убаюканная монотонным бормотанием арыка, и любопытные соседи, и темнеющие вдалеке таинственными силуэтами ханские дворы и сад, и даже весь необъятный мир – услышали длинный и восторженный рассказ бая Ахмета о том, чьи купеческие магазины он посетил сегодня, кому показал свой торжественный наряд, с кем поспорил, пошутил, поругался, кого задел за живое, на чьего перепела делал ставку, сколько чайников зеленого чая выпил в чайхане – все, все до самых мельчайших подробностей. Закончив рассказ, он сбрасывает на руки жены чалму, чапан, шальвары, рубаху, кушак, сафьяновые остроносые кебисы, нагружая ее до самого подбородка, и, вспомнив вдруг что-то очень важное, неожиданно спрашивает:

– Кстати, сколько приготовила стеганых одеял?

И, выслушав ответ жены, строго наставляет:

– Смотри, свадьба на носу... не оплошай...

Бай Ахмет придает лицу озабоченное выражение и, достав табакерку, долго нюхает душистый табак. Потом два раза кряду оглушительно чихает, отчего вздрагивает все подворье и, словно избавившись с этим чихом разом от всех забот и тревог, а заодно и от всех слов, он удовлетворенно молчит. После обильного ужина он валкой походочкой, точно раскормленный селезень, отправляется на мужскую половину, плюхается в постель рядом Жаппаром и, едва коснувшись головой подушки, могуче всхрапывает. Молодой зодчий, невольно прислушиваясь к «ночному пению» своего хозяина в два голоса – туда и сюда, то понемногу затихающему, то вновь нарастающему с необыкновенной силой, долго не смыкает глаз.

Тихо-тихо в большом городе великого Повелителя. Огни под треногами за глиняными дувалами давно погасли.

Все спят. Один Жаппар бодрствует. Ворочается с боку на бок, изводит себя бесконечными думами и лишь к утру погружается в забытие.

Просыпается он от неожиданной тишины. Еще не соображая, в чем дело, оглядывается вокруг: постель бая Ахмета пуста. Но тут доносится до слуха зодчего тихий скрип двери на женской половине, и Жаппар, улыбнувшись в полусне, поворачивается на другой бок.

Наконец пришел день свадьбы, которого едва ли не больше всех других ждал сам бай Ахмет. В четырех местах во дворе раскалили казаны для плова; на длинных шампурах над саксаульными углями доспевал кебаб. В тандырах-печках жарко пылал огонь.

Причудливая смесь запахов струилась вокруг: во дворе – запах блюд, на мужской половине – запах вина и пота, на женской половине – запах фруктов и духов.

Пиршество продолжалось весь день. Время от времени взмывали над гулом людских голосов звуки дутара и треск барабанов. На мужской половине в кругу, под четкую дробь бубна, плясал, прищелкивая пальцами, тонкий подросток, а мужчины, плотным кольцом обступившие его, гулко били в такт кулаками по потной, волосатой груди; на женской половине, извиваясь танцевала девушка, а женщины дружно и восторженно хлопали в ладоши.

С заходом солнца в комнату мужчин кази, специально приглашенный по случаю бракосочетания, позвал жениха и свидетеля со стороны невесты. В расписную чашу с освященной водой он бросил серебряное кольцо. Прочитав молитву-благословение, кази попросил жениха выпить глоток из чаши, которую тут же через свидетелей передал на женскую половину. Когда и невеста отпила глоток, чаша вернулась к кази. В присутствии сватов и свидетелей с обеих сторон он благословил священный брак.

Вновь расстелили дастарханы. Веселье продолжалось. А в полночь жених передал на женскую половину весть: он горит желанием увидеть невесту.

Женщины забежали, засуетились. Все взяли в руки зажженные свечи и приготовились встретить жениха. В комнате за шелковой шторой-занавесом невеста осталась одна.

В сопровождении ватаги джигитов жених направился на женскую половину. И только распахнулась дверь перед ними, как началась суматоха, поднялся гвалт. Женщины с криками набросились на джигитов, стараясь отбить от них жениха. Джигиты, ухмыляясь, защищались. Запах-

ло горелым. На ком-то загорелась одежда, кто-то опалил невзначай бороду и спешно прикладывал к ней подол чапана. Все же, как и положено по обряду, женщинам удалось завладеть женихом. Его подхватили с двух сторон, повели к невесте, остальные тайком кинулись за ним.

Потеряв жениха, джигиты вернулись на мужскую половину, вновь подсели к дастархану.

Жених в это время щедро одаривал женщин, чтобы они смилостивились над ним и показали невесту. Девушки пели и танцевали, веселя и подбадривая жениха.

А невеста, притихшая, задумчивая, терпеливо восседала одна-одинешенька на пышной горке из сорока сложенных одеял-корпе – приданое, которое она завтра увезет с собой. Лишь в досталь одарив и утешив бойких подружек невесты, взволнованный жених получил возможность пройти за занавес. Молодым принесли чашу плова и свежие фрукты.

Наступила глубокая ночь. В комнате, заставленной тюками, увешанной коврами, всюду валялись одежды невесты, на полу стояли ее кебисы. Молодых уложили на брачную постель. Игривые молодки, выходя из комнаты, загасили свечи и прильнули к окну и двери, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Некоторое время они стояли молча, затаив дыхание, потом вдруг пришли в радостное возбуждение и принялись понимающе переглядываться, хихикать. Вскоре шорохи и возня в комнате улеглись, и смех сразу слетел с лукавых губ молодаяк. Пошептавшись, одной поручили постучаться к новобрачным.

На стук вышел жених, молодаяк ловко скользнула внутрь и скоро вернулась с подарком. Что-то шепнула сверстницам, застывшим в великом нетерпении, и те радостно и облегченно рассмеялись, всей ватагой заспешили к матерям жениха и невесты, чтобы обрадовать их доброй вестью и получить от них положенный подарок.

На другой день, с утра, изрядно утомленный жених направился на мужскую половину, чтобы в последний раз попить с друзьями. Отныне он хозяин дома, глава семьи и не пристало ему возиться с холостяками.

Джигиты, как это обычно бывает, начали подтрунивать над молодым супругом, намекать на его любовные подвиги на брачном ложе. Один Жаппар угрюмо молчал, а вскоре и вовсе покинул расшумевшихся сверстников-зубоскалов.

У него раскалывалась голова от гвалта и суматохи со вчерашнего дня. До тенистого тутового дерева у ворот он еле доплелся.

Пир кончился в середине второго дня. Жених, по обычаю, уехал к себе, невеста осталась пока в отчем доме. Бай Ахмет, словно не решаясь расстаться с праздничным одеянием, слонялся без дела из дома во двор и назад. Невеста, как взаперти, сидела в комнате с ширмой-занавесом. Соседки, наперебой обсуждая подробности прошедшей свадьбы, перемывали посуду.

Жаппар чувствовал себя разбитым. На людей, суетившихся перед его глазами, смотрел с удивлением, словно не понимая, зачем они тут.

И ночь почудилась ему невыносимо душной, он метался в постели на мужской половине, потом не выдержал, встал, сунул босые ноги в кебисы и выбрался во двор. Полная луна заливала мир молочным светом. Казалось, даже ветхий глиняный дувал выбелила чья-то волшебная рука. Выморочная тишина стояла вокруг. Только однообразный сухой хруст доносился из угла двора: серый ишак отрешенно хрумкал сено.

Жаппар прислонился к деревянной опоре навеса, подставил грудь ночной прохладе. Вдруг что-то глухо шмякнулось неподалеку. Жаппар посмотрел в сторону ворот, но ничего не увидел. Неужели померещилось? Он прислушался. Ни звука. Только ишак в угловом загоне с треском жевал свое сено. Странно, звук был такой, будто грузный мешок ударился оземь. Шлепая просторными кебисами, Жаппар вышел из-под навеса. И опять показалось, что кто-то воровски шмыгнул в тень за домом. Зодчий остановился, затаил дыхание. Сердце гулко заколотилось. Наконец, решившись, он стремительно шагнул в тень, и тут же кто-то выскочил из-за угла и кинулся к дувалу. Хлюпая кебисами, Жаппар бросился следом. Беглец затравленно оглянулся, потом полез на дувал, но сорвался и прижался к стене. И, когда Жаппар настиг его, вдруг с облегчением сказал:

— Э, так это ты, оказывается... А я-то думал, Ахмет-агай.

Жаппар по голосу узнал жениха. Тот, встопорщив черные кустистые брови, как-то странно ослабилась, то ли с неприязнью, то ли с жалостью, посмотрел на зодчего и спокойно, уверенно, широкой развалочкой направился к дому. За ним по земле волочилась несуразно длинная тень.

У угла длинная, как шест, тень переломилась, метнулась напоследок, точно хвост собаки, и исчезла.

Жаппар застыл, как в полусне, и растерянно смотрел на пустынный под зыбким светом луны хозяйский двор.

С той ночи в течение еще недели продолжались посещения жениха. В полночь раздавался под окном глухой звук, а через мгновение — скрип двери на женской половине.

Однако через неделю жениху почему-то расхотелось придерживаться исконного обычая, по которому полагалось посещать невесту тайком, под покровом ночи, не попадаясь на глаза ее родителям, и так в течение целого года, лишь после чего он вправе забрать богом данную супругу к себе. То ли он что-то заподозрил, то ли наскучило каждую ночь лезть через дувал — кто знает. Через неделю он посреди белого дня увез невесту из родительского дома.

Теперь, возвращаясь вечером после работы домой, зодчий Жаппар чувствовал какую-то непонятную тревогу и пустоту. Вокруг дома тянулся все тот же старый, обшарпанный, местами обвалившийся дувал. В одном углу громоздилась арба-двуколка, задрав длинные оглобли. В угловом загоне все так же отрешенно и монотонно хрумкал сеном серый ишачок. И все же словно опустел двор, обезлюдел, потускнел. Бай Ахмет, хотя и по-прежнему поглаживал тугой живот, однако уже не говорил так громко в восторженно. Остепенился Ахмет, поскучнел Ахмет. Жена и вовсе бессловесной стала. Лишь по едва заметному колыханью черной паранджи и длинного, до пят, коричневого чапана можно было догадаться, что душа еще не покинула ее иссохшее, покорное тело.

Комнату, в которой во время свадьбы находилась ширма-занавес, теперь предоставили Жаппару. Здесь юная байская дочка проводила первые брачные ночи. Здесь еще не успели выветриться запахи духов, мазей, сурьмы, белил и нежного женского тела. Ложась к ночи в постель, Жаппар, обуреваемый тревожной истомой, жадно ловил эти запахи, такие непонятные и одновременно знакомые и приятные ему, рисовал в своем воспаленном воображении сладостно-желанные картины. Едва он закрывал глаза, как из угла крохотной комнатки неслышно приближалась к нему, точно плывя по воздуху, трепетная красавица в легкой, почти прозрачной накидке и с распу-

щенными шелковистыми волосами; но стоило только чуть приоткрыть веки, как ничего не было, кроме тусклого и зыбкого лунного света, струящегося в маленькое окошко. Так он лежал долго, то открывая, то вновь закрывая глаза, наслаждаясь дивным видением, пока не тяжелели веки, пока не наваливалась на него усталая дрема. Но и во сне не покидали его неясные грезы. Легкая тень полуобнаженной девы совсем рядом, на расстоянии протянутой руки, будто стелила себе постель. Вот она, таинственная дева, невесомо легла на белоснежную перину и замерла в ожидании. Он весь охвачен неумемной истомой, то жар, то холод прокатывается по телу, но отчего-то не в силах он шелохнуться и только изводит себя страхом, желанием, сомнениями. Он хочет подняться, но неведомая сила придавила его к постели. Он даже не в состоянии повернуть голову, она словно вросла в подушку. Он уже не видит прикорнувшую рядом деву, но чувствует, каждой частицей своего жаждущего любви тела чувствует ее. Он пересиливает себя, онемевшей рукой осторожно тянется к затаившейся деве; вот рука дотянулась до пуховой подушки и вдруг коснулась чего-то жесткого и ледяного. Жаппар просыпается в испуге. После таких тревожных мучительных ночей он и на работе чувствовал себя разбитым, квелым. Все валилось из рук. С тех пор, как бай Ахмет выдал дочку замуж, молодой зодчий стал замкнутым, молчаливым, мнительным.

Отправляясь в поход, Повелитель строго наказал не торговать на открытых городских площадях, в садах и на улицах, ибо нетерпимо, чтобы в лучшей в мире столице, надрывал глотки торговый люд и из-под копыт лошадей, ишаков пыль поднималась до небес; по распоряжению Повелителя для торговли должна быть построена длинная, на несколько верст, крытая улица с купеческими лавками и магазинами по обе стороны и с хаузами, в которых днем и ночью бьют фонтаны.

С тех пор круглые сутки кипела работа на стройке: рабы из крепости разрушали дома и дувалы на пути будущей крытой улицы; ночь напролет расчищали площадки, а утром приходили мастера со строителями-рабочими и продолжали тянуть длинный ряд купеческих лаков. Крытая улица для будущего базара дошла уже до центра города. Зимой промерзшая земля серьезно мешала грунтовым работам. То ли безмерно уставал Жаппар от

несмолкаемого грохота сотен каменотесов и бесконечной суеты на стройке, то ли очерствел душой и успокоился, только в последнее время он уже не метался во сне. Облик таинственной девы, преследовавший его, тоже заметно померк, поблек. Юная дочка купца Ахмета, которой пылкий зодчий втайне любовался каждый день, теперь навсегда, должно быть, исчезла, упрятанная за одним из бесчисленных дувалов-лабиринтов большого города, и со временем чудилось, что это милое, улыбчивое создание все больше и больше удаляется, как бы растворяясь в мираже далеких воспоминаний. И все же нет-нет, да и вспоминалась она, прелестная Зухра, так явственно, так живо, что у Жаппара больно сжималось сердце, словно касался его невзначай ледяной холод. Раньше постоянно в нем боролись тоска и страсть, попеременно одолевая друг дружку, теперь они обе точно обессилели.

Что-то изменилось в молодом зодчем. В его жестах, движениях, взгляде, манере хмурить брови чувствовались внутренняя решимость, затаенная печаль, сдержанность. Казалось, он весь сосредоточился на работе и отныне ничего не желает видеть, кроме поднимающихся на его глазах кирпичных стен.

Под его руками ряд в ряд бесконечной цепью ровно и прочно укладывались кирпичи, словно очищенные от его смутных надежд, туманной печали, удушливой тоски. Изодня в день росла, удлинялась крытая улица. Уже скоро два года, как отправился Повелитель в далекий поход. Главный мастер покоя лишился, подгонял, поторапливал строителей, старался во что бы то ни стало исполнить наказ властелина к его возвращению. Спозаранок приезжал главный мастер на стройку, внимательно и придирчиво следил за работой. Вот и сейчас оставил он легкую повозку у ворот и торопливо вошел под навес, где трудились каменотесы. Однако на этот раз он не задержался возле них, не обмолвился ни единым словом, а стремительно направился вглубь, где воздвигались стены. Может, опять поступил какой-нибудь срочный заказ? Мимо него шныряли носильщики, но и им главный мастер не сделал замечания. Отчего он такой озабоченный и серьезный? К кому он спешит? Какое дело гонит его спозаранку? Вот он повернулся и направился прямо к нему, молодому зодчему. Подошел, поставил ногу на грудку кирпичей, задрал голову.

– Жаппар, бросай все...

Что это значит? Жаппар недоуменно уставился ему в лицо.

– Собирайся! Идем во дворец. Тебя вызывает старший визирь.

Легкая повозка главного мастера быстро доставила их к белому дворцу старшего визиря. Охранники открыли ворота, расступились. Жаппар послушно последовал за главным мастером. Они прошли несколько прохладных, гулких, просторных залов дворца, вступили наконец в огромную голубую комнату, где в середине, на возвышении возле фонтана, восседал старший визирь. Он великодушно принял их поклон, пристально оглядел Жаппара с ног до головы; потом задумчиво пожевал губами и, словно решившись сказать что-то необычайно важное, открыл рот и опять устремил на молодого зодчего пытливый взгляд.

– Ты сказал ему, зачем я его позвал? – спросил он у главного мастера.

– Нет, господин, – ответил тот, сгибаясь в низком поклоне.

– Тогда выслушай меня, устод Жаппар. Младшая Ханша решила обрадовать великого Повелителя и в честь его возвращения из далекого похода построить минарет. Мы решили вам доверить эту честь...

Старший визирь со значением выкатил большие умные глаза. Видно, это было в его манере – предельно лаконично высказать важное решение, а потом исподлобья наблюдать, какое впечатление это произведет на собеседника.

Жаппар, словно не в силах выдержать тяжелый взгляд пучеглазого визиря, низко склонил голову.

Старший визирь покосился поверх Жаппара в сторону входной двери и лениво, врастяжку, без всякого выражения проронил:

– Надеюсь, вы все поняли...

Жаппар взглянул на главного мастера, как бы спрашивая, что и как следует в таких случаях сказать, однако тот сидел безучастно, с непроницаемым лицом, будто ничего не слышал.

Жаппар молчал, соображая про себя, что могло бы означать странное поведение главного мастера, но тут вдруг вспомнил, что старший визирь, сидящий перед ним,

дожидается его ответа и молчание становится уже неприличным, и торопливо и смущенно промолвил:

– Да... все понял...

Целый месяц выбирал Жаппар место для будущего минарета. Не осталось такого уголка в большой столице, где бы он ни побывал, пробуя грунт под ногами и внимательно оглядывая окрестность.

Наконец двуколка, на которой разъезжал молодой мастер, остановилась на открытом холме неподалеку от сада, где находился дворец Младшей Ханши.

Казалось, более удачного места для минарета не найти. Холм заметно возвышался над основанием равнинного города. И грунт был плотный, надежный, не супесь и не суглинок. Осадка в будущем должна быть незначительная. Здесь был не шумный, пестро застроенный центр, но и не слишком отдаленная окраина. А самое главное – на виду. Все открыто, всюду простор. Знаменитые мечети, медресе и ханские дворцы находились отсюда на почтительном расстоянии. Вокруг ничего примечательного, что могло бы привлечь взор. К северу от холма стоял лишь единственный дворец Младшей Ханши. Но и его не видно было из-за густо разросшегося, диковинного сада.

Здесь, на этом холме, после долгих колебаний и раздумий, собственными руками вбил молодой мастер кол.

И сразу ожил холм, весь изрытый сусликами. Со всех сторон, вздымая пыль, потянулись сюда груженые арбы. Горы жженого кирпича выросли вокруг подножья. Могучие рабы, раздетые по пояс, поблескивая бронзовыми, потными спинами под ослепительным солнцем, копали землю, шаг за шагом, взмах за взмахом, пядь за пядью вгрызаясь в ее чрево. С каждым днем на глазах рос вал вынутого грунта, и вскоре уже не видно стало черных от загара плеч рабов-землекопов. Жаппар от волнения был сам не свой. Целыми днями ходил и разъезжал он вокруг холма, разглядывая со всех сторон место, где предстояло построить взлелеянный в душе минарет.

И настал тот день, когда сорок землекопов, вырыв котлован, вышли на божий свет. Теперь в котлован опустился сам Жаппар. И хотя здесь, под землей, было удивительно прохладно по сравнению с поверхностью, где пекло нещадное солнце, Жаппару уже через день-другой стало скучно и неуютно. Он спешил подняться наверх, рвался к свету. Порой чудилось, что если он вскоре

не выберется туда, на белый свет, обрамленный синим небосводом, то здесь его навсегда заполонит какое-нибудь подземное чудище. И он с нетерпением ждал кожаные носилки, на которых спускали к нему сверху кирпич и раствор.

Наконец он выложил основание минарета и выбрался наверх. Казалось, из-под земли выростал могучий каменный ствол, которым поневоле любовались все прохожие. Молодой мастер испытывал приятное волнение и гордость от этих восторженных взглядов. И когда он видел, что кто-нибудь из многочисленной толпы, хлопчущей там, внизу, всецело поглощен созерцанием его рождающегося творения, все его однообразные движения, привычная монотонная работа искусного каменщика, тяжелый труд, утомлявший мышцы и оуплявший разум, вдруг сразу обретали особый смысл и значение. В такие мгновения усталость как рукой снимало.

Упорно, день за днем растил он стены минарета и с каждым новым рядом все заметнее удалялся от земли, от рабов, месивших внизу глину. Теперь рабы доставляли ему камни и кирпичи на носилках, поднимаясь по внутренним шатким лестницам. В узком, как труба, минарете он целыми днями пребывал в одиночестве. Поредели ряды любопытных зевак, с нескрываемым восторгом наблюдавших за растущей на глазах башней и ее строителем-чудодеем. Правда, от них теперь и толку никакого не было. С высоты крутых и круглых стен люди внизу казались игрушечными, точно нарисованными, с нелепо растопыренными руками и ногами, и мастер уже не мог видеть восторга в их глазах и не мог услышать лестной похвалы из их уст. И кирпичи снова не в меру отяжелели. И усталость, как прежде, сковывала мышцы. Размеренная, бесконечная кладка кирпича к кирпичу чем-то напоминала шажки стреноженного скакуна и утомляла, надоедала своим однообразием. Теперь он с особым нетерпением ждал, когда рабы поднимутся к нему и вывалят из носилок кирпичи к его ногам. Он обостренно прислушивался к каждому звуку. Сначала снизу докатывался глухой, раскатистый гул, как из пустой бочки, потом все явнее, резче, четче слышались шаги. Рабы были из далеких, неведомых стран. Он не понимал их, они — его. Но когда где-то рядом чувствовался крепкий, острый запах соленого мужского пота, обычно ему неприятный, молодой

мастер говорил рабам что-то радостное. И они, невольники, сверкая зубами, приветливо улыбались в ответ, хотя и не понимали его.

Башня между тем уже возвышалась над ближайшими домами и строениями. Узкие улочки близ лежащих махалля и суэта в крохотных двориках – все было видно, как на ладони. По узким щелям меж приземистых мазанок взад-вперед двигались, копошились, точно какие-то чудные существа, пешие и верховые на ишаках. Их странный, неуклюжий с вышины птичьего полета облик и бестолковая, беспорядочная возня на земле вызывали невольную улыбку. Особенно базар ничуть не отличался от муравейника. Даже многокрасочные, яркие товары, всегда радующие глаз, отсюда, с вершины, казались бесцветными и незначительными.

Странно: люди вроде бы себе назло придумали эту мелочную, бессмысленную суету. Словно мало им необъятного божьего пространства, будто боятся они простора, еще при жизни добровольно замуровали себя в душные каменные мешки, в тесные расщелины, где изо дня в день толкуются, как в ступе. Совершенно непостижимо, почему эти беспокойные двуногие смертные, копошащиеся в гигантском сером муравейнике, так восторгаются и дорожат своей мнимой жизнью, где, сшибаясь, как льдины в половодье, бьются и хватают друг друга за глотки ради богатства, чинов, положения, славы и прочей мишуры. Мудрено ли не свыкнуться в эдаком котле, постоянно сталкиваясь друг с другом?! Какая злая сила, смешав, сгрудила их в одну кучу, когда столько безлюдной, вольной шири вокруг?! Живи они вразброс по беспредельной степи, какой вражина позарился бы на них? И, наоборот, разве не велик соблазн растоптать, расшвырять, развеять кишаций муравейник? Великий властелин, разрушивший за свой век не один подобный муравейник, из года в год расширяет свой собственный. Для чего, к примеру, понадобилась вот эта строящаяся башня? Для того, чтобы ласкать взор всякого встречного-поперечного? Или привлечь внимание врага, намекая, что здесь, у подножия минарета, раскинулся еще один человеческий муравейник? Или, наоборот, в знак предостережения, чтобы никто не приблизился к этой смрадной свалке, чтобы оставались на вольной воле?.. Для чего?.. Какой смысл?.. Он, мастер, во всяком случае, не знает. Он просто полу-

чил еще в прошлом году задание от пучеглазого старшего визиря и принялся за дело. Говорят, такова воля Младшей Ханши, которая там, в густом саду, из какого-то уголка наблюдает за ним. И зачем ей понадобился этот каменный столб – шайтан знает. Когда посещали его подобные непрошенные мысли, ему вдруг нестерпимо хотелось на простор, чтобы избавиться и от этого шумного, многолюдного города, от бесконечных и путаных, как улочки, дум. Его неодолимо тянуло в великую степь, чьи причудливые миражи зыбились, играя, под боком неприглядных глиняных окраин. Однако в какую бы сторону он ни повернулся, куда бы ни посмотрел, всюду перед его глазами тянулись невзрачные, унылые, как непролазная осенняя грязь, глиняные дувалы и стены, похожие на огромный, наводящий тоску своим однообразием серый полог. И чтобы не задохнуться в этой смрадной житейской грязи, он отчаянно карабкается, лезет вверх по крутой каменной башне, туда, к синему, прозрачному поднебесью.

И только теперь Жаппар понял, почему нужны минареты. Оказывается, они выражают высокое и гордое стремление рода человеческого отрешиться хотя бы на мгновения от всего привычного и низменного, бескрылого, что притягивает, придавливает, клонит неодолимо и со всех сторон к земле, где на уровне ослиного хвоста незначительное кажется значительным, а ничтожное – великим, где повседневную мелочную недостойную суету зачастую выдают за подлинную жизнь, отрешиться от всего мнимого и подняться, взлететь, может быть, даже наперекор судьбе, на высоту, вострепнуться непокорным духом, чтобы можно было узреть истинно величественное, чем прекрасен и сам беспредельный мир, и высшее творение жизни – человек. Ведь неспроста даже суслик и тот время от времени испытывает потребность оставлять свою опостылевшую, вонючую норку и растянуться поодаль у подножия холмика, выставив солнцу круглый бочок, и смотреть, смотреть маленькими глазками-точками, жадно и с наслаждением, на нескончаемый божий мир, смутно ощущая, что помимо подземных мышинных забот существует еще и другая, таинственно непостижимая жизнь, в честь которой он и выводит свою торжественно-писклявую песню.

Быть может, этот минарет, точно прорвавшийся из земли, не просто выражение гордой и дерзкой челове-

ческой мечты, а неодолимый порыв, неумемная тяга самой земли, многотерпеливой и многострадальной, к безмятежно раскинувшемуся над ней загадочному голубому небу? Разве эти маленькие жженые кирпичики в его руках еще вчера не были недостойной серой глиной под копытами ишака? А вот сегодня, словно, одухотворенные некоей чудодейственной силой, передающейся через его руки еще недавно бесформенной глине, превращаются в вполне осознанную, прекрасную, манящую цель – в гордо устремившийся ввысь минарет.

В прошлом году, когда на этом месте собственноручно вбил кол, он также, стоя на гребне древнего кургана, подолгу вглядывался в выжженное солнцем небо, но ничего не увидел тогда, кроме всего лишь на миг всплывавшего из мрака небытия и тут же исчезающего видения. Таинственно-величавый минарет, возникавший вдруг перед его глазами, так же неожиданно исчезал, будто проваливался сквозь землю. Но еще год назад здесь, на холме, испещренном норками сусликов, он твердо знал, что дивное видение, рисовавшееся в его воображении, превратится, непременно превратится из сказки в быль и станет великолепным минаретом, способным вызвать радость и восторг.

...Вспомнились события восьмилетней давности.

Вслед за серым ишаком, изо всех сил тащившим вверх по крутому склону песчаного увала два больших полосатых корджуна, понуро брели отец и сын. Полмесяца продолжался уже их утомительный путь. Лишь возле одиноких, редких колодцев, покрытых сверху саксаулом и кустарником и расположенных друг от друга на расстоянии двух, а то и трехдневного пути, они останавливались на недолгий привал.

Отец брел чуть впереди и время от времени резко останавливался и распрямлял, морщась от боли, онемевшую от долгого подъема спину, застывал, держась за бока, а потом, обреченно вздохнув, вновь продолжал путь.

И только безропотный серый ишачок не выказывал усталости. Откинув назад длинные пыльные уши и повесив голову, мелко-мелко, точно заведенный, перебирал точеными ножками. За многие века он крепко усвоил, что в неволе у двуногих ему все равно нечего ждать покоя. Он знал, серый ишачок, вернее, чувствовал нутром, что в этой унылой пустыне где-нибудь да и будет корот-

кая остановка, где и напоят его, и на выпас отпустят. И сделают это двуногие не ради него, не из-за жалости к нему, а прежде всего ради себя самих. А коли так, то нечего роптать на судьбу, нужно покорно идти вперед и вперед, не оглядываясь по сторонам. Эту нехитрую истину серый ишачок познал едва ли не с рождения.

Однако замыкавшему куцее кочевье смуглому худощавому юноше все это давно наскучило и надоело.

Отец проболел всю зиму и лишь в весенний месяц новруз поднялся с постели. Он вдруг с лихорадочной жадностью принялся за хозяйство: вспахал свой клочок земли, разровнял пашню граблями, посеял джугару. Потом взрыхлил почву под чахлыми фруктовыми деревьями, сиротливо торчавшими возле приземистой, плоскокрышей мазанки. Почистил, пообрезал ветки.

Все это он проделал молча, потом собрал всех детей и каждому, кроме Жаппара, дал наказ. Некоторое время спустя он вместе с Жаппаром собрался в путь. Жители маленького зимовья, затерявшегося в степи, стоя возле своих лачуг, долго смотрели им вслед.

Когда они, навьючив на серого ишака обшарпанный, выцветший полосатый корджун, вышли из ворот, соседки нетерпеливо спросили у матери:

– Куда это подался мастер-горшечник?

Мать недоуменно пожала плечами.

На какой путь решился вдруг отец, не знал до сих пор и сам Жаппар. Разное рассказывали люди об его отце. Но что было правдой, что досужим вымыслом, а то и просто сплетней, не представляли толком и сами дети. Более того, тайной было само появление горшечника. Однажды ненастной осенью прибыл он с каким-то караваном в эти края, да так и остался на зимовке. Молчаливый, замкнутый крупный чернолицый мужчина оказался незаурядным умельцем: под его пальцами словно оживала самая обыкновенная глина. Вскоре он зажил самостоятельно: в искусном горшечнике нужда была большая. Взял в жены девушку-сироту. Пошли один за другим дети. Из них он особенно любил и постоянно держал при себе первенца – Жаппара. Была у отца странная привычка – смотреть на все и всех пристально и строго; он замечал каждое движение, каждый порыв и прихоть самих детей, и только когда он смотрел на старшего, глаза его теплели, смягчались от непонятной нежности. Но и нежность он

проявлял по-особому. Он не обнимал детей, не обнюхивал их, как это принято у степняков, даже в знак одобрения не хлопал их по спинам. Но удивительно: от Жаппара он каждый раз отводил, прятал как бы суровый, колючий взгляд. И Жаппар это чувствовал, но не мог себе уяснить, чем он заслужил отцовскую милость. Во всяком случае уже года два сын, выполняя поручения отца, не озирался боязливо по сторонам, как прежде, а держал себя вольно и достойно.

Отец время от времени выезжал на поиски глины. Из зимовья на берегу безымянной речушки, не то впадавшей в могучую реку, не то вытекавшей из нее, он выходил, ведя на поводу ишака, спозаранок и весь день плутал по степи, по оврагам, буеракам, возвращаясь к вечеру с полными разномастной глины корджунами. Два года назад, в весеннюю пору, в один из таких своих походов взял он с собой сына. Отец шагал впереди, на расстоянии брошенной палки, а сын-подросток, еще не ходивший далеко от аула, трусил позади верхом на ишаке. Они прошли низину-лужайку за аулом, где паслись козлята и ягнята, и поднялись на песчаный косогор. Отсюда, с вершины, все виднелось далеко вокруг. Там, внизу, в лощине, окруженной бокастыми рыхлыми барханами, притаился их кишлак — разбросанные там, сям, точно горсть джугары на дастархане бедняка, невзрачные, плоские мазанки. Крохотные участки земли, огороженные полуобвалившимися дувалами, издалека напоминали хитросплетение мозаик. Над крышами вился, точно пук растеребленной шерсти, сизый дымок. Родной кишлак, который, чудилось ему, не просто исходить от края до края, теперь со стороны, с гребня бархана, казался особенно маленьким и убогим. Чуткое, пылкое сердце подростка, испытывавшее боль, сочувствие и жалость ко всему маленькому и беззащитному, сейчас, при виде неказистого, в бурых пятнах кишлака в низине, неожиданно и странно дрогнуло.

Колотя пятками неторопливого ишака, мальчик спешил за отцом, ушедшим вперед. Рыхлая супесь постепенно сменилась твердым суглинком. Путники поднялись на ровное, как доска, плоскогорье. Горизонт, казавшийся в кишлаке таким близким и доступным, здесь, на плато, необычайно расширился. Небо, одним краем задевавшее землю, тут, на просторе, стремительно рванулось ввысь.

Отец с каким-то упорством шел все дальше и дальше,

будто задался целью непременно дойти до горизонта. А Жаппару тот зыбившийся вдали таинственный горизонт чудился недосыгаемым. Гладкое, со скудной растительностью плоскогорье тянулось бесконечно: сколько бы ни трусил покорный ишачок, а казалось, будто стоит на месте.

Солнце перевалило зенит, а отец, угрюмый, суровый, шел не останавливаясь. Лишь после обеда впереди на однообразной равнине появился круглый холм. Вначале он казался довольно высоким, но при приближении холм оседал на глазах, будто какое-то чудище подтачивало его снизу, а когда путники подошли уже совсем вплотную, он как бы и вовсе слился с равниной.

Отец поднялся на его макушку и долго стоял, всматриваясь в далекую даль. И хотя он отправился на поиски глины, до самого холма не поинтересовался почвой под ногами. Но и добравшись до холма, он, казалось, забыл про глину, а высматривал что-то совсем другое там, за горизонтом. Вдали дрожало, зыбилось, курилось голубоватое дремотное марево, словно стараясь смягчить суровый, жесткий взгляд отца. Мальчик был заметно взволнован от этого бескрайнего пространства, от необычной, звенящей тишины, от величавого спокойствия вокруг. Временами он чувствовал нечто похожее на оторопь, по спине прокатывался холодок, будто он один на один столкнулся нежданно-негаданно с каким-то чудищем-великаном, который, и в страшном сне не снился. У серого ишачка тоже слезились глаза; он удивленно помаргивал и прядал ушами. Мальчик тщетно силился понять, в чем заключалось притягательное колдовство беспокойного и куда-то манящего миража у далекого горизонта и почему у отца, так жадно вглядывавшегося вдаль, все мрачнее становится лицо.

С той поездки в мальчика точно вселился дух тревоги. Отныне он будто задышался в тесной лощине, укрывавшей их кишлак. Он уже не мог, как прежде, увлеченно копаться в крохотном садике за их мазанкой. Его неодолимо влекло на простор. Теперь он с охотой выгонял на выпас козлят и ягнят маленького кишлака. Выбирался подалее из узкой лощины, отпускал козлят на лужок, а сам, лежа на спине, зачарованно смотрел на небо. И постепенно к необъятному миру, словно онемевшему от извечной тишины, вдруг возвращались звуки, которые,

казалось, только и поджидали мечтательного подростка. Вначале под необъятным и бездонным куполом небосвода неожиданно оживал невидимый жаворонок; вскоре к его звонкой трели подключалось многоголосое щебетанье и с неба, и с земли; возле норок грелись на солнышке, лоснясь тугими боками, суслики и, разморенные теплом и истомой, блаженно пересвистывались. Немного поодаль с удовольствием щипали нежную весеннюю мураву ягнята и козлята, и их хрумканье слышалось подростку очаровательной мелодией. Звуки и шорохи заполняли весь мир. А перед глазами голубело бескрайнее небо.

Очутившись наедине с беспредельным мирозданием, подросток долго-долго лежит на приятно теплой земле, предаваясь неизъяснимым грезам, погружаясь в омут неведомых мечтаний. Он с упоением впитывает радость и восторг, навеянные, благодатной тишиной и щедрой природой, чуждой спешки, суеты и мелочных, совсем необязательных, ненужных забот. Взгляд не может налюбоваться таинственной игрой теней, переливом красок, заполняющих пространство между небом и землей. Легкое белесое облачко, как бы нехотя, невесомо поднимавшееся над краем горизонта, мерещилось тайным посланником невидимого творца вселенной, отправленным, чтобы разведать, узнать, что происходит в подлунном мире. Неслышно скользнула по небосклону пушистая тучка, отбрасывая прозрачную тень; казалось, мягкие ладони оглаживали нежно поверхность земли. Вот, неуловимая тень чуть коснулась и погруженного в свои сладкие видения подростка.

Он вздрагивает, как от прикосновения потусторонней силы. Но тут облачко скользит-проплывает дальше, солнышко, вновь выглянув, припекает заметнее, и благодатная дрема продолжает убаюкивать мальчика. Хрупкая грудь его, еще не познавшая стужу жизни, наполняется благодатным теплом весеннего солнца, и мечты бесконечной вереницей, дивно разрастаясь, проходят перед его затуманенным взором.

От долгого лежания немеет спина, тяжестью наливаются ноги. Мальчик приподнимается на локтях. Звуки утишились, улеглись. Солнце склонилось к закату. Но словно беспокоясь за мечтательного подростка, который, забывшись, может остаться один в безлюдной степи, оно, повиснув у горизонта, вприщур наблюдало за ним. И, только

заметив, что мальчик встал, поднял лежавший в сторонке прут и направился к своим ягням, оно удовлетворенно скользнуло за горизонт.

С наступлением сумерек вместе с дойными верблюдцами, с ревом спускающимися по песчаному косогору, возвращается с выпаса и козопас в кишлак, зажатый лощиной.

То, что Жаппар сторонится кишлачных мальчишек, день-деньской резвящихся на пыльных пустырях между мазанками, и предпочитает одиночество, должно быть, по душе отцу. В свою мастерскую, куда он очень неохотно допускал посторонних, отец однажды сам привел Жаппара. В мастерской, приютившейся в углу дувала, пахло сыростью и горелой глиной.

Едва отец сел за гончарный круг и раскрутил нижнее колесо станка, тихий закуток наполнился резким, дребезжащим скрежетом, точно в клочья разрывавшим тишь, и черный, до блеска отполированный круг начал вращаться с невероятной быстротой. Сухая пепельно-серая глина, бог весть из какой дали доставленная на ишаке, сначала превратилась в тугое месиво, а потом на стремительном гончарном круге обрела новые, замысловатые формы.

Жаппар с жадным любопытством, словно на чудо в руках заезжего фокусника, смотрел на тугие оголенные икры отца, в холодно-пристальные глаза, неотрывно следившие за вращением колдовского круга. Он впервые видел чудодейственную силу согласованных человеческих движений. Казалось совершенно непостижимым, как из чего-то обыденного, незначительного — из ничтожной глины, разбросанной между степными травами, из воды, неизвестно откуда вытекающей и куда исчезающей, от неверного пламени, рождающегося из сухих и ломких ветвей саксаула и превращающегося в дым, из мимолетных, почти неуловимых движений могут появиться удивительно красивые вещи, способные радовать взор.

Вскоре отец усадил за гончарный круг сына. И Жаппар чутко уловил: чтобы сотворить прочный и красивый кувшин, нужны не только глина и вода, не только ярко пылающие под кузнечными мехами уголья саксаула, но и недюжинная сила, огромное напряжение всех мышц, зоркий взгляд, способный замечать каждую песчинку, каждую крупинку, бесконечная борьба надежд и сомнений, изматывающая душу и нервы, — все девяносто ответвле-

ний чувствительных жил, стремление и старание, жестокая, постоянно преследующая неудовлетворенность собой, великое, поистине святое терпение, и, должно быть, еще многое другое, чему нет точного названия в человеческом языке.

На старое верблюжье седло в углу среди хлама теперь уселся отец. Он так же пристально и придирчиво следил за каждым движением сына, как еще недавно наблюдал за работой отца Жаппар. Однако на лице отца не было ни тени удивления или восхищения. Сын чувствовал на себе лишь его неумолимый, колючий взгляд. Казалось, опытный мастер-горшечник своим суровым взглядом хотел как бы подстегнуть, закалить душевные порывы неокрепшего юнца.

С утра до вечера чувствовал Жаппар на себе пытливый взгляд отца, и тогда впервые осознал, что истинного мастера оттачивает и закаляет посторонний глаз. Понял он тогда также, почему отец не пускал любопытствующих в свою мастерскую. Подлинный мастер не может и не должен раскрывать каждому встречному-поперечному тайны своего ремесла, точно так, как знающая себе цену гордая красавица искусно укутывает в шелка свои прелести, одним лишь мимолетным взглядом умея возбудить желание. Люди не должны видеть капельки пота на измученном челе мастера, его усталость, отчаяние, мучительно сдвинутые брови, достаточно того, что они видят творение его рук — пусть любуются, удивляются, восторгаются. Для мастера-творца нет большего счастья.

Мастеру отнюдь не безразлично, как смотрят на изделие его рук. Ему свойственно смущаться, съеживаться, замыкаться в себе под неодобрительным, уничижительным взглядом и, наоборот, испытывать ликующую радость, гордость при виде удовлетворения или восхищения в чужих глазах. Больше всего радовался опытный горшечник не вполне опрятным поделкам сына, а тому, что он неравнодушен к вниманию людей, чуток к постороннему взгляду и по-хорошему честолюбив. Он благодарит судьбу за то, что в одном из его сыновей теплилась искорка вдохновения. И с того дня со всей страстностью и упорством принялся обучать сына своему кровному ремеслу.

Отныне Жаппар просиживал целыми днями в сырой тесной мастерской отца. Вскоре он научился не замечать

резкого запаха горелой глины. И к визгливому скрежету гончарного круга быстро привык. Он уставал от этой утомительно-однообразной работы, однако ни скуки, ни тем более отвращения не чувствовал. Наоборот, постигая тайну за тайной, он все больше и больше привязывался к отцовскому ремеслу.

Однако, должно быть, опасался опытный гончар, что нелегкий этот труд отпугнет сына, утомит, наскучит раньше времени, и потому иногда на целую неделю запирали мастерскую. Пусть поразвевается сын, отдохнет. Мальчик слонялся несколько дней без дела, не находил себе места и занятия, рвался в мастерскую, к станку, к гончарному кругу.

Вскоре появились в кишлаке первые кувшины, сотворенные Жаппаром. Однажды он увидел девушку, шедшую с его кувшином за водой. Это его так поразило, что он шел за ней до самой реки. Стройная, тоненькая девушка, слегка покачиваясь, дошла до крутого берега, наполнила его кувшин водой и, мягко ступая по пухляку, медленно направилась в кишлак. Юный гончар, сдерживая дыхание, юркнул за дувал. Почудилось ему, что догадается прелестная дева, зачем он бредет за ней...

Теперь в кишлаке, пожалуй, нет такого дома, где бы не пользовались кувшинами Жаппара.

И все, наверное, шло бы своим чередом, если бы отца не позвала, таинственная дума в далекий путь.

Казалось, пескам не будет конца-краю. Сколько ни бредешь – вокруг ни живой души. Изредка что-то промелькнет перед утомленными глазами, подойдешь – не то куст тузгена, не то саксаула. Куда они идут – Жаппару неизвестно, и это делает путешествие по унылым бесконечным пескам еще более бессмысленным.

Жаппару стало невмоготу брести по зыбучим барханам – все вверх и вверх – вслед за угрюмым отцом и покорным ишаком. Юноша бросается навзничь на раскаленный песок. Над ним в извечном молчании застывшее небо. Обшарь его глазами от края до края – ни единого облачка не заметишь. И только у горизонта, возле узкой полоски между небом и землей, что-то зыбится, дрожит. Чем выше, тем прозрачнее бездонное небо. И, кажется, хранит оно великую тайну, и недоступен его язык человеку. Юноша вскакивает и, вспахивая ногами сухой, податливый песок, бежит вдогонку серому ишаку.

К вечеру, когда солнце повисло над горизонтом, горбатые барханы начали редеть, впереди простиралась песчаная равнина. И только тут отец остановился и внимательно огляделся окрест.

Пески были испещрены загадочными морщинками... Отец долго вглядывался в причудливые кольца и извилины, нарисованные пустынной бурей на мягком песке, казалось, он читал суры из священной книги, переписанные каким-то сверхъестественным каллиграфом на это бескрайнее пространство. Потом, еще раз оглянувшись, решительно повернул к востоку.

У стыка красных песков с бурыми подзолами началась продолговатая впадина. С наступлением сумерек приземистые песчаные холмики стали отбрасывать более длинную тень, и оттого они словно выростали, тянулись к редким перистым облакам, откуда-то появившимся на потускневшем небосклоне...

Серый ишак будто погружался в черный омут... Пологий поначалу склон впадины становился все круче. Отец, видно, не решался углубиться в мрачные заросли. Дойдя до такого места, откуда еще вполне проглядывался край впадины, он остановился и привязал ишака к саксаулу. Потом отвел Жаппара в сторонку шагов на двадцать. Здесь, в густой саксаульной чащобе, он нашел небольшой лаз, точнее, довольно узкую щель, откуда было удобно наблюдать за краем впадины, и приказал Жаппару залечь.

– Смотри в оба, пока я не вернусь!

Отец, отстраняя рукой кривые саксаульные сучья, осторожно двинулся вглубь. Сухой валежник потрескивал под его ногами. Вскоре треск утих. Видно, и отец нашел себе удобное укрытие...

В тугайных зарослях сыро и прохладно... Запах прели и пыльцы жузгена щекотал ноздри. Багрово-красные лучи заходящего солнца точно застряли в верхушках саксаула, не в силах пробить непролазную чащобу. В зарослях быстро смеркалось. Сквозь узкую щель едва просматривалась песчаная полоска впадины. Жаппар, зябко поеживаясь от одиночества, прислушивался, но ни шороха не расслышал. Усталость от долгой, изнурительной ходьбы понемногу одолевала его, веки отяжелели, поневоле смеживались. Юноша стряхивал с себя сонливость, с усилием открывал глаза.

И вдруг он увидел через щель: впереди будто что-то промелькнуло. Жаппар протер глаза, глянул пристальней. Да, верно: путник на верблюде. Голова обмотана высоченной чалмой. На приличном расстоянии огибая чащобу, путник подстегивал, торопил длинношеего рыжего дромадера, спешил в сторону Песков. На луке верблюжьего седла колыхалось, покачивалось что-то тугое, похожее на узелок. Должно быть, бурдюк с водой. Жаппар только теперь почувствовал, как пересохло у него во рту, как нестерпимо хотелось пить. Может, остановить путника, попросить напиться. Вспомнились слова отца: «Смотри в оба!» Кружилась голова, сердце колотилось. Он застыл, не отрывая взгляда от быстро удалявшегося одинокого путника. Только теперь увидел: в правой руке путник держал белый остроконечный посох, увешанный разными побрякушками. Выходит, дивана... Бродячий заклинатель. Юродивый. Эти странные люди, одетые в пеструю рвань, изредка заезжали и в их кишлак. И сразу же подумалось Жаппару: а может быть, туда, в его родной кишлак, и направляется сейчас дивана? Непонятная тоска охватила душу. Вздохнул Жаппар, заскучал, запечалился. Вон уже и не видно стало одинокого путника на верблюде-дромадере.

Голова раскалывалась, клонилась на грудь. Юноша наскреб горсть влажной, холодной глины и приложил к горячему лбу.

Солнце нырнуло за дюны. В щель было видно, какплыли вечерние тени. Еще некоторое время спустя непроходимую чащу плотно обступил сумрак. Казалось, ночная тьма повисла у самого края впадины, не решаясь проникнуть в саксаульные заросли. Небо белесое, бледное. В неверном освещении белый песок за опушкой обрел золотистую окраску. Кривые, затейливо переплетенные ветви кустов точно сомкнулись, скованные мраком.

Узкая, как лезвие ножа, лиловая полоска света над краем обрыва, постепенно слабея, вскоре совсем погасла. В небе робко зажглись редкие звезды. Казалось, им было неловко за ранний восход, и они смущенно переглядывались, перемигивались, но понемногу освоились на необъятном небосводе, осмелели, видя, что их становится все больше и больше, и вот они, ночные звезды, замерцали уже сотнями, тысячами, зароились, наливаясь ярким светом, нависли над чащей в пустыне, где черной ночью скрывались неведомо от кого отец и сын.

Черная южная ночь укрыла пустыню. Сразу же повеяло свежестью. Сон, необоримо наваливавшийся все это время на юношу, точно рукой сняло. Тяжесть спала с век. К глазам вернулась зоркость. Непроглядный мрак, плотно обступил со всех сторон. Ни звука, ни шороха. Тяжелая, тягучая, как смола, тишина. Все время чудилось, будто неведомая опасность подкрадывалась неслышно, по-кошачьи. В висках стучало. Оторопь сковала юношу. Он замер в ожидании, когда невидимое чудовище пустыни вонзит в него свои кровавые когти. Однако опасность не спешила обрушиться на него. Она, словно пес, хватаящий исподтишка, выжидала в сторонке, в двух шагах, зорко следила за каждым его движением, сторожко прислушивалась к каждому шороху. И Жаппар впервые подумал про себя, что лучше иметь перед собой видимого врага с занесенным для удара мечом, чем обмирать от страха в жуткую, выморочную ночь.

Она длилась, бесконечно. Вдруг в чаще послышался шорох. Потом шорохи усилились. Кто-то шел напролом, пробиваясь сквозь заросли кустарников и саксаула. Вскоре в чаще затрещало, захрустело, точно пламенем охватило сухостой. Корявый пенёк саксаула, за который давно уже держался оробевший юноша, точно живое существо, как бы прильнул, прижался к нему; казалось, даже пенёк всеерьез встревожился перед гулким, стремительно и неудержимо накатывавшимся треском. Жаппар еще в детстве слышал о диковинных зверях, обитающих в непроходимых зарослях. Он принюхался, пытаясь уловить запах, свойственный диким зверям, однако ничего не учуял.

Треск усилился, сливаясь в жуткий гул. Точь-в-точь косяк одичавших животных ошалело мчался в зарослях, круша все на своем пути.

Сухой ком застрял в горле Жаппара. Он хотел отнять руку от корявого пня, но не мог: пальцы свело, как в судороге.

Грохот, накатываясь, почти настиг его укрытие и вдруг, как захлебнувшись, откатился назад. Только теперь ослабли и разжались занемевшие пальцы. Упругая ветвь дрогнула, и саксаул издал невнятный шорох. Но Жаппару он померещился грохотом камня, обвалившегося с горы. На мгновение, казалось, и треск валежника на краю чащобы умолк. Может, и там услышали шорох и насторожились? Жаппар от волнения не знал, куда девать руки.

Он опустил на корточки и дрожащими руками крепко стиснул колени. А недавний грохот угас, унялся, словно и не было ничего. Юноша напряг слух. Все вокруг вновь погрузилось в безмолвие.

И вдруг прямо впереди, будто рядом, ярко вспыхнул огонь. Жаппар не поверил своим глазам, крепко зажмурился. Когда он снова открыл глаза, огонь впереди разгорался еще ярче. Длинные языки пламени жадно метались по сторонам, вытягивались вверх, и неожиданное ночное зарево, раздвигая мрак, заметно притушило тусклый блеск звезд. Вокруг огня копошились какие-то люди, мелькали фантастические тени. Некоторые выныривали из аспидно-черной темноты, швыряли что-то в огонь, и тогда пламя, взметнувшись, сыпало ослепительными искрами. Что это были за люди, Жаппар не догадывался. От обрыва к огню, причудливо перекрещиваясь, тянулись тонкие длинные тени. Присмотревшись, юноша увидел на стыке света и мрака несколько оседланных лошадей. Поводья были крепко привязаны к луке. У тех, что стояли ближе к огню, сверкали при отблеске пламени ножны, навешанные на седла. Страх понемногу проходил, уступая место удивлению и любопытству. Должно быть, лиходеи, коль держат при себе оружие и рыщут по безлюдной пустыне под покровом ночи. Возможно, именно их опасался отец, хоронясь в тугайных зарослях? А чего ему бояться? Разбойникам с большой дороги, подстерегающим богатые купеческие караваны, братъ с отца ровным счетом нечего...

С опаской поглядывал Жаппар из-за своего укрытия на ночных людей, безмятежно расположившихся вокруг ярко пылавшего костра. Вот они тесно уселись в круг, что-то оживленно обсуждают, головами кивают, руками размахивают. Долго следил за ними Жаппар, наблюдая за причудливой игрой несуразно длинных теней, разглядывая высокие мохнатые шапки и длинные сабли, болтающиеся на поясах. Юноша понемногу приходил в себя. Тот липкий страх, настигший его вместе с мраком, отпустил его. Как ни странно, костер, горевший впереди, и эти люди, нарушавшие ночную тишь, успокаивали его, словно разделяя одиночество. Стая хищников с оскаленными клыками, чудившаяся недавно в его воспаленном воображении, тоже исчезла. Ощущения притупились. Вновь тяжело навалились усталость и сон. Тени по-прежнему мелькали

у костра, но они уже просто казались нелепым видением; юноша недолго боролся с дремой, сон сморил его.

Проснулся оттого, что кто-то коснулся его плеча. Рядом стоял отец. Он молча подал знак: «Ступай за мной». Они направились к саксаулу, где с вечера томился на привязи покладистый серый ишак. Отец повел его на поводу, пошел в сторону обрыва, по которому они спускались вчера.

Едва они выбрались из чащи, забрезжил рассвет. У опушки юноша посмотрел туда, где ночью горел костер. На том месте чернела круглая проплешина. Но ни одной живой души вокруг.

Жаппар поразился. Выходит, в полудреме он и не заметил, когда и как ушли эти странные люди. Вскоре отец с сыном выбрались на широкую караванную дорогу, покрытую пухляком. Далеко впереди, сливаясь с горизонтом, виднелись пестрые горы. А ближе в прозрачном утреннем воздухе темнело что-то огромное, зубчатое. Неподалеку, на расстоянии конских скачек, торжественно тянулся в сторону предгорья невиданный доселе Жаппаром красочный богатый караван. Впереди каравана, вокруг могучего слона с золотистым шатром-паланкином, гарцевали всадники-нукеры. Караван сопровождала с двух сторон конная охрана. В самом конце ехал еще один отряд, вооруженный копьями. Длинное нарядное кочевье степенно спустилось в низину, плотно окутанную голубоватой дрожащей дымкой. Отец с сыном брели позади, стараясь не упустить из виду караван, но и с опаской поглядывая на грозных воинов, вскинувших над головой острые копья. Должно быть, эти воины разожгли прошлой ночью костер на краю чащобы. Жаппару теперь ясно стало, почему отцу понадобилось укрываться на ночь в густых зарослях тугая. Ведь все дороги и тропы, выходящие из Великих песков, зорко охраняются вооруженными отрядами, и не приведи аллах попасть им в руки в неурочный час. Не пощадят случайного путника. Но юноша еще не догадывался тогда о том, что эти воины были нарочно высланы вперед, как дозорная часть, обязанная обеспечить безопасность продвижения каравана мимо буераков, ущелий, тугаев и прочих разбойничьих притонов. Не знал он и того, что в золотистом паланкине за шелковыми занавесками сидела новая жена великого Повелителя — Младшая Ханша. Обо всем этом он узнал по-

том, во время чаепития, из уст словоохотливого хозяина плоскокрышей приземистой мазанки, которую отец еле разыскал среди узких и извилистых, как лабиринт, улочек, зажатых между глиняными дувалами на окраине большого города.

То был бай Ахмет, хозяин дома, где и поныне обитал мастер Жаппар. Ахмет долго стоял тогда перед ними, не узнавая отца. Толстый чернявый человек, уверенно расставив ноги, застыл у двери. Маленькие, узкие глазки на широком лоснящемся лице смотрели подозрительно.

Отец обстоятельно все объяснил:

— Вы что, почтенный Ахмет? Неужто запомнили меня? Я гончар из Ор-тюбе. Помните? Когда вы приезжали по торговым делам, не раз у меня ночевали. Еще говорили: «Будешь в городе, останавливайся у меня». Вот я и разыскал вас...

Хозяин узнал наконец гостя: приветливо приложил руки к груди. Потом открыл ворота. Грузно переваливаясь, провел гостей в дом. В отдельной комнатке трое мужчин долго пили чай. Тут-то купец и выложил все последние городские новости.

Отец в конце беседы сказал:

— Как видите, привел я сюда сына. Пока еще жив, хочу поручить его вам. Недавно проходил через наш кишлак один дервиш. От него я узнал, будто хан намерен построить в городе новую мечеть и для этого отовсюду собирает мастеров. Помогите, чтобы мой сын попал к ним.

Выяснилось, что купец Ахмет едва ли не всех знает в городе, кроме людей из ханского дворца. После душевной беседы за духмяным зеленым чаем на базаре с такими же, как он, купчишками, день-деньской зазывающими прохожих в свои крохотные, как птичье гнездо, лавчонки, оба мастера-гончара из Ор-тюбе, отец и сын, за какую-нибудь неделю оказались в числе строителей новой ханской мечети. Но едва выложили ее основание, отца свалила застарелая хворь.

Всего два месяца посчастливилось юному мастеру работать бок о бок с отцом. На стенах минарета, становившихся с каждым днем круче, он чувствовал себя как неоперившийся птенец, и сжимался весь, съезживался под любопытными взглядами. И так он беспокойно озирался по сторонам весь нескончаемый день — с того мгновения, как солнце поднималось на высоту аркана, до того, как

оно, изойдя нещадным жаром, скрывалось за горизонтом на виду у всех: робкий юноша, испытывал скованность и неловкость и, не смея поднять глаза, застенчиво косился то на солнце, то на других мастеров-каменщиков, копошившихся на стенах мечети, то в сторону соседнего медресе, откуда, по слухам, наблюдал за ними, не спуская глаз, сам Повелитель.

Как на раскаленных углях чувствовал себя Жаппар. Он изводил себя на работе; волнение, какая-то лихорадочная дрожь, нетерпение не оставляли его. Однажды, измученный, вернулся он после работы домой. Отец поманил его слабеющей рукой. Глаза Жаппара при виде угасавшего отца наполнились слезами; он даже не мог разглядеть его лица. Все поплыло вокруг, закачалось, замелькало, будто их комната невзначай погрузилась на дно озера. И в этом колыхающемся мире неподвижно белело беспомощное, высохшее тело старого гончара из Ор-тюбе. Из впалой груди вырывались хлюпающие звуки, не то стон, не то мольба, не то плач; они становились все реже, все слабее, а вскоре и вовсе оборвались. Сухая, жесткая рука безжизненно выпала из горячих ладоней юноши.

Теперь в большом и чужом городе он остался совершенно один. Он даже не мог вспомнить, что хотел перед смертью сказать отец. Одно только слово, точно невнятный лепет, застряло в памяти: «Не уезжай!» Теперь, взобравшись на макушку минарета, он ряд за рядом клал кирпичи, каждый раз на мгновение взглядывал вперед и больше ни на что не обращал внимания. Да и на что смотреть? Все одно и то же: приземистые глиняные домики и редкие пыльные чинары. Голубоватое небо во всю свою мощь и ширь, точно упиваясь своим величием, раскинулось над огромным пестрым городом. Юноша мастер уже заканчивал тот первый в своей жизни минарет, но с вышины его он так и не увидел ни горизонта, ни бескрайней бурой степи, по которой пришли они с отцом сюда.

Да-а... то было восемь лет назад.

И вот опять растил он стены нового, более высокого минарета. И снова, как тогда, кладя кирпич за кирпичом, каждый раз на миг смотрел вперед. Глиняных приземистых домиков стало еще больше, дувалы еще плотнее, улочки еще теснее, и, казалось, они закрывали горизонт серой, как зола, пеленой. Еще недавно соперничавшие по высо-

те с новой башней и расположенные неподалеку медресе, мечети, минареты теперь безнадежно остались внизу, словно осели, растворившись в мгlistой дали. С невиданной высоты уже проглядывались загородные сады. Жаппар настойчиво поднимался все выше, навстречу необъятному, прозрачному небу, где не за что было уцепиться... Он был уже во власти неумемного азарта: с каждым новым рядом стремился еще дальше, еще выше. С таким отчаянием со дна омута рвется утопающий на божий свет.

И те загородные сады, темневшие вдали, с каждым днем становились ниже, неказистее, неприметнее, пока не превратились в пеструю лиловую полосу, обрамлявшую серо-мутное пространство города. Вскоре стало возможным различить и линию горизонта, еще недавно сливавшуюся с пестро-лиловой полоской садов. Белесое, застывшее марево над нею поредело, поразвеялось, и все отчетливее просматривалась густая синь.

Как-то после полудня, когда в прозрачном воздухе растаяла хмарь, сквозь стылую синеву вдали Жаппар вдруг углядел что-то рыжеватое. Не веря своим глазам, он положил мастерок на кладку, тыльной стороной руки смахнул пот со лба и вгляделся пристальнее. Да, он не ошибся: густая синева горизонта приоткрывала рыже-бурое пространство. Так видится дрожащее дно сквозь прозрачную глубину.

Жаппар весь подался вперед, вытянул шею. Об этом мгновении он давно мечтал. Голубоватая легкая кисея горизонта, долгое время застилавшая ему даль, сейчас будто сжалась над зоркоглазым юношей, не устояла под его жадным нетерпеливым взглядом, дрогнула и отступила, раздвинулась. Серо-бурое пространство, притаившееся за смутным пологом горизонта, теперь ширилось, разрасталось на глазах, обрамленное дрожащей синеватой полоской.

Поднимаясь кирпич за кирпичом, ряд за рядом выше, выше, Жаппар уже не в силах был избавиться от ощущения, будто из-за дальней дали неудержимо накатывалась грозная и могучая волна, готовая вот-вот разом накрыть, захлестнуть все на своем пути — и кусты, и непроходимые заросли тугаев, и кажущиеся издалика неприступными минареты, и голубые купола мечетей, и слепленные из желтой глины мазанки и дувалы. И еще мерещилось ему,

что простор, стремительно надвигавшийся из-за открывшейся вдруг черты, спешит сюда, чтобы освободить его, одиночку, пришельца, сироту, лишившегося своей вольной степи и заживо замурованного в кирпичные стены...

Он не спустился с вершины минарета, пока не закатилось солнце и не сгустились сумерки. Наутро, чуть свет, он вновь был там же. Лишь на минарете, имея возможность видеть перед собой огромное пространство, загадочно простиравшееся за столичным городом Повелителя, он находил себе успокоение. Однако никаких перемен в той манящей дали он не заметил. Целыми днями с нетерпением ждал Жаппар, когда улетучится дымка у горизонта — затейливая игра теней. Но лишь после полудня миражи куда-то исчезли, простор открывался, сквозил, а пустыня, о которой так тосковала душа, оставалась безмолвной, безучастной ко всему на свете, не приближаясь и не отдаляясь. Это приводило его в уныние. И она, пустыня, точно этот опостылевший город, убивала своим равнодушием пылкие мечты молодого мастера, скрывала в своем безбрежном лоне родной и любимый до боли клочок земли, делая вид, что ничего не знает и не понимает. Радостная надежда, которой он жил всю эту неделю, разом погасла. Вершина минарета уже не влекла его. Раньше минарет чудился ему единственной дорогой, по которой он мог выбраться из душной теснины ханской столицы на желанный и вольный простор. Ну, что ж... из духоты и тесноты он, пожалуй, выбрался, на это он еще оказался способным, но вдохнуть жизнь в безликое пространство, избавить его от немоты и бездушия ему, очевидно, не под силу. И, выходит, напрасно он столько радовался и ликовал, когда поднимался хотя бы на вершок, будто одолел горную вершину, напрасно тянул жилы... Одни муки достались на его долю.

Теперь он чувствовал себя человеком, который по наивности пытался перейти широкую и бурную реку, вымачивая брод камнями, но потом запоздало понял, что ничего не выйдет из этой затеи, и застрял на середине пути, не смея ни вперед шагнуть, ни назад отступить. Идя по утрам на работу, Жаппар с досадой и неприязнью косился на сотворенный им минарет, который хотя и вознесся горделиво над землей, однако до поднебесья так и не дотянулся.

На стены минарета он поднимался с трудом, задыха-

ясь. Ноги наливались тяжестью, подкашивались, голова кружилась.

И работа как-то разладилась, мастерок валился из рук. Дни тянулись утомительно-бесконечно. Солнце, казалось, стояло на привязи. За городом, разморенная зноем, дремала бурая пустыня. И город точно вымер, окаменел. На улочках внизу не видно живой души. Воздух застыл, загустел, стал вязким, тяжелым, словно закисшее молоко. И даже на самой вершине минарета не чувствовалось свежего дуновения.

Ослепительное солнце выжгло и еле различимую отсюда бурую пустыню, и недавно еще темно-синюю полосу загородных фруктовых садов, и само небо над городом окрасило все в лиловый цвет спаленной травы - гармалы, из которой осенью женщины готовят щелочь. Казалось, некое чудовище, сказочный злой великан, засучив рукава, разводил на земле гигантский костер и сжигал все дотла, чтобы из горы пепла и щелочи варить потом в необъятно-огромном казане черное, как деготь, мыло. И раскаленное солнце чудилось все сжигающим огнем под тем непомерно громадным казаном.

Странная тяжесть и безразличие сковали движения. Жаппар будто беспощадно барахтался в вязкой жиже. Внимание рассеивалось, мысли путались, при всем своем желании и старании он не мог сосредоточиться. Перед глазами нет-нет да и возникало вновь давно забытое видение, от которого сладко сжималось сердце. Неприглядная в своей убогости лощина, где прошло его детство, родной кишлак. Вон и ягнята, резвясь, спешат на выпас, и над ними вьется-тянется сизый шлейф пыли... Стройная, гибкая девушка, слегка покачиваясь, идет к реке. Множество косичек трепещет, извивается на ее спине. На плече девушки кувшин. Его, Жаппара, кувшин...

Он вздрагивает вдруг, будто кто-то ущипнул его незначай, встревоженно оглядывается вокруг. Все то же: полдень, изнуряющая, отупляющая жара, кирпичные стены минарета. Внизу — сонный, точно вымерший город. Над головой — выгоревшее, пепельное небо.

Жаппар вспоминает только что промелькнувшие видения, родной кишлак. Почему он не остался там? Делал бы, как прежде, свои кувшины. Разве не все равно, кем ты проживешь свой короткий век в этом мире: чабаном или торгашом, горшечником или строителем ханских ми-

наретов? В конце концов все они копошатся и суетятся ради существования. И еще неизвестно, кто больше преуспевает, кто больше наслаждается жизнью. И может выгадывает тот, кто ни на шаг не отрывается от земли живет себе, как predetermined самой судьбой, а не бросается очертя голову в неведомый омут, где кипят страсти, повседневно, ежечасно отчаянно борются надежда и сомнения, где на долю одинокой душе выпадают одни лишь муки и страдания... Жил бы он себе тихо и скромно в своей ветхой лачуге за глиняным дувалом, даже представления не имея о тоске и одиночестве, царящих в многолюдном городе. И что только так властно притягивало уже обреченного отца в этом человеческом муравейнике. Что он в нем нашел? На что надеялся? Лишь на полгода хватило его здесь. Умер на чужбине, вдалеке от родного очага. Жена и дети даже горсть земли не смогли бросить на его могилу. И все ж у ворот смерти успел прохрипеть: «Не уезжай». Что это означало?

Остался Жаппар... Только много ль радостей изведаль? В том ли смысл и прелесть жизни, что попеременно оказываешься в объятиях то слепой, в цветастые лохмотья наряженной надежды, то убогой скуки, волочащей по земле свой измызганный, серый подол?

Почему отец так страстно желал, чтобы из его сына вышел чуткий мастер с божьей искрой в груди? Почему не обучил какому-нибудь простому, неприметному ремеслу, с каким худо-бедно прожил бы положенный век, не ведая ни горя, ни сомнений, ни обманчивых желаний? Помнится, отправляясь на поиски глины, отец подолгу стоял в безлюдной степи, задумчиво и отрешенно глядя куда-то вдаль. Неужели он тогда мечтал об этом городе, лежащем теперь у ног сына, несуразном, нелепом муравейнике, разморенном от зноя и покрытом пылью?!

Теперь вот и он, следуя заветам отца и зараженный его неумемной страстью, устремился навстречу миражумечте, все выше, выше, отчаянно ловя точку опоры в безбрежном пустом пространстве. Строить основание на зыби, искать опору в пустоте – напрасные потуги, безумная затея.

То ли от невыносимой жары и духоты, то ли от тоски и отчаяния, отравлявших сознание, в глазах молодого мастера потемнело, и все вокруг поплыло, точно в мареве. Опасаясь упасть с высоты минарета, он поспешно

спустился на две ступеньки. Странная, зыбкая пелена перед глазами словно густела, мрачнела, и шершавые кирпичики, едва схваченные раствором, еще не обмазанные глиной, тоже вдруг стали терять розоватый оттенок, и будто уплывали из-под рук, растворяясь в загадочной суете. Жаппару померещилось, что он повис между небом и землей. И только черную зияющую полость под ногами, узкий гулкий колодец, по стенкам которого он поднимался на вершину минарета, все размывающий зыбкий мрак еще не успел проглотить. И вдруг в черном, жутковатом колодце под ногами неожиданно вспыхнул яркий свет; потом, преломляясь, во все стороны устремились оранжевые лучики, по стенкам замелькали-заиграли блики; они разрастались, приближались, принимали фантастическое обличье. Казалось, кто-то невесомый, молчаливый неслышно подкрадывался к нему. Уже почти поравнялся. Вот он встал прямо перед ним. Тоже будто завис, окутанный густой текучей хмарью, между белесым небом и серой бездонной пучиной. Казалось, коснись они невзначай друг друга или столкнись в парении, и оба неминуемо сорвутся в мглистую пропасть. Странное видение чуть пошевелинулось, сделало еще один шаг к нему... По телу пробежала дрожь. И тогда все таинственное, как болезненное наваждение, разом развеялось, исчезло, все стало на свои места и приняло привычные обличье и окраску. Под ногами, на деревянном настиле, валялась куча шершавых розоватых кирпичей. Мастерок, весь измазанный раствором, чудом удержался на краю кладки. Смутный, неверный мир, каким он снится порой в дурном сне, растворился, улетучился, как серебристая осенняя паутина в жаркий полдень. Жаппар застыл, опешил, все еще находясь между сном и явью, не в силах различить, где видение, где подлинная действительность. Если это загадочное видение, окутанное колыхающимся маревом, было явью, то куда оно исчезло так мгновенно? Но если явь и есть то самое мгновение, когда все окружающее — только действительность, то откуда вдруг взялась эта дивная молодая фея в золототканых одеждах? Что ей понадобилось в недостроенном, сыром, липкой глиной измазанном минарете? Ну, конечно, никакая она не фея; просто судьбе угодно пошутить, посмеяться над бедным каменщиком, сомлевшим от нестерпимой жары и духоты...

Через редкую воздушную накидку, увитую золотыми

нитями, пылливо взирали на него большие, черные, как смородина, жгучие глаза. И если бы не эти живые глаза и тонкие, насурьмленные брови над ними, можно б было подумать, что игривый ветер занес на вершину минарета чью-то кисейную накидку. Таинственная хрупкая женщина, почудившаяся ему феей из древнего сказания, стояла безмолвно перед ним, облаченная в прозрачный, ослепительно белый шелк.

Жаппар, все еще борясь с наваждением, дерзко обвел ее глазами с головы до ног. Он должен был, наконец, убедиться: живая, из плоти и крови, женщина стоит перед ним или прекрасная мечта вновь поддразнивает его.

Острый взгляд мастера мгновенно заметил удивленно раскрытые, жгучие, чуть раскосые глаза. От черных искр, мерцавших в глубине зрачков, казалось, вот-вот вспыхнет легкая накидка.

Женщина, должно быть, догадалась, что мастер от растерянности не верит своим глазам. Тоненькими пальчиками подхватила она подол длинного парчового платья, даже под легкой накидкой блестящего в лучах солнца, мелко ступая, подошла к краю кладки, глянула вниз испуганно отшатнулась. Рукой она при этом невольно потянулась к пышному саукеле, чтобы не уронить невзначай, и на нем, посередине, над лбом, ослепительно сверкнул рубин. Она хотела что-то сказать, но то ли раздумала, то ли не знала, что следует говорить в подобных случаях, промолчала и смущенно улыбнулась.

От этой неожиданной улыбки, от легкого стыдливого румянца белое кроткое личико с большими горящими глазами вмиг ожило и стало еще прекрасней. Улыбка почудилась Жаппару знакомой. Более того, и сама молодая женщина, и ее невинная, неземная красота напомнили что-то близкое, дорогое, виденное уже однажды.

Все так же чуть приподняв подол платья, женщина направилась к ступенькам, ведущим вниз. На повороте под мелькнувшим платьем он увидел на миг ее тугие икры, плотно обтянутые белыми атласными шальварами.

Крохотная, легкая фигурка под пышной, прозрачной накидкой медленно удалялась, погружалась во тьму узкого ущелья.

Жаппар все еще не мог прийти в себя. Хотя дивную женщину в белой накидке и проглотил мрак, но ее смущенная улыбка, застывшая в уголке вишневых губ, и чер-

ные блестящие глаза, смотревшие в самую душу, словно навеки остались с ним в вязком воздухе на вершине минарета. Он стоял неподвижно, боясь испугнуть то чудное видение, что неведомой негой наполнило сердце, и еще долго глядел, растерянный, ошеломленный, на пустое пространство, окутанное хмарью. Потом нехотя потянулся рукой к мастерку.

Нет, все-таки где и когда он мог увидеть эти нежные, сочные губы и угольно-черные, блестящие глаза? Ведь неспроста эта загадочная женщина показалась ему такой знакомой. Кто она?.. Или кого она напоминает? Даже походку ее он будто знает издавна и видел много раз. Однако с кем же он сталкивается каждый, день? С рабами, подносящими ему раствор и кирпич, с хозяевами дома, где уже столько времени живет. Выходит, ни о какой знакомой не может быть и речи. Выходит, и на этот раз просто показалось... Постой, постой... Может, это и была сама Зухра, хозяйская дочка, выданная замуж? Ведь и ее он впервые увидел точно так же неожиданно. Правда, он жил с ней в одном доме, видел, как она молча ходила, удивительно легко и неслышно, по двору, и лишь изредка смутно и отчего-то тревожно угадывался ее стройный, гибкий стан под просторным и длинным до пят шелковым платьем. А лицо ее всегда скрывалось под чадрой. На мужскую половину она, конечно же, никогда не заглядывала.

Однажды юный мастер пришел домой, когда купец с женой где-то задержались. Кто-то тихо напевал во дворе. Он оглянулся, подошел к навесу и увидел Зухру. Она, легко и высоко подпрыгивая, сбивала с урючины спелые плоды. Чадра соскользнула на плечи, но девочка-подросток, увлеченная своим занятием, не обращала на это внимания. Вскоре она, должно быть, почувствовала на себе его пристальный взгляд, быстро оглянулась и обожгла его огненным взором. Он оробел. Зухра вскинула брови и смерила его долгим взглядом, не то любопытно-шаловливым, не то осуждающе-капризным. Он тогда впервые увидел открытое девичье лицо, широкий белый лоб, прямой маленький нос и пухлые, цвета спелой вишни, губы. Зухра вдруг спохватилась, вспыхнула вся и, поспешно поправляя чадру, побежала к дому. Он все глядел вслед, не в силах оторваться от трепыхавшегося на ходу платья...

С того дня, приходя домой, он невольно высматривал юную байскую дочь. Обостренный слух чутко улавливал каждый шаг девушки, молчаливо хлопотавшей возле матери, и даже едва различимый шорох ее платья. В отсутствие отца и Зухра оживлялась более обычного, старалась почаще попадаться на глаза юному постояльцу и, делая вид, что помогает вечно озабоченной матери, шмыгала взад-вперед по двору. Мельканье ее просторного платья и легкой чадры, которая, казалось, слетит с ее головы от малейшего ветерка, навевало приятную, волнующую кровь истому, и в душе молодого мастера рождалось, зрело, крепло неведомое чувство счастья.

В какой опустошительный и горестный огонь превратилось то робкое и загадочное чувство, он понял лишь тогда, когда во дворе бая Ахмета навсегда умолк желанный шорох платьев Зухры. Только теперь он осознал, как глубоко запала ему в душу девочка-подросток под воздушной чадрой. Долго потом горело сердце от тоски и желания, долго клял себя за нерешительность и беспомощность. Со временем смирился со своей судьбой, убедил себя в том, что та мимолетная радость никогда уж к нему не вернется. Так каким же образом Зухра вдруг очутилась сегодня здесь, на головокружительной вершине минарета? Как отпустил ее сюда ревнивец-муж с мрачными, кустистыми бровями? И как случилось так, что, видя ее перед собой, любуясь ее красотой, он вновь не промолвил ни единого словечка? Она, возможно, простила ему ту первую его растерянность, но сегодняшнюю его беспомощность, молчание она, конечно же, не простит. В ее представлении он теперь живой труп, без огня в груди, без гордости и чести. Искреннее сочувствие, до сегодняшнего дня не угасавшее в ее сердце, отныне наверняка превратится в холодную неприязнь.

Он глянул вниз. У минарета стояли четыре крытые повозки. Женщина в белой накидке, казавшаяся отсюда, с вышины, пушинкой над пепельной, выжженной землей, стремительно направилась к одной из них. За ней тянулась пышная свита. Несколько слуг бросилось вперед, распахнуло перед маленькой женщиной дверцу повозки, обтянутой золотистым атласом. Две женщины в желтых накидках, поддерживая таинственную гостью под руки, помогли ей подняться по навесным ступенькам. При входе в повозку от резкого движения белая накидка на мгно-

вение взметнулась и тут же, словно ревниво оберегая ту, что находилась под ней, от чужого, худого глаза, вновь опустилась. Поджарые, горячие кони, беспокойно перебиравшие ногами, рванули с места. Голубая шелковая занавеска на окошке трепыхалась, билась, играя со встречным ветром.

Молодой мастер зачарованно глядел вслед быстро удалявшимся повозкам. Сизый шлейф пыли, долго не оседая, волочился позади. Нарядный кортеж вскоре исчез за высокой оградой вокруг густого сада, в котором находился дворец Младшей Ханши. Только теперь Жаппару стало ясно, что за гостя удостоила его своим вниманием.

Все вокруг вдруг лишилось привычных очертаний. Из степи медленно наплывали вечерние сумерки, окутывая окрестности серой дымкой. Безразличный и вялый спустился молодой мастер с минарета. Как всегда, помылся. Рабов давно уже угнали в крепость. Возле минарета стояла одинокая серая повозка, в которой его возили на работу и домой. Еще утром, выйдя из повозки, он по привычке бросил взгляд на голые, корявые, еще не облицованные стены минарета и поморщился как от боли: на фоне голубого чистого неба его творение казалось грубым, несуразным и даже уродливым. Со смешанным чувством удивления, досады и откровенного отчуждения смотрел он на каменную, никому не нужную громаду, тупо устремившуюся ввысь. Впервые сегодня он так явно увидел и осознал всю ее претенциозную никчемность. Видно, одно желание руководило им — скорее бы подняться над лабиринтом глиняных дувалов, чтобы увидеть простор степей. И ради этой одной-единственной цели он клал кирпич на кирпич, ряд за рядом, и уже вполне довольствовался этим. И ночью, во сне, неотступно преследовало его вчерашнее видение: белая, невесомая, как мираж в знойный месяц, накидка и голубая шелковая занавеска, которую трепал на окошке повозки игривый встречный ветер. И этот легкий, трепетный мир, овеянный свежим осенним дуновением, прозрачным утренним воздухом и чистым, бездонным небом, казалось, грубо разрушала совершенно неуместная здесь каменная машина. И от этого несоответствия, внутреннего несогласия душа молодого мастера омрачилась, опустела.

Он, как всегда, вел кладку и после каждого кирпича растерянно поглядывал в сторону сада за высокой ка-

менной оградой. Все чудилось ему, что из какого-нибудь окна, укрывшегося в тенистом саду дворца, смотрит на него юная ханша. И каждый раз, конечно, видя это каменное чудовище, воздвигнутое им, она испытывает боль и унижение. Уродство, должно быть, убивает хрупкую, нежную, как ее накидка-кисея, мечту.

У Жаппара опускались руки. Он швырнул к ногам красный плотный кирпич.

Прозрачный, синью пронизанный воздух застыл, как гладь степного озера после бури.

Он был раздавлен. Он не знал, как дальше быть, что делать... Его волнения, старания, многомесячные труды неожиданно потеряли всякий смысл. Он понимал, что должен, как все эти долгие дни, продолжать кладку кирпича за кирпичом, ряд за рядом, но руки не слушались, это было уже выше его сил. Была у него цель, преследовавшая неотступно, — вырваться из тисков невзрачных глиняных дувалов и увидеть бескрайний голубой горизонт, словно выплеснувшийся из чаши вселенной. Это желание осуществилось. Увидел он, наконец, и долгожданный горизонт, точно через окошко глянул на беспредельный божий мир, только радость от этого оказалась недолгой и непрочной: желанная цель изо дня в день неумолимо удалялась, уплывала. Еще недавно этот минарет, дерзко устремившийся ввысь, казался ему могучей рукой доброго и всесильного великана, освободившего его из затхло-го, душного мирка городской окраины и поднявшего на спасительную высоту; однако теперь минарет будто держал его на привязи, не позволял свободно парить в поднебесье, сковывал порывы и потому походил на темницу-зندان, построенную только не под землей, а над ней. Словом, мастер чувствовал себя пленником, невольником, который не в силах и на землю опуститься, и в небо взмыть... Будто завис между небом и землей. Это, может быть, не менее мучительно, чем, скажем, заживо гнить в темнице. Там ты тоже связан по рукам и ногам, однако избавлен от любопытных глаз. А тут ни один не проходит, не взглянув на тебя. И каждый при этом волен судить о тебе как ему заблагорассудится. А что неприятнее чужого глаза и страшнее людской молвы?

Нет такого человека, который не терялся бы под пронзительным осуждающим взглядом, способным копьем вонзиться в грудь или стрелой в затылок. И, вероятно, нет

большей муки, чем знать, что именно на тебя глазают издалека и именно о тебе ведут досужие разговоры, но не знать, не догадываться, почему глазают и что говорят. Все это так, и тем не менее большинство человеческого рода отчаянно рвется к славе. Едва ли не в каждом сидит соблазн быть на виду толпы; для многих бесславная жизнь подобна затворничеству в темнице. А между тем, если честно признаться, большая слава и постоянная жизнь на виду — и есть подлинный ад. В темнице тебя угнетают и холод, и сырость, и бессилие, и безмолвие, и мрак — все это верно, но даже у такой жизни есть своя очевидная определенность. Но в чем прелесть и смысл мнимой свободы, если ты постоянно будто голым ходишь посреди белого дня по улице, ежась под бесцеремонными взглядами встречных-поперечных и гадая, почему один усмехнулся, другой выпучил глаза, а третий показал тебе вслед язык. И все-таки все желают известности, каждый норовит показать себя. Вот эта человеческая слабость — неумная жажда славы обрекла его на муки одиночества и загнала на вершину минарета, где он торчит на забаву скучающему глазу и праздному языку, словно овечий катышек на камышинке... Теперь ему стало совершенно ясно, что и больного отца, который вместо того, чтобы благо-разумно сидеть в своем крохотном кишлаке, делать кувшины и худо-бедно доживать у родного очага свой век, пустился в далекий и опасный путь. В чужой, неведомый город, гнала, лишив покоя, опять-таки эта самая пагубная страсть — желание добиться признания и славы. Теперь вот и он, Жаппар, оседлал строптивую лошадку удачи, именуемую еще зачастую мечтой; многие безумцы хватали ее за шелковую гриву и даже до поры до времени, случалось, скакали на ней, пьянея от счастья, но потом почти всегда оказывались на земле, у ее ног.

И сегодня, ясным утром, когда солнце еще не раскалилось и воздух не лишился прозрачной синевы, стоял он — уже в который раз! — на вершине, у края кладки, и потерянно озирался вокруг, не испытывая привычного нетерпеливого желания продолжить работу.

Все тот же город простирался внизу. Неказистые глиняные домики стояли там-сям, вразброс, похожие на обмусоленные мальчишкой кусочки сушеного творога на убогом дастархане. Небосвод был чист, без единого облачка, но непроницаем и равнодушен ко всему на свете.

Взгляд Жаппара долго блуждал в пространстве между небом и землей и, не найдя зацепки, вновь устремился в сторону сада Младшей Ханши.

Дворцовая площадь, укрытая сверху пышной листвой, сегодня – совершенно неожиданно! – открылась перед ним как на ладони. Оказывается, стремясь скорее увидеть манящую полосу горизонта, он совсем не обратил внимания на то, что находилось поблизости. Между тем дворец Младшей Ханши, ревниво оберегаемый от постороннего глаза, днем и ночью охраняемый вооруженными сарбазами, доступный лишь вольным птицам, прекрасно просматривался с высоты минарета. Ошеломленный этим открытием, он пригляделся пристальней и отчетливо увидел и белесые тропинки в саду, и круглые, как наперсток, зеленые лужайки, и зеркально-гладкие голубые запруды-бассейны. Нетерпеливая дрожь проснулась в нем. Руки сами потянулись к кирпичам, сваленным у ног. Ему хотелось скорее поднять кладку еще выше. Поднять на такую высоту, чтобы взору его были доступны все уголки таинственного дворца. И тогда... тогда он, безымянный молодой мастер, станет во всей вселенной единственным человеком, которому с высоты птичьего полета позволено любоваться вдосталь дворцом, куда грозный и всемогущий Повелитель запрятал прелестную юную ханшу. Даже сам всесильный владыка, покоривший немало стран из трех сторон света, не может обозревать укромный сад своей жены так, как это доступно молодому зодчему.

Куча кирпичей у его ног таяла на глазах. Мастер Жаппар в тот день даже не заметил, как стемнело.

Наутро, взяв в руку мастерок, он первым делом посмотрел в сторону сада ханши. Конечно же, подумал он, не исключено, что и юная ханша, сидя у одного из бесчисленных окошек, с любопытством наблюдает за ним. Теперь у него появилась ясная цель: он должен закончить минарет, чтобы он нависал над головой в любом – даже самом укромном! – уголке ханского сада.

Ранее, бывало, выложив ряд, он позволял себе передышку и предавался раздумьям. Теперь же работал споро, без пауз. Если будет так работаться и дальше, то через неделю минарет достигнет желанной высоты. Потом главное: его необходимо отделать, украсить так, чтобы он удивлял и восхищал взор каждого. Нужно оживить эту несуразную каменную громаду, вырвать ее из без-

молвия, придать легкость, изящество, блеск, найти особый цвет, оттенок, отражающий извечную гармонию неба и земли. Для этого сначала нужно найти форму, удачно завершающую вершину минарета. Если закончить минарет на одном уровне, ровно, то это придаст ему незавершенный вид, и тогда башня при любой высоте все равно будет смахивать на обрубок. Заузить вершину, сделать ее острой, как копье, – вряд ли целесообразно. Получится, будто минарет впивается своей вершиной в грудь неба. Видно, минарет следует завершить в форме купола, голубого, как небо, чтобы не оттенять завершающую грань, а придать линиям мягкость, незаметно сливающуюся с небесной ширью. Тогда минарет обретет некую таинственность, загадочный облик, и не сразу будет понятно, то ли он устремился с земли в небо, то ли с неба стремительно летит к земле. А это как раз то, что ему, мастеру, надобно. Он вовсе не желает, чтобы его минарет своей мощью и величием внушал ужас и страх или, наоборот, казался красивой и невинной игрушкой, которую каждому хочется мимоходом прихватить. Важно, чтобы его красота вызывала не просто восторг и удивление, не только радовала взор, но и поражала своей таинственностью, тревожила многозначительностью и загадочностью. Перед глазами мастера вновь мелькнула шелковая занавеска на окошке золотистой повозки. Встречный ветер словно заигрывал с ней...

Счастливая мысль точно пронзила Жаппара. Он нашел наконец то, что так долго искал. Ну, конечно, он должен придать башне такую же легкость и игривость. Она будет являться перед взором неожиданно и поражать сознание, покажется белой, гладкой рукой истомленной любовью красавицы, рукой, протянутой к одному из ангелов, незримо обитающих на необъятном голубом небе. Пусть даже Повелитель, возвращающийся утомленным из далекого и опасного похода, увидит в ней руку, радостно приветствующую его.

«Нужно о синильной краске позаботиться, – подумал молодой мастер. – Надо собрать дермене¹, застись пеплом от перекасти-поля...»

И тут его охватило нетерпеливое желание скорее до-

¹ Цитварная полынь.

кончить кладку стен и приступить к осуществлению мечты, так неожиданно вспыхнувшей в его душе. Он сейчас больше всего на свете боялся лишиться того дива, так отчетливо представшего перед ним в этой прозрачной сини утреннего воздуха. От одного этого прозрения ему стало не по себе; казалось, злая рука искусителя Аезила одним движением сотрет прекрасное видение. Уже охваченный страхом, он широко открытыми глазами посмотрел вдаль: необъятный лазурный простор зыбился перед ним.

Внизу лежал все тот же ханский сад. На открытой площади степенно прогуливались молодые женщины, словно разморенные негой лебеди плыли по озеру. Жаппар не заметил, откуда и когда они здесь появились. Вскоре стайка разнаряженных красавиц потянулась к зеркальному пруду на краю зеленой лужайки. С двух сторон пруда высились две подставки, похожие на башенки. Белая сетчатая занавеска была протянута между ними. На берегу пруда то здесь, то там кучками лежали красные яблоки.

Женщины подошли к пруду и начали раздеваться. На зеленую травку белыми островками легли пышные парчовые платья. Из-под белоснежного белья враз вынырнули, купаясь в розоватых лучах утреннего солнца, статные, как на подбор, молодые нагие женщины. Уже в следующее мгновение, ликующе взвизгнув, они попрыгали с бережка в лазурный пруд. Взбурлилась, заискрилась водная гладь, точно иссеченная градом коралловых бус. Замелькали над водой белые руки, вздымая тучи брызг. Порезвившись, несколько купальщиц выбежали на берег и принялись швырять в пруд темно-красные наливные яблоки. Остальные с хохотом ловили их, высоко выпрыгивая из воды. Забава разгоралась: женщины, барахтаясь в пруду, затеяли шумную возню, отталкивали друг дружку, стараясь поймать яблоко. Вместе с женщинами расшалились и волны; белогривый гребень волны, накатываясь, жадно целовал тугие острые груди, на мгновение мелькавшие над вспененной водой. Черные блестящие волосы купальщиц рассыпались по смуглым гладким плечам, шее и грудям, словно оберегая их от настойчивых ласк. Сонный пруд в ханском саду заколыхался, взыграл волнами, будто в него разом пустили тысячу серебристых фазанов, и выплескивался на берег. Юные купальщицы, одна другой краше, подзадоривая друг дружку

ку, выпрыгивали высоко, резвились, будто упругие белые волны. Веселая зыбь обычно тихого ханского пруда взволновала сердце молодого мастера.

Наконец купальщицы уgomонились: успокоился и пруд, вновь засверкал зеркальной гладью. Сорок красавиц уселись вокруг пруда, опустив ноги в воду, стали на солнышке греться-загорать, друг дружке волосы расчесывать, косы заплетать. Потом опять все разом вскочили, направились к лужайке, где белела их одежда. Истомленные, разморенные, чуть порозовевшие от солнца, красавицы степенно пошли ко дворцу.

Едва они скрылись за купами кустов перед дворцом, из разных уголков сада выбежали десять мужчин и начали длинными сачками вылавливать яблоки в пруду.

Работа опять застопорилась. Жаппару казалось, что стоит только на одну пядь поднять кладку, и ему уже никогда не увидать подобной красоты. Все эти долгие месяцы башня неуклонно рвалась ввысь, а теперь она будто достигла желанной вершины, ни на вершок не хотела подниматься.

Отныне каждый раз, когда юная ханша и ее свита купались в пруду, мастер не спускал с них глаз, надеясь, что они посмотрят в его сторону. Однако ни одна из сорока прелестных купальщиц, резвящихся в воде и загоравших на бережку, ни разу не глянула на возвышавшийся неподалеку минарет. С обидой и надеждой следил он за ними и тогда, когда они одевались и лениво-разморенной походкой удалялись во дворец. Купальщицы точно стоворились: никто не оборачивался, не удостаивал ни его, ни башню взглядом.

Когда сорок красавиц, медленно ступая, скрывались за купами кустов, ханский сад мгновенно пустел и терял нарядность и привлекательность. Тускнел и зеркальный пруд, словно посыпанный пеплом. Гасли живые краски многоцветных, ярких, как иранский ковер, клумб.

Пусто и грустно становилось и на душе молодого мастера. Опечаленными, как у верблюжонка-сироты, глазами подолгу смотрел он на еле заметную, извивавшуюся внизу белесую тропинку, по которой только что прошла со своей свитой юная ханша. Но тропинка, ревниво скрывающая даже след ханши, загадочно молчит и будто ухмыляется ему в лицо. Мысленный взор молодого мастера одиноко плутает по песчаной тропинке, ныряющей в купы

зарослей перед дворцом, тоскует по сорока красавицам, но не решается преследовать их дальше, растерянно бродит возле зеленых кустов и возвращается назад ни с чем.

И эти душевные муки продолжаются изо дня в день. Жаппар с опаской поглядывает на солнце, желая, чтобы оно не спешило, не заходило, надеясь, что ханша со своей свитой выйдет на прогулку. Однако после утреннего купания ханша уже не показывается в саду. Извелся джигит от тоски и уныния. Горячий, строптивый скакун, понесший было его к яркой мечте, вдруг вновь обернулся рабочей клячей, понуро бредущей по извилистым тропинкам повседневной жизни. Только теперь Жаппар осознал, что ему, невольнику и бедняку, с малых лет копающемуся в глине, даже думать о ханше и грезами будоражить свою душу — уже кощунство и непростительный грех. И он, пугаясь самого себя, озирался по сторонам: не догадался ли кто о его смятении и предосудительном смутном желании? Однако кому какое дело до одинокого мечтателя, томящегося на вершине минарета под самым небосводом! Ведь по существу он все равно что отбившийся от стаи взъерошенный воробей на ветке чинары. Никто его и всерьез не принимает. Не потому ли ханша и ее свита, ничуть не стесняясь, догола раздеваются на его глазах и, вдоволь накупавшись, возвращаются во дворец, даже не взглянув в сторону минарета?..

Значит, для того, чтобы обратить на себя взор гордой ханши, он должен придать своему минарету такое великолепие, какого обитатели стран Двуречья и не видавали. Если бы только удалось воплотить свой замысел — построить минарет таким, каким он почудился ему однажды в счастливый миг, — тогда и ханша поневоле залюбовалась бы им. Разве устоит она, если сорок красавиц из ее свиты начнут, поцокивая от восторга языками, расхваливать на разные лады его творение?! Нет, наверняка будет сгорать от любопытства, и тогда — кто знает! — может, восхитится и величественным минаретом, и построившим его молодым зодчим.

Сердце вновь забилося пылко, нетерпеливо. Мастер твердо решил отделать свой минарет так, чтобы им не могли не восторгаться ханша и ее свита. Он заставит их смотреть на себя и говорить о себе!

По его велению неподалеку от минарета построили

десяток глиняных печей-тандыров, каждая величиной с шестикрылую юрту. В них стопили целые горы цитварной полыни и красильного корня, из золы которых потом готовили лазурь. Несколько мастеров обжигали мозаичные плиты, шлифовали их, красили в небесно-синий цвет, переливающийся в лучах солнца. Уже через месяц десять мозаистов, поддерживаемые канатами, приступили к облицовке минарета. Сам зодчий, не находя себе места, бегал вокруг своего творения, постепенно облачавшегося в голубой наряд. Иногда он уходил далеко, на расстояние кочевья, и оттуда отрешенно взирал часами на преобразующийся минарет. Издалека он казался тонким шестом, смутно виднеющимся на дрожащем бледно-синем фоне. Окутанный маревом минарет словно подавал таинственные знаки и силился что-то сказать.

Долго смотрел Жаппар на безмолвного своего первенца, пытаюсь понять, угадать, что же ему хочется высказать. И сидя в повозке, не отрывал от минарета взгляд. И стоя на земле, все что-то высматривал. Часто, приставив ладонь ко лбу, пристально следил за солнцем, которое со сдержанной улыбкой плыло по ясному небосводу. Случалось, задумывался, замирал в тихой безлюдной степи, прислушивался к чему-то, всматривался в небо, будто оттуда ожидая сокровенного знамения.

Потом, вдруг спохватившись, садился вновь в повозку и мчался в другую сторону. И здесь он опять застывал в полной отрешенности, точно замороженный чьей-то могущественной волей, и молча взывал к таинственному духу, растворенному в прозрачном воздухе и видимому только ему, одному зиждителю. Иногда лицо его искажала презрительная гримаса, будто что-то недостойное, низменное оскорбляло выношенное в душе прекрасное видение, он качал головой, отплевывался, а то и вовсе закрывал лицо руками и садился на корточки. Должно быть, на него находило черное отчаяние, и ему уже ничего не хотелось видеть вокруг себя. Скулы резко обозначились, желваки бугрились на исхудалом лице, он молчал и скрипел зубами, словно изгонял из себя джинна сомнения и неверия, и старался забыть мелочную суету, губившую вдохновение. Причудливые пестрые тени и видения, мельтешившие перед глазами, постепенно уплывали, растворялись в густеющем мраке, а вместе с ними куда-то исчезало и то, что приводило его в смятение, и он, по-

немногу успокаиваясь, осторожно открывал глаза, смотрел на голубевший вдали минарет и вдруг вскакивал, как безумный, вспыхивал от неожиданной радости, открыв что-то неведомое и очень важное для себя, что страшно было расплескать, потерять.

Повозка мчала его к минарету. Домчавшись, он как одержимый поднимался по лестницам к мастерам-мозаистам, облепившим крутые стены башни, что-то долго и горячо им втолковывал, от нетерпения размахивал руками, потом спускался вниз, внимательно разглядывал мозаичные плиты и, прихватив охапку, спешил к тандырам — печам для обжига.

За эти месяцы он изнурил себя до неузнаваемости. Лицо обрело пепельный цвет. Кожа, казалось, приросла к костям. Одни глаза лихорадочно поблескивали, смотрели строго и пытливо, все время что-то беспокойно выискивали.

Еще недавно громоздкий и неуклюжий минарет, бездушной машиной возвышавшийся над землей, теперь неузнаваемо преобразался на глазах. Все чаще оглядывались и засматривались на него прохожие, убеждаясь, что новый минарет совершенно непохож на другие минареты в городе, однако никто не мог точно определить чем. Поражали цвета, причудливые переливы оттенков, бесконечно меняющихся в зависимости от местоположения солнца. Все это казалось таинственным, непостижимым.

Отделку купола Жаппар завершил сам.

Прошла еще одна зима, куца, как всегда в этих краях, и без холодов. Наступила ранняя, но теплая весна, когда даже ночью не застывает жир. Деревья в ханском саду распустили почки, потом дружно зацвели, окутались сиреневой дымкой, воздух стал густым, вязким, и в нем запорхали бесчисленные синие, белые, оранжевые бабочки — лепестки цветов.

Приближалась пора, когда юная ханша в сопровождении пышной свиты совершает по саду утренние прогулки. Те дни Жаппар ждал с нетерпением. Вскоре наступили и они. Однажды из-за куп густо-зеленых деревьев перед дворцовой площадью показалась группа молодых женщин в воздушных белых платьях. Они сделали несколько шажков и остановились. Потом спохватились и торопливо, вразброд направились к зеркальному пруду на краю лужайки. Чем-то взбудораженные, они не разделись и не

прыгнули в воду, как прежде, а, уже не скрывая изумления, с открытыми ртами уставились на минарет. То-то же, гордые красотки!.. Заметили наконец! Ну, ну, смотрите, любуйтесь, восторгайтесь! Жаппар злорадно и самодовольно усмехнулся. То ли от удовлетворенной мести, то ли от долгожданной радости, распиравшей грудь, на мгновение серый туман застил глаза.

Голубой минарет был близок к завершению. Только со стороны дворца зиял еще зазор под куполом. Отсюда Жаппар незаметно наблюдал за ханским садом.

Он не спешил заделывать зазор. Жалко было расставаться с дивным видением, которым судьба одаривала его ежедневно. Стоило заложить кирпичами небольшую щель под куполом, и сорок красавиц, похожих на гурий в саду эдема, исчезнут для него навсегда.

На зеленой лужайке возле пруда чинно прогуливались сорок изнеженных, истомленных красавиц. В середине, выделяясь белоснежным саукеле, увитым жемчужными нитями, плыла прелестная ханша. И когда она со своей свитой, сбившейся в тесный круг на берегу пруда, долго и восторженно смотрела на минарет, молодой мастер чувствовал себя самым создателем, всевышним творцом, из райского сада благоговейно взирающим на дело рук своих. Каменный минарет, не однажды омрачавший душу и разбивавший его мечту, теперь вновь обернулся крылом счастья, взметнувшим его в недостижимую высь. Но когда он вспоминал о том, что счастье это мимолетно, обманчиво, что через несколько дней оно его покинет навсегда, молодой мастер становился сам не свой, душа его ныла, обливалась кровью, будто ее рвали зубами собаки.

И тогда он принял отчаянное решение. Он не спустится с минарета и не заделает зазор под куполом, пока не придет палач с секирой в руке и не уведет силком его отсюда.

Вскоре на вершину минарета поднялся сам главный мастер. Должно быть, он догадывался о том, что творилось в душе Жаппара. Главный мастер принес весть: Повелитель возвращается из великого похода. К его приезду следует закончить минарет и дочиста убрать вокруг весь строительный хлам. По словам путников, новый минарет хорошо просматривается уже у границы Великих Песков. Вернется Повелитель, проведет великий пир в честь очередной победы, одарит драгоценностями своих бесстраш-

ных бахадуров-воинов, а вместе с ними – наверняка и зиждителя храма-минарета, и тогда слава о нем облетит весь подлунный мир.

Жаппар молчал, понуро опустив голову, будто и не слышал, о чем говорил главный мастер. Заметив, что говорит впустую, главный мастер умолк, пытливо оглядел молодого напарника, точно ощупал его опытным, пронизательным взглядом, и сразу сообразил, что тот находится во власти страстного, всепоглощающего чувства. Он покосился туда, куда устремился застывший, отсутствующий взгляд молодого зодчего, и увидел там, далеко внизу, на зеленой лужайке ханского сада, юную ханшу со своей свитой, которые с любопытством разглядывали минарет.

Главный мастер ушел, не проронив ни слова.

Весть о скором возвращении Повелителя мгновенно облетела весь город. И обитатели махалля, где жил Жаппар, и строители, помогавшие заканчивать минарет, с утра до вечера только об этом и говорили. И лишь одному Жаппару, казалось, не было дела до этой новости.

Между тем горожане каждое утро, поднявшись с постели, первым делом смотрели на новый минарет и всякий раз видели все еще не заделанный зазор под куполом. Однако ни один из смертных, не желающих видеть холодный блеск секиры в руках палача ни наяву, ни даже в страшном сне, не говорил о том ни единого слова, смутно догадываясь о тайне зазора, но строго держа ее за зубами. И опять-таки лишь сам зодчий ничего не чувствовал, не слышал. Даже ханша, наверняка не знавшая, о чем думают горожане, была встревожена дерзостью молодого мастера.

В тот день, когда к Повелителю отправили нарочного, утром из ханского сада выехали две повозки и понеслись в сторону минарета. Жаппар, стоявший на вершине башни, все видел. Через некоторое время издалика, будто изпод земли, слышались глухие шаги, эхом отзывавшиеся внутри полого минарета. Кто-то поднимался по узкой винтовой лестнице. Молодой зодчий насторожился, прислушался: звуки шагов сливались со стуком его сердца. Он метнул взгляд в сторону ханского дворца: на зеленой лужайке не было ни души. В безмолвии застыли и купы деревьев; густая тень покорно лежала у их ног. Казалось, весь мир, затаив дыхание, вместе с ним, Жаппаром, при-

слушивался к четкому, глухому стуку, приближавшемуся, как неотвратимый рок, откуда-то снизу, из мрачной глубины минарета.

Зябкая дрожь пробежала по спине Жаппара. Неведомое чувство – не то страх, не то ужас, не то покорность и смирение перед неминуемым – охватило его. Должно быть, так чувствует себя человек в предсмертный час, слыша, как приближается к нему, грохоча железным скипетром, ангел смерти. Молодой зодчий не шелохнулся, держался стойко и спокойно прислушивался к грозным шагам, готовый, если это нужно, принять смерть.

Он, не отрываясь, глядел себе под ноги, где зиял мрачный бездонный колодец. Все громче становился звук шагов. Жаппар весь напрягся, мышцы будто окаменели, жилы натянулись, напружинились. Вот, вот, сейчас... сейчас сверкнет что-то во мраке... Ну, конечно, секира палача. Ведь кто осмелится встретить грозного Повелителя так, как он, не достроив башню, оставив, как вызов, зияющий зазор под куполом?! Какой владыка потерпит такую дерзость? Сейчас услужливый палач одним махом отсечет голову строптивцу и прикажет немедля заделать зазор главному мастеру.

Как замороженный, смотрел Жаппар в зловещую черную пасть под ногами. Звуки, доходившие снизу, становились резче, жестче и словно сверлили темя. «Терпи, – уговаривал себя Жаппар, – все вытерпи!» Мысли путались, и сейчас у него не было другой опоры, другого утешения, кроме этих слов. В горле пересохло; в глотку точно загнали кляп; он задышался; сознание помутилось. «Ну, и пусть... пусть, – обреченно подумалось. – Так даже лучше. Сейчас, увидев секиру палача, даже не вскрикну. В одно мгновение душа покинет тело. И никто этого не увидит, не услышит. Пусть... хорошо!»

Шаги уже были рядом. Он с усилием повернул онемевшую шею, глянул в сторону ханского сада. «Хоть бы увидеть ее в последний раз... увидеть, перед тем, как ее палач снесет мне голову...» На зеленой лужайке по-прежнему ни живой души... А солнце стоит уже в зените... И зеркальный пруд застыл в безмолвии... Значит, и на прогулку сегодня не выйдет, и купаться не станет... Но почему не слышен зловещий стук шагов?..

Холодный свет блеснул перед глазами. Нет, то был не блеск отточенной секиры в руках палача. Тут же он уло-

вил легкий шорох, что-то белое промелькнуло, рядом и укрыло тусклый блеск жемчужины на руке.

«Ах, она сама пришла... Да, да, она... сама!» Прямо перед ним, точно такая же, как тогда, в первый раз, стояла юная ханша. То же белоснежное парчовое платье, та же прозрачная невесомая сетчатая белая накидка... Она не поднялась на последние ступеньки лестницы, будто опасалась, что там, на вершине, ее может сдуть ветром. Большие, влажные, как у верблюжонка, глаза смущенно улыбались... Пухлые и красные, как две вишенки, губы чуть вздрагивали. С него будто разом свалился тяжелый железный обруч, сковывавший его с раннего утра. Он, обезумев, бросился к ней.

Пылкость молодого мастера испугала женщину; она отшатнулась, отступила еще на две ступеньки.

Только теперь он опомнился и, устыдившись своего порыва, застыл на месте.

Она глядела на него доверительно и нежно. Юная прелестная женщина, почти еще девочка с большими невинными глазами. Что-то неуловимо трогательное было в ее взгляде, не то испуг, не то смущение, не то какая-то затаенная боль, которую невозможно было выразить никакими словами. Точно так же, с неясной тревогой и надеждой, бывало, взглядывала на него и Зухра. Да, да, совершенно такой же взгляд — взгляд-обещание, взгляд-тревога, взгляд-нежность... Только у Зухры не пылал над лбом крупный рубиновый камень и не белела так ослепительно драгоценная накидка.. И если сейчас... сейчас же, в этот миг, он не скажет ей свои сокровенные слова, то и она, как когда-то Зухра, исчезнет для него навсегда. И тогда он всю свою жизнь промается, как неприкаянный, с болью, тоской и досадой в сердце....

Жаппар осторожно откашлялся, пытаюсь что-то сказать, но голоса не было. Ханша с затаенной печалью глядела на него. Он протянул к ней руки, она не отстранилась, не противилась. Он сам не заметил, как осторожно притянул ее к себе, как она, мягкая, хрупкая, легкая, покорно прильнула к нему, вся исчезая в жарких объятиях. Он вдруг со сладкой болью почувствовал, что это и есть единственное мгновение счастья, отпущенное скрягой-судьбой, что уж больше никогда оно не повторится и не вернется. Он сильнее прижал к себе маленькую, податливую фигурку ханши, прильнул сухими,

жесткими губами к ее пухлым, сочным, как спелая вишня, губам, чувствуя, что млеет, тает от восторга и счастья...

Минарет был закончен в обещанный срок. Он возвышался спокойно и горделиво, сияя и купаясь в лучах солнца, ждал возвращения грозного Повелителя, чтобы приветствовать его издалека, еще за несколько перевалов до столичного города.

Потом Жаппар узнал, что Повелитель соизволил лично осмотреть новый минарет, что он долго и в задумчивости стоял возле него, любовался им и уехал приятно пораженный и довольный. Однако проходили дни, а из ханского дворца не было никаких вестей.

И однажды, когда в знойный полдень прискакал за ним нарочный, чтобы немедля доставить его в ханский дворец, Жаппар сразу понял, что там его ждут отнюдь не почести и подарки. И когда угрюмый серолицый старик, одиноко восседавший, нахохлившись, как стервятник, у мраморного хауза в середине сумрачного и прохладного дворца, впился в него колючими, пронизывающими насквозь и все видящими глазами, молодой зодчий не смог ничего утаить...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЮБОВЬ

За последние три месяца Младшая Ханша заметно исхудала. От бесконечного томления у окна, сквозь разноцветную мозаику которого сочился мертвенно-пестрый свет, личико ее осунулось, побледнело. Нежная, упругая шея, еще недавно соблазнительно гибкая, теперь увяла, истончилась. Заострились и скулы, а под глазами даже сквозь густые белила проступали темные тени, такие же, как стойкий сумрак в ее одинокой опочивальне...

Ханша с досадой отвернулась от круглого зеркала, которое, точно злорадствующая соперница, подчеркивало каждый ее изъян.

Ни звука, ни шороха, кроме бесконечного монотонного шепота фонтанчика в круглом хаузе посредине огромного пустующего зала. Днем и ночью, ночью и днем бормочет, нашептывает он свое нескончаемое буль-буль-буль.

Иногда на нее накатывалось слепое отчаяние, и она подбегала к хаузу, готовая сокрушить его в безумии, но

при виде покорной, в бездушный мрамор зажатой прозрачной струйки ярость мгновенно гасла, как свеча на сквозняке, уступая место печали и беспросветной тоске.

Ханша бессильно опускалась на мраморное возвышение, покрытое толстым, пышным ковром. Так она сидела долго, потерянная, раздавленная...

Стоило чуть удалиться от хауза, как невинно капавшие чистые слезы фонтанчика вновь сливались в таинственный шепот, который, точно искуситель, приводил в смятение ее измученную душу. Случалось, ханша засыпала прямо на ковре возле хауза. Она боялась отходить даже на шаг от мраморного возвышения. Всюду ей мерещился злорадный шепот.

Тихий лепет прозрачной воды, вскипавшей где-то в глубине, но с покорной вялостью сочившейся из узкого отверстия, казалось, перекликался со скользким, неуловимым шушуканием старухи-привратницы, рабов-евнухов и придворных девушек за огромной дубовой дверью, обитой золотом. Более того, ханше чудилось, что и бесчисленные листья на деревьях в саду шелестели, перешептывались, рассказывая друг другу что-то нехорошее о ней.

Порой ханша отправлялась на прогулку, выбирая дальние, одинокие тропинки в ханском саду, и, случалось, из-за деревьев с любопытством взирали на нее косули и пятнистые олени, и в их влажных, круглых глазах будто стояло немое удивление: «Ах, это и есть та самая молодая ханша, о которой нынче сплетничают все?!»

В последнее время она не выходила из своих покоев.

А властелин упорно не давал о себе знать. Каждое утро она со смутной надеждой заглядывала в глаза слуганок, приходивших ее одевать, но они подозрительно отмалчивались. С какой-то необъяснимой робостью заходили они к ней и так же смущенно удалялись, пряча глаза, словно боялись, что ханша подслушала невзначай их тайный разговор в прихожей.

А совсем еще недавно, когда она только переступила порог ханского дворца, они все души в ней не чаяли и радостно увивались вокруг. Даже угрюмая старуха служанка с бычьим загривком при ней становилась необычно приветливой и доброй. Бывало, в канун многолюдных ханских торжеств старуха хлопотала изо всех сил, стараясь, чтобы ее ханша по пышности и великолепию наря-

дов, свиты и церемоний перещегооляла ненавистную Старшую Ханшу. И когда в Большом дворце, во время высоких приемов, две враждующие старшие служанки с нескрываемым высокомерием и злорадством косились друг на дружку, юная ханша еле сдерживала смех...

Да-а... сумрачная старуха любила и лелеяла ее, как родную дочь.

Сердечно привязаны были к ней и другие служанки и девушки из свиты. Почти все они были старше ее. И, должно быть, потому ее не столько почитали, как жену Повелителя, а больше обихаживали, как младшую сестрицу. Никто, казалось, не завидовал ей, а все только радовались, будто их единокровная младшая сестренка вышла замуж за всесильного хана. И не было для них большего удовольствия, чем одевать ее, втирать в ее гладкую кожу благовония. Поднимаясь на рассвете, они ходили на цыпочках, толпились у двери, с нетерпением ожидая, когда она проснется.

Едва она открывала глаза, как в опочивальню к ней врывалась стайка разнаряженных девиц и начинала весело порхать вокруг, точно пестрокрылые бабочки. Юная ханша смущалась под их бесцеремонными взглядами, зарывалась в подушку, укутывалась в одеяло, но множество рук тянулось к ней, подчиняя своей воле. И когда ее нежного, горячего спросонья тела касались мягкие ладони служанок, она вся замирала от истомы.

Как-то раз после вечерней трапезы старуха служанка разогнала всю свиту и осталась с юной ханшей наедине. У старухи странно блестели глаза. Тонкие лиловые губы под вислым, крючковатым носом беспрестанно шевелились, змеились, шлепали, шелестели. Ханша, ничего не понимая, со смутным страхом глядела на старую служанку. А та, казалось, нашептывала таинственную молитву, намекала на что-то неведомое, постыдное и при этом точно буравила ханшу бесцветно-проницательными глазами. Вечерние сумерки вокруг быстро сгущались, скользили, а вместе с ними будто кружилась и сама опочивальня.

Вскоре старуха, как заведенная отвешивая поклоны, попятилась к выходу. И когда она вышла, опочивальню накрыл плотный таинственный сумрак. Казалось, свет от бесчисленных свечей вдоль стен разом весь скопился на высоченном потолке. Зябкий мрак, все теснее обступая

обмиравшую ханшу, усугублял загадочность старушечьих речей. Она почувствовала вдруг слабость, головокружение, непонятная тошнота подкатывала к горлу, и ханша уже направилась было у хаузу, как увидела входившего к ней Повелителя. Странная, смутная темень, окутавшая опочивальню, сразу развеялась. И уже ничего не кружилось вокруг, словно все обрело извечную определенность и твердость, едва нога Повелителя коснулась пола ее покоев.

Она застыла, безмолвная, растерянная, и со страхом смотрела на приближавшегося к ней властелина. Вот он уже подошел на расстояние протянутой руки, и тут она вспомнила, что следует поклониться великому Повелителю, и ханша поспешно склонилась в неумелом, покорном поклоне, но кто-то подхватил ее под локоть, бережно приподнял. Вконец смутившись, она вскинула голову и встретила спокойный, ласковый взгляд Повелителя...

Наутро она проснулась чуть свет и с волнением, непонятным беспокойством ожидала прихода служанок. Лицо ее пылало, голова кружилась, она еще никак не могла осознать, что же с ней случилось, с радостью и кротостью прислушивалась к своему телу и сильнее зарывалась в пуховые подушки.

Вскоре распахнулась дубовая дверь. Сначала надменно вплыла старуха служанка, за нею впорхнула радостно возбужденная свита.

При виде толпы женщин юная ханша мучительно покраснела, сжалась, стыдливо отвернула головку, спрятав лицо в рассыпавшиеся густые волосы.

Свита была оживленней и веселей обычного. Девушки кинулись целовать ханшу, подняли целый переполох. А потом, позже, когда великий Повелитель несколько ночей кряду удостоил своей любовью юную ханшу, свита и вовсе ликовала.

Однажды, вслед за этим, заметив на себе косые взгляды со стороны служанок и свиты Старшей Ханши во время приема послов в ханском дворце, юная жена впервые ощутила ледяной холод женской ревности. Тогда она метнула осторожный взгляд на Старшую Ханшу и заметила на ее надменном лице тень грозного гнева. Она сама не знала почему, во именно это сразу успокоило ее разволновавшееся сердце и принесло какое-то сладостное удовлетворение.

О том, что соперничество – тайное или явное – горше яда и слаще меда, она узнала значительно позднее.

Но с этого дня она вдруг враз избавилась от скованности и смущения перед служанками и свитой, смутно и неожиданно ощутив в себе уверенность и даже некое превосходство. Ей вдруг во всей ясности открылось, что тяжелый, многими драгоценностями украшенный тюрбан молодой и любимой ханши кажется легче птичьего пуха, когда ловишь на себе восхищенные или завистливые взгляды.

Теперь она с особым вниманием и жадностью прислушивалась к рассказам старухи служанки и девиц из свиты, охотно обсуждавших пышность и великолепие дворца Старшей Ханши.

Накануне нового похода Повелитель перебрался в свой одинокий дворец в столице. О том, что он делает, как живет, доходили до юной ханши разные кривотолки. Ей доносили даже то, что говорили на верховном совете, как выступал тот или иной наместник, когда и на какое ханство двинет свои полчища великий Повелитель. Почти все эти вести оказались потом заурядной сплетней. Но один слух подтвердился полностью: Повелитель действительно готовился к походу и решил забрать с собой внуков и Старшую Ханшу. Тем самым можно было догадаться, что поход продлится не год и не два, а значительно дольше. Юная ханша, узнав об этом, лишилась покоя. Несколько раз она порывалась пойти в ханский дворец, но так и не осмелилась. Весть о том, что Повелитель остановил свой выбор на Старшей Жене, угнетающе подействовала и на юную ханшу, и на свиту. Они уже не смотрели друг другу в глаза. Ходили как в трауре. Прекратились и недавние безмятежные прогулки в ханском саду.

Мучительная неопределенность длилась несколько месяцев, и вдруг однажды, в вечерний час Повелитель пожаловал сам. Когда служанка шепнула ей, что великий властелин уже выходит из повозки, остановившейся у входа, она еле удержалась, чтобы не выбежать ему навстречу. Но Повелитель не сразу вошел к ней, а направился в свои покои. И опять заставил ее терпеливо ждать до ночи. Юная ханша не находила себе места в огромном дворце, потерянно слонялась из угла в угол. Потом уже в безнадежной печали встала у окна, прижалась лицом к

холодному стеклу и тут услышала легкий скрип двери. На большее ее терпения уже не хватило. Забыв про приличие, для самой себя неожиданно осмелев, радостно запорхала ему навстречу.

Но и потом, посреди ночи, оставшись на брачном ложе наедине с размякшим, ласковым Повелителем, она не могла вспомнить ни одного слова из тех, что давно уже хранила в сердце. Только и спросила, набравшись храбрости:

– Сколько продлится ваш поход, мой Повелитель?

Он долго и пристально посмотрел ей в глаза, потом погладил ее тонкие, дрожащие руки и спокойно ответил:

– Это знает один аллах...

На другой день город оглушила дробь походных барабанов. Повелитель выступил в поход.

Пригорюнилась юная ханша, почувствовав вдруг себя совершенно одинокой в многолюдном ханском дворце. И тогда ей неожиданно открылось, что единственно близкий человек, который связывает ее с непостижимо огромным миром, – суровый и угрюмый Повелитель, по годам намного ее старший, в чьих серых, пронзительно-холодных глазах при виде ее вспыхивают искорки нежности и ласкового сочувствия. При нем она не испытывала такой жуткой опустошенности.

Видя, как озабоченно хмурила бровки юная ханша, приуныли, притихли и служанки, и девушки из свиты.

Вот так, в семнадцать лет убедилась она в древней истине: нет на свете страшнее муки, чем одиночество.

Одинокие длительные прогулки в пышном ханском саду тоже не утешали. Плоды наливались жизненными соками, и, казалось, каждый листик, каждая веточка торжествовали радость бытия. Восторг и наслаждение жизни неутомимо воспевали и крошечные птахи, порхавшие с дерева на дерево, и бесчисленные озабоченные пчелки, собиравшие нектар с цветов. Время от времени налетал шальной ветерок, и тогда, охваченные трепетом, возбужденно перешептывались и ликовали листья.

Вместо желанной бодрости от таких прогулок юная ханша обретала усталость, очутившись помимо воли на извилистой, глухой тропинке неутоленной страсти, неведомых желаний, неясных томлений, изводивших душу и навевавших грусть и тоску, сковывавших все ее порывы и стремления, словом, ее охватывали безысходность и неопределенность, незаметно, исподтишка подтачивавшие

волю, она в смятении возвращалась в сумрачный, опостылевший дворец и подолгу сидела, уставившись в безмолвное пространство.

Желая вывести ее из дурного расположения, девушки из свиты выказывали перед ней свое искусство. Но величаво-тягучая мелодия только усугубляла тоску, задевая чуткие, ей самой неведомые струны души и навевая щемящую скорбь, а полные истомы танцы девушек, то, как они вскидывали насурьмленные брови, играли большими, черными, как у верблюжонка, глазами и улыбались белозубо, казались ей фальшивой забавой, намерением утешить ее, точно капризного ребенка. Ей чудилось, что все веселятся и смеются только через силу.

Наигранное веселье не могло развеять смуту на душе. Наоборот, она испытывала неловкость от того, что доставляет свите столько хлопот. Она выдумывала всякие причины, твердила о головной боли, недомогании и изо всех сил избегала подобных развлечений.

Видя, что ни прогулки в саду, ни развлечения не в силах избавить юную ханшу от затянувшейся тоски, свита растерянно примолкла. Угнетающая тишина и уныние овладели дворцом.

Старуха служанка выбилась из сил, не зная, как еще угодить юной ханше, и водила ее то в сад, показывала ей диковинные цветы, клумбы, то расстилала перед ней со всех сторон света привезенные тюки редких материй — махфис, рация, шамсия, шадда, машад, тафсила, гульстан, мисрия, абидрия, лулия, сабурия, мискалия, сафибар, хидн, атлас, парча, шелк, — предлагая сшить платья на любой вкус и фасон, то старалась обрадовать ее взор драгоценными камнями, кольцами, перстнями, серьгами, подвесками, ожерельями, браслетами, кулонами, подаренными самим ханом, полководцами, правителями, наместниками, послами и родственниками; то предлагала выбрать себе шубку из редкого меха — соболя, песца, выдры, барса, белки, красной лисы; однако ко всему осталась безразлична и холодна юная ханша.

Вконец убедившись в том, что никакими драгоценностями ханшу не соблазнить, старуха навевывалась к ней в часы одиночества и заводила нескончаемые разговоры обо всем на свете. Однако ничто, даже дворцовые слухи и сплетни, ничуть не волновало ханшу; казалось, она, хмурая, отрешенная, не внимала ее словам.

И все же многоопытная, хитрая старуха нашла-таки ключик к омрачившейся душе своей подопечной. Стоило ей однажды заговорить о том, какие почести воздаются Старшей Ханше в далеких завоеванных странах, как на юном, безучастном доселе личике вдруг обозначилось оживление. В черных, погасших глазах, бессмысленно устремленных в угол огромного зала, промелькнуло любопытство. Тогда старуха, не скрывая своего ликования, начала обстоятельно рассказывать обо всем, что приходилось ей видеть и слышать во дворце Старшей Ханши, которой прислуживала долгие годы. Имя высокородной ханши старуха, однако, не осмелилась трепать своим грешным языком, зато уж досталось в досталь ее служанкам и спесивой свите.

По словам старухи выходило, что с тех пор, как Повелитель зачастил во дворец Младшей Ханши, Старшая Жена и ее приближенные исходят злобой и ненавистью. К тому же бесчисленные подарки, текущие со всех сторон света, достаются отныне не одной Старшей Жене, как прежде, и с этим она никак не желала смириться. И сама Старшая Ханша, и ее многочисленная прислуга в последнее время только и шушукаются про то, что, дескать, великий Повелитель все самое ценное и редкое, поступающее из покоренных стран, отправляет в дар своей Младшей Жене. За это они больше всего и ненавидят юную счастливую соперницу.

Старуха осторожно косилась на юную ханшу, но, не замечая на ее грустном личике ни тени гнева, с истовым усердием продолжала рассказывать. Тонкие, дряблые губы под крючковатым носом, испещренные сеткой мелких, как паутинка, морщин, неустанно шевелились, подрагивали, точно озабоченный паук, плели таинственную вязь; казалось, они не угомонятся, пока не оплетут невидимой сетью простодушную ханшу.

Теперь старуха живописала, будто на нить нанизывала, все, о чем сплетничали во дворце Старшей Жены. Там якобы утверждали, что единственное достоинство Младшей Ханши — ее юность и красота. И не красота даже, а просто смазливость. А в остальном ее, дескать, со Старшей Ханшей и сравнить невозможно. Предки ее не родовиты. Она всего-навсего дочь заурядного, захудалого тюре; во всем ее роду не найдешь именитых; да и Повелитель взял ее в жены без особого желания, просто

исполнил предсмертную волю матери; да и ей, новоиспеченной ханше, нечего задирать нос; Повелитель, конечно, велик, и на троне золотом восседает пока прочно, но никто не может скрыть, что он старик, и вряд ли она, молодуха, способна понести от него, только промается зазря, не испытав женской радости и материнского счастья; а когда, не приведи создатель, случится непоправимое, всю жизнь проведет в одиночестве и тоске, в горести обнимая собственные колени...

Незримая паутина искушения, ловко сотканная старой колдуньей, будто опутала, оплела юную ханшу. Ущемленная в самое сердце, она побледнела, а в темных застывших глазах, точно в потухавшем очаге под шальным ветром, мгновенно, вспыхнула искорка.

Старуха тотчас догадалась, что задела, наконец, больное место; но, прибегая к извечной женской уловке, начала поспешно и, конечно, тщетно развеивать ею же посеянные подозрения.

Недаром, должно быть, говорят, что ревность обжигает и льдом, и огнем. И впрямь: какая же это ревность, если от нее не огнем горит лицо и не льдом застывает сердце!

И, разумеется, пустоголовые служанки Старшей Ханши, дочери богатого и влиятельного рода, богом данной супруги самого Повелителя, привыкшей к почестям и славе, принимают ее, Младшую Жену, за несмышленную девчонку с не обсохшими от материнского молока губами и намереваются подчинить ее своей воле. Как бы не так! Ох, и заблуждаются же они, бедняжки! Придется им, пожалуй, довольствоваться тем, что шушукаться по углам и в бессильной ярости кривить губы.

Уж коли сам всемогущий Повелитель покровительствует ей, своей юной и прекрасной возлюбленной, то холуйские сплетни и кривотолки во дворце Старшей Ханши — все равно что шелест ветра или писк мышки. Пусть не больно кичится Старшая Ханша тем, что она первая. Пусть прикусит свой длинный язык. Не погасить ей очаг любви и сладостных утех, где сам великий из великих предается отдохновению...

Священное негодование полыхало в дряхлой груди старухи. Тонкие ноздри трепетали, губы змеились, голос наливался силой. Редкие, жесткие щетинки под крючковатым носом грозно встопорщились...

Заметив, что старая служанка в своем усердии распалась все больше и больше, ханша смерила ее удивленным взглядом. Старуха спохватилась, не перестаралась ли, умолкла на полуслове и вскочила, будто вспомнив какую-то неотложную заботу.

Рассказ старой служанки, полный неведомых намеков, недомолвок и тайн, разбудил, всколыхнул душу юной ханши, точно шквальный степной ветер; бодростью и силой налилось ее маленькое упругое тело.

Вкрадчивая речь об интригах, злословии во дворце Старшей Ханши, об ее повадках и замыслах точно разорвала веревки равнодушия и безразличия, сковавшие молодую женщину. Казалось, все ее мысли и желания, увядавшие в безнадежном тупике, вырвались, хлынули неожиданно на вольный простор...

Оставшись наедине с собой, она попыталась обдумать, осмыслить спокойно и трезво все, о чем ей так прозрачно намекала старуха. Старшая Ханша, находясь за тридевять земель, умудрилась-таки больно поранить ее невинное сердце и разбудить в нем недобрые помыслы. Видно, своенравная Старшая Жена вообразила себе, будто Младшая Ханша – всего-навсего бессильный, безвольный ребенок, хотя и возлежит на ложе Повелителя в пышном дворце.

И, несмотря на свою юность и неопытность, Младшая Ханша поняла, вернее, почувствовала каким-то прозорливым, сугубо женским чутьем, что утешить отравленную душу можно, лишь ответив болью на боль, мстостью на мстость. По юному чистому личику ее пробежала холодная тень. В глубине черных, как смородина, влажных зрачков блеснул жестокий лучик, похожий на искорку на острие обнаженного кинжала. Неведомая ярость взбудрила тело. Движения стали уверенными, походка – упругой, стремительной.

Зоркая свита мгновенно заметила перемены, происшедшие в ханше. Все ходили радостные, оживленные, хотя никто и не осмеливался выражать свой восторг с прежней непосредственностью.

Ханша распорядилась доставить ей во дворец немедленно все драгоценности, меха и материи, которые она еще вчера отвергала.

Она придирчиво осмотрела товар, выбрала себе что по душе, растолковала, старой служанке из чего, что и

как необходимо ей сшить. Старуха охотно внимала ее распоряжениям и даже подбадривала осторожными и дельными советами. Ханша при этом не удивлялась, как прежде, не застывала, как наивная девчонка, с разинутым ртом, и не соглашалась поспешно, а слушала с важным видом, выражала сомнение, задумывалась и лишь потом великодушно кивала головой.

Дошла старуха в душе ликовала, убежденная, что юная ханша отныне познала упоительный вкус власти. Она увидалась вокруг своей воспитанницы, всячески угождала ей, суежилась, легко управляя своим рыхлым, грузным телом. Она усердно докладывала ханше о богатстве ее личной казны, о том, чего следовало бы раздобыть еще, из каких краев и стран.

Ханша незамедлительно отправила ее к главному визирю, поручив достать все необходимое, все редчайшее из ханской казны.

Главный визирь не очень приветливо встретил старую служанку и толком ничего ей не ответил. Ханша возмутилась и тотчас отправила нарочного с поручением немедленно вызвать визиря к себе. Тот, почуяв неладное, поспешно прибыл во дворец Младшей Ханши, еще с порога согнулся в угодливом поклоне и доложил, что просьба прекрасной повелительницы будет непременно удовлетворена, что он уже распорядился доставить из велайетов все желанные драгоценности, материи, духи и благовонные мази и даже уже отправил в путь верных людей.

Видя, как главный визирь, уважаемый самим Повелителем, склонил перед юной ханшей свою достойную голову, старая служанка удовлетворенно хмыкнула, словно эти почести предназначались ей.

Во дворце Старшей Ханши поднялся невообразимый переполох, когда докатилась весть о том, что юная соперница пригласила лучших портных и шьет для себя диковинные наряды.

С нетерпеливой жаждой деятельности принялась Младшая Ханша за новое и приятное дело. Слухи об этом, обрастая подробностями, дошли вскоре и до Старшей Жены, находившейся при Повелителе в далеком походе. И оттуда, из той неведомой дали, доходили до Младшей Жены слова Старшей, полные яда и ревности. Юная ханша торжествовала, узнав о том, как беснуется старшая соперница, и рана в сердце, нанесенная злыми сплетня-

ми, понемногу затягивалась. Она впервые испытывала ни с чем не сравнимую сладость утоленной мести и с неиссякаемой женской изворотливостью придумывала все новые, еще более изощренные способы отмщения.

Торжественные прогулки в сопровождении свиты вновь участились. Едва припекало солнце, как ханша спешила к пруду, подолгу купалась и затевала веселые игры в воде. Каждый день, спозаранок, слуги складывали на берегу пруда под легкими, разноцветными тентами кучи румяных, только что снятых яблок. И в полдень, когда яблоки источали вязкий, густой аромат, юная ханша отправлялась со своими девушками к хаузу.

Резвясь в прохладной воде, по которой плавали краснобокие яблоки, ханша испытывала сладостную истому от соприкосновения упругих, жадных до ласки волн к изнеженному, напоенному дурманом назойливых желаний и беззаботной юности зрелому женскому телу. Здесь, в голубой воде хауза, она предавалась бездумной, пьянящей свободе молодой плоти, ее уже не тяготили ни показная спесь величественной ханши, ни необходимость подчеркивать исключительность своего положения, ни пышные, постылые одежды, увешанные тяжелыми драгоценностями, и ей хотелось, чтобы это ощущение свободы и влекущей жажды загадочных желаний длилось долго-долго, и она не спешила выходить из воды.

Потом, приятно утомленная, с тревожным волнением в крови, она ложилась на мягкую подстилку под легким шатром на берегу хауза. В вязкий аромат ханского сада вливались сладкие запахи духов и нежных мазей: молодые служанки принимались растирать смугло-розовое тело ханши. Но легкое прикосновение их пальцев вызывает лишь щекотку, а разгоряченная плоть жаждет более грубых, сильных ощущений. Опытные женщины знают, по каким ласкам тоскует тело юной ханши. Они не жалеют силу своих рук, их пальцы как бы невзначай, мимолетно касаются потайных мест, и ханша вздрагивает, вытягивается, замирает от удовольствия и нестерпимого желания. Руки служанок проворно мелькают над ней, искусно втирают в нежную, гладкую кожу заморские благовония. У ханши кружится голова, мутнеют зрачки, тяжелеют веки и чуть вздрагивают длинные ресницы, тело млеет от мучительной истомы, пальцы судорожно сжимаются. Медовая услада окутывает ее. И чудится ей, что нежится

она в саду эдема и девушки из ее свиты — истинные гурри.

Ну, конечно, разве можно на грешной земле испытать столько счастья, столько наслаждений сразу? И уму непостижимо, даже просто нелепым кажется, что ее все-сильному супругу нужно затевать какие-то опасные походы и месяцами, а то и годами пропадать где-то за тридевять земель, когда здесь, рядом, под боком находится сказочный рай. Живи, радуйся и наслаждайся.

Но тут она спохватывается, вспомнив, что сомневаться в праведности и разумности всех деяний и замыслов великого властелина — кощунство, непростительный грех, и поспешно пресекает преступную мысль, против ее воли вырвавшуюся на простор. В такие мгновения все свои сомнения и подозрения, словно гончую собаку, настигающую верткую добычу, она переключает, обрушивает на ненавистную соперницу — Старшую Ханшу, обвиняя ее во всех смертных грехах. Несчастливая! Уж чего-то она потащилась-поплелась за Повелителем в дальние страны?! Сидела бы уж дома...

...Язвительная мысль о сопернице доставляет юной ханше такое радостное облегчение, точно мгновенное удовлетворение самого жгучего, самого нетерпеливого желания, вызванного крепким, однообразным растиранием бедер и поясницы. Ей вдруг чудится, что не раскаленное полуденное солнце смотрит на нее с вышины, а глаз подлой соперницы, от злобы и ненависти наполненный кровью. Ну, ну, смотри, смотри, тварь ползучая, любуйся тем, чего у тебя нет, пусть гложет тебя зависть, пусть изводит тебя ревность, ну, смотри, смотри же!.. Ханша проворно переворачивается на спину, подставляет женщинам острые, упругие груди с коричневыми набрякшими сосками. Разве старая ее соперница обладает такой красотой? Разве есть у нее такое молодое, чистое, полное соблазна тело? Как бы не так! Потому она и завидует ее молодости. Потому она и ревнует так дико Повелителя к ней. И прокликает ее таинственное очарование, вырвавшее златоголового властелина из ее постылых объятий. Проклинает свою судьбу за то, что та обрекла ее на одиночество у потухающего очага. И, должно быть, в полном отчаянии, однако еще надеясь добиться благосклонности Повелителя, она на старости лет послушной собакой поплелась за ним в поход. На что только рассчи-

тывает, несчастная? На что она пригодна? Чем она сможет угодить Повелителю? Нет уж... не видать ей отныне властелина... Ради чего он станет наведываться к ней? Ради домашнего очага, вокруг которого увивается его многочисленное потомство?.. А вот к ней, юной, прелестной ханше, он заедет в первую же ночь после долгого, изнурительного похода, приедет как к желанному пристанищу, как к приюту любви и ласки, для отдохновения души и тела. Да, да... именно так... в этом нет у нее никакого сомнения... Но, будучи великим Повелителем, может ли он позволить себе такую роскошь – днем и ночью пребывать со своей возлюбленной, точно пылкий юноша? Конечно, нет. Стоит ему, грозному властелину, от одного имени которого трепещут все четыре стороны света, оставить своих подвластных на два-три года в покое, как презренная челядь с тайным злорадством начнет шушукаться о безволии хана, о том, что он изнежился и обленился подле своей жаркотелой бабы... От одной этой догадки у юной ханши больно сжималось сердце. О нет! Она, богом данная супруга великого властелина, не позволит, чтобы вонючеустая толпа трепала его славное имя. Ей в это мгновение стало совершенно очевидным, что недавняя мимолетная мысль о бессмысленности и бесплодности опасных и продолжительных ханских походов – женская слабость, непростительное кощунство.

Нет, она отныне не осмелится упрекнуть властелина за его походы. Более того, и потом, когда он вернется домой, она не станет силком удерживать его возле себя на том лишь основании, что имеет счастье быть его избранницей. Ведь весь этот люд, окружающий их, не спускает глаз с великого властелина и его юной жены. Каждое слово, каждый жест, даже малейший намек – все-все на виду. И потому вполне уместно, если Повелитель время от времени посетит свою Старшую Жену, заслуга которой хотя бы в том, что она наградила его детьми, а те в свой черед внуками. К тому же, надо полагать, привлекает его отнюдь не стареющая жена, а долг отца, деда и свекра, высокий долг проявлять заботу и выражать высшую волю и мудрость в непростых семейных отношениях. Ради этого, должно быть, он забрал с собой в поход и Старшую Жену. Ради этого наверняка изредка советуется с ней. И она, юная ханша, прекрасно понимает, что все это показное, что делается все это для посторонних

глаз и легковерной молвы. Что она, Старшая Жена, подозрительная, ревнивая баба, может посоветовать мудрецу властелину? Больно нуждается он в ее советах! Разве найдет он здравомыслие в ее иссохшем от ревности и зависти дряхлом сердце?! Уму непостижимо, о чем они, оставшись наедине, могут беседовать...

Мысли юной ханши оборвались, спутались. Сладкая истома, охватившая ее молодое, трепетное тело, точно истаивала, улетучивалась, и ей хотелось открыть глаза, оторвать голову от подушки, однако тут же опомнилась, спохватилась, боясь выказать свое смятение перед служанками, усердно растиравшими ее тело, и она, еще крепче зажмурив глаза, старалась поймать и связать нити оборвавшихся мыслей.

Да, да... на что еще способны пожилые супруги, кроме длинных и нудных разговоров? И, видимо, Старшая Жена умеет искусно поддерживать беседу. Должно быть, при виде властелина не теряется, не лишается дара речи, точно неопытная девчонка или как она, молодая, неискушенная жена.

Тогда, перед выступлением Повелителя в поход, она с нежной кокетливостью пыталась поведать ему свою печаль и тоску предстоящего одиночества – не поведала, не смогла. Наутро, в минуту прощания, пыталась прильнуть к нему, обнять, высказать ему свою верность и преданность, достойную юной ханши, – не осмелилась, не решилась. Застыла у порога, робко взглядывая на выходящего из ее опочивальни властелина. Должно быть, он почувствовал на себе ее взгляд: на полпути он круто остановился, пристально посмотрел на нее и, казалось, устремился к ней, хотел что-то сказать, однако покосился вбок, в сторону, чуть нахмурился и пошел дальше.

Юная ханша перехватила его взгляд, тоже покосилась вбок и увидела чинный ряд евнухов, склонившихся в подобострастном поклоне. Только теперь она поняла, вернее, женским чутьем своим почувствовала всю нелепость, бестактность своего растерянного вида и, смутившись вконец, быстро закрыла дверь. Однако в мимолетном взгляде властелина, полном сочувствия, нежности и необыкновенной доброты, она уловила то, чего – как ей почудилось в этот миг – не увидела в его обычно холодных, суровых глазах еще ни одна женщина. Может, это и было любовью... Радостное, счастливое чувство точно опалило

ее сознание. Ну, конечно, такой сочувствующий, проникновенно-нежный взгляд может исходить только от любящего сердца. Значит... значит, Повелитель любит ее...

Щеки ханши зардели, запылали. Дыхание ее прервалось, она точно окунулась на мгновение в таинственное озеро наслаждения, точно захлебнулась от неги и истомы.

«А что потом... потом... потом? – лихорадочно стучала мысль. – Потом, когда пройдет, исчезнет куда-то невысказанная нежность? Потом, когда потухнет страсть в глазах? Какое же чувство придет на смену ослепительному счастью любви? Неужели возникнет в душе пустошь, похожая на вытопанную, вытравленную, заброшенную стоянку бывшего кочевья?» Эта догадка показалась ей верной и справедливой, однако сознание отчего-то сопротивлялось ей, упрямое сомнение смущало желанную благость души и невольно навевало противоречивые думы.

Если былому страстному чувству между стареющими супругами суждено увядать, почему они все-таки до самой смерти не в силах расстаться? Или, быть может, их преследует просто страх перед закатом жизни и одиночеством старости?

Однако подобный страх испытывают, скорее всего, лишь заурядные смертные, чья власть и влияние не распространяются далее скудного семейного очага. Но великому Повелителю, подчинившему своей воле половину вселенной и до последнего часа окруженному вниманием, заботой, любовью преданных ему народа, войска, единокровных родичей и возлюбленной, такой низменный страх, конечно же, неведом. Значит, его влечет к Старшей Жене какое-то иное чувство. Какое?..

Да-а.. в душе стареющих супругов, должно быть, остается нетленный след былой искренней, горячей любви. Может, этот след – горсть стынущей золы – называется привязанностью или уважением? И, возможно, окончательно остынет и превратится в пепел эта горсть золы лишь тогда, когда сам человек обернется тленом?

Она вся вспыхнула, обрадовавшись тому, что так легко нашла ответ на давно уже мучивший ее вопрос. Но радость тут же погасла, ледяной холод опалил грудь.

Выходит, между Повелителем и Старшей Женой не все еще кончено. Остались душевная расположенность, взаимная привязанность. Сердце ее больно кольнуло. Тело,

разомлевшее под мягкими, упругими пальцами служанок, мгновенно обмякло, обвяло. Казалось, если она сейчас же, немедля, не встанет, чужие, безжалостные пальцы, точно когти хищника, разорвут ее онемевшее тело в клочья. Юная ханша вскочила. Тонкое шелковое платье обожгло ее холодом, словно впивалось невидимыми колючками. Она еле дождалась, пока служанки расчесали ей волосы и заплели косы. Она спешила уйти отсюда, от этого места, где только что предавалась блаженной истоме.

И опять обрушилось на нее уныние. Она вдруг ясно осознала свое одиночество, впервые так остро, обнаженно ощутила свое бессилие, свою немощь перед уверенной и могущественной Старшей Женой Повелителя, успевшей пустить надежные корни своими детьми и внуками. Боль и зависть, ревность и тоска, точно пламя, обожгли ее юное существо. Пусть, пусть, твердила она себе с отчаянием и злорадством, пусть сильнее разгорится это пламя и дотла выжжет всю ее душу, тогда, может, избавится она от невыносимых мук и обретет, наконец, желанный покой. И уже чудилось ей, что вот-вот мольба ее дойдет до всевышнего и случится это страшное и непоправимое.

Она старалась ни о чем не думать. Но беспорядочный рой мыслей помимо ее воли, словно назойливые мухи, мельтешил перед ее глазами, и она, с тщетным усилием подавляя в себе тошнотворную слабость и отвращение, отбивалась от него, крепко-накрепко зажмуривала глаза. Мысли дробились, дробились, точно наваждение, преследовали ее, сводили с ума, окутывали ее плотной завесой докучливой, прожорливой мошки. Противная дрожь, как в лихорадке, охватила юную ханшу. Она все усиливалась, дрожь трясла, колотила ее знобко, и уже невозможно было с ней сладить. Ханша испугалась, в ужасе широко раскрыла глаза. «Боже! Не заболела ли я? Не схожу ли и впрямь с ума?!»

Уже плохо помня себя, она кинулась в угол к зеркалу, и, едва увидев себя в нем, удивилась. Ничего страшного с ней не случилось. И никакая кара ей не угрожала. Все в ней оставалось прежним. Может, только слабо, второпях заплетенные косы чуть распушились. Но это, наоборот, придавало ее лицу свежесть, приятную новизну. Шея, грудь, щеки блестели от благовонной мази, которую щедро втирали в ее кожу служанки. На щеках горел румянец,

должно быть, от волнения, от постоянной борьбы сомнений и надежды, а вот гладкий, высокий лоб был бледен. Небольшой точеный носик с чуткими, трепетными ноздрями брезгливо морщился, будто неприятен ему был блеск алых щек. Робкий, задумчивый взгляд влажных глаз под манерно насурьмленными бровями подчеркивал выражение печали и подавленности на юном лице.

Ханша долго и пристально всматривалась в зеркальное отражение, словно не веря, что несчастная, удрученная горем девчонка – она сама. Поразительно, что с таким видом она еще безбоязно живет на этом свете. Глядя на нее, разве мыслимо испытывать хотя бы подобие любви, или уважение, или, на худой конец, простое любопытство? Нет, конечно! Она может вызвать только жалость, сострадание, долгий сочувствующий вздох: «Ах, бедняжка, сиротинушка!..» И напрасно она вообразила, что искорки в глазах великого Повелителя – выражение мужской любви к ней. Какое там! Самая заурядная жалость к слабому существу. Просто удивительно, что этот чахлый, убогий цветок до сих пор не затоптан своенравной львицей – Старшей Женой...

Разве такой беспомощный, жалкий цыпленок, как она, в состоянии, взволновать закаленное в кровавых походах сердце сурового Повелителя?! Просто любимая жена, состарившись, уже бессильна удовлетворить его мужскую потребность, и он взял себе в жены юную ханшу, как говорят, для обновления запаха ложа. А она, глупая, неопытная, приняла обыкновенную жалость, сочувствие пожилого человека за необыкновенную любовь. Нет, нет, о том не думай и не мечтай, смирись со своей судьбой, довольствуйся тем, что тебя взяли как юную, чистую, смазливую самку, да, да, самку, и благодари всевышнего за то, что тебе принадлежат, один из ханских дворцов и редкие, считанные ночи близости с великим Повелителем.

Не тебе, дорогая, соперничать со Старшей Ханшей, ибо ей, ей одной безраздельно принадлежат и уважение, и привязанность, и подлинная любовь властелина половины вселенной. И не надейся, что и тебе уготована подобная судьба...

С таким несчастным, горемычным видом разве в состоянии ты, как Старшая Ханша, привлечь к себе внимание равнодушного ко всем сплетням и слухам Повелителя

здравомыслием и задушевыми беседами? Разве аллах наградил тебя таким щедрым даром, чтобы Повелитель нуждался в твоём уме и мудрости, твоей близости в далеких и опасных походах?

Тягостные думы, точно нудный осенний дождь, все углубляли тоску, и юная ханша не находила в себе силы противостоять ей.

Она почувствовала за спиной чье-то дыхание. Обернулась испуганно: неужели кто-то посторонний застиг ее в таком растрепанном виде... Старая служанка держала в протянутых руках коричневую шкатулку. Заметила ужас в расширенных зрачках своей подопечной и улыбнулась жутковатой своей улыбкой, раздвигая сетку морщин и редкие жесткие щетинки возле дряблых губ.

— Вот это принес сейчас старший визирь. Подарок, говорит, от великого Повелителя...

Еще во власти недавних назойливых дум, ханша с недоумением уставилась на старуху, соображая, что ей сказать и как поступить.

Старуха осторожно опустила шкатулку на постель. Потом схватила растерявшуюся ханшу за руку и подвела ее к ней, точно малое дитя. Открыть шкатулку старая служанка, однако, не решилась. Достала откуда-то из глубин длинных рукавов крохотный блестящий ключик и сунула его в холодную ладошку ханши.

От волнения ханша никак не могла попасть в отверстие замка. Тогда старуха сама открыла шкатулку и, открыв ее, смутилась, заколебалась: то ли глядеть ей на ханшу, то ли на содержимое шкатулки.

В глазах ханши зарябило. Она даже не посмела прикоснуться к тому, что открылось ее взору, от восторга затаив дыхание. Переливавшийся всеми цветами радуги бриллиант, матово-загадочно поблескивающие кораллы, ослепительный жемчуг, диковинные алмазы, благородно холодный яхонт, прозрачный, как осеннее небо, сапфир, текучий, чистый, как капля родниковой воды, изумруд, багрово-красный, как стынувшая кровь на снегу, рубин, сдержанно-ровная, нежно-серая яшма и многие-многие другие драгоценности, даже названий которых она не знала, покоились в продолговатой ореховой шкатулке. А поверх всего этого великолепия скромно лежал маленький белый цветок, точно лилия на глади роскошного пруда.

Ханша схватила нежный цветочек, еще не потерявший ни свежести, ни аромата, и порывисто прижала его к груди. Железный обруч, холодом сковавший ее душу, мгновенно лопнул, и слезы, с утра застывшие в ее глазах, вдруг полились, хлынули, точно благодатный весенний дождь. Сердце, отяжелевшее от обиды и тоски, вдруг обрело прежнюю неощутимую легкость.

Ханша сейчас уже не замечала старой служанки, и не стыдилась своих слез, и не испытывала никакой неловкости, оглушенная неожиданным счастьем. Она чувствовала, как жуткий страх, облепивший ее, точно ненасытные пиявки, медленно покидал ее, удалялся, крадучись по-кошачьи. Всевышний и великий Повелитель вовремя почувствовали ее безысходную тоску и бездонную муку, терзавшие ее неокрепшую душу. Сомнения и подозрения, уязвленное самолюбие и обида, одиночество и необоримое желание – все они услышали, обо всем догадались. Вспомнил Повелитель о ней и за тридевять земель прислал гонца, чтобы утешить юную ханшу.

Ханша поднесла цветок к губам и расцеловала каждый лепесток.

Старшая служанка догадывалась без слов, что творилось сейчас в душе ханши, и тихо вышла.

Ханша прилегла на постель. Точно ребенок, любующийся новыми игрушками, перебирала она драгоценности, раскладывала на груди, улыбаясь диковинному блеску белых, красных, голубых, зеленых, черных камней, переливавшихся разноцветными каплями сказочного дождя.

Недавняя печаль в груди ханши развеялась, как тучи после ливня. Светлое, неведомое чувство, как тихая гладь озера, охватило ее. О, она бы сейчас высказала, выплеснула из самой глубины сердца всю свою горячую благодарность щедрому супругу, но он ведь не услышит.

Будь он рядом, забыла бы про робость и женскую стыдливость, отдалась бы ему без ума, без оглядки, вся, вся, подставила бы распаленные жаждой любви белые тугие груди, прижала бы страстно его к своему знойному телу, истомленному, измученному, как степь после долгой засухи. Только не осуществиться ее желаниям в этом безмолвном, огромном и унылом зале...

Излить бы свою душу в письме – стыдно. Доверить свою тайну гонцу – невозможно. Так как же она выразит, как передаст идущую от чистого сердца признатель-

ность, любовь и безмерную благодарность великому Повелителю, благодетелю, возлюбленному супругу? Когда еще вернется он из похода и переступит порог этого дворца? И кто знает, когда еще наступит тот желанный день, позволяющий ей на пышном супружеском ложе доказать всю нежность и страсть, томящие ее юное тело? Как она сбережет свое неумемное чувство к нему? Чем утолить ей неизбывную жажду любви, от которой кровь вскипает в жилах? Как, каким образом она известит ненавистную кичливую Старшую Ханшу, бесчисленных дворцовых слуг, вскормленных сплетней и интригами, самого Повелителя и весь этот необъятный мир о своей готовности в любой миг принести себя в жертву ради владыки вселенной, единственного и желанного? Об этом должны непременно все узнать сегодня, самое позднее – завтра, иначе сердце ее разорвется от счастья, не вынесет бурной радости. Как ей прожить столько долгих, изнурительных дней в тоскливом ожидании пока вернется из похода Повелитель? Как ей прожить столько бесконечно длинных ночей в неутоленном желании, в не утихающей, сжигающей страсти? Как она уймёт волнение, охватившее ее пылкую душу? Ведь отныне неизменная цель досаждать Старшей Ханше, всевозможными уловками отравлять ей жизнь не может ей служить единственным утешением. Большое, искреннее чувство должно выразиться в благородном поступке.

Она сейчас же, немедля, собралась бы в путь и отправилась бы хоть в какую даль вслед за Повелителем.

Но такой поступок наверняка уронил бы честь владелина и вызвал бы обильные сплетни среди праздной толпы.

Разложив все драгоценности на постели, ханша прилегла с краю и предалась мечтам. Чем она оплатит за столь щедрое внимание возлюбленного? Чем она обрадует его завтра, когда он, усталый, возвратится из дальних стран? Какая жалость, что слишком коротка была их супружеская жизнь, что не успела в досталь утешить жаркую плоть! Хоть бы понесла она от Повелителя до отправления его в поход. Тогда бы она не ломала голову, гадая, чем ответить на его доброту. Прислушиваясь к каждому толчку созревающего в материнском лоне плода, она испытывала бы пьянящее блаженство и, конечно же, не ведала бы ни изматывающих дум, ни неизбывной тоски.

Тогда у нее был бы повод ежедневно писать супругу. К его приезду она благополучно разродилась бы сыном и вышла бы навстречу Повелителю с крохотной плетеной люлькой в руках, и тогда она безраздельно и навсегда завладела бы благосклонностью его и тем самым лишила бы соперницу, Старшую Ханшу, ее единственного преимущества перед нею. Но увы! Всевышний не проявил этой милости, не дано было осуществиться этой красивой мечте, и, подумав об этом, ханша опять на мгновение растерялась.

Да, да, нечего ей предаваться грезам. За доброту и внимание Повелителя она может воздать только верной и искренней любовью. Больше ей нечем платить.

Значит, она должна придумать нечто такое, что доказало бы ее великую любовь и преданность не только Повелителю, но и всем живущим на земле. Она должна построить памятник, величественный и прекрасный, который поведал бы возвращающемуся из похода Повелителю о ее любви, душевной тоске, нежности и верности.

Она не станет дрожать над этими драгоценностями, как Старшая Жена, не присвоит их себе. Она построит на них небывалый памятник — башню любви, от которой не сможет оторвать взор сам Повелитель. Ее башня будет возвышаться над всеми минаретами города. И люди должны любоваться ею, восхищаться силой любви, верности и умом юной ханши.

В ту ночь она впервые за долгое время спала спокойно.

Наутро она отправила порученца за старшим визирем. Тот, выкатив большие, как плоски, смоляные глаза, выслушал ханшу с почтением и долго молчал. Неясно было, то ли удивлялся он намерению ханши, то ли одобрял про себя ее благородный порыв. Когда ханша, закончив свой сбивчивый рассказ, умолкла, старший визирь приложил белые холеные руки с длинными растопыренными пальцами к груди и низко поклонился.

«Будет сделано, высокородная ханша!»

Через две недели пришел главный зодчий и доложил, что новый минарет поручено строить одному из тех мастеров, которые возводили мечеть в честь Старшей Жены. Ханша встрепенулась: отныне ей нашлось дело. Каждый день она отправляла своего порученца к старшему визирю и от него узнавала все подробности новой стройки.

Особенно радовалась она тому, что минарет решено было построить неподалеку от ее дворца.

Медленно тянулись караваны дней... Однажды, встав с постели, ханша увидела в окно из-за верхушек деревьев что-то красно-бурое. В недоумении подскочила она к окну и тут только догадалась, что это и есть минарет, строящийся по ее милости. Минарет воздвигали уже около года. Кто-то маленький, едва заметный, будто мураш, копошился на вершине крутых стен. Минарет уже поднялся над оградой ханского дворца и сровнялся с самыми высокими деревьями в саду.

С того дня кирпичная громада за окном неотступно преследовала ее. Каждое утро ханша с нетерпением подбегала к окну и мысленно прикидывала, на сколько выросли стены минарета. Ей казалось, что стройка идет слишком медленно. Еще недавно она ликовала: мечта ее становилась явью, в столице Повелителя рождалась новая – невиданная по высоте и красоте башня, но теперь радость сменялась тревогой. Крохотный мураш на вершине минарета с утра до вечера торчит на одном и том же месте. Только много ли прока от того, что он там копошится? Эдак нескоро осуществится ее мечта. Может, и не суждено ей увидеть своей башни во всей ее величественной красе. Будет, как вечный укор, маячить перед глазами людей эта шершавая невзрачная каменная глыба, точно грязное пятно на прозрачной небесной сини. Ханше захотелось вблизи увидеть строящийся минарет, подняться на его вершину, встретиться с нерасторопным, нерадивым мастером, что как назло застыл на одном месте, и – если надо будет – уговорить, умолить его ради всего святого быстрее закончить башню.

Ханша долго колебалась, кому и как поведать о своем желании. Она осторожно, намеком, поговорила со старой служанкой, и та, всегда готовая услужить любимице, на этот раз отчего-то смешалась, посоветовала не торопиться, подождать, послать сначала слуг, чтобы они все подробно выяснили. Так и сделали. Не один раз отправляли к мастеру верных людей. И ответ был один и тот же: «Стройка идет, как задумано. В день укладываются сотни и сотни кирпичей. Уже сейчас минарет выше всех строений в городе. На такую высоту и кирпичи поднимать непросто. Подгонять мастера невозможно. Он и без того измучен».

Но все эти речи казались ханше простой отговоркой, желанием утешить ее, как несмышленное дитя. Нет, она должна сама, собственными глазами осмотреть башню. Иначе она не найдет себе успокоения.

И однажды, решительно отмахнувшись от всех опасений старой служанки, она отправила порученца к старшему визирю: ей, Младшей Ханше, угодно самолично осмотреть минарет. В назначенный день в сопровождении старшего визиря, главного зодчего и большой свиты она отправилась к строящейся башне.

Едва торжественный и нарядный кортеж выехал из ворот ханского сада, ханша увидела минарет во всем его величии. Обычно лишь краешек стены выглядывал из-за верхушек пирамидальных тополей, а здесь, на просторе, при стремительном приближении мягко катящейся повозки башня выростала на глазах, словно горделиво ввинчивалась в голубизну неба. А когда кортеж остановился у ее подножия и ханша со своей свитой вышла из крытой повозки, громадина из темно-коричневого кирпича, казалось, скрыла от восхищенного взора половину вселенной. Ханшу обуял восторг, по жилам прокатилась легкая радостная дрожь. Ей казалось, что, если бы девушки из свиты не удерживали ее под руки с двух сторон, она могла бы, словно пушинка, взлететь до самой верхушки минарета. Она вдруг решительно направилась к башне. Рабы, работники, дворцовые слуги, свита учтиво расступились перед ней и согнулись в покорном поклоне. Она никого не замечала, никого не удостоила взглядом. За ханшей, стараясь не отстать, ринулись главный зодчий, старая служанка и еще человек пять из свиты. По крутым каменным ступенькам быстро поднялась наверх. Сердце колотилось все громче, в груди горело. Сзади слышалось надсадное дыхание девушки из свиты. Остальные, должно быть, отстали. В узкой, тесной башне становилось все темней, все мрачней, пламя светильника в руках девушки-служанки отбрасывало зыбкий отсвет. Внутренние стены были сплошь в густой, жирной саже от лучинок, скудным светом которых пользовались рабы носильщики, доставлявшие наверх кирпичи. Ханша, подхватив длинный подол, упорно поднималась вверх по крутым ступенькам. Мрак уже заметно рассеивался, а еще через мгновение ослепительно засияло над головой, полуденное солнце. Ханша достигла вершины башни. Девушка-служанка,

державшая светильник, остановилась на несколько ступенек ниже.

То ли от непривычной высоты, то ли от неожиданно яркого света, обдавшего ее со всех сторон, ханша почувствовала слабость и головокружение. Однако она пересилила себя, подавила тошноту и быстро оглянулась. Огромный город, беспорядочно раскинувшись, лежал далеко внизу. Непрístupно-горделивые минареты, пышные мечети и дворцы отсюда, с высоты, казались невзрачными и неказистыми, словно игрушки в руках ребенка.

От радости вновь всколыхнулось сердце ханши. Выходит, напрасно она волновалась и тревожилась. Из этой башни, ее башни, и впрямь получится диво. Уже сейчас она овладела половиной небесной шири над столичным городом. Любуясь необъятным простором, открывавшимся с вышины минарета, ханша на мгновение скользнула взглядом вдоль кладки и едва заметила у самой стены фигуру мастера. Он был весь с головы до ног измазан глиной и, должно быть, стеснялся своего вида, потому что, как испуганный мальчишка, застыл на месте. И было странным, что юноша-мастер, своими руками сотворивший эту громадину, забился а угол, словно со страху онемевший зайчишка; у ханши — то ли от неожиданной женской жалости к его несчастному виду, то ли от любопытства и удивления — невольно чуть дрогнули губы. И хотя здесь, на вершине минарета, кроме них двоих, не было ни одной живой души и никто во всем мире их сейчас не видел, она смутилась и с усилием потушила непрошеную ласковую улыбку. Чутье подсказывало ей, что дальше задерживаться здесь, рядом с незнакомым юношей, неприлично, и она, подхватив пальчиками подол, нехотя направилась вниз по ступенькам, где со светильником в руке поджидала ее девушка-служанка.

У самого спуска она еще раз обернулась и отчетливо разглядела мастера: он был совсем еще юн, строен и худощав, смуглолиц, большие печальные глаза таинственно лучились...

Ханша осторожно, чтобы не оступиться, пошла вниз. Каждый ее шаг эхом отзывался в узкой мрачной башне...

Садясь в повозку, она еще раз покосилась на вершину минарета и сразу же нашла глазами маленькую, одинокую фигурку мастера на краю кладки. Она вспомнила его робкий, покорный взгляд, огромные печальные глаза и тихо улыбнулась.

С того дня судьба башни уже не тревожила ее. Она вновь вернулась к своим прежним забавам, возобновила забытые прогулки по саду и купание вместе с девушками в дворцовом пруду. После купания и игр в воде усталую ханшу долго растирали услужливые девушки, втирали в ее нежную кожу благовония, и она, в истоме, не удручала себя изнурительными и бесплодными думами, как прежде, а спокойно вглядывалась в знакомые очертания изо дня в день все заметней возвышавшегося минарета. И вот однажды она не увидела крохотной фигурки мастера на краю кладки и всполошилась. Но в тот же день слуги ей доложили, что мастер закончил кладку и теперь приступает к отделке стен.

Прошло лето. Скупыми дождями отшумела осень. Осталась позади и очень короткая в этих краях сырая зима. Грубо оголенная кирпичная громада сначала оделась в леса, потом через квадратные решетки, похожие на соты в ульях, нежно заголубела лазурь.

Отныне ханша в сопровождении свиты подолгу гуляла по саду и любовалась преображающейся на глазах башней.

Сначала башня оделась в лазурь. Она словно растворялась в синеве неба. И уже казалось, будто маленькие фигурки мозаистов, копошащихся на лесах, заняты украшением не стен башни, а самого небосклона. Линии минарета незаметно сливались с безбрежной небесной синью. Юная ханша ликовала.

Каждое утро, проснувшись, она спешила к окну, предвкушая радость от причудливой игры красок, — которыми украшали башню крохотные человечки на лесах. Ханше напоминала эта башня что-то очень знакомое, близкое, но она никак не могла вспомнить что. Потом ей померещилось, будто башня похожа на красивую женскую руку, маняще вскинутую над головой. И поразило ее: как точно угадал, как зримо выразил юный мастер нетерпеливую тоску ее по желанному супругу, так долго задерживающемуся в далеком и опасном походе!

И еще ей казалось, что голубая башня похожа на нежное, невиданное растение, впитавшее в себя лучшие соки земли, взлелеянное чуткой и доброй природой и обласканное живительным весенним ветерком. И уже жалость пробуждалась в сердце к этой башне, томили сочувствие и сострадание к ней, как к живому, беззащитному суще-

ству. Как выстоит этот хрупкий, одинокий побег потом, когда задуют свирепые бури ранней весной и в предзимье, когда обрушится на него нещадный летний зной?

Каждый день минарет удивлял своим новым обликом. То он казался невинным и робким творением, то напоминал шаловливое дитя, выказывая озорную игривость, то застывал в горделивой неприступности. Иногда он точно заглядывал в окно, навевал тоску и печаль, жаловался будто на одинокую судьбу свою, но на другой день становился замкнутым и холодным, дерзко устремлялся к самому небу.

Сколько бы ни разглядывала ханша башню, она не могла понять секрет ее многоликости, не могла постичь тайну ее неотразимой прелести. Особенно ее озадачивало, что мастер почему-то явно оттягивал завершение башни и долго копошился у зазора на самой вершине.

Ранее, бывало, ханша ежедневно свободно купалась в хаузе. Теперь она робела, стеснялась раздеваться и обнаженной входить в воду, чувствуя на себе пристальный взгляд юноши, наблюдавшего за ней через маленький зазор под куполом.

Выходя на прогулку, она останавливалась на берегу хауза и подолгу смотрела на минарет. Казалось, и башня глядела на нее, пытаясь сказать что-то сокровенное, сказать без слов, одними намеками, игрой красок, чтобы ни одна живая душа вокруг ни о чем не догадывалась.

Стоило ханше исчезнуть за стенами дворца, как башня тотчас окутывалась зыбким маревом и тихо грустила за окном. Но едва ханша показывалась в саду, башня точно пробуждалась, стряхивала с себя неведомую печаль и встречала ее сияющей улыбкой.

Минарет будто безмолвно подкрадывался к ней. Будто вплотную придвинулся к высокому дувалу вокруг дворца и сада и даже пытался перескочить через него, но никак не решался.

Это становилось наваждением. Минарет точно завожил юную ханшу, лишил ее воли. Она смотрела на него целыми днями, словно пыталась по буквам, по слогам прочесть некое загадочное письмо, написанное ей на незнакомом наречии.

Может, башня была ее безмолвным отражением? И у нее был цветущий, нарядный вид; и все же сквозь внешнюю красоту проглядывала затаенная, непреходящая

печаль. Неведомая боль, неизбывная тоска, тщетно скрываемая от себя и от других, подспудно подтачивали ее; робкое желание, неумемная страсть, подавляемая изо дня в день, застыли в ее обличье. Такое выражение глубокой душевной скорби вместе со страстным сердечным влечением встречается нередко в задумчивых глазах несчастных, неуверенных, замкнутых людей. Нет, эта башня вовсе не была отражением самой ханши. В минарете был выражен немой упрек. Он словно говорил ханше: «Ну, что ты?.. Неужели ты не можешь понять меня?!» И только теперь ханша заметила: да, да, точно такое же выражение, такой же мягкий укор, такую же ласковую мольбу она прочитала тогда, при мимолетной встрече, в покорных, лучистых глазах молодого мастера. Выходит, зодчий сумел вложить в свое творение свою душу, выразить в немом, бездушном камне свою затаенную мечту...

Только что это за мечта? О чем хочет поведать ей загадочная башня, так преданно и терпеливо заглядывающая в ее окно? В чем она ее упрекает? За какой проступок заслужила юная ханша ее немилость? Не может же молодой робкий мастер, который даже не осмелится поднять на нее глаза, быть в душе таким придирчивым, сварливым, жестоким. Нет, не может. Для зодчего, для подлинного мастера нет большего счастья, чем показать всем людям, всему миру свое творение, свое искусство.

Мастер, построивший удивительной красоты башню, которая с недостижимой высоты взирает на столичный город, не может быть подозреваем в недобрых помыслах.

Тогда почему он оттягивает завершение стройки? Почему на виду у всех оставил под самым куполом зияющий зазор?

Ханша приказала заложить повозку и отправилась смотреть минарет. Поразительно: по мере приближения башня теряла свой смиренный, кроткий вид и становилась неприступно холодной, заносчивой. Вблизи она и вовсе походила на кичливую, своенравную красавицу. Ханша на этот раз не стала подниматься на вершину минарета. Только поинтересовалась у главного зодчего, почему не заканчивают строительство, ведь осталась самая малость, на что тот, чуть додумав, с достоинством ответил, что, мол, мастер никак не может добиться чего-то очень важного, желанного, задуманного, что вот-вот ему, бог даст, откроется заветная тайна и тогда, в тот же день, башня будет завершена.

Возвращаясь во дворец, ханша продолжала смотреть на башню из окошка крытой повозки. И опять поразились: по мере удаления башня теряла свое заносчивый, неприступный холодный вид и становилась смиренной, кроткой, а из окна опочивальни и вовсе показалась удрученной, печальной. Ханша окончательно убедилась, что все эти загадочные превращения неспроста, что за этим кроется глубокая тайна.

Молодой зодчий, конечно, безошибочно понял и точно выразил ее чистую любовь и тоску по любимому супругу – великому Повелителю. Он сумел угадать затаенный смысл ее желания, которое побудило построить этот минарет. Потому, если смотреть издалека, башня и кажется такой грустной, потому и вызывает она невольное сочувствие, жалость. Должно быть, на расстоянии дневного пути она мерещится путникам манящей рукой истосковавшейся по любимому женщины. Она, видимо, чудится выражением страстной мольбы: «Спешите же, милый... Скорее приезжай... Скорее...» Но откуда эта вызывающая гордость вблизи? Разве не возбудит это справедливый гнев у властелина? Может, и он соскучился по возлюбленной за долгую разлуку, но вряд ли его обрадует кичливость и холодная сдержанность башни, построенной в его честь. И почему она грустит, скорбит, когда смотришь на нее из дворца? Ведь она, казалось бы, должна выражать ликующую радость, счастье юной ханши, обретшей свою любовь после стольких лет изнурительного одиночества.

Разве возможно, чтобы молодой даровитый зодчий, неспособный разве что источить слезу из камня, не понял этого? Значит, он сознательно наделил башню такой странной двойственностью. А что, если его подспудное желание, его глубоко упрятанную тайну увидит, разгадает, почувствует праздная, болтливая толпа, а не она, юная ханша.

Ханша не на шутку встревожилась. Посоветовавшись со старой служанкой, решила отправить на базар своих людей, чтобы они послушали и донесли, что говорят горожане и приезжие о новой башне. Однако ничего любопытного тайные соглядатаи не сообщили. Оказалось, что базарный люд ничего предосудительного или крамольного в новом минарете не усмотрел, что все только восхищены благородным поступком юной жены Повелителя,

решившей в честь своего далекого возлюбленного воздвигнуть невиданную доселе башню, и божественным даром неизвестного молодого зодчего.

Хотя ханша несколько и успокоилась после этих донесений, однако странная тревога, недовольство собой ее не покидали.

А ведь и впрямь нет никаких оснований для волнения. Глядя на башню, народ может воочию убедиться в искренности ее чувства к далекому супругу. И сам великий Повелитель, возвращаясь из похода, уже издалека увидит ее неумную тоску по нему, а подъезжая к башне, может по одному ее горделивому, надменному виду догадаться, что его молодая жена осталась ему верна и на всем белом свете, кроме него, властелина, ни о ком не помышляла.

Выходит, молодой зодчий чутко проник в самую ее душу, понял ее без слов и сумел выразить в камне и красках все ее порывы и чаяния. Значит, и великий Повелитель не найдет в построенной, по ее воле башне ни единого изъяна. О, всемогущий! Так пусть же наступит скорее тот желанный день — день встречи, день счастья! Она встрепенулась бы, как сказочная птичка в райском саду, вспорхнула бы в предвкушении мига наслаждений, светом радости озарила бы высокую душу своего изнуренного походом супруга. И тогда... тогда и Старшая Ханша, извечная соперница ее, оказалась бы посрамленной, униженной и ничего бы ей не оставалось, как корчиться от жгучей, испепеляющей ревности. Можно себе представить, как распирают ее гордость и чванство от того, что столько лет неразлучно сопровождала в походах Повелителя, деля с ним тяготы, славу и ложе, увидела столько диковинных стран и что следуют за нею караваны слонов и верблюдов, груженные несметным богатством. Но нетрудно себе представить также, как ликующая ее душа вмиг погаснет, сорвется с вышины, точно подстреленная, когда она неожиданно увидит перед собой дивную башню, подпирающую небосвод. И сам великий Повелитель в этот миг невольно убедится в том, что его Старшая Жена, с которой он прожил столько лет и которую он всячески ублажает и возвеличивает, еще ни разу не додумывалась до того, чтобы с таким же почетом и торжеством встретить возвращающегося из похода мужа и таким образом восславить победоносный дух его, что она, не-

смотря на всю свою высокородность, только и способна копить добро, трястись над своими драгоценностями и кичиться тем, что в молодые годы удосужилась, как плодовитая, вислобрюхая сука, нарожать ему детей.

Властелин, видящий каждого человека насквозь, без слов поймет, что юная ханша не только искренна, чиста и верна в своей любви, но еще и умна, мудра и способна своей душевной зоркостью удивлять людей. Она не станет высокомерно задирать голову, дескать, гляди, великий из великих, любуйся и оцени, какой подарок я тебе подготовила, а встретит его скромно и смиренно, как и прежде. И страсть свою, тоску и желание, накопившиеся за столько лет одиночества и переполнившие теперь ее истомленную душу, она не обрушит на возлюбленного сразу, точно неукротимый потоп, а будет сдержанной в ласке и любви, робкой и стыдливой. Неумелой и трогательной, как в ту первую брачную их ночь. Но даже при этой сдержанности она сумеет без назойливости подчеркнуть, что нет для нее более великого счастья, чем быть вместе с всемогущим владыкой, разделять с ним ложе и, щедро отдавая себя, исполнить свой извечный женский долг.

Лишь бы настал скорее тот день... О, каждый уголок этого огромного унылого дворца наполнился бы радостью и ликованием...

Благодаря голубому минарету скоро должна осуществиться ее взлелеянная мечта. И ханша готова расцеловать каждый палец чудодея-мастера, воплотившего ее мечту. Только бы быстрее завершил он свое творение. Только бы скорее заделал он тот зазор под куполом, раздражающий, как бельмо в глазу. И чего он мешкает, чего он там, на самой вершине, застрял вдруг безнадежно? И почему, когда смотришь из дворца, минарет кажется таким хмурым и подавленным, будто обидел его кто-то? Разве этот его облик не насторожит Повелителя? Может, он, Повелитель, мгновенно разгадает недоступную ей загадку? Поймет какой-то неведомый ей намек? Ну, конечно, он, владыка, подчинивший своей воле все четыре стороны света, сразу же обо всем догадается и все поймет при первом же взгляде. Только что придет ему на ум, когда он увидит из опочивальни юной ханши минарет, заглядывающий в ее окно печально и умоляюще? Несомненно, Повелитель решит про себя, что молодой

искусный мастер, способный одухотворить безмолвный камень, выразил своим минаретом то, что не осмелился бы высказать словами, ибо понимает, что за это ему непременно отрезали бы язык. Так что же получается? Выходит, робкий, преданный взгляд юного мастера тогда при их встрече на вершине минарета означал неодолимую любовь к ней. Да, да... любовь! Теперь-то ей все понятно. И уж коли открылась ей эта тайна, то тем более не ускользнет она от всевидящих и все понимающих глаз Повелителя.

Ханша опешила от этого очевидного предположения, словно кто-то грубо и неожиданно ворвался к ней в неурочный час.

Минарет, казалось, еще ближе придвинулся к ее окну. Верно, верно... наконец-то, все поняла... угадала, — словно твердил он в нетерпении, — ну, ну, что же теперь скажешь, что мне ответишь?..» И столько настойчивости, столько отчаяния чувствовалось в минарете, что юная ханша поневоле зажмурила глаза и отшатнулась. Ей на мгновение померещилось, что минарет вот-вот перемахнет через высокий дувал вокруг дворца, сметая все преграды.

Она отпрянула от окна, собралась духом.

Первое, что пришло ей в голову: необходимо немедленно наказать дерзкого мастера, нарочно затягивавшего завершение минарета. Несомненно, этого юнца попутал бес и ему самому неведомо, должно быть, что он себе вообразил. Значит, его следует наказать так, чтобы он не только про любовь, но и про брэнное свое существование забыл.

Гнев и чувство ущемленного самолюбия овладели теперь всем существом ханши. Посмотрите только, что взбрело в безрассудную голову юнца, едва осмеливающегося поднять свои воловьи глаза на молодую жену властелина! То-то же, неспроста, видно, уселся, как сыч в дупле, на вершину минарета и день-деньской неотступно следит за ней... Нет, от него нужно избавиться. И как можно скорее, пока еще бесчисленные, сплетники столичного города не пустили скользкий слух по всем закоулкам. Сумасброда, решившего достать луну на небе, следует тотчас поставить на место. Где это видано и слышано, чтобы низкородный холуй, нищеврод безымянный, черная кость позволял себе хотя бы в черных мыслях

своих возжелать белотелую невинную жену земного владыки?! Как он только посмел — пусть в своей поганой душе — осквернить священное ложе Повелителя? Если хоть одна живая душа догадается о его преступном желании о его дерзкой мечте... Получается, что, стремясь возвеличить и увековечить честь своего супруга, она помимо своей воли обесчестит на века его славное имя. Нет, юная ханша обязана пресечь это безумие, обязана своими руками задушить робкий росток надежды. Сейчас она вызовет порученца, тот обо всем доложит визирю, и старший визирь еще сегодня заточит строптивца в мрачное подземелье-зندان. А там он и пикнуть не успеет, как палачи секирой отрубят ему башку. Вот так бедолага-мастер, соорудивший чудо-минарет, станет жертвой собственной страсти. Что ж... пусть пеняет на себя. Мог бы вовремя обуздать свое изменное вожделение. Она, юная ханша, не виновата в его печальной участи ни перед богом, ей перед людьми. И не надо откладывать своего решения. Уже пришла весть: Повелитель держит путь на родину. Пока не доползли до него сплетни, следует погасить свет в очах молодого зодчего и распорядиться, чтобы главный мастер сам завершил строительство минарета. Но... разве минарет, словно коварный искуситель, не будет продолжать смотреть в ее окно, как прежде, преданно и умоляюще? И разве великий Повелитель не поймет его намека, не разгадает его сокровенной тайны?

От досады ханша больно прикусила губу. Как же теперь быть? Может, выпустить из крепости и подземелья всех рабов и пленников и заставить их разнести, разметать этот зловредный минарет дотла? Но что тогда скажет словоохотливая толпа, которая пока ничего не подозревает? Сколько кривотолков родится мгновенно по поводу того, что юная ханша приказала до основания разрушить минарет, построенный по ее же распоряжению. И сумеет ли она убедить Повелителя в правильности своего решения?

Ханша вновь подошла к окну. Минарет по-прежнему преданно и печально взирал на нее. На самой вершине, в черном зазоре, что-то мельтешило. Что делать? Как же быть? Кто сможет искусно заделать крохотный зазор, видный, однако, отовсюду? Да что зазор, когда сам минарет всему белому свету открыл ее сокровенную тайну? Тайну, которую она скрывала даже от себя! Нет, отныне

уже никто не в силах ее скрыть. Это может сделать только сам молодой зодчий, вдохновенный творец дивного храма любви. Однако ж этого не сделает... не сделает даже во имя их великой тайны, пока не осуществится его дерзкое желание. Живо предстал перед ее глазами смуглый робкий юноша, умоляюще смотревший на нее на вершине минарета. Чистый, пылкий юнец, видно, влюбился в нее без ума. Он, слепец, даже сам не понимает, на кого он позарился. Ему, несчастному, и невдомек, что страсть его губительна. Юная ханша вдруг очень ясно себе представила, что молодым зодчим руководило одно-единственное желание — воплотить в минарете свою слепую любовь. Да, да, только это, только это. Он, бедняга, давно уже забыл, по чьей воле строится минарет, что от него требовала Младшая Жена великого Повелителя, и он едва ли не с самого начала оказался в плену своих же пылких, по детски нетерпеливых чувств, которые заглушили в нем трезвый рассудок. И вот получилось, что помимо своей воли он вдохнул в этот минарет свою душу, выразил в нем свою безнадежную любовь, свою необузданную страсть, свое немыслимое желание, ради которых и угроза смерти ему не страшна. Вот почему так невыносимо тоскует минарет вдали, ибо прекрасно сознает, что недоступен ему предмет его обожания. Неразделенная любовь, невозможность любви привели молодого зодчего в отчаяние. Он теперь оттуда, из своего укромного гнездышка на вершине, не уйдет. Нужно встретиться с ним, убедить в бесплодности, бессмысленности его упрямства, предостеречь от безрассудства, объяснив, что его дерзость будет стоить ему жизни, а для юной ханши обернется бесчестьем. И если любовь его искренна, он не может не внять ее мольбам. Секира палача, конечно, поможет прервать пагубные мечтания потерявшего рассудок юнца, однако его слепая страсть, как вечный укор ханше, останется запечатленной в минарете. Значит, только испытанным женским лукавством можно вернуть его на путь благоразумия. И только в тот день, когда ханша утолит его неодолимую жажду наслаждения, утешит его истомленную душу или осчастливит хотя бы обещанием исступленной радости, минарет перестанет, наконец, взирать днем и ночью с укоризной, жалостью и печалью, молчаливо вымаливая ласку и любовь. И если наделенному божьим даром зодчему удалось выразить в каменном

минарете неумемную боль, охватившую всю его душу, то он с такой же силой сумеет выразить и ослепительный миг счастья. Вот именно это звездное мгновение и должен воплотить молодой мастер в своем творении. А тогда и сам великий Повелитель, и бесчисленная черная толпа, не подозревающие пока о дерзком поступке ошалевшего от любви юнца, воспримут это как радость и счастье ханши, заключившей в свои объятия долгожданного возлюбленного. К этому она и должна стремиться. И да пусть утешится несчастный юнец, пусть в желанной радости захлебнется его буйная, неистовая плоть, ханша уступит его строптивой прихоти...

Ханша, казалось, вновь поймала поводья разбежавшихся мыслей и приняла твердое решение. На другой день, с утра она пригласила к себе старую служанку. И горничные, и свита растерянно толпились за дверью, старуха вышла из опочивальни лишь около полудня. Она попеременно в упор вкогтила цепким взглядом в каждую, кто с утра томился возле тяжелой входной двери, потом велела одной из самых смазливых служанок остаться, остальных отпустила по комнатам. Девушки, озадаченно пожав плечами, разошлись.

В тот же день, после обеда, крытая повозка ханши в сопровождении дворцовой свиты направилась к минарету. Там, у его подножия, довольно долго стоял нарядный кортеж...

На следующий день, выйдя по обыкновению на прогулку, ханша сразу обратила внимание на то, что мозоливший всем глаза зазор под куполом был уже наполовину заделан. А еще через три дня строительство минарета было, наконец, завершено. Из окна своей опочивальни ханша любовалась совершенно новым обликом минарета: он приветливо улыбался, весь светился счастьем. В честь возвращения с победой великий Повелитель провел пышный пир, и на том пиру в числе многих одарил и юного зодчего целым подносом золотых динаров.

Принимая дар, тот незаметно покосился в сторону Младшей Ханши. Она смутилась, быстро отвела взгляд, посмотрела туда, где чинно восседала Старшая Жена со своей свитой, и успокоилась, решив, что никто не обратил внимания на неосторожность молодого мастера. Казалось, никому не было дела ни до него, ни до юной ханши, никто ни о чем не догадывался, и сердце ханши

после стольких сомнений и волнений вновь забилося ровно, спокойно.

А когда прошел многодневный пир и Повелитель поселился в ее дворце, она от счастья не находила себе места. Весь бесконечно длинный день она следила за солнцем. Казалось, назло ей оно никогда не зайдет. Ханша вся измучилась от ожидания, от духоты, от жары, и лишь когда раскалившееся светило нехотя скользнуло за горизонт, она облегченно перевела дух. Теперь уже скоро, вот сейчас наступит тот желанный миг утешения души и плоти — долгожданная плата за долгие годы тоски и одиночества. Она прислушивалась к каждому шороху, не спускала глаз с тяжелой, золотыми пластинами отделанной двери.

Так и промаялась ночь напролет, с болью и обидой озираясь в сторону входа. Утром, как всегда, вошли к ней горничные, и вид у них был растерянный и смущенный.

Ханша прочла в их глазах слабое утешение: «Ничего... не отчаивайся. Утомился ведь Повелитель после опасного похода и шумного, многодневного пира. Видно, неудобным ему показалось, подобно нетерпеливому юнцу, в первую же ночь переступить порог твоей опочивальни».

В тягостном томлении провела ханша день. Как невменяемая, слонялась из угла в угол. Надумала было поразвешаться на прогулке, однако тут же отказалась от этого намерения, вспомнив, что Повелитель, любит одиночество у родника в саду, и боясь неожиданной встречи с ним.

Первые дни ханша успокаивала себя тем, что Повелитель, должно быть, и впрямь устал, и старалась возбуждать в себе жалость к нему. Но проходили дни и ночи, и она все так же настороженно прислушивалась к шагам за тяжелой дверью, ждала, ждала до полного изнеможения, а Повелитель не показывался и никаким образом не давал о себе знать. Ночами напролет ворочалась ханша на душных перинах, будто они были усеяны колючками.

Отныне она пытливо заглядывала в глаза старой служанки и горничных. И у них был подавленный, удрученный вид. Ничего у них ханша выпытать не смогла, наоборот, казалось, они сами ждали от нее каких-то объяснений. Ханша изо всех сил старалась не подавать виду. Однако служанки, без слов понимавшие каждый по-

рыв и каприз своей госпожи, конечно же, обо всем догадывались. Приутихла свита, улыбалась через силу, ходила на цыпочках.

С того дня, как Повелитель поселился в ее дворце, ханша уже не выходила на прогулку; целыми днями томясь в опочивальне, все думала, думала до головной боли, до умопомрачения, а потом часами смотрела в окно. Казалось, она без слов жаловалась минарету на свою судьбу, на продолжающееся одиночество, на то, что великий Повелитель охладел к ней после похода, еще ни разу не удостоил своим посещением. Но минарет самодовольно сиял в лучах солнца, играл разноцветными бликами и взирал на ханшу восторженно-радостно. Куда только исчез его недавний жалостливый, умоляющий взор? Он выражал теперь уверенность, удовлетворенность, будто упивался желанной удачей. Ханша содрогнулась: сколько холодной надменности и равнодушия к ее душевным мукам, к ее нескончаемым страданиям было в этом величественно-прекрасном минарете, который по вершку, по кирпичику рос столько лет на ее глазах! Казалось, он мстил ей за что-то, откровенно злорадствовал. То-то же, голубушка, вроде говорил он, помнишь, с каким высокомерием глядела когда-то на меня, как задирала нос, как упорно не внимала моим мольбам?.. Сколько лет я вымаливал твое внимание!.. Как долго мучила меня своим безразличием!.. Ханша представила себе молодого зодчего. Она еще раз внимательно рассмотрела его тогда на пиру, когда он принимал щедрый ханский дар. Навсегда запечатлелся в памяти его облик: гладкий, широкий лоб, прямой, правильной формы нос, чистое, смуглое лицо, необыкновенно большие печальные глаза, сосредоточенный, загадочный взгляд. Чем он живет теперь, вдохновенный юноша? Не может быть, чтобы он ошалел от радости, получив полный поднос золотых динаров. Он, кажется, не из тех, кто гонится за житейским благом. Наверно, и он еще не охладел к своему творению. И его сердце, должно быть, сладко сжимается, когда он смотрит на минарет или вспоминает тот памятный для обоих — день...

Стоит юной ханше вспомнить о том забавном и трогательном случае, как ей сразу становится легко и светло, словно весенним половодьем омыли ее душу, и в невольной доброй улыбке растягиваются ее губы. Смешно: до

чего же чист и неопытен пылкий юноша! Думая о том невинном розыгрыше, о поступке ошалевшего от неожиданного счастья молодого зодчего, она испытывала одновременно и жалость, и сочувствие, и неведомую нежность к нему. Он ненасытно ласкал ее, обнимал, шептал жаркие слова: «Не уходи... не отпущу... останься... навсегда... навсегда...» Смотри, чего ему захотелось! Видно, не прочь всю жизнь тискать в своих объятиях Младшую Жену великого Повелителя.

Рассказывая потом подробно ханше об этом, молодая смазливая служанка звонко хохотала, и вместе с нею смеялась и ханша, но тут же, опомнившись, резко обрывала свой смех. Нет, вовсе не потому, что ей было неловко перед своей служанкой. А скорее потому, что, слушая предназначенные ей сокровенные слова влюбленного юноши из уст разбитной, довольной служанки, ханша почувствовала на миг, как ледяной холод больно кольнул ее сердце. Стараясь скрыть эту неожиданную для самой себя пронзительную боль, она придирчиво и ревниво расспрашивала служанку обо всем, что происходило между ними там, на вершине минарета, и тщетно силилась при этом сохранить легкую усмешку на губах. И чем больше подробностей выводывала она у служанки, тем ощутимей становилась боль в груди. Каждый поступок, каждое слово, каждый жест страстного юноши живо отзывался в ее сердце.

Так же пристально и с тайной завистью разглядывала она чуть-чуть смущенную юную служанку, ревниво отмечая про себя здоровую алость ее тугих щек, черный, озорной блеск больших глаз, сочность полных, пылающих губ, стройность легкой, складной фигурки. Ханша даже заметила на ее лице следы особой, необычной радости – не такой легкомысленной, бездумной, как у других служанок. Это была та самая таинственная радость, которую она сама, будучи ханшей, не постигла, не изведала. Это ликование души и плоти, упоение радостью, торжество, которыми наполняется все существо женщины в редкий миг счастья и любви. Этим блаженством скряга-судьба одаривает женщину лишь однажды за всю ее жизнь, а чаще всего и вовсе не одаривает. Редкой счастливице удастся понять эту высшую радость. Суждена ли ей, ханше, такая доля? Ведь, говорят, счастье мимолетно. Упустишь из рук желанный миг и будешь казнить себя всю

жизнь. А она предназначенную ей любовь по собственной воле уступила другой. В тот день, когда она чутким женским сердцем ясно осознала вдруг сокровенное желание молодого зодчего, ханша долго и откровенно советовалась со старой служанкой. Тогда-то они и договорились прибегнуть к невинному розыгрышу. Старая служанка выбрала из свиты ханши самую смазливую, юную и хрупкую девушку. Ее нарядили, как ханшу, и отправили на вершину минарета на свидание с молодым зодчим, потерявшим от любви голову. И вот теперь сидит она, юная служанка, перед ней, сияющая, веселая, довольная, еще не остывшая от тех жарких объятий, еще взволнованная нежными и страстными словами, которые вовсе не ей предназначались, но колдовскую силу которых она извела сполна.

Ханша старалась подавить в себе непрошеную досаду и боль, взять себя в руки, ибо она вспомнила чьи-то слова, что женская ревность и зависть – всего лишь признак слабости. Ей, ханше, не пристало быть мелочной и слабой. Она не желала вспоминать о том, что случилось, хотела скорее и навсегда забыть тайну, известную лишь ей, старой служанке и смазливой девице из ее свиты. И когда на следующий день она увидела, с какой поспешностью молодой зодчий заделывал зияющий зазор на вершине минарета, ханша почувствовала желанное облегчение, и вчерашняя досада уступила место удовлетворенности и душевному покою. А потом вернулся из похода великий Повелитель, увидел и похвалил минарет, и, узнав об этом, ханша сразу забыла все свои недавние тревоги, тоску и отчаяние. И вот теперь неожиданно они вновь захлестнули ее. И все, конечно, потому, что пусто на душе, потому, что властелин забыл дорогу в ее опочивальню. А подавленная душа все равно что голодный бездомный щенок, обнюхивающий каждую помойку и поневоле натыкающийся на всякую дрянь. А она – высокородная ханша, любимая жена великого Повелителя, не какая-нибудь долгополая занюханная бабенка, ищущая низменных утех на стороне!

Но напрасно подстегивала она свою гордость. Горькая усмешка искривила ее губы, когда она вспомнила, что судьбой ей уготовано возлежать на ханском ложе в объятиях всемогущего Повелителя. Как бы не так! Не больно жалуется властелин своей любовью. Не больно щедро

одарил ее лаской. Это только считается, что она проводит счастливые ночи в неутраченных объятиях коронованного владыки. Все это жалкое утешение, самообман, ложь. Сколько бессонных ночей ворочается она в постылой постели? Догадывается ли о ее муках хоть одна живая душа? Неужели так ничтожна плата за долгие годы тоски? За верность и преданность? За то, что она, подобно Старшей Ханше, не дрожала над своими драгоценностями, не умножала ненужное ей добро, а щедро все потратила на строительство голубого минарета?.. Напрасные надежды... обман... ложь. Пустая затея, рожденная страхом перед одиночеством. Все живое на этом свете, даже самые ничтожные, изменчивые твари живут парами. И только ей одной не дана супружеская жизнь. И все это время она только и занята тем, что сама себя утешает, сама себя уговаривает и обманывает. Самую обычную жалость богом данного супруга она приняла за любовь. Самый заурядный подарок посчитала знаком особой признательности и душевного влечения. А что такое шкатулка драгоценностей для Повелителя, покорившего половину вселенной?! Так себе, мелочь, крохи, которые он в добром расположении духа может, не задумываясь, швырнуть первому встречному нищему. Если бы Повелитель действительно любил ее или хотя бы испытывал к ней неукротимую мужскую страсть, разве мог бы он, находясь с ней столько ночей рядом, под одной крышей, в одном дворце, ни разу не заглянуть в ее опочивальню? Вспоминая теперь те сладостные, счастливые надежды, которые она в душе связывала с возвращением Повелителя и так обстоятельно и любовно вынашивала в своем воображении, ханша испытывала стыд и досаду и упрекала себя за наивность и легкомыслие. Было невыносимо жалко расставаться с той красивой мечтой. Лучше бы не наступило отрезвление. Лучше бы вновь вернулись те бесконечные дни и ночи смутных ожиданий и зыбких грез. Тогда рядом с пустоглазой тоской неизменно теплилась хоть какая-то вера в недалекое счастье, сполна вознаграждающее ее за все муки. Эта вера, эти наивные мечты утешали ее даже в отчаянии.

Где они теперь, те дивные грезы? А с какой стати она внушила себе, что так безумно любит Повелителя? Что если ее любовь — пустая выдумка? Разве может женщина, не познавшая подлинной любви другого, почувствовать в

себе силу неодолимой страсти? Вряд ли... Ведь это слепое пьянящее чувство должен кто-то в ней возбудить. Не воспламенится же она сама по себе. И великий Повелитель, кажется, не успел заронить в ее сердце искорку неуемной страсти. Тогда почему она вообразила невиданную любовь между ними? Может, это и не любовь вовсе, а выдуманное подобие любви, лишь смутное желание, навеянное истомленной, измученной душой? Или обманчивое чувство, похожее на неосуществимую, немислимую надежду молодого зодчего?

Ханша испугалась. А что, если ее догадка – истина? И разве не кощунство так думать? Не сомневается ли она в самой божественной силе, в всемогуществе всевышнего? Ханша трижды помянула создателя, поспешно прошептала спасительные молитвенные слова. Однако подозрение, возникшее так неожиданно, не оставляло ее.

В этот день она почувствовала себя еще более разбитой и подавленной. Словно тень, слонялась она из угла в угол просторной опочивальни. Ноги подкашивались, тело ныло, она будто, подламывалась под непостижимой, невероятной тяжестью. Еле дождалась вечера. И то ли сказались долгие бессонные ночи, то ли вконец измытарили ее горестные думы, но едва она коснулась головой подушки, как ленивое, сонное безразличие мягко окутало ее. Приятная усталость медленно проникала во все поры. Это было странное, неиспытанное состояние между сном и явью. Разморенная сладостным предчувствием, она покорно и радостно отдавалась истоме. Казалось, невидимые лучи наслаждения с небесной вышины пробивались в ее огромную, одинокую опочивальню, грели и ласкали ее изнуренную плоть, пробирались до костей и растапливали ледяной наст в душе, рассеивали, растворяли тоску, печаль, боль, гнев, горестные думы, отчаяние и досаду, накопившиеся за все эти гнетущие годы, нежно нашептывали, приговаривали: «Успокойся, милая, отдохни, ни о чем не думай, не расстраивайся, не изводи себя понапрасну», гладили ее чудодейственной мягкой ладонью, избавляя от непосильных мук и терзаний. Глаза ее сомкнулись; плотная белая пелена заполнила все вокруг, сознание погрузилось в дрему, и ханша сама уже не понимала, спит она или бодрствует...

И все же какая-то частица сознания стерегла вечернюю тишь, зорко вглядывалась в дрожащий белесый луч.

Сердце, уставшее от волнений, понемногу успокаивалось; тяжелый, все усмиряющий сон, неумолимо подкрадываясь, все уверенней заключал ее в свои теплые объятия. Разнежившись, ханша безмятежно раскинулась в постели, но крохотный очаг сознания не дремал, продолжал бодрствовать, сторожко оберегая ханшу от любопытствующего взора...

И вот в несуразно огромную опочивальню, бесшумно открыв отделанную золотом грузную дверь, вошел кто-то, крадучись, на цыпочках. Даже не вошел, а словно вплыл, растворяясь в сумраке, и нерешительно застыл у порога. Неожиданный ночной гость испугал ханшу, она попыталась вскочить, вскрикнуть, но что-то сковывало ее, как бы пригвоздило к постели, не позволяло шелохнуться. Даже руки были ей неподвластны, точно связанные. Она силилась разглядеть того, кто, словно призрак, неподвижно стоял возле двери, вглядываясь до боли в глазах, но белесая, дрожащая мгла, словно плотной кисеей, скрывала черты лица. Она видела лишь смутные очертания фигуры, точно под толщей колыхающейся воды.

Вот таинственный пришелец, шелохнулся, медленно, неслышно направился к ней, но по-прежнему не различить его лица, он точно плывет, то приближаясь, то удаляясь, в серовато-мутном потоке... Ближе... ближе... почти уже рядом. Но кто он... кто? Ханше он чудится знакомым. Да, да... где-то она его видела. И эти глаза, большие, ясные, с загадочным блеском в глубине зрачков. Взгляд, по-юношески открытый и смелый, отуманен неведомой печалью. Он будто жалуется ей, о чем-то умоляет, и невыразимо больно смотреть в эти кроткие, преданные глаза. Она их знает, она их видела часто, может, даже каждый день. Но чьи они? Отчего ей так грустно и одновременно тепло от них? Отчего печаль в его глазах так созвучна, так понятна ее горю? Почему ее душа так нежно, так чутко отзывается на безмолвную его мольбу?.. О, всемогущий, всеблагий!.. Почему она не может очнуться? Где и когда она видела эти колдовские глаза? Нет... ей только померещилось. Никто, никогда, нигде не заглядывал так проникновенно в ее душу. И все же откуда она их знает?.. Кто он, этот искуситель? Почему она не может вспомнить его? Ведь он и раньше смущал ее покой, приводил в смятение, в отчаяние...

Тянущая истома, блаженная нега вдруг вновь уступили

место лихорадочной тревоге. Ну, наконец-то, вспомнила... все вспомнила. Да, да... только у молодого зодчего она видела такие печальные глаза. Такую же грусть и безмолвную мольбу выражал еще недавно и построенный им минарет. Теперь она узнала не только покорнокроткий взгляд, но и смуглое, овальное лицо, прямой, резко очерченный нос, полные, пухлые губы. Конечно же, это был он, юноша-зодчий, творец голубого минарета. Но... как он проник в ханский дворец, в который не залетит незамеченной даже муха?.. Как пропустили его многочисленные охранники и слуги?.. Она считала, что он навсегда охладел к ней после того случая. Выходит, не угасла в нем страсть. Выходит, напрасно она затеяла невинный розыгрыш с юной служанкой. И вот он сам пришел к ней в опочивальню. Что будет, если застанет его здесь старая служанка? Безумец, он не только сам подставляет голову под секиру палача, но позорит и ее честное имя.

Ханша порывалась накричать на зарвавшегося наглеца, наказать его за назойливость, позвать слуг, но у нее не было голоса, будто кляпом заткнули рот. Однако молодой зодчий, должно быть, догадался об ее гневе: подойдя почти вплотную к постели, он вдруг отпрянул, отшатнулся, заспешил к выходу. Большие, печальные глаза округлились, как у испуганного ребенка. Сердце ее зашлось от жалости. Она подала знак: «Не уходи... стой... Иди ко мне...»

Нежданный ночной гость растерянно застыл у двери, не зная, какому капризу ханши повиноваться. Она протянула к нему обе руки, позвала настойчивей, и он, еще не веря, робко шагнул навстречу. Теперь ее охватило жгучее нетерпение. Ну, скорей же, смелей... В глазах его мелькнули испуг, надежда и желание. Все еще робея, он неслышно добрался до постели, осторожно коснулся ее пальцем. Они обменялись быстрым смущенным взглядом. В это же мгновение ханша почувствовала страх. Если она сейчас упустит этот миг, то навсегда лишится нерешительного, чистого юноши с покорными, печальными глазами. Преодолевая стыд и робость, она вся подалась, потянулась к нему, обвила его руками и откинулась назад, задыхаясь, обессиленная от судорожных, нетерпеливых объятий. В воспаленном сознании мелькнула вдруг догадка: все эти годы, изнуряя свою душу и плоть, она,

оказывается, желала, ждала только его, его одного, его неумелую ласку и тихую, преданную любовь. И вот то, почему она томилась долгими бесплодными ночами, неожиданно сбылось, и теперь она уже никогда, никогда, никогда не выпустит его из своих объятий, никакая черная, злая сила не разлучит их, не отнимет его, желанного, любимого, единственного. Она изо всех сил, как в безумии, прижимала его к себе, словно хотела слиться с ним, раствориться в нем, и он, все более распаясь, чутко и благодарно откликнулся на ее немой зов. Тела их сплелись, сплелись в ненасытной жажде и ярости и, сливаясь в единую плоть, в единую душу, покорно отдалась могучему потоку страсти, уносившему их от всех тревог и волнений обыденной жизни. Ханша не сопротивлялась, она радовалась этому неведомому необузданному желанию, от которого мутился рассудок и сладкая нега огненной волной растекалась по жилам. Она чувствовала, как наливалось тугой силой, упругое, гибкое тело юноши, как все больней стискивали ее крепкие молодые руки, как сильно, толчками колотилось его сердце. Она, как могла, подбадривала его, радовалась его неистовству, пылкости и твердила, как заведенная: боже, не дай иссякнуть этому огню, этому буйству, пусть это блаженство, этот сладкий миг продлится долго, долго, долго... до конца отпущенных судьбой ее дней... навсегда... И уже чудилось ей, что дошла, до всевышнего горячая ее мольба, что не будет конца этому безумству, великому торжеству плоти, как вдруг ощутила она странную слабость, разбитость во всем теле и разжались как-то сразу огненные тиски...

Долго лежала ханша, вконец опустошенная, измученная, будто после тяжкого приступа. Только что огнем пылавшую грудь ожег ледяной холод. Она медленно открыла глаза. Мягкий, робкий свет зыбился в опочивальне. Она протерла глаза, взглянула вокруг – ни единой живой души. Странно... Тускло мерцала вдали тяжелая, золотом обитая дверь.

Чувствуя, как в ней вскипает беспокойство, ханша посмотрела в сторону окна, потом взгляд ее скользнул по хаузу в середине, по сумрачным углам. Ни намека на то, что кто-то был здесь ночью.

Только теперь ханша обратила внимание на измятое, скрученное пуховое одеяло, на истерзанную постель. Не веря своим глазам, она оглядела себя, задумалась на миг

и вдруг с брезгливостью ненавистью отшвырнула ногой сомканное одеяло, словно то был уж, подползавший к ней.

Вновь охватила ее ярость, холодным обручем скрутила, и злые слезы покатались из глаз. Уже через мгновение от слез грудь стала мокрой. Она не вытирала, не сдерживала их. Казалось, горячие слезы, стекая на грудь, растапливали в ней коросту тоски и муки и приносили желанное облегчение.

Ханша плакала долго, иступленно, вздрагивая худенькими плечиками. Потом, выплакавшись, враз обессилела, затихла. Голова раскалывалась, больно жгло в груди. Слезы, приносившие обманчивое облегчение, отравой проникали в сердце.

Так до утра и не сомкнула глаз. В тот день она словно прозрела, поняв причину загадочной тоски, неотступно преследовавшей ее столько времени. Лишь в этот день впервые и как-то неожиданно мужественно создалась она в своем несчастье и окончательно смирилась с тем, что счастье покинуло ее, покинуло, может, навсегда, а скорее, оно и не посещало ее вовсе, и суждено ей до конца жизни прозябать в тоске и скорби.

Утром, как всегда, распахнулась грузная дверь и вслед за старой служанкой ввалилась в опочивальню по-прежнему беззаботная, радостная свита. Девушки шумно подбежали к постели, окружили ханшу. Она с недоумением и досадой отмечала про себя их бездумную оживленность, незыблемое довольство жизнью и собой, а девушки, ничего не понимая, растерянно уставились на нее подкрашенными глазками, разглядывали ее, осунувшуюся, побледневшую, погасшую за одну ночь: глаза ввалились, в глубине зрачков застыли тоска и смирение, покорность перед своей сирой участью. Старая служанка подала знак, чтобы все немедленно вышли, и прижала к груди измученную маленькую госпожу, как ребенка, и погладила ее по волосам:

– Что с тобой, милая?! – зашептала старуха. – На тебе лица нет. Неужто великий Повелитель невзначай обидел? Какой-то хмурый, странный вышел он от тебя ночью... Что же могло случиться?..

У ханши округлились глаза. Что тут мелет старуха?

– Что-о?.. Великий Повелитель? Он разве был здесь?

– Ну, да... ночью... Только уж больно скоро он вышел...

Ханша как подкошенная рухнула в постель, старая служанка испугалась, склонилась над помертвевшей ханшей, смекнула, что та в беспамятстве...

Лишь к обеду ханша пришла в себя. У старухи, сидевшей у ее изголовья, она ни о чем не спросила. Старуха тоже не осмелилась допытывать госпожу. Только время от времени бросала на нее встревоженный и виноватый взгляд.

Да-а... за всю свою жизнь ханша лишь однажды согрешила перед мужем – великим Повелителем. И случилось это не наяву, а лишь во сне. Но даже это ее единственное прегрешение было мгновенно замечено зоркоглазым властелином. Потому он и не задержался ночью в опочивальне, ибо собственными глазами видел, как предавалась она во сне низменному блуду. Потому и вышел он гневным из опочивальни, ибо понял, что в воображаемых объятиях другого мужчины бьется в сладостных судорогах юная его жена...

Глухое, неутешное горе, как тяжелая, неподвижная духота в знойный полдень, затмило сознание ханши. Она не обронила ни одного словечка, даже подавляла легкий вздох, не желая, чтобы кто-то догадался о ее боли и смятении.

Жизнь отныне протекала как в тяжелом сне. Все вокруг лишилось смысла и притягательства. Ханша в душе смирилась со своей виной, осознала свой страшный грех и была готова к любому наказанию. Перед великим Повелителем виновата она одна. Молодого зодчего никто ни в чем не может упрекнуть. Он безрассудно любил ее, но не прикоснулся к ней даже пальцем. Даже во сне она отдалась ему сама, по собственной воле, в порыве слепого, неподвластного чувства. Кто знает, как бы она повела себя, случись это наяву... Но теперь она хоть поняла, какое желание изводило ее так долго и как случается, что дикая страсть затмевает рассудок. Поняла: то, что она считала возвышенной, чистой любовью к великому Повелителю, было на самом деле низменным томлением бабьей плоти, жаждущей крепких и грубых мужских объятий. И если бы молодой зодчий каким-то образом сумел проникнуть в ханский дворец и пробиться через все преграды в ее опочивальню, она, очень может быть, поступила бы так же. Вряд ли даже наяву нашла бы она в себе силы противостоять жадному зову плоти, устоять перед горя-

чей мольбой пылкого юноши и обуздать неодолимое желание, от которого кровь вскипает в жилах. Что бы там ни говорили, а исконную бабью суть не скроешь никакими пышными ханскими одеяниями. Искушение, ввергающее во сне душу в грех, непременно скажется и проявит себя и наяву. И потому ханша сознает свою вину, супружескую неверность, измену, бесчестие и покорно примет любое наказание, самую страшную кару за бабью слабость, за все содеянное ею.

Если бы сейчас великий Повелитель вошел к ней и отодрал бы за волосы, как последнюю девку, избил, истоптал, как поганную тварь, исполосовал ее шкуру и переломал все кости и швырнул бы ее грешное тело на съедение шакалам, она не противилась бы, а покорилась судьбе и даже осталась бы довольной; может быть, такая позорная смерть была бы лучше ее теперешнего прозябания. Но создатель не дал ей даже такого счастья — счастья сносить побои мужа. Выходит, нет горемычнее ее на свете. В отчаянии она была готова исцарапать себе лицо, рвать на себе волосы, биться головой о стенку.

Долгими-долгими днями, томясь от одиночества и тоски, и нескончаемыми безрадостными ночами, предаваясь изнуряющим думам, она не раз с жутким наслаждением размышляла о том, как погасить крохотный живой лучик, упорно мерцающий где-то в укромной глубине ее давно остывшего, безжизненного тела. Она находила много способов разом покончить со всеми муками и, казалось, обладала достаточными мужеством и решимостью для осуществления любого из них, но почему-то так и не осмеливалась переступить заветную межу. Нет, нет, в душе она признавала, что это не от страха и не от того, что слишком дорожила лживой жизнью на этом свете.

Низменное прозябание, именуемое жизнью, ей так же омерзительно, как и ее грешная, жадная плоть. Она окончательно смирилась с тем, что ее недавний чувственный сон был последней вспышкой так и не разгоревшейся страсти, последний порыв, последнее стремление души и плоти к счастью, к жизни. Сейчас, вспоминая подробности того сна, она уже не испытывала ни стыда, ни досады, но прекрасно признавала, что мечтать о том мгновении так же бессмысленно и кощунственно, как бессмысленна и кощунственна сама жизнь без душевного огня, без желания. Значит, цена дальнейшей жизни — ржавая монетка.

Сейчас она с покорностью и даже радостью восприняла бы любое наказание, к которому приговорил бы ее великий Повелитель. А сама она не смеет покушаться на свою жизнь, какой бы ни была она бессмысленной. Ханша, конечно, не может точно знать, как истолковали бы ее роковой шаг люди, но хорошо чувствует, как опозорила бы она своим поступком честное имя Повелителя. Нет, самовольной смертью своей она не омрачит славную жизнь богом данного супруга.

Повелитель между тем не давал о себе знать. И ханша от зари до зари тревожно озиралась на тяжелую кованую дверь. Огромная опочивальня казалась ей теснее и мрачнее могилы. И тогда к горлу подкатывало удушье, и она была готова вскочить и с топором в руке ринуться на эту безмолвную, бездушную дверь, словно заточившую ее в подземелье, лишившую ее жизни и доброго человеческого общения. Возможно, изрубив в щепки ненавистную дверь, она выплеснет разом весь гнев, всю злобу, от которых щуплое ее тельце трясется, как в лихорадке, а сердце сжимается камнем.

В один из этих невыносимо тягостных дней ханша позвала старую служанку и в сопровождении свиты отправилась на прогулку. И встречные слуги, и привратники, и караульные воины по-прежнему учтиво кланялись ей. Но чудилось ханше, что не проявляют они былого подобострастия, что взирают на нее незаметно с жалостью и состраданием. Впрочем, и она старалась не задерживать ни на ком взгляда. Однако, отворачиваясь, чувствовала, как горит затылок, словно кто-то вслед ей показывал язык. И веселье, обычная оживленность девушек из свиты казались ей наигранными. Ханша сейчас избегала тех мест в придворном саду, где еще недавно – в отсутствие Повелителя – бывало, так беззаботно резвилась со свитой. Теперь ее невольно притягивали укромные уголки и заглохшие тропы, где ее не преследовали любопытные взоры. Но и там ей становилось не по себе. Казалось, сам воздух, точно всевидящий глаз соглядатая, впивался в нее иголками. И ханша поспешно возвращалась во дворец.

Кроме этой огромной и жутковатой, как пасть сказочного дракона, опочивальни и узкого оконца, из которого можно обозревать уголок сада, ничего ей больше в жизни не осталось. Даже думы все иссякли, все передуманы.

Как смоляная нить, тянутся бесконечно-унылые дни.

Еще томительней и тревожней нескончаемые ночи. Ночь — пытка, когда ханша сама себе становится одновременно и ангелом добра, и ангелом зла, подвергает себя мучительному допросу, выносит себе беспощадный приговор. Ночью поневоле размышляешь о том, о чем при божьем свете и вспоминать опасаться. Сейчас ханша презирала и ненавидела не только себя, но и того влюбленного юношу, который всему белому свету открыл свою сокровенную тайну, и голубой минарет, построенный руками этого безумца, и тот памятный день, когда Повелитель прислал ей шкатулку с драгоценностями и у ней впервые возникла мысль о постройке невиданного минарета, и девушек из свиты, и преданную старую служанку, так горячо поддерживавших ее намерение, и Старшую Ханшу, чванливость и ревность которой оказались первопричиной всех ее несчастий. Велика была ее обида даже к отцу-матери, произведшим ее на свет, ввергнувшим ее в этот проклятый мир.

И потому... потому будь проклята черная ночь, безмолвным призраком заглядывающая в окно! Да будет проклят холодный мраморный хауз с его болтливо-монотонным фонтанчиком-искусителем! И постылая постель, травящая и без того измученную плоть, и пухово-душное одеяло, подстрекательски выдавшее в ту ночь ее глубоко захороненную женскую тайну, — будьте прокляты!.. И вам, небесам, равнодушно взирающим на весь земной ад, — проклятие! И тебе, многотерпеливой страдальнице земле, покорно сносящей все беды и горести, — проклятие! И да будет проклят весь этот непостижимо — огромный и презрительно-холодный мир, в котором бесследно гаснут лучшие человеческие порывы и возвышенно-светлые мечты!..

Охваченная отчаянием и мгновенной, как вспышка, яростью, ханша неистово проклинала весь белый свет и, не боясь самой страшной кары, помянула недобрым словом самого всевышнего, сотворившего эту юдоль печали, и даже в таком безумии только одного-единственного человека не коснулись ее проклятия — великого Повелителя. Ханша сама удивлялась этому. И она не могла объяснить себе причины. Разве не он, великий Повелитель, превратил ее жизнь в ад? Вот уж сколько времени мытарствует ее душа в одинокой опочивальне! Разве он не догадывается о ее беспросветной тоске? Разве ему неизвестно, как

каждый день она казнит себя? И если он сам убедился в ее греховности, то чего она медлит? Или он понимает, что мучительно-медленная смерть от постоянных душевных терзаний, от собственной боли, ярости, досады, гнева и отчаяния – более суровая кара, нежели секира палача? Может, он решил насладиться именно такой изощренной мезгой?

Только в чем она, услада? Разве от ее мук ему станет легче? Разве мутная людская молва и пересуды не доставляют ему такую же боль, как и ей? Но если ее муки приносят ему утешение, то пусть ее мучает и впредь, сколько душе угодно. Пусть услышит, пусть узнает то, чего никогда не было и не могло быть... Пусть пеняет на себя. Так ему и надо. Ведь это он загубил, растоптал ее молодую жизнь, обрек на непосильные муки... Ну и пусть знает. Пусть сам и расплачивается...

Ханша спохватилась, испугалась этой кощунственной мысли. Боже милостивый, что она мелет?! Прости низкородную бабу, прости ее подлый, злой язык, осквернивший ее невинную душу!.. Как она могла забыть, что ей, благородной супруге великого Повелителя, недостойно подобно служанке опускаться до мелких склок и грязной мести?!

И, испытывая к себе все большее омерзение и даже гадливость, она поспешно прошептала затвердившиеся в памяти беспомощные слова молитвы и умоляла всевышнего сурово наказать ее за все прегрешения, но простить ее только за то, что она, поддавшись слабости и отчаянию, вдруг позволила себе кощунственные мысли о великом Повелителе. И, понемногу обретая душевный покой после недавнего смятения и ярости, вкладывая все остальные душевные силы в жаркие покаянные слова, она со всей искренностью, на которую было способно ее истерзанное сердце, просила всевышнего – пока чистую душу ее не осквернили подлые и изменные думы – призвать ее скорее к Страшному суду, к тому очистительному святилищу, где она сгорит в огне собственных грехов.

И горячая эта мольба, проникая, просачиваясь в самую душу, казалось, растапливала ледяной наст сомнений и крупные, прозрачные слезы вновь хлынули из ее глаз...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

1

На берегу могучей реки он вышел из крытой повозки и пересел на верховую лошадь. И когда повозки начали грузить на паром, он в сопровождении свиты направился к броду. Верхушка лета с нещадным зноем была позади. В эту пору могучая река смиряет свой буйный нрав, не бурлит, не бушует, как в весеннее половодье, размывая глинистые берега, а течет спокойно и величаво. Обычно бурая, мутная вода ее к этому времени заметно светлеет, обретая местами синеватую прозрачность.

Брод оказался там, где крутой, обрывистый берег вдруг становился пологим, а река, разлившись вширь, образовала множество узких протоков, похожих на косички юной красотки. Раньше через этот брод переправлялись бесчисленные торговые караваны с востока на запад и с запада на восток, но столь огромного войска, под тяжестью которого прогибалась земля, древняя река и такой же древний брод еще не видывали. Возможно, потому в удивлении и испуге сбились в кучу на крутояре груженные караваны, арбы с дынями, арбузами и фруктами, а также разномастный черный люд из прибрежных кишлаков — конные и пешие, на ишаках и кривоногих верблюдах, — спешащий, должно быть, на базар. Толпа, с опаской озираясь на грозных воинов из головной части, прокладывая дорогу несметному войску, жадно пялила глаза на великого Повелителя восседавшего на ослепительно-белом, со смоляной челкой жеребце, в плотном кольце копыносцев-телохранителей. Великий Повелитель, казалось, не замечал любопытных взоров; откинув голову и вглядываясь в далекое марево, он сидел в седле прямой, неприступный и непроницаемый. Серебряная лука седла и стальные стремяна, поблескивая в лучах солнца, подчеркивали суровое выражение его лица.

Могучая река Джейхун, берущая свое начало от снежных вершин гор, катила крутогрудые волны. Здесь, у брода, волны, казалось, давали себе передышку, замедляли бег и тихо улыбались, резвясь на солнышке, но когда кони вошли в воду, улыбка эта мгновенно исчезла, растворяясь в поднимавшейся из-под копыт мути.

Повелитель сохранял невозмутимый вид, словно ничего вокруг не замечал. Он слегка отпустил поводья, и конь боязливо переступал ногами, поеживался от ледяной горной воды, обжигавшей щиколотки... Конь благополучно одолел все бесчисленные узкие протоки, но когда остался последний широкий ручей на дне лощины, неожиданно споткнулся. Великий Повелитель, расслабившийся в седле, вдруг резко покачнулся, взмахнул рукой, в которой зажал рукоять камчи, и тут же почувствовал, как что-то соскользнуло с указательного пальца. Сердце Повелителя дрогнуло. Он поспешно покосился на палец и не увидел большого серебряного перстня, украшенного редким камнем, напоминающим кошачьи глаза, который встречается лишь в стране зулусов. Много лет тому назад этот перстень подарил ему старший тесть на смертном одре, назначая зятя вместо себя верховным эмиром.

Он долго смотрел на бледный след, оставшийся от драгоценного перстня на указательном пальце. Двое телохранителей, заподозрив неладное, услужливо кинулись к Повелителю с двух сторон. Он полоснул по ним гневным взглядом и выпрямился в седле как ни в чем не бывало. Руки привычно натянули повод. Лицо обрело прежнее непроницаемое выражение. Телохранители поспешно отвели глаза и приотстали на положенное расстояние.

Повелителю, однако, стало как-то не по себе. Он был в недоумении, не знамение ли судьбы это? С серебряным перстнем, украшенным редким камнем, он никогда не расставался — ни в изгнании, ни в далеких походах. Он служил ему священным талисманом. И то, что он сегодня так неожиданно спал с пальца, было явно не к добру. Особенно в самом начале нового похода это можно расценить только как дурной знак.

Раздражение и мнительность вновь проснулись в нем. Он злился сейчас на караульных воинов, посланных заранее вперед, пока еще войско находилось в городе. Как могли они так оплошать? Собрали эту чернь, эту бесчисленную толпу у самого брода, как на зрелище. На этот раз он выступил в поход совсем не так, как прежде. Ему не нравилось в день выступления быть на виду праздной толпы. А сегодня, как назло, по обе стороны противоположного берега толпится черный сброд, а караульные части не смогли (а может, не хотели?) вовремя разогнать его, то ли по причине поспешного выступления, то ли

потому, что брод находился как раз под главным городом на пересечении девяти дорог, где бывает многолюдно в любое время года. Ранее, бывало, он особенно заботился о том, чтобы по пути прохождения войска и в первую голову там, где проезжал он сам со своей свитой, не попадался на глаза ни один случайный путник. И это не было просто капризом. Ведь что ни говори, а далеко не каждый рвется в кровавый бой и жаждет ни за что ни про что сложить свою голову на чужой стороне.

Нетрудно догадаться, что творится на душе того, кто не по доброй воле отправляется в далекий поход, и, дабы черные мысли не прокрадывались в его опечаленную голову, лучше ему держаться подальше от мирной толпы. И потому, когда кернаи своим призывным оглушительным ревом оглашали столичный город и дробь барабанов проникала во все закоулки, жители, не выходя из дворов, в окна, щели, через заборы наблюдали, как многотысячное ханское войско выступает в поход. Стражники заблаговременно прогоняли всех, кто попадался на протяжении двухдневного пути. Так бывало всегда. Так не вышло на этот раз. Заботиться о подобной мелочи ему и в голову не приходило. И вот чем это обернулось. Выходит, стоит лишь на мгновение закрыть глаза или раз смолчать, как мигом все трещит по швам и каждый норовит выйти из повиновения. Повелитель был зол сейчас на тысячника, предводителя головной караульной части, однако сдерживал себя, крепче стискивал зубы. Ничего, попадись только на глаза, и покаешься, ох, как покаешься за непростительную оплошность...

Повелитель искоса поглядывал по обеим сторонам. Белый жеребец выбрался на сушу. Справа и слева застыли стражники, воздев к небу копья. Сквозь тесные ряды копий, как сквозь решетки, колыхалась черная толпа. От арбузов и дынь, наваленных горой на арбы, от мешков, туго набитых изюмом и сушеным урюком, от корзин и ящичков с виноградом и ягодами струился в воздухе дурманяще-сладкий аромат. И этот запах, такой мирный, земной, приятно щекотавший ноздри и напоминавший тепло родного очага, как бы обесмысливал грозный, оцетившийся вид огромного ханского войска. Запах земных даров навевал щемящую грусть, говорил о добре, о человечности, о разлуке и может быть, навсегда, навсегда.

Повелитель, все так же надменно закинув голову, чут-

ко вслушивался в каждое слово, в глухой ропот толпы. Вначале он ничего не мог различить сквозь частокोल копий, но потом черная, безликая толпа за стражниками словно поредела, пешие, конные и арбы-двуколки куда-то исчезли, и он явственно увидел ряд длинношеих дромадеров, опустившихся на колени. Купцы-чужестранцы в пестром, диковинном одеянии благочестиво склонили перед ним головы. Как скошенный камыш, прижимались к пыльной обочине полосатые круглые шапки, поярковые папахи, плотно облегающие тубетейки, мохнатые ушанки, белоснежные чалмы, и все это напомнило Повелителю вышний пестрый луг, по которому только что прошлась коса. Взгляд его привычно скользил по склоненным головам и спинам и вдруг споткнулся о что-то одиноко торчащее на арбе, запряженной ишаком. Повелитель поневоле вкогтился взглядом в этого дерзкого смельчака, продолжавшего стоять во весь рост, когда все кругом пали перед ним ниц в прах. Он был сух и жилист и стоял на низенькой двуколке в какой-то напряженно-скованной позе. Кожа точно приросла к костям, голова сильно откинута назад, длинные, костлявые руки сложены на груди, лицо обращено к небу. Между покатым, открытым лбом и широкими, обострившимися скулами зияли черные провалы. Ах, вон оно что... Этот высокий, тощий человек, застывший на двуколке камнем-стояком, оказался слепцом. И Повелитель тут же узнал его, узнал по скулам и бугристым вискам. Да-а... горе не пощадило его. Иссошило юное, сильное тело. На тонкой шее выпирал большой хрящеватый кадык. Тогда, при той первой и последней встрече, он был по-юношески нежен и красив. На костлявых теперь руках играли тогда упругие мышцы. И тогда, помнится, он сразу же обратил внимание на этот чистый крутой лоб.

2

Он вошел чуть смущенно и низко поклонился. Как у каждого, кто появлялся перед великим Повелителем, на его лице тоже отразилось волнение. Однако в нем не чувствовалось ни самодовольства или особой гордости за совершенное, ни тем более холопской угодливости или подчеркнутого подобострастия. Со сдержанным достоинством и милым юношеским обаянием он отвесил учти-

вый поклон и присел на колени. Поклон был коротким. Юноша тут же выпрямился и открыто посмотрел на Повелителя.

Зодчий был юн и красив, взгляд внимательный и искренний, движения мягкие и уверенные, он, несомненно, обладал благородной, возвышенной душой. Повелитель это сразу понял, и ледяной холодок подкатил к его сердцу. И еще заметил Повелитель, что в юноше скрыты таинственная сила, непостижимо-загадочное обаяние, которое способно мгновенно околдовать, пленить любого человека. Правда, Повелитель не сразу догадался, в чем заключается эта таинственная сила. Юноша сидел спокойно, сосредоточенно, будто прекрасно сознавал, для чего вызвали его сюда. Он не ерзал, не озирался затравленно, не оправдывался клятвенно, не просил пощады. Он выражал готовность и даже презрение к любой участи, к любому приговору.

Пытливый взгляд Повелителя долго буравил юношу, молча допрашивал его. Тот не дрогнул, не шелохнулся. Тогда Повелитель подал знак главному зодчему, сидевшему у порога. Старый мастер поспешно подошел к юноше, дернул за рукав. Юноша, как бы очнувшись, поднял голову. Повелитель увидел громадные, влажные глаза, излучавшие мягкий, спокойный свет. Как ясное ночное небо в летнюю пору вбирает в себя отражение мерцающих звезд, так в больших черных очах его сосредоточилось в единый пучок отражение многих самых противоречивых человеческих чувств.

И молчаливое удивление, как бы означавшее: «неужели ты выпустишь меня отсюда живым и здоровым?!», и мгновенно вспыхивавшая в душе радость, и бесконечная благодарность и признательность, и предельная честность и откровенность, неспособность утаить самый ничтожный грех, и искренность, по-детски наивная и трогательная. И сомнение в подлинности того, что с ним происходит, страх и надежда — все-все разом отражалось в глазах юноши. И они, глаза эти, навсегда врезались в душу великого Повелителя. Открытый, честный взгляд молодого зодчего не оставлял в душе никаких сомнений, убеждал его в справедливости намека Старшей Ханши, приславшей ему червивое яблоко. С этого мгновения большие, как плоски, лучистые глаза неотступно преследовали Повелителя и раскаленными угольями жгли ему сердце.

Он знал, что юноша, сидевший перед ним, обречен, что, пройдя через все железные и дубовые двери, он больше не увидит солнца, ибо отправится в каменное подземелье, куда не проникает ни единый лучик. И, пытливо вглядываясь в черные, влажные, как у верблюжонка, глаза, выражавшие полную покорность судьбе, Повелитель, однако, не испытывал жалости. Наоборот, два зрачка — два раскаленных саксаульных уголька — еще немилосердней жгли ему грудь.

Да-а... видно, такими и бывают колдовские очи, о которых рассказывают в сказках и поют в песнях. Они смотрят искренне, преданно, умоляюще и навевают сладкую печаль, взывают к жалости и состраданию. Колдовской взгляд приносит нетерпеливому мужчине гибель, а у нетерпеливой женщины отнимает честь. И гибель, и бесчестие происходят от жалости, от душевной мягкости и слабости. Вероятно, от них идет и пагубное стремление у иных безумцев переступить через законы и порядки, установленные великим Повелителем на благо презренного человеческого рода.

Повелителю, конечно, неведомо, где обитают духи сомнения и соблазна, Иблис и Азазель, о которых говорится в священных книгах, но упорно чудится ему, что эта нечистая сила свила себе гнездовье в тайниках человеческой души.

А что еще способно смутить легко ранимую душу, кроме слова и глаза? Думая об этом, Повелитель каждый раз испытывал смятение и тревогу. Он долго еще не мог оторвать взгляда от двери, закрывшейся за юношей. Светлый, чистый взор его будто остался здесь, рядом, в ханском дворце. Глаза будто, следили за каждым его шагом, за каждым движением.

Повелитель тревожно оглянулся вокруг. Он не решился повернуться спиной к двери, за которой только что исчез молодой зодчий с большими, все понимающими и все видящими глазами. Он медленно отступил назад и присел возле мозаичного хауза с говорливым прозрачным фонтанчиком. Он не знал, как отделаться, как избавиться от назойливого, точно наваждение, преследующего взгляда.

Неужто до конца дней своих не даст ему покоя этот в самую душу проникающий взор? Должно быть, такое же смятение испытала и юная ханша, впервые встретившись

с молодым зодчим. Видно, эти глаза с таинственной поволокой взбудоражили и ее неокрепшую душу, и она не однажды впадала в отчаяние, не зная, как избавиться от их колдовских чар. Только что проку от отчаяния слабой женщины?! У нее даже нет силы, чтобы дать отпор подлему искусителю. У всякой самки всегда один выход, одна расплата. Там, где мужчина зачастую жертвует головой, женщина откупается ценой чести...

Ладно... не о том сейчас речь... Как должен в таком случае поступать грозный Повелитель, не знающий пощады к своим врагам, — вот над чем следует поломать голову.

Мысль, точно норовистый неук, вырвалась было на волю, но Повелитель, как опытный наездник, круто осадил ее. Губы скривились в ухмылке. О чем тут еще думать? Разумеется, он его прикончит. Песком засыплет жадные глаза, позарившиеся на чужое добро.

Однако и это неожиданное решение не утешило душу Повелителя. Разве он посмеет замахнуться мечом на невинного юнца, спокойно и добродушно взирающего на своего господина?! Разве он не привык карать жестоко только кровного врага, полного мести и злобы? Естественно желание погасить блеск ненависти во взоре противника. Только взгляд, разящий, как отравленная стрела, способен возбудить кровь и подстегнуть слепую ярость. Тогда священный гнев душит тебя, как захлестнувший шею мокрый волосяной аркан, и скрежещут зубы, будто рот набит песком, и кровь упругими толчками бьет в виски. И эту огненную ярость в силах погасить лишь потоки поганой крови врага. Черная кровь, сочащаяся из рваной глотки противника, смывает глухую злобу и ненависть, обложившие грудь цепью кряжистых гор, и спадает пелена с воспаленных глаз. А рубить покорно склоненную голову — все равно что отсечь булатной саблей хвост чесоточного ишака. Пролить кровь беспомощного горемыки так же омерзительно, как раздавить невзначай жабу под ногами. А ведь в темных очах юного зодчего не было даже намека на ненависть. И это обескураживало и раздражало Повелителя больше всего.

Нелегкая и опасная, как острие меча, судьба выпала на долю Повелителя, и жизнь он прожил богатую на события и испытания, однако с таким случаем столкнулся впервые. Он очутился вдруг на распутье, не мог подчиниться

ни гневу, ни холодному рассудку. Сколько бы он ни думал, решение не возникало. В какую бы сторону ни рванулась лихорадочная мысль, она всякий раз наталкивалась на беспощадный и неразрешимый вопрос. Точно такие же огромные, с застывшей печалью и тайным укором глаза он видел еще у кого-то. У кого? Это был невинный, почти детский взгляд, такой доверчивый, наивный, умоляющий, что при одном воспоминании о нем заходило сердце.

Невинный взгляд... Острая мысль Повелителя, настойчиво подбиравшаяся к истине, каждый раз спотыкалась на этом слове. Да-да... невинный взгляд... Откуда?.. Где?.. Какая там, к дьяволу, невинность, если этот взгляд нагло шныряет по твоей супружеской постели?! Похотливый взгляд, устремленный на подол твоей богом данной супруги, разве не опасней, не кощунственней вражеского копья, нацеленного на твой очаг? Разве это не высший стыд, не самый страшный позор для любого мужчины, не говоря уже о нем, всемогущем владыке вселенной? К чему эти запоздалые земные поклоны, если он опозорил его золотокоронную голову? И почему он должен прощать там, где не простит даже последний нищий? Разве не высшая честь и назначение мужчины оберегать покой и мир родного края, почитать везде и всюду священный дух предков и сохранять святость и крепость домашнего очага, верность и любовь супруги? И как мог так оплошать великий творец, сделав честь и достоинство высокогородного мужчины всецело зависимыми от мотыльковой прихоти низкородной бабы – рабыни собственной низменной чувственности и страсти?! Видно, в этом заключается единственное ущемление в отношении мужчины, допущенное всемогущим творцом...

Повелитель вскочил в досаде и, тяжело ступая, направился к окну. Были бы сейчас перед ним эти лживо-невинные глаза, он выколол бы их собственноручно. Выглянув в окно, Повелитель опешил: с тем же печально-пристальным выражением во всем своем облике, словно ничего не подозревая, смотрел на него голубой минарет. Ах, вон, оказывается, где он видел еще эти глаза! Да, да, еще тогда, при первой же встрече, его поразило что-то таинственное, непостижимое в минарете, и теперь он вдруг сразу понял, что тайна эта – в скорбно-молчаливой мольбе и укором, так искусно выраженных зодчим в камне. Вот так, конечно же, минарет-искуситель днем и ночью смот-

рел в лицо юной ханши. И та, должно быть, тоже была вначале поражена и обескуражена и лишь потом, возможно, догадалась о подлинной тайне, заключенной в его облике. Выходит, в своем творении зодчий выразил себя, свое сокровенное желание, сказав тем самым то, что он не осмелился выразить словами. И, надо полагать, в душе надеялся, что со временем юная ханша сама поймет его молчаливый намек. Выходит, не такой уж он невинный и безобидный, этот скромный с виду юноша, если он так тонко, исподтишка, словно невидимый червь, подтачивает чужие души.

Э, что там говорить, поистине мужчину приводят к беде слова, а женщину — глаза. Мужчина часто невольник слов своих, ибо не может от них отречься, женщина в плену глаз своих завидующих, ибо не может успокоиться, пока не заполучит то, что ей понравилось. Значит, неспроста наши предки, защищая хрупкую душу мужчины от недоброго слова, всячески оберегали женщину от постороннего взгляда. Значит, знали священные прадеды наши, что открытый женский взор допустим лишь на супружеском ложе, а в остальных местах жадные, любопытные глаза ее должны быть для ее же пользы укрыты под черной накидкой. Ибо открыть женщине глаза — все равно, что задрать ей подол. Ведь нет такого соблазна, который не прельстил бы ее. И нет у нее воли, чтобы совладать со своим желанием.

Все, все теперь Повелителю понятно и ясно. Юная ханша вначале была поражена голубым минаретом. Потом в ней вспыхнуло неодолимое любопытство и желание увидеть молодого зодчего, сотворившего чудо, полное тайны. И вот увидела она его, и с того мгновения смутил ее покой проникновенно-печальный взор юноши и завожила вдохновенная его красота...

Выходит, уже ничто не могло удержать ее от греховного соблазна — ни честь, слава и могущество супруга, ни священное благословение родителей, ни глухая молва праздной толпы. Даже грозный гнев и ярость великого Повелителя, в страхе и повиновении держащего всех в подлунном мире, не могли ей стать преградой. Значит, все это вместе — честь, слава, сила, богатство, страх расплаты — не могло заменить крохотную накидку, сплетенную из конских волос. Что же тогда получается? Допустим, нельзя доверять низкородной самке, жалкой рабыне по-

хоти, но куда смотрела многочисленная вооруженная стража, обязанная не пропускать во дворец ханши даже муху, не говоря уже о любовнике?! Где была свита, сопровождающая ее повсюду?! Где находилась старая опытная служанка, не спускающая с нее денно и ночью глаз?!

Ночь напролет проворочался Повелитель. С нетерпением ждал, когда займется заря. Он решил поговорить с глазу на глаз со старой служанкой. Только она одна, вернее, ее прямой и честный ответ в состоянии развеять сомнения, грызущие душу, точно обжорливые суслики.

Утром он распорядился позвать старуху. Она явилась незамедлительно, как прежде, уверенная и спесивая, путаясь в длинном подоле пышного парчового платья. Кажется, она не шла, а плыла по воде, мелко-мелко перебирая ножками-плавниками. Повелитель угрюмо взирал на нее. Должно быть, больно высокого мнения была о себе старуха. Ведь не каждому доверят следить за неприкосновенностью и чистотой ханского ложа. На сонном, самодовольном лице ни тени сомнения или робости.

Повелитель с трудом сдерживал досаду. Видно, нужно первым делом убрать эту каракатицу. Корчит из себя опочивальню ханши, куда Повелитель заходит без короны, то ей все позволено. В прошлом – еще куда ни шло – можно было прощать ей чванство и спесь. А теперь-то ей, старой карге, важничать никак, не пристало. Или она считает, что Повелитель и представления не имеет о том, что здесь творилось в его отсутствие?!

Наконец, старуха подплыла, церемонно поклонилась, потом выпучила на него слезящиеся глаза, сохраняя непроницаемо-высокомерный вид. «Ну, что, голубчик, мне скажешь? Давай выкладывай. Я вся внимание», – было написано на ее морщинистом дряблом лице.

И Повелитель растерялся, не зная, с чего начать и что сказать этой кичливой, самонадеянной старухе. А ведь во всем дворе он мог доверительно и откровенно, без намеков и осторожной словесной игры, разговаривать только с двоими – со старой служанкой и управляющим ханской казной. И он с трудом подавил раздражение и заговорил глухим, надтреснутым голосом. Он говорил резко, без обиняков и при этом не спуская с собеседницы пытливых, зорких глаз. Старуха слушала его вначале по стародавней привычке вполуха, равнодушно, потом в

ее белесых, почти без ресниц, старческих глазах на мгновение вспыхнул подозрительный блеск, и она недоверчиво скосилась на Повелителя, как бы спрашивая себя: «Интересно, всерьез он это говорит или просто хочет что-то выведать и, как всякий господин, затевает со своей служанкой непонятную игру в кошки-мышки.» Но то ли постеснялась или оробела, то ли мгновенно сообразила, куда клонит Повелитель и что именно гложет его душу, она отвела взгляд, погасила любопытный огонек в глубине зрачков и опустила тяжелые веки с жиденькими бесцветными ресницами. Дальше она слушала без интереса, но учтиво. Лишь в одном месте редкие щетинки на бородавке под горбатым длинным носом неожиданно дрогнули, встопорщились и тут же вновь легли смиренно. На бескровных, морщинистых губах обозначилось подобие улыбки. Повелитель насупился, осекся. Старуха спохватилась, тотчас погасила непрошеную ухмылку и поклонилась в знак покорности. Повелитель выжидающе молчал, вкогтив в нее колючий взгляд.

Настал черед ответ держать старухе. Даже после суровых слов Повелителя она не смутилась. Голос ее не дрогнул. Ее спокойный, уверенный вид, ровный голос, прямой, бесстрашный взгляд невольно подавляли Повелителя. Он старался, однако, не подавать виду, слушал молча, сосредоточенно. Он умел владеть собой. И сейчас глубоко упрятал душевную сумятицу, ни в едином жесте не позволяя прорваться волнению, а продолжал смотреть на старуху, цепким взглядом, каким привык допытывать многих.

И когда старуха, все выложив, умолкла, он дернул подбородком в знак того, что она может удалиться. Она еще раз поклонилась и не поплыла величаво, как прежде, а мелко-мелко засеменила к двери.

Не в силах побороть неясную досаду, Повелитель задумался над словами старухи. Что за чушь она здесь молла? Не поймешь, где правда, где ложь. Выходит, они ловко провели наивного зодчего, и тот на самом деле обнимал не ханшу, а смазливую служанку? Значит, испугавшись гнева и кары Повелителя, эти трусливые бабы прибегли к такой уловке? И ничего лучшего не могли придумать? Там, где проще простого было свернуть башку этому наглецу, бабье только навлекло беду на собственную голову. Подумать только, на что позарился безумец!

За то, что он даже в мыслях покушался на честь Повелителя, и глаза его бесстыжие выколотить не грех. К тому же он ведь совершенно убежден, что ласкал невинное тело юной ханши. Даже вчера, сидя перед ним, он и не пытался скрывать свой грех. Значит, нужно выбить из его дурной башни эту уверенность. Значит, нужно песком засыпать эти ненасытные глаза, жадно шнырявшие по недоступным прелестям ханши. А для этого легче всего отсечь ему голову. Пусть он своей молодой горячей кровью смоеет гнетущую тоску в груди властелина. Пусть капля алой крови на кончике секиры палача смоеет позорное пятно, оставленное им хотя бы и в мыслях на белоснежном супружеском ложе Повелителя. Только справедливое возмездие должно быть совершено так, чтобы посторонний глаз ничего не увидел и чужие уши ничего не услышали.

Но... возможно ли это? Недаром ведь говорят, что у молвы тысяча уст и тысяча ушей. Может, есть смысл отправить доносчиков и соглядатаев по базарам, пусть разнюхают, о чем толкует толпа.

Повелитель всерьез подумал о том, как по-хански расквитаться с дерзким зодчим. Жажда отомстить придала ему бодрости. Сомнения, ржой изъедавшие волю, исчезли. На их место пришли ярость и ненависть.

Он с нетерпением ждал доносчиков, посланных на базар. Иногда болтливая чернь, совершенно не ведая о том, подсказывает самое верное решение. И на этот раз Повелитель надумал проявить терпение и объявить приговор после того, как ему доподлинно станет известно, о чем судачит черная толпа.

Ничего определенного, однако, доносчики не сообщили. Видно, слух о том, что молодой зодчий приглашен в ханский дворец, еще не дошел до простого люда. Тогда он немедля отправил соглядатаев в ту часть города, где проживал творец голубого минарета. Выяснилось, что хозяин дома, где зодчий снимал комнату, всюду похвалялся, что, мол, его жильца пригласил к себе Повелитель, дабы поручить ему строительство новой мечети. Этот пустой слух пришелся Повелителю не по нутру. Он решил через несколько дней еще раз отправить доносчиков по базарам. К тому времени уж наверняка поползут кривотолки по поводу длительного пребывания молодого зодчего в ханском дворце.

Душные летние дни тянулись утомительно медленно, будто разморенная, надменная красotka прохаживалась в саду. Никаких достойных внимания вестей ниоткуда не поступало. Даже от Старшей Ханши не приезжал порученец. Узнав о том, что Повелитель все же не удержался и полюбопытствовал у служанки, кто прислал ему наливное яблоко с червоточинкой, Старшая Ханша выжидающе насторожилась. Странное ощущение охватило Повелителя, будто весь мир затаил дыхание и все вокруг сговорились, и теперь, не спуская глаз, сквозь все невидимые щели следят за каждым его движением. И уже порой мерещилось, что он, Повелитель, отправил не дерзкого юнца в подземелье, а сам себя приговорил к заточению. Так он и маялся целыми днями в одиночестве. Он был на распутье, ибо прекрасно сознавал, что не может одним махом решить это путаное и скользкое дело, пока не прощупает настроение толпы и не узнает ее мнения. Ведь он, даже будучи всемогущим, не может позволить себе роскошь поступать необдуманно, как заблагорассудится, ибо привык каждым своим поступком, даже каждым изреченным словом неизменно удивлять и поражать своих подчиненных и верноподданных, а для этого необходимо точно предвидеть все возможные прихоти презренной толпы, от которой исходят потом легенды. Сколько бы сейчас ни думал Повелитель, он не в силах был понять, что замышляет и что утаивает столь знакомая и в душе презираемая толпа, которая, бывало, раньше подхватывала и распространяла любое его решение со скоростью степного пала в засушливую пору. Казались, толпа исподволь мстила ему, злорадствовала, дескать, а ну, всеильный владыка, попробуй-ка обойтись без нас, без помощи нашей быстроногой молвы.

По-разному думал Повелитель о причине глухого безмолвия вокруг него, однако ни одно из предположений не имело достаточного основания. Было уму непостижимо, что в таком громадном городе не нашлось ни одного пустобая, который что-то сказал бы о таинственном исчезновении молодого зодчего, чьим творением — голубым минаретом — уж сколько времени любовались все. Столько разношерстного народу с утра до ночи толпится на ханских базарах, и ни одна живая душа ни словом не обмолвится о величественном минарете! Неспроста все это. Это уже похоже на тайный сговор. Есть что-то злове-

щее в этом молчании. А может, то ужасное, о чем он догадался только сейчас, всем вокруг давным-давно известно? Ну, конечно, известно! Люди, разумеется, успели на все лады истолковать всем доступный, откровенный намек, заключенный в таинственном облике минарета. Какая тут, к дьяволу, тайна, если она понятна и слепому?! Нельзя же уповать на то, что доступное Повелителю недоступно глазастой черни. Все она видит, все понимает. Ясно ей также, что одно оброненное случайно слово об этом может стоить головы. Вот почему все как воды в рот набрали. Но неужели среди многочисленного люда нет ни одного болтуна?! Неужели все так опасаются ханской кары?! Как бы ни боялись кровавого его меча и какой бы жестокий порядок ни царил в его владениях, немыслимо запереть на железный замок людскую молву.

Ни на один из этих вопросов, назойливых, как мошка в предзакатный час, он не находил вразумительного ответа. Ощущение было такое, будто он погряз в болоте и с каждым шагом его все больше и больше засасывало в топь. Погруженный в беспросветные думы, сидел он неподвижно и смотрел на кованую дверь. В таком томительном ожидании проходили дни и недели. И наконец настал тот долгожданный час. Тихо отворилась тяжелая дверь, и в зал, точно уж, вполз доносчик. Добрел, грохнулся на колени, униженно согнулся перед властелином.

— Ну, говори! Что узнал, что услышал...

Доносчик, бояливо взглядывая на Повелителя, заикаясь, заговорил. По его словам, в народе ходит слух, будто великий Повелитель, опасаясь, что такой величественный и единственный в своем роде минарет появится, кроме его столицы, еще где-нибудь, распорядился молодому зодчему выколоть глаза. Повелитель недоверчиво и долго смотрел на доносчика — и небрежным кивком указал на дверь. Доносчик так же неслышно выскользнул.

Повелитель решительно вскочил, словно сбросил с плеч невероятную тяжесть. Ничего не скажешь: то, что болтает черная толпа, достойно внимания. Ведь и впрямь очевидно: такой загадочный, многоликий минарет, то радостно и светло улыбающийся, как влюбленный юноша в предвкушении скорого свидания, то тихо грустящий, словно невинно обиженный ребенок, должен украшать только одну столицу, ту, в которой правит могущественной

державой великий Повелитель, обладающий самой тяжелой и дорогой короной и самым высоким и неколебимым тронном в мире. Нигде больше не должен воздвигаться подобный минарет. Безжалостную, страшную судьбу, уготованную всем редчайшим талантам испокон веку, должен разделить и молодой зодчий. Ни в какие времена ни один властелин не упускал из своих рук таких щедро одаренных самим создателем самородков-одиночек. Чернь сама вынесла приговор своему Мастеру. И да будет так! Вокруг таких творений, как этот минарет, неизменно рождаются легенды. Одна из них — очень приемлемая — родилась сегодня. Легенда, столь доступная легковерной толпе.

В этот день впервые за долгое время Повелитель отправился в сад на прогулку. Задумчиво сидел он у своего любимого укромного родника. Весело, беззаботно журчащая глубинно-прозрачная вода, как и прежде, ласкала слух и успокаивала, убаюкивала встревоженную, усталую душу. Боль и тяжесть в висках по-немногу отпускала, утихала, как бы растворялась, и Повелитель с облегчением подставлял оголенную грудь нежной воздушной струе, воровато блуждавшей в густых зарослях. Разморенная тишь дремала вокруг. Игривый родничок неустанно похихикивал. Листья на верхушках деревьев мелко-мелко вздрагивали, таинственно перешептывались. Созвучие и согласие царили в природе. Видно, только люди сами для себя придумывают муки. А ради чего? Сначала растревожат, взбудоражат себя, потом тщетно пытаются взнуздать душу и доводят себя до отчаяния, до умопомрачения. На самом деле нечего себя терзать. Все проще простого. Безумец, оказавшийся рабом вожделения, должен понести суровое наказание. И никогда уж он не будет строить дивные минареты, не будет смущать невинные души, не сможет соблазнять своим колдовским печальным взором неопытные женские сердца. Поганым кинжалом, которым выколачивают не в меру буйных жеребцов, прикажет Повелитель палачу выколоть совращающие душу глаза молодого зодчего. Но и это еще не все. Чтобы этот наглец, думающий про себя, что обладал юной ханшей, никому не мог сболтнуть об этом, Повелитель прикажет также отрезать ему язык. И тогда пусть он, слепой и немой, прозябает во мраке, как червь, как последняя богомерзкая тварь...

В эту ночь Повелитель спал спокойно. Наутро он уже собрался было пригласить к себе начальника подземелья, как совершенно неожиданно отворилась дверь и на пороге появилась Младшая Ханша. Она отвесила сначала низкий поклон, потом мелкой, неслышной походкой направилась к нему в глубь зала. Подойдя, вконец растерялась. Ярко сверкнул крупный яхонт на лбу, блеснули два черных глаза, и Повелитель сразу заметил, как глубоко они ввалились. И личико побледнело, осунулось. Ханша, как бы пряча свою растерянность, села боком. Приход ее был столь неожиданным, что и Повелитель явно опешил. Все мысли мгновенно спутались, давно неизведанная жалость, сочувствие к этой маленькой, несчастной женщине пронзили его, и он невольно протянул к ней руку. И в следующее мгновение, стоило только прикоснуться к ханше, она беспомощно, быстро-быстро задрожала длинными, черными ресницами, и несколько прозрачных слезинок звучно капнули ей на платье. Она порывисто прильнула губами к его руке и рухнула к его ногам. Слезы хлынули теперь бурно, плечи тряслись. Еще вчера он считал ее самым противным и ненавистным существом на свете, а сегодня глядя на то, как она, словно неутешное дитя, рыдает у его ног, Повелитель растерялся. Неизвестно, как бы он поступил день-два назад, случись вдруг такое, а сейчас, ведя перед собой измученную женщину, он почувствовал к ней одну острую жалость. Он наклонился, осторожно приподнял ее, усадил рядом. Слов не было, и, должно быть, подспудно Повелитель сознавал, что сейчас они ни к чему. Он взял в ладони ее маленькие, мягкие руки и молчал. Ханша плакала.

Безудержно, долго. Слез за последние дни накопилось столько, что она не могла их, видно, так скоро выплакать. Но в молчании Повелителя она почувствовала сострадание и понемногу успокаивалась. Когда бурный приступ слез иссяк, она виновато оглянулась и вовсе сжалась, поникла. Она не представляла, как ей быть, что делать дальше. Повелитель тоже ни о чем не спрашивал. Так и сидели молча. Первой не выдержала она: спохватилась, встала, смущенно поклонилась и направилась к двери. Там она замешкалась, обернулась и очень тихо, глухо, через силу, спросила:

— Мой господин, скажите: это вы распорядились посадить зодчего в заточение?

Он был удивлен этому неожиданному вопросу, однако скрыл удивление, спокойно ответил:

– Да.

Юная ханша вспыхнула. То ли вдруг поняла бестактность своего вопроса, то ли какое-то непонятное чувство обожгло все ее существо – кто знает... Она вновь попыталась кинуться к его ногам, но он удержал ее за руку.

– Он... ни в чем не повинен, – торопливо проговорила она. – Ничего... не было.

– Знаю.

Ханша быстро подняла на него глаза, как бы желая удостовериться в правдивости его слов. Ее удивило то, что на лице Повелителя она не заметила ни тени гнева, Ханша вышла. Он молча и долго смотрел ей вслед, Повелитель тоже никак не мог опомниться после этой неожиданной встречи. Еще не бывало, чтобы даже Старшая Жена осмеливалась заходить к нему без спроса. Как же Младшая Ханша на такое решилась? Или уже не в силах была перебороть тоску по нему? Ведь после возвращения из похода она ни разу еще не видела его. Могла и соскучиться. А потом, надо полагать, и до нее дошли слухи о наливном яблоке с червоточинкой, которое прислала ее соперница. Видимо, ей стало невмоготу терзать себя сомнениями, и она решила покончить с тягостной неопределенностью, и потому ее приход – не дерзость и не смелость, а просто отчаяние.

Сейчас она удалилась в свою опочивальню, должно быть, успокоенная и удивленная его милостивой нежностью. Но почему, почему она ни с того, ни с сего спросила первым делом о молодом зодчем? Неужели лишь забота о нем толкнула ее на этот безрассудный шаг? «Он ни в чем не повинен». Что это значит? Может, она решила предотвратить жестокую, но справедливую кару? С какой стати заступается за него, да еще и просит, умоляет? Неужели его короткое «знаю» она приняла за прощение?

Да, конечно, Повелитель знает, что между ними ничего не было. И все же он не вправе простить преступную дерзость безумно влюбленного юнца, который, презирая гнев владыки и саму смерть, покушался на святая святых – на мужскую честь и достоинство великого Повелителя. Да, нужно скорее привести в исполнение приговор, заранее вынесенный, точнее, подсказанный бездумной, крикливой и нетерпеливой толпой.

И все же Повелитель не мог разрешить терзавшие его сомнения. Уходя от него, ханша у порога обернулась, и в ее кротких, чистых глазах мелькнул вдруг страх. Чего она испугалась? Она ведь не впервые видела его холодное, непроницаемое лицо. Или насторожилась, поняв, что ее сокровенные слова не возымели никакого действия? А как он, собственно, должен, по ее мнению, поступить? Что обязан сделать? Выпустить на волю молодого зодчего? Ничего ужасного или пугающего он ей не сказал. Ни в чем ее не упрекнул. Тогда чем объяснить ее испуг? Или она все же тревожится за судьбу зодчего? С какой стати она жалеет глупца, который едва не растоптал ее честь?

Если здраво рассудить, не она сама обязана была возмутиться домогательством безродного горшечника, рассказать о его безрассудных притязаниях и добиваться, сурового наказания для него – позорной смерти, дабы убересть честь и заткнуть вонючие рты болтунов и сплетников? А вместо этого она неожиданно вваливается к Повелителю и если не открыто, то вполне прозрачным намеком вымаливает снисхождение. Нет, нет... Все это неспроста.

Ведь, сколько душевных сил, волнения и решимости понадобилось робкой и стыдливой ханше, чтобы прийти вдруг в утренний час к Повелителю! Прийти, заведомо зная, что навлечешь на себя его беспощадный гнев!

Этот поступок почти равносильен сознательному самоубийству. Выходит... выходит... Как тогда понять слова старой служанки? Как понять трогательное признание самой ханши, только что сказавшей: «Ничего... не было»? Неужто все ложь, обман, бабья уловка? Странно... Странно... Все же, видно, этот загадочный минарет, денно и ночью преданно и умоляюще заглядывавший в окно юной ханши, сумел смутить ее душу, заронить в ее сердце искушение любви. И когда, жалея изнывавшего от похоти наглеца, она послала к нему юную смазливую служанку, ханша заботилась не столько о своей чести, сколько о безопасности, о сохранении жизни молодого творца сказочного минарета. Значит, уже тогда она испытывала к нему преступное чувство. Значит, и тогда ничуть не осуждала влечения и намерения ослепшего от страсти юнца.

Только суровый дух, витавший над дворцом златокоронного властелина, чудом удержал ее от заурядного блуда.

Мысли Повелителя, точно замороженный змеей воро-

бышек, никак не могли распрямить крылья и беспомощно трепыхались на одном и том же месте. Но злая догадка, возникшая вдруг, словно кочка на ровном месте, приковала к себе внимание и вывела его думы из тупика. Вполне возможно, что ханша не только сочувствовала молодому зодчему, возжелавшему ее горячих объятий, не только жалела его, но и сама воспылала к нему ответной любовью. Память услужливо подсказала ему ту ночь в опочивальне ханши. Да, да, вот она, отгадка всех тайн... Значит, мужчина, которого в бреду так горячо ласкала ханша, был некто иной, как этот смазливый юноша. Лишенная возможности встретиться с ним наяву, она наслаждалась им во сне. Выходит, в мыслях, в душе она предавалась с ним неистовой любовной страсти. Выходит, он, безродный юноша с горящим взором, ей дороже, желанней, милей богом данного всемогущего супруга... И разве то, что она осмелилась прийти сегодня к нему, не есть еще одно доказательство готовности принести себя в жертву ради своего возлюбленного? А он, всемогущий властелин, подчинивший своей воле половину вселенной, размяк, точно мальчишка, разжалобился, едва увидев на ее глазах слезы. Проявил несвойственную ему слабость, забыл, что бабьи слезы, как золото в руках фокусника, — одна видимость, ложь. Разве он в ту злосчастную ночь не убедился собственными глазами, насколько верна она священному супружескому ложу? То, что немислимо совершить наяву, она совершила во сне, переступив через стыд и сорвав запретный плод. Выходит, если она в действительности, в жизни еще щадила честь венценосного супруга, то это вовсе не было проявлением целомудрия, а самой обыкновенной, дешевой уловкой всякой бабы, которая, впервые очутившись с мужчиной на узкой постели, сопротивляется лишь для видимости и только жеманства ради отталкивает шарящие по ее чреслам жадные мужские руки.

И когда эта догадка так явственно вспыхнула в душе Повелителя, он почувствовал в груди такую боль, будто его ударили ножом. Ему, прожившему и повидавшему так много, никто никогда не наносил такой болезненной раны. То, что он почувствовал сейчас, не было похоже на те давние обиды и унижения. Жуткая слабость враз подкатилась к его ногам, и он закачался, невольно сжался, понуро опустил усталую голову.

3

Жизнь Повелителя неожиданно лишилась всякого смысла, Полное безразличие ко всему овладело им. Доносчиков, доставлявших с базара слухи и сплетни, он выслушивал нехотя, вяло. С казнью молодого зодчего, томившегося в подземелье, он тоже не спешил. Ненависть, еще вчера обжигавшая грудь, погасла. Бесконечные и однообразно-унылые мысли, посещавшие его в одиночестве, обесмысливали все, что раньше, бывало, волновало кровь, будоражило ум, взывало к действию. Как-то разом исчезли все желания, и некуда было спешить. Не было даже сил и желания додуматься до причины, породившей столь непривычную вялость духа. Какое-то странное, опустошенное состояние. Тихая печаль исподволь подтачивала силы. Невидимая хворь сгибала спину, давила на плечи, душила. А не было боли, которая ощущалась бы остро, не было кровоточащей раны.

Он чувствовал себя оглушенным, словно – буйный осетр, ненароком наскочивший на камень. Он умел предугадывать все на свете, видел даже то, что происходило на краю земли, и вдруг нежданно-негаданно наткнулся на такой удар, который ему не снился и в страшном сне.

Пока он не сомневался в одном: молодой зодчий будет жестоко наказан, как и все, кто однажды посягнул на его величие. Однако никакая кара, никакие муки – он чувствовал это! – не в состоянии утолить, удовлетворить его месть. Даже черная кровь, истекающая из его греховного сердца, не принесет облегчения душевной ране Повелителя. Наоборот, пролитая кровь безумца умалит и даже сведет на нет и яростный гнев, колотящий его стареющее тело, и слепоглазую ненависть, бешеной кошкой раздиравшую его душу, и вообще весь остаток жизни, отпущенный судьбой на долю венценосного властелина. Недавно его могучий дух, казалось, был способен сокрушать древние Капские горы, а сейчас его, лишенного и ярости, и ненависти, и гнева, покорно понесло по течению жизни, будто случайную соломинку по бурной реке. И надо было честно сознаваться, то, что уже столько дней ржой подтачивало душу, не было ни обманом, ни обидой, ни унижением, а просто глухой досадой. Так на что же досадует великий Повелитель? А на то, что, всецело распоряжаясь судьбой и жизнью людей и народов, обитающих в подвластном ему мире, он был бессилен

овладеть сердцем и душой одной лишь маленькой и такой беспомощной женщины, которую издревле принято считать низкородной и недостойной! И еще ему досадно от того, что два человеческих существа, разделяя супружеское ложе, так и не смогли слиться в единую душу. Получается, что за этой жалкой досадой скрывается самая обыкновенная обида. Обида на кого? На Младшую Ханшу? Неужели он, венценосный властелин, может обижаться на длиннополую бабу? Рад был бы Повелитель отмахнуться от этих назойливых, роящихся, как мошка перед ненастьем, мыслей, только сейчас это было выше его сил. Да и что еще ему осталось, как не забавляться бесплодными думами, чтобы только не свихнуться от беспросветного одиночества...

Жизнь, обособленная от других, давно ему в тягость. Всегда и всюду один, один, точно бельмо в глазу. Он был лишен возможности, как всякий отец, радоваться своим кровным детям и, как всякий супруг, наслаждаться любовью жены. Так и выросло целое потомство, его дети и внуки, выросло, возмужало, коней оседлало, разбрелось по всему свету, не познав его отцовских ласк и нежности. А он, Повелитель, по-прежнему один, одинок и дома, и в походах, один, как бог. Разбив одного за другим большинство врагов и засыпав их завидующие глаза песком, надумал пожить немного в свое удовольствие и привел в свой дворец Младшую Ханшу. Нет, вовсе не для того, чтобы на старости лет обновить, как говорится, запах постели и тешить свою похоть с молодой, а для убажания души, истомленной одиночеством. И он был рад и доволен своим удачным выбором: несмотря на молодость, ханша оказалась поразительно сдержанной, покладистой, ровной как в проявлении своих чувств, так и в повседневном поведении. А когда он, возвращаясь из похода, еще издалека увидел дивный минарет, подпиравший небо, он сразу догадался, что ханша воздвигла его в честь горячо любимого супруга, и душа его возликовала.

Та радость, теплой волной растекавшаяся по жилам, теперь улетучилась, уплыла, точно серебристые нити в прозрачном осеннем воздухе. И было досадно, что не только искренность и любовь ханши, но и весь огромный бранный мир и все-все в этой юдоли печали поистине мимолетно и фальшиво. И еще было досадно от того, что ему стало вдруг ясно: тот, кто родился однажды обыкно-

венным смертным, может, конечно, заарканить судьбу и высоко подняться над копошащимся внизу презренным человеческим родом, но от изматывающего душу одиночества ему никогда не избавиться, пока он не закроет навеки глаза и не очутится под землей, принявшей в свои объятия тысячи ему подобных. Но всех ли смертных ожидает равная участь? Разве ведомо одиночество тем, кто привык довольствоваться малым и любовно делит между многочисленными своими отпрысками крохотное счастье и благо, выпавшие им на долю? Такие не ропщут и, видимо, в этом находят свое житейское счастье. А стремление к большему неизменно сопряжено с потерями, и потому простой смертный предпочитает довольствоваться тем, что есть. И какими бы красивыми словами не называли мы свои стремления – мечтой, порывом или целью, в конечном счете это все жалкие потуги, именуемые жадностью, ненасытностью, алчностью. А там, где правят эти низменные чувства, не может быть радости и наслаждения. Вот под его, Повелителя, властью чуть ли не весь подлунный мир, но хотя бы одну ночь спал он спокойно, хотя бы один день жил без забот? То-то же – выходит, не так-то уж много надо простому смертному. Богатство и слава, которых с таким рвением добиваешься, не стоят в сущности и копейки.

Младшая Ханша не утешилась ни богатством, ни высокой честью, а просто тоже затосковала по скромному человеческому счастью и обыкновенным женским радостям. И в этой своей столь естественной и понятной тоске она, помимо собственной воли, оказалась готовой пожертвовать и священной короной, и золотым тронном мужа. Она металась, не находила себе места в огромном пышном дворце, набитом золотом и драгоценностями, ибо не могла в нем найти желанного – пусть крохотного и замызганного – счастья. Ведомо ли ему то, к чему так страстно рвалась душа юной ханши? Есть ли у него самого то, чего так жаждала Младшая Жена? Да, у него есть трон, держава его огромна, и еще он обладает богатством, славой, властью, грозным именем. Только при всем желании он не может назвать это счастьем.

Какое же это, счастье, если в окружении невиданной роскоши и многочисленных единокровных отпрысков чувствуешь себя, как в голой пустыне?! Если в собственном дворце сидишь, как на иголках, и затравленно озираешь-

ся вокруг, не зная, в каком углу подстерегает тебя опасность?! Если в опочивальню жены, куда днем и ночью запросто заходят все обыкновенные мужья, ты, будто вор, крадешься тайком, пряча от горничной и привратников глаза?! Если, считая себя всесильным и всемогущим, с затаенным страхом прислушиваешься к молве, криво толкам, пересудам праздной толпы?! Э, нет... верно говорят, что взирать на грешный люд с высоты своего недоступного одиночества естественно лишь для бога. Непомерные слава, сила, власть, богатство, талант, обрушивающиеся иногда на одного человека, оборачиваются не счастьем, а бедой.

Разве может быть довольным жизнью зодчий своим искусством поразивший людей? Разве, счастлив он, Повелитель, покоривший тьму стран и народов? Нет! В сущности все они глубоко несчастны. Остальные простые смертные на земле имеют возможность на худой конец поделиться с кем-нибудь своим горем, своей тоской. У них же — Повелителя, молодого зодчего и юной ханши — и такой возможности нет.

Случись с кем-нибудь другим нечто подобное. Повелитель, как третейский судья, не смог бы вынести сурового приговора, ибо в душе сознает, что ни один из них не виновен. А сейчас ему не под силу проявить такое великодушие. Ведь в сущности и он, и зодчий, и ханша — жертвы судьбы, несчастные нищие, вымаливающие друг у друга сочувствие и сострадание. А какую помощь могут оказать друг другу бедняки? Чем поделиться с нищим? Нечем! И поэтому самое справедливое — осуществить волю, угодную толпе. Если уж необходимо непременно докопаться до истины, то вовсе не он, Повелитель, палач молодого зодчего, отмеченного божьим даром, а крикливый черный сброд, охотно распространяющий самые невероятные слухи, верящий гнусной сплетне, родившейся в гнусной душе, и заставляющий верить других. И зодчий, и ханша, и он, Повелитель, — жертвы его жадных, пронырливых глаз и болтливой, мерзкой, как жало змеи, языка. И теперь, прояви великий Повелитель неслыханное милосердие и соедини судьбы двух несчастных молодых влюбленных, завтра же этот сброд, эта толпа поднимет невообразимый гвалт, шум, обвиняя его в мягкотелости, малодушии и бог весть еще в каких грехах, а недруги, тайные и открытые, подхватив молву из пога-

ных уст черни, начнут злословить, злорадствовать над ним. Все зло, все беды — от черни, Даже в несчастье зодчего виновата она. Даже кару для него придумала и подсказала Повелителю она. Пусть утешится презренная чернь! То, что рождено толпой, становится жертвой ее же слепой ненависти. Пусть этот люд верит своим рассказам. Лишь бы не догадался о том, что способно лечь пятном позора на честь и имя Повелителя. Значит, пока болтливая толпа не отреклась от своей молвы и не придумала другую меру наказания, разумно зодчего немедленно казнить.

4

Итак, в подземелье освободилось еще одно место. Раскаленной докрасна острой железкой кровавый палач выколол лучистые глаза вдохновенного Мастера, дерзко и гордо устремившегося к недоступной ему мечте. Несчастный юноша корчился от боли, выл по-звериному протяжно, и тут палач беспощадной рукой отрезал ему еще язык. Измученного, окровавленного, почти бесчувственного зодчего связали волосяным арканом и темной ночью отвезли в какой-то кишлак на той стороне Большой реки.

Страшная судьба молодого зодчего никого в столичном городе не удивила. Подобную участь испытали многие даровитые мастера и художники. Правда, бывали и отчаянные смельчаки, одиночки, сумевшие избежать суровой ханской кары. Кое-кому удавалось подкупить палача, перехитрить злой рок, вырваться из города. Одни из этих редких удальцов и счастливчиков потом навсегда расставались со своим искусством, осваивали другое ремесло, другие повидали родной край и доживали свой век на чужбине, ища милости у иных владык. Третьи, наиболее отчаянные и бесстрашные, дожидались смерти преследовавшего их правителя, возвращались на родину и, облагодетельствованные новым властелином, с прежним увлечением и усердием занимались любимым делом.

Зная об этом, Повелитель пожелал лично взглянуть на молодого зодчего уже после того, как ему выкололи глаза и отрезали язык. Убедившись в том, что в окровавленном, грязном мешке, перевязанном арканом, действительно находилось обмякшее тело зодчего, Повелитель распорядился отвезти его в дальний кишлак за рекой.

Глядя на обезображенного до неузнаваемости юношу, он, однако, не испытывал удовлетворения, как это бывало раньше при виде поверженного ненавистного врага. Даже грозные палачи, приволокшие к нему полосатый мешок, показались заурядными мелкими ворами, шастающими по чужим курятникам и хлевам. Повелителю не терпелось убрать мешок обратно, с глаз долой.

Наутро следующего дня огромный ханский дворец почувствовался ему еще более тоскливым и пустынным. Доносчики, отправленные на базар, не приносили никаких утешительных вестей. Казалось, этим презренным торгашам, вождеденно пожирающим глазами две чаши безмена, недосуг взглянуть на вершину голубого минарета. Внимание их всецело поглощено перебранкой, зазывными выкриками, копеечной торговлей, желанием надуть простодушного покупателя. В этот миг они наверняка и не помнят о существовании какого-то Повелителя. Выморочная тишина сковала город. Соглядатаи и доносчики Повелителя, под видом мелких торговцев и бродячих дервишей шнырявшие в базарной толпе, ничего примечательного не услышали ни от горожан, ни от приезжих. Впечатление было такое, что всем все давно известно, и о случившемся нет смысла говорить. Доносчики растерялись и избегали встречи с Повелителем. Опытный глава тайной службы встревожился: молчание толпы не предвещало ничего доброго. Он лично приглядывался к торгашам и купцам, тщетно стараясь узнать, что у них на уме, что скрывается в их бритых головах под мохнатыми шапками или засаленными чалмами, что означает сытая ухмылка под холеными черными усами. Он приказал усилить слежку за удачливыми торговцами не только на базаре и в лавках, но и на улицах, в переулках, возле их домов.

На тесных улочках, на окраинах города слонялись толпами дервиши, нищие, бродяги, калеки. Шайка доносчиков увивалась вокруг купца, в доме которого обитал зодчий из Ор-тюбе, однако и от него ничего вразумительного не добились. Тот по-прежнему хвастливо рассказывал о своих похождениях, о том, кого победил в острословии и чей перепел оказался самым воинственным. Лишь однажды этот купчишка проронил невзначай: «Отец молодого зодчего когда-то тоже подвергался гонениям, умудрился избежать наказания и вернулся с чужбины через двадцать

лет. На старости привел сюда сына, определил на стройку новой мечети и умер от чахотки. Посмотрите: и сын пойдет по его стопам. Дома у меня он оставил немало добра. Когда-нибудь обязательно за ним вернется...»

Начальник тайной службы не выпускал его из виду, подсылал к нему своих людей, те ловко втягивали неужимого болтуна в спор острословов, подпаивали его, и войдя в раж, плел обо всем на свете, но ни единым словом не заикнулся об отношениях между зодчим и юной ханшей.

Повелитель был обескуражен. В осторожном молчании толпы таилось что-то подозрительное. В думах предположениях он проводил бессонные ночи. Каким образом можно расшевелить эту неожиданно онемевшую толпу? Почему она так упорно молчит, будто проглотила язык? С утра до вечера ходил взад-вперед, взад-вперед удрученный Повелитель по безмолвному залу. Казалось, он уже знал тут каждую пылинку и не на что было устремить усталый, блуждающий взгляд. Он вновь и вновь подходил к окну и каждый раз съеживался, наливался досадой в злобе при виде голубого минарета, молчаливо злорадствовавшего над ним. Иногда, казалось, минарет снисходительно подсмеивался над потерявшим покой владыкой. А вместе с ним, чудилось, усмехалась многотысячная толпа, копошившаяся у его подножия. Конечно, каждый, кто обладал здравым рассудком, прекрасно понимал, над кем и над чем смеется непокорно-величавый минарет, а понимая, не в силах был подавить и собственную ехидную ухмылку. Значит, если он желает избавиться от преследующей его всюду злорадной усмешки, он должен первым делом стереть с лица земли первопричину всех невзгод — минарет. Тогда сам по себе оборвется торжествующий смех толпы.

Но даже облегчения не успел почувствовать Повелитель от этой, казалось бы, спасительной мысли. Он тут же подумал, что, своей рукой разрушая минарет, он только подтвердит ужасную догадку, которая станет завтра в глазах толпы истиной, всегласно подтвержденной самим Повелителем.

Эта простая мысль так поразила его сейчас, что он в отчаянии схватился обеими руками за голову и, обессиленный, присел. Долго он так сидел, вконец убитый, раздавленный, и вдруг встрепенулся, вскочил, и хищный блеск

появился в его потухших, старческих глазах. Наконец-то... наконец-то он нашел, нашел верный, желанный способ подавления мерзкой сплетни, вот-вот готовой сорваться с поганых губ толпы, в самом зародыше!

Да, да, это единственный и самый лучший, самый надежный способ! Все, что связано с голубым минаретом, до мельчайших подробностей известно лишь одному человеку — главному зодчему. Слухи, кривотолки могут исходить только от него. Следовательно, с него-то и нужно начинать. Все внимание настороженно молчащей толпы необходимо ловко обратить на главного зодчего. Ведь, надо полагать, голубой минарет постоянно вызывает в его душе неприязнь и зависть. Уж кто-кто, а Повелитель совершенно точно знает, какой он, главный зодчий, завистник и как он ненавидит каждого, кто превосходит его талантом и мастерством. Значит, его и следует натравить на молодого соперника. Ему только намекни, и он один с кайлом в руке, как безумный, кинется на минарет. Вот тут-то его и поймают на месте преступления. Услужливые холуи тут же распустият слух: «Главный зодчий в приступе черной зависти пытался разрушить голубой минарет. Он же тайком оклеветал юношу перед Повелителем, и по его вине молодой мастер понес незаслуженную кару». Потом Повелитель сам объявит народу о преступных помыслах и поступках главного зодчего и приговорит его к жестокому, но в высшей мере справедливому наказанию. Шумливая и доверчивая толпа будет на все лады склонять слух о соперничестве и взаимной неприязни двух талантливых ханских зодчих, и тогда сами по себе отомрут и забудутся все сплетни о мнимых преступлениях юной ханши. А краса и гордость его столицы — минарет останется неприкосновенным.

Желание Повелителя расторопный начальник тайной службы исполнил за два дня.

Главного зодчего, закованного в кандалы, Повелитель даже не стал допрашивать. Только пристально и долго посмотрел на него, поседевшего и осунувшегося за одну ночь, и когда тот пытался было что-то сказать, приказал стражнику:

— Отрежьте поганый язык злому наветчику и заточите в подземелье. Пусть там сгниет!

На невинную жертву он глянул вслед с брезгливостью. Много предательств и коварства перевидел и пережил

Повелитель на своем веку, и поэтому особенно презирал людей лживых, мелких и завистливых. Но в начальники он неизменно выбирал таких. Особенно над людьми искусства, над одаренными ремесленниками-мастерами, ювелирами, зодчими он непременно ставил человека грубого, вздорного, нетерпимого и завистливого. И в этом у Повелителя был свой тайный и верный расчет. Он ведь хотел, чтобы его столица была самой красивой и величественной. Для этой цели он собирал именитых, прославленных мастеров во всего света. А степень одаренности мастера точнее всего определяет не добрый, душевный человек, а злой завистник с мелкой душонкой. Значит, в этом случае разумно прислушиваться не к хвале доброго приятеля, а к хуле недоброжелателя. Ибо так уж устроен мир, что самый зоркий, меткий глаз у завистника, у неудачника. У них поразительно чуткий нюх на талант. С таким же рвением и усердием они преследуют и чернят каждого, кто их превосходит хоть на золотник. Благодаря главному зодчему – тощему, пронырливому, плаксивому и занудливому мужичонке с прищуренными, бегающими глазками, с оттопыренными, каждый слух ловящими ушами – Повелителю удалось разыскать и подобрать дивных умельцев-чудодеев. Сам же главный зодчий ничего путного не совершил, ничего примечательного не достроил, кроме мрачной и сырой тюрьмы под дворцом правителя. Над входом в подземелье Повелитель приказал выбить на камне надпись: «Рано или поздно все равно очутишься под землей!» Пусть этот наветчик и завистник убедится в справедливости ханских слов и заживо сгниет в им же достроенной тюрьме.

И оттого, что заточил в подземелье этого холуя с завистливой душонкой, Повелитель испытал большее удовлетворение, нежели от недавнего наказания молодого зодчего.

Весть о том, что главный зодчий брошен в подземелье, всколыхнула столичный город, но тут же забылась. Так от случайной искры ярко вспыхивает и тут же превращается в пепел ворох сухого сена. Обрадовавшиеся было доносчики и соглядатаи вновь понуро опустили головы.

Из дворца Старшей Ханши не поступало никаких слухов. Повелитель хмуро вглядывался в каждого, кто переступал порог его тронного зала, подозрительно следил за каждым шагом и жестом приближенных, допытывался,

у кого что на душе. Всюду ему чудились подвохи, намеки, иносказания. Он выискивал их в яствах на низеньком круглом столике, в постели, которую слуги меняли каждый день, в одежде. Однако ничего достойного внимания не замечал. Все чинно, благопристойно, добропорядочно. И уже мерещилось ему, что все слуги, вся дворцовая челядь не только догадывались о самой затаенной его тайне, но и знали все, что творилось у него в душе, и теперь только и заботились о том, чтобы ненароком не возбуждать в нем новых подозрений и сомнений. И даже доносчики, целыми днями, точно псы, рыскающие по городу, наверняка щадили его и скрывали всячески правду, утешая его, как неразумное дитя, лживыми льстивыми словами. И ведь в самом деле, разве осмелятся они сказать подлинную правду в глаза Повелителю? Разве страх за собственную шкуру не сковывает их язык? Значит, нужно полагать, все, что мелят они здесь, валяясь у его ног, не что иное, как наглая, трусливая ложь.

Жители столичного города давно уже поняли тайну голубого минарета. И толковали ее на всякие лады. Они, конечно, хорошо знают, почему подвергнут жестокому наказанию юноша-мастер и по какой причине вдруг заточен в тюрьму главный зодчий. Более того, им ведомо, с какой стати, вернувшись из похода, Повелитель не отлучается из дворца юной ханши. Он ведь вышел из того возраста, когда никак не могут насытиться ласками жены. И, наконец, надо полагать, не любовью занят стареющий властелин. А не показывается он на глаза людей потому, что гложет его стыд и нечистая совесть.

От этих откровенных, уничижительных дум Повелителю становится не по себе. Он вскакивает, точно кто-то больно ущипнул его. Часами бродит он, сутулясь, по залу, потом отправляется в сад. Но и в безлюдном саду он не находит себе места. Тысячи глаз неотступно преследуют его, злорадно улыбаются из-за кустов. Неуютно на сердце, тягостно. Он поспешно возвращается домой. А что дом? Четыре безмолвные стены. Будто кто-то силком загнал его сюда. Не дворец — тюрьма. Без засова и замка. И не Повелитель он — узник. Без оков и кандалов. И вся его остатняя жизнь, весь мир вокруг — неволя, заточение. Даже самая малость, доступная последнему смертному, — видимость личной свободы — ему, Повелителю, не известна. Каждый шаг на виду, каждое слово на счету. Про-

стые человеческие желания, прихоти и страсти ему чужды. Что бы он ни делал, он непременно должен удивлять и поражать людей. Если он будет делать и говорить то, что делает и говорит простой люд, он мгновенно окажется посмешищем в глазах праздной толпы. Те, кто его так усердно возвеличивал, возносил до небес и падал перед ним ниц, не простят развенчания ими же созданной легенды и начнут злорадствовать над ним и проклинать его с пеной у рта. Ибо черный сброд, именуемый народом, не желает признаваться в своей глупости и нещадно мстит кумирам, не оправдавшим его доверия.

Толпа издревле нуждалась в идоле. И вера ее — идолопоклонство.

И кто знает: не клянут ли его люди уже теперь, не злословит ли над ним уже сейчас каждый встречный-поперечный?! Может, уже хохочут до колик в животе над грозным Повелителем, который еще недавно молнией поражал иноземных правителей, сотрясал короны и свергал троны, а теперь, состарившись, не может, да-да, просто и не может справиться с молодой бабенкой, изнывающей от изменной похоти, жаждущей крепких мужских объятий, не в силах унять зуд вожделения в ее чреслах и потому забился в угол, словно трусливый, шелудивый пес. Разве болтливая толпа удержится от соблазна позлословить над всемогущим властелином, который, вместо того чтобы, подобно настоящему мужчине, открыто схлестнуться с удачливым соперником и отомстить обидчику, прибегает к подлым приемам и тайным козням? Вот уж почешет языки черный люд по поводу того, что-де после бога самый великий среди бессмертных оказался самым ничтожным среди смертных. Э, услышать бы только собственными ушами эту подлую болтовню, увидеть бы собственными глазами, как, рассказывая о нем, веселятся, нервничают, по ляжкам себя похлопывают неумные трепачи. Увидеть и услышать, как и что о тебе говорят, проще и легче, чем терзаться собственными сомнениями. Чем больше он старается заткнуть глотку праздной толпе, тем заметнее разрастается грязная сплетня о нем. Выходит, хорониться от чужих глаз в своем дворце бессмысленно и глупо.

Да, да, совершенно очевидно: лежать в сумрачном зале, подобно старому медведю в берлоге, не делает Повелителю чести. Нужно во что бы то ни стало вырваться из

самовольного заточения, разорвав гнилые путы сомнения и подозрения. И пусть толпа говорит о нем, что и как ей заблагорассудится. Бывая на людях, он хотя бы по глазам их определит то, что они не посмеют высказать словами.

Возвратились бы сейчас старые добрые времена! О, он закатил бы пир назло глумливой толпе. Напоил бы всех до умопомрачения, развязал бы языки, вдоволь наслушался бы пьяной болтовни. Но сейчас нет никакого основания для такого торжества. Повелителю неизвестно настроение не только жителей его столицы, но даже единокровных сородичей и предводителей войска, правителей-эмиров. Кто знает, что у них на душе? А не зная этого, разумно ли собирать всех на пир?

Поразительно несуразно все получилось. Построенный в его честь голубой минарет обернулся для него злом. Связал его по рукам-ногам, сковал волю. Но почему Повелитель сам себя так изводит? Разве он не грозный владыка, железной рукой взнуздавший мир? Что ему стоит собрать всех, кого он считает нужным, и прямо заглянуть им в глаза?! Нельзя же до окончания дней отсиживаться за каменной стеной. Пора ведь взять себя в руки, встряхнуться назло Младшей Ханше, этой гадюке, пригревшейся на его груди, назло Старшей Жене и ее чванливой свите, не спускающей с нее глаз. Ему, Повелителю, ведь под силу неожиданным поступком своим еще раз удивить и черный люд, и спесивую знать, привыкших с разинутыми ртами ловить каждое его слово. По крайней мере, он узнает все, о чем говорят и что думают разномастные холуи, толпами увивающиеся вокруг.

На другой день Повелитель вызвал старшего визиря. Тот боязливо протиснулся в дверь, не отрывая от пола огромных выпуклых глаз, способных одним взглядом охватить все. С подчеркнутой учтивостью выслушал старший визирь наказ Повелителя и низко поклонившись, выскользнул из зала. Трусливая повадка старой лисы настораживала. Неужели оправдываются его подозрения? Неужели и впрямь все придворные догадываются о том, что творится в душе Повелителя? Почему пройдоха визирь прячет глаза и норовит скорее удалиться? Отчего тень ужаса на холеном лоснящемся лице? Может, боится участи главного зодчего? Может, опасается расплаты за то, что осмелился построить в отсутствие властелина уро-

дину башню? Не исключено! Ах, зря он его так скоро отпустил. Немногие способны устоять перед его молчаливым гневом. Немногие выдерживают его испытующий взгляд. Повелителю захотелось вновь увидеть старшего визиря. Увидеть скорее и других придворных слуг, детей, наместников и военачальников. Интересно, как они себя поведут при встрече с глазу на глаз? Может, тоже начнут ерзать, отводить взгляд, юлить, прятать голову? Если так, значит, и они что-то знают, утаивают...

Еще несколько дней спустя великий Повелитель соизволил выехать на охоту. Целый караван — наездники-коневоды, лучники-охотники, барабанщики, повара, слуги, личная охрана, свита, конюшие, опытные псары с гончими, борзыми, волкодавами на сворках — медленно выступил из города и направился в сторону гор, смутно голубевших вдали в зыбком мареве. Лишь через день караван остановился на привал. Среди хребтов и зубчатых скал, на берегу бурлящей горной реки, в глухих, нетронутых зарослях дворцовая челядь быстро раскинула шатры для военачальников и правителей: здесь высоко в горах и непроходимых лесах, богатых зверьем и дичью, предстояла пышная ханская охота.

Многолюдный красочный караван, поджарые легконогие скакуны, чинный, торжественный ряд обвешанных всеми видами оружия охотников, сладкое предвкушение удачи и забавы — все это живо напомнило Повелителю былую безмятежную, полную соблазнов и очарования жизнь. Горы и заросли заметно гасили нещадный зной в долине.

В день прибытия затеяли грандиозный пир. Вино лилось рекой. Все были возбуждены, говорили и кричали наперебой, но чуткий слух Повелителя не уловил ничего крамольного или примечательного. Все дружно и на все лады обсуждали предстоящую утеху. Хвалили лошадей. Хвалили собак. Хвалили ловчих птиц. Хвалили друг друга и самих себя. Рассказывали охотничьи байки. Выхвалялись меткостью, удачливостью, сметливостью. И слушая эту привычную бестолковую болтовню, Повелитель даже не знал радоваться ему или огорчаться. Казалось, все лукавят, разыгрывают его, ловко обводят вокруг пальца, и он поневоле опять насупил брови.

Ночь на привале он провел без сна. Вокруг в шатрах после вчерашней оргии спали беспробудным сном. Без-

мятежная тишь нависла над миром. Летняя ночь навевала сладостную дрему. Чистый горный воздух ласкал хмелем объятое тело. Где-то глубоко в сознании бодрствовало предчувствие радостной утренней предохотничьей суеты. Разве может быть большей услада для души? Из соседних шатров доносился причудливый храп.

Такая жизнь и вот такие ночи издавна особенно по душе Повелителю. Каждый из этих мужчин с оружием в руках, покорно следующих за ним хоть на край света, возвращаясь в столичный город или в кишлаки, в приземистые глиняные домики на тесных пыльных улочках, превращается в опасность для него, в заурядного трепача, охотно распространяющего небылицы и сплетни о всесильном владыке. А в походе, когда они рядом с ним, каждый смотрит ему в рот, каждый послушен и покорен и старается непременно угодить. В такие мгновения ему чудится иногда, что все они — единокровные потомки: сыновья, дети, внуки и правнуки, будто бесчисленные ветви и побеги от одного могучего ствола. Стоит им только хоть на один шаг удалиться от мирной жизни, как они поневоле тянутся к нему, точно несмышленыши к родному отцу, ища у него опору и поддержку. Вот и сейчас, глубокой лунной ночью, среди хмурых скал, в окружении непролазных зарослей, они предаются безмятежному сну, словно сорванцы-внуки, доверчиво прильнувшие к добром и надежному дедушке. Как бы желая перекрыть их дружный, многоголосый храп, громыхает, гудит, ворочает камни норовистая горная речка у подножия хребтов. Чуткий слух Повелителя улавливает каждый звук, каждый шорох за тонкой шелковой завесой шатра. Знакомые, приятные ночные картины. Ни одного резкого вскрика, ни чуждого вопля, от которого немеет душа. И все же не спится...

Возле дальних шалашей беспокойно поскуливают гончие собаки: может, чуют звериные запахи? И за шатром кто-то едва слышно копошится, что-то вроде похрустывает, потрескивает. Должно быть, мелкая ползучая тварь приступила к своим ночным заботам. Вдалеке тонко вызывают, стрекочут цикады. Все так просто, привычно, однако сколько причудливого, загадочного, непостижимого в этом мире!

Удушливый туман, словно чадом обложивший душу, несколько развеялся, поредел, но полная желанная яс-

ность на сердце не наступала. Блаженная сонливость и тяжесть растекались по телу, но дух бодрствовал. Он испытывал страстное желание незаметно раствориться в ночной мгле, слиться с разморенной тишью. Как хотелось ему сейчас разом забыть и про трон, и про корону, и про золотистый ханский шатер над головой и упасть в ласковые объятия природы. Если бы он мог, как эти невидимые мелкие твари за шатром, жить в собственное удовольствие неприметной жизнью, лишенной суеты, обязательств и треволнений! Стать бы простым смертным, до которого никому нет дела, которому не ведомы ни людская зависть, ни вражьи козни, или пусть даже ничтожной тварью под ногами, лишь бы избавиться от необходимости быть постоянно на глазах, на виду у всех, точно бородавка на лице. Эх, выскользнуть бы сейчас незаметно из шатра и нырнуть в заросли! Какой бы завтра начался переполох, когда вдруг бесследно исчез бы Повелитель! Сколько бы родилось диковинных легенд о его таинственном исчезновении! А он, отсиживаясь в каком-нибудь укромном уголке, недоступном человеческому взору, усмехался бы в усы, злорадствуя над бездонной людской глупостью...

Повелитель понимал всю нелепость своих неосуществимых мечтаний, но все же ему было приятно об этом думать. Смешно... Многочисленные стражники, расставленные в два ряда вокруг шатра и всего лагеря, не то что хана — муху мимо не пропустят.

Повелитель в который раз подумал о том, что им же насажденные железный порядок и традиции, ременными путами связали его самого по рукам и ногам. И, вспомнив об этом, он почувствовал горький осадок в груди.

Вокруг стояла, однако, истомленная негой дивная ночь, сулившая отдохновение и усладу для души и тела, и Повелитель с досадой отмахнулся от недобрых предчувствий. Усилием воли он вновь направил разладившийся было настрой измученной души по едва заметной тропинке, обещающей впереди желанное пристанище, похожее на райский уголок. Эта тропинка незаметно уводила его все дальше и дальше от безмятежно храпевшей перед завтрашней охотой свиты, от суетной земной жизни, где происходит вечная борьба между добром и злом, отчаянием и надеждой. И казалось, дух его отдаляется от грешной земли, от опостылевшей возни людишек, и никогда, никогда уже не будет возврата.

Уже далеко позади остался проклятый край, край вечной печали и скорби, и Повелитель, освобожденный от тяжести власти, от пышных, золотом вышитых одежд, испытывал удивительную легкость. Даже почудилось ему, что он одет в ихрам – два куска несшитой белой ткани, – в котором истые правоверные совершают паломничество в священную Мекку. Вот он идет, шлепая босыми ногами по белесому пухляку. Вокруг простирается незнакомая местность. Среди древних, скудных гор, разрушенных зноем и ветрами, виднеется небольшой городок. К нему со всех сторон длинной вереницей тянутся, стекаются паломники. За ними, еле волоча ноги, плетется и он. От бесконечного выкрикивания каких-то молитвенных слов в горле его пересохло. Он давно охрип и, как бы ни надрывался, не слышит собственного голоса. Только губами пересохшими шевелит. Впереди возвышается длинный бурый увал. Толпа устремляется к нему. Лишь после полудня удалось одолеть его склоны. На вершину увала поднялся на поджаром скаковом арабском верблюде, покрытом дорогим ковром, старец в огромной белой чалме. Восседавая в пышном седле, он раскрыл лежавшую на коленях тяжелую книгу и начал читать вразтяжку величаво-скорбным голосом. Изредка голос его обрывался, и тогда короткую тишину оглашали нестройные вопли пилигримов:

– О, всемогущий! Покоряемся воле твоей, припадаем ниц к стопам твоим!

И при этом паломники приподнимали край ихрама и потряхивали им. Бесчисленное число раз слышал Повелитель эту смиренную мольбу из уст других, но сам никогда не произносил подобных слов. Он с трудом ворочал языком, долго шевелил губами, приноравливаясь к хору страждущих, по лицам которых текли слезы. Повелитель при всем своем старании так и не сумел выжать ни одной слезинки. Лицо его оставалось суровым и непроницаемым. Чтобы никто из усердно молящихся вокруг не обратил на него внимания, он также выпевал молитвенные слова и, смежив веки, низко опустил голову.

Старец на верблюде закрыл священную книгу и благоговейно сложил ладони перед лицом. Паломники опустились на колени. Потом, когда благословение было окончено и многоголосое протяжное «Ам-и-и-нь» прокатилось по увалу, бесчисленная толпа ринулась в долину. И Повели-

тель послушно потрусил вниз. Дыхание теснило грудь, сердце трепетало, впт струился с него ручьями, но он старался изо всех сил не отстать от других.

Там, у подножия увала, их оглушили протяжные звуки, будто вразнобой затрубили медные трубы. На небе ярко вспыхивали огни. Еще днем, поднимаясь на вершину увала, Повелитель увидел в долине множество деревянных минаретов. Теперь они разом запылали точно гигантские свечи. По ущельям, излучинам между островерхими холмами и курганами замелькали, заплясали багровые языки пламени. Разноцветные шатры, тесно расположившиеся на равнине, отбрасывали при ночном зареве жутковатый отблеск.

И вот старец, на белом скаковом верблюде вновь начал молитву. И, сотворив утренний намаз на вершине увала, паломники опять спустились в долину. На пути их, прямо посередеь дороги, встретился черный каменный столб, в который каждый швырнул семь черных камушков величиной с зерно кукурузы. В центре плоской равнины возвышался еще один каменный столб. В него тоже кинули по семь маленьких камушков. Наконец толпа наткнулась на глухую стену, сложенную из грубых булыжников. И еще раз по семь камушков бросили в нее паломники. Теперь они направились к продолговатым земляным печкам, над которыми громоздились огромные котлы. Возле котлов озабоченно суетились мясники и, сверкая длинными острыми ножами, разделывали туши жертвенного скота. Здесь же – неизвестно откуда взялись – толпились наглые попрошайки, назойливые побирушки, страшные нищие в лохмотьях. Паломники, одетые в священный ихрам, отошли в сторонку. Здесь на их склоненные головы какие-то люди лили теплую воду из высоких кувшинов с узким гнутым горлышком. Повелитель тоже припал на колени, покорно опустил голову. Он чувствовал, как от теплой водички кожа на макушке стала мягкой, податливой. Чернявый, сухопарый мужчина ловко вытащил из ножен стальное лезвие и привычными, заученными движениями в два счета обрил его, потом принялся стричь ногти на руках и ногах. Закончив свое дело, чернявый связал в отдельные узелочки волосы и ногти и закопал их в одну ямку.

С земляных печей сняли казаны. Перед паломниками, усевшимися в длинные, тесные ряды, поставили большие

деревянные подносы с кусками дымящегося мяса. После обильной трапезы паломники весь день отдыхали в своих шатрах. А потом направились в священный город, лежавший в долине. Перед ними находилась кааба – мусульманский храм, в стену которого был вделан черный камень, задернутый Новым черным покрывалом из Египта. Паломники остановились возле каабы. Служитель храма с треском разорвал старое черное покрывало на клочья и роздал их паломникам как священный талисман, приносящий праведникам радость и благо. Чуть вдали белело мраморное возвышение – минбар, с которого мусульманский проповедник – кади наставляет правоверных на путь истины. Над источником зам-зам возвышался небольшой купол. Как и все, Повелитель сложил ладони перед лицом и помолился. Потом со всеми вместе подошел к черному камню. От прикосновения губ и рук паломников поверхность его казалась отполированной. Нижняя же часть была еще шершавой, со множеством красных крапинок. Паломники один за другим благоговейно целовали священный камень, но стоило Повелителю наклониться к нему, как камень, точно живой, отстранялся от него, ускользал то в одну, то в другую сторону. Тогда Повелитель протянул к нему руки, но опять не дотянулся. Огромная толпа, выстроившаяся за ним, в нетерпении оттеснила его от камня. Повелитель повел-дернул плечами и мелкой трусцой, как это предусматривается ритуалом, трижды обежал каабу. После каждого круга он наклонялся к камню, чтобы прикоснуться к нему губами, но камень всякий раз ускользал от него. Повелитель, недоумевая, перешел на шаг, еще несколько раз обошел каабу, каждый раз пытаясь поцеловать камень, но тщетно. Другие паломники или дотягивались до него губами, или прикасались хотя бы руками, а от Повелителя камень увертывался, как от прокаженного.

Вместе со всеми он поклонился могиле пророка Ибрагима, построившего священный храм – каабу. Пил воду из священного источника зам-зам. Вода оказалась невкусной, солоноватой. От нее неприятно пощипывало в горле.

От каабы толпа направилась к двум горам – близнецам, протянувшимся рядом, – Саф и Мару. Послушно семенил среди паломников и Повелитель. Как наваждение, преследовало его жуткое видение: ускользая, мель-

тешил перед глазами черный камень. С того дня как Повелитель впервые облачился в ихрам и посетил священные места пророка, он рьяно исполнял все предписания праведникам, отрекшимся от мирской суеты и житейских соблазнов. Он не пропускал ни одного намаза, вовремя совершал омовения, соблюдал пост, коротко стриг ногти и красил их хной, тело умащивал благовониями, истребляющими всякую нечисть сатаны греха Иблиса, на священный жертвенник привел белого верблюда. Вокруг каабы захоронены останки более ста святых, и Повелитель поклонился каждой могиле, ни одного святого не обошел подаянием. Укрыв свое брренное тело ихрамом, он не осквернял уста плодом с кроваво-багровым соком, не глядел на свое отражение, отрекся от мирских забот, не позволял себе думать о греховном, подавлял желания грешной плоти, не вступал в преступную связь с женщиной не только наяву, но и во сне. И теперь, когда он надеялся за все свои благочестивые деяния удостоиться желанного имени хаджи и покрыть голову высокой бело-снежной чалмой, священный камень каабы упорно отворачивается от него. За какие грехи выпало на его долю такое унижение? Разве не говаривали, что тому, кто хоть раз ступил босыми ногами на священную землю пророка, прошел через все испытания плоти и отчистил душу, припав губами к черному камню каабы, прощаются навсегда все большие и малые прегрешения? Почему божественная вода зам-зам обжигает ему пищевод, будто щелочь?

Идет-бредет толпа паломников, шлепая босыми ступнями по пухлой пыли. Задыхаясь и обливаясь потом, спешит за ней Повелитель. А перед глазами неотступно стоит черный камень каабы. Не стоит даже, а крутится, вращается, будто гончарный круг, катится перед ним. И как бы ни старался Повелитель — догнать не может.

Паломники добрались до низины между горами Саф и Мару, которые когда-то жена Ибрагима Агора обежала семь раз в поисках воды для единственного сына Исманла. Бежит, бежит трусцой вконец обессиленный Повелитель, вопит, выкрикивает молитвенные слова: «О, всемогущий! Готов исполнить любую твою волю. Только не откажи в своей милости. Будь так же великодушен ко мне, как и к другим верным твоим рабам...» Впервые в жизни срываются с его губ такие жалостливые, покаянные слова. Но, видно, не доходит его жаркая молитва до

всевышнего. Крутится, катится впереди священный камень каабы, и нет никакой мочи догнать его. Напрягая горло, он кричит протяжно, долго, в отчаянии: «О, аллах!.. Внемли мольбе раба своего! О, алла-а-ах!»

Повелитель проснулся. В ушах еще отдаленно звенел надсадный крик. Сквозь шелковый шатер проникал бледный свет. Видно, заря занялась уже давно. Снаружи доносились приглушенные голоса. Повелитель звякнул колокольчиком. В шатер тотчас вошел слуга, держа на вытянутых руках легкую охотничью одежду. Повелитель быстро оделся, вышел. Солнце уже поднялось на длину конских пут. Лошади были оседланы. Гончие, борзые, волкодавы нетерпеливо поскуливали, прыгали на сворках. На кожаных рукавицах сокольников, нахохлившись, сидели в колпаках ловчие птицы – беркуты, соколы, ястребы, пустельги. Их звонкий, резкий клекот вспарывал утреннюю тишь. Вдали в прозрачной сини ослепительно сверкали снежные вершины гор. Внизу, у подножия, монотонно рокотала речка. Без умолку щебетали, заливались на все лады бесчисленные птахи на деревьях, словно понимая, что для них не представляют опасности эти вооруженные люди с собаками и хищными прирученными птицами. А вот зверь в лесу будто затаился, ушел куда-то.

Повелитель скосил взгляд на свиту, выстроившуюся рядом поодаль. Она мгновенно согнулась в учтивом поклоне. Повелитель сдержанно кивнул в ответ и сел на коня, которого держали под уздцы с двух сторон два коневода. Набросил на плечо лук, приторочил колчан со стрелами. И свита, и челядь поспешно взобрались в седла. Оглушительный, грубый рык керная разом разорвал в клочья прозрачную утреннюю тишину, дремуче нависшую над горами.

Первыми выступили выжлятники и доезжачие с кернаями и барабанами. Разделившись на группы, они направились к оврагам, буеракам и ущельям, утонувшим в густых зарослях. Они должны вспугнуть зверье, выгнать его из засады на простор, на открытую поляну, туда, где томятся в предвкушении забавы Повелитель и его свита. Поодаль от них плотным кругом расположились охранники, оберегающие Повелителя от неожиданного нападения.

На месте стоянки остались слуги и несколько охранников, прочие отправились на охоту. Выжлятники едва

ли не с вершин, откуда начинались ущелья и ложбины, травили зверя, выгоняя его из зарослей в открытую долину, где устроила засаду знатная свита Повелителя. Повара между тем с раннего утра копали продолговатые ямы, сооружали земляные печи, устанавливали котлы, заготавливали топливо.

Повелитель хмуро молчал. Ни словом не обмолвилась и свита. Раньше Повелителю нравилось, когда все вокруг угодливо пожирали его глазами, предугадывая каждое его желание, каждый каприз. А сейчас любой случайный взгляд впивался в него колючкой. Уж не жалость ли сквозит в этих скользких взглядах? И не унижительна ли эта жалость для всемогущего Повелителя? Отчего все вокруг так серьезны и молчаливы? Неужели все понимают, какой червь гложет его сердце? Бывало, прежде на охоте всех охватывало такое возбуждение, что на месте не могли стоять. А теперь все непроницаемо спокойны, точно истуканы. Да что там раньше. Вчера, да, да, вчера еще горланили, шумели за дастарханом. Сегодня же затаились, языки прикусили, выжидают. Может, услышали, как он кричал, вопил во сне? Если так, то они, разумеется, догадываются о его состоянии. Любопытно, как они объясняют горячую мольбу своего Повелителя, униженно взывавшего во сне к аллаху? Должно быть, сейчас все только и думают о том, какая же душевная боль заставила Повелителя выказать тайну во сне, которую он так тщательно скрывает наяву? Возможно, они радуются про себя, считая, что их давнишние смутные подозрения оправдались?

Если бы до этого они пребывали в полном неведении, то вели бы себя сейчас совсем по-иному. Они просто не заметили бы каких-то перемен в душевном настрое своего господина или не придавали бы им значения. Исподтишка пытливо вглядывался Повелитель в своих нукеров, однако ничего, кроме крайней осторожности, желания незаметно улизнуть и фальшивого подобострастия, он не прочел в их окаменевших лицах. Иные чутко прислушивались к покрякиванию выжлятников, доносившемуся из дальних ущелий и буераков.

Когда Повелитель со свитой спустились в открытую долину, высоко в горах затрубили кернаи, дробно забили охотничьи барабаны. Могучее эхо прокатилось по ущельям. С грохотом посыпались камни, гулко зацокали ко-

пыта. Все разволновались, насторожились. Один Повелитель не шелохнулся. Лай собак стремительно приближался. Нукеры, обеспокоенно взглядывая на своего господина, с трудом сдерживали возбужденных коней. Повелитель и бровью не повел. Лишь когда гул, треск, грохот докатились до прибрежных зарослей, он едва заметно кивнул старшему визирю.

Многочисленная свита, отъехав на почтительное расстояние от Повелителя, вдруг завопила во всю мощь глоток и с улюлюканьем поскакала к оврагу. За нею стремглав понеслись дворцовые охотники. Еще несколько десятков всадников в одно мгновение нырнуло в дикие заросли по обе стороны горной реки. Избавившись от тягостной опеки свиты и дворовой челяди, Повелитель свернул к маленькому, незаметному притоку на дне каменистого оврага. Здесь была укромная излучина, заросшая осокой и камышом. У ручья Повелитель спешился. Подошел к серому валуну у родника. Сел. Наклонившись, зачерпнул ладонью прозрачной студеной водицы, ополоснул руки, лицо. Потом снял с плеч лук, положил рядом. Расслабил пояс, прилег. Давно уже, находясь за пределами дворца, он не оставался наедине с самим собой. С утра сегодня никого не хотелось ему видеть. Пусть эти словоблуды болтают о нем за глаза что хотят, лишь бы не толпились рядом и не смотрели ему угодливо в рот.

В густом разнотравье утонула окрестность. Утренняя роса на верхушках осоки не успела еще высохнуть. Зубчатые вершины скал, виднеющиеся из-за камыша, сверкали свежестью, словно чья-то колдовская рука омыла их ночью. Из-за мыса подул прохладный ветерок. Однако он не мог развеять тягостную духоту в груди. Вновь вспомнился предутренний сон. Здешние суровые снежные вершины совсем не походили на невзрачные, точно выжженные холмистые горы Арафа и Муздалиф, Саф и Мару, а сочные травянистые луга между ущельями, где в этот миг толпы охотников неистово гнались за зверем, на пыльную, опаленную Минскую пустыню, по которой он с паломниками бродил во сне. Но и нещадный зной пустыни, и удушливая пыль, прогорклый запах гари, приснившиеся сегодня на заре, преследовали его и наяву. Он поражался тому, как живо запечатлелся в сознании неведомый ему далекий край. Или, может, в нем ожили воспоминания его сеида, не однажды совершавшего

паломничества в священную Мекку? С какой стати приснилась ему вообще обитель пророка за тридевять земель? А-а, возможно, то дух предков наставляет его исподволь на путь истины? Может, и впрямь совершить ему хадж? Разве мало было на свете владык, раскаявшихся к концу жизни? Они отправлялись в Мекку, губами прикасались к священному камню каабы, сменяли корону на простую чалму, а золотой скипетр – на суковатый посох и нищими дервишами скитались до земле. Что их заставило отречься от былой славы и могущества? Может, те же душевные муки, терзания и сомнения? Но почему во сне священный черный камень не подпустил его к себе? Неужели из живущих на земле у него, Повелителя, больше всего грехов? Неужели он единственный не достоин прощения? Но разве не в священных писаниях говорится, что коронованные владыки – золотая опора всевышнего на земле? Неужели всевышний способен обрушить гнев свой на свою же золотую опору? Или он просто дал знак, что не место ему, Повелителю, среди толпы паломников и всякого нищего сброда? В таком случае почему уготовил ему судьбу, достойную каждого встречного-поперечного? Почему обрек на душевные терзания и муки, как простого смертного? Разве есть на свете большее унижение, нежели коварство блудливой женщины? Много гонений и тяжких испытаний пришлось ему изведать на своем пути, не однажды находился на грани отчаяния и корчился от боли, будто испил отравы, но никогда так не ныла измытаренная душа, как сейчас.

То были испытания судьбы, когда жизнь мужчины висит на волоске, но всегда есть шанс отстоять свою честь с острым клинком в руке. А теперь оказалась посрамленной честь, и верный клинок тут бессилен. Так зачем всевышний навлек на его голову такой позор? Чем уж он так провинился перед ним? Разве тем, что так усердно оберегал достоинство трона и короны, которыми облагодетельствовал его сам всевышний? Или виноват он в том, что безжалостно карал погрязших в блуде и грехе и с помощью огня и меча водрузил над иноверцами зеленое знамя пророка? Разве не во имя аллаха творил он жестокость? Разве не во имя черной толпы проявлял он твердость духа, поражая своими деяниями ее темное сознание, дабы она всегда помнила о величии аллаха, его сподвижников и о собственном ничтожестве?

Он ведь всю жизнь избегал легких понятий, упрощенных определений, приблизительных, зыбких измерений, столь удобных для ничтожной толпы, для рабов похоти и подлых страстишек. А может, его вина в том, что он всегда стремился думать о том, что не приходило даже на ум других, и делать то, что не под силу остальным. Может, это кощунство? Возможно! Но его высокие порывы и благие намерения никак не могут быть отнесены к низменным прегрешениям, доступным любому презренному ничтожеству. Так ли... Разве и в основе кощунства не лежит корысть и алчность, побуждающие к распутству?

Не только безграничная власть, излишняя жестокость, но и неуместная доброта и щедрость — грех. А отец любого греха — чрезмерное вожделение, родная мать — ненасытная страсть. У тщеславия, сладострастия, властолюбия один и тот же корень. В сущности, отчаянный конокрад мало чем отличается от заурядной грязной шлюхи, чья постель никогда не пустует. Так же, как и упивающийся своей неограниченной властью владыка — от знатной куртизанки, ищущей выгоду в соблазнах своих пышных чресел.

Приходится признать горькую истину: его всемогущество, безраздельная власть, слава и честь так же призрачны, мимолетны и обманчивы, как и румянец на лице смазливой и похотливой бабенки или как добро купчишки-крохобора. Это, конечно, так. Но вот что вызывает недоумение: священный камень каабы, приснившийся ему во сне, не шелохнулся, когда касались его губами отъявленные грешники, на совести которых не одна подлость, а его, Повелителя, верного слугу аллаха, черный камень упорно не допускал к себе. Может, зоркий глаз всевышнего подметил высокомерие и чванливость, укоренившиеся в душе Повелителя? Может, проявление надменности к себе подобным и есть тот грех, который аллах ему не прощает? Значит, в том, что священный камень каабы не подпускает его к себе, скрывается злорадный намек: мол, коли ты, коронованный всемогущий владыка, настолько вознесся и возгордился, что не желаешь признать даже своего зачатия в грехе и рождения от низкородной бабы, как и все двуногие на земле, то зачем пришел в обитель святого духа, где грешникам, осознавшим сердцем и умом свой грех, предоставляется возможность для покаяния?!

В таком случае какое утешение для души находят бывшие всемогущие владыки, сменяющие на старости лет по собственной воле золотой трон на лохмотья бродяги – дerviша? Видимо, они заботятся не столько об отпущении грехов, как обычные смертные, сколько о том, чтобы не стать посмешищем в глазах толпы, когда бывшая, сила оборачивается старческой немощью, а грозные речи жалким лепетом. Ведь, как известно, грехи ничтожного смертного одинаково охотно прощают и те, кто стоит выше, и те, кто находится ниже. Если ты стоишь чуть выше, он припадает к твоим ногам, целует подол твоего чапана и угодливо бормочет: «Слушаю, мой господин!»

Если же вдруг, наказанный судьбой, ты оказываешься ниже его, он непременно проявит тошнотворное милосердие: «Несчастный! Горемыка! До чего он докатился?!» Не дай бог быть с простым смертным на равных. Этого он не простит. И, должно быть, всемогущие владыки, хорошо знающие повадки толпы, чувствуя, что судьба отворачивается от них, поспешно облачаются в рвань дerviша вовсе не потому, что в них вдруг проснулись раскаяние и потребность замолить грехи, а потому, что таким образом надеются спастись от злорадствующего взора. В самом деле, есть, вероятно, только один путь избавления от осуждающего, презирающего, унижающего и злорадствующего взора черной толпы, которой еще никогда и никому не удалось угодить, – отречься от короны и трона, совершить паломничество в святую Мекку, изнурять плоть и дух и с посохом в руке, с котомкой за плечами в бродяжничестве провести остаток бременной жизни. Только тогда злорадство и месть, годами накопившиеся в черной утробе толпы, обернутся неожиданно жалостью, а во взгляде, недобром, подозрительном, мелькнет сострадание. И это означает, что ты стал неприметным беднягой, не вызывающим ни у кого зависти и злорадства. И душа твоя уже не корчится от обиды, унижения, от боли, от того, что какой-то смазливый сопляк осрамил твое достоинство и честь. Да и нет отныне никому дела до того, что творится в твоём сердце и какой чадный огонь опалает твою душу.

Повелитель почувствовал зависть к тем, кто может себе позволить жить незаметной, неприметной жизнью. Сон, который приснился ему на заре, был наверняка знамением судьбы, зовом духа предков. Он вспомнил: нынче но-

чью зародился двенадцатый месяц лунного календаря – зу-л-хиддже – пора ежегодных празднеств в священной Мекке. Повелителю не терпелось скорее встретиться с сеидом, чтобы тот растолковал ему зоровой сон. Надо немедля возвратиться в столицу. Сейчас, как только выберется из буерака, он прикажет кернайщику протрубить отход. Он лишь теперь почувствовал, что больно отлежал бок на корявом камне, и хотел было повернуться на другую сторону, как из густых камышовых зарослей – почти рядом – донесся треск: кто-то двигался, безжалостно сминая камыш и валежник. Повелитель чуть пошевельнулся, и треск в зарослях оборвался мгновенно. Повелитель насторожился, встал. Ему почудилось что-то огромное, полосатое в камышах. В тот же миг оно, уже не таясь, медленно и неумолимо двинулось навстречу. Тигр!.. Подкрадывался упруго, по-кошачьи, пружиня огромное, ловкое тело. Странно, страха не было. Рука даже не потянулась к луку, лежащему рядом.

Промелькнуло: ах, вон оно что означал его предутренний сон! Вот почему, оказывается, священный черный камень увертывался от него! Просто это был знак скорой гибели. То-то же! Не должен же он, Повелитель, избранник и баловень судьбы, умереть заурядной смертью, как все ничтожные людишки на земле. Бог милостив: хану – ханская смерть.

Тигр был близок. Повелитель с тайной радостью и нетерпением ждал свою счастливую смерть, избавляющую его разом от всех душевных мук и глухой, безнадежной тоски. Сейчас... сейчас... вот в следующий миг он, наконец, навсегда, навсегда избавится от удушливой горечи, железным обручем сковавшей ему сердце. И никогда, никогда, нигде уже не будут преследовать его жадные, любопытные, осуждающее, трусливые и одновременно злорадные взоры презренной толпы. И заткнутся песком вонючие рты, охотно извергающие грязные сплетни. А черная толпа, всю жизнь не спускавшая с него глаз, подхватывавшая и распространявшая каждое его слово, начнет складывать легенды, сочинять на разные лады нелепейшие небылицы о его мужественной и мученической смерти и передавать их из уст в уста, из поколения в поколение.

Тигр прижал уши, напряжился, выгнул хребет. «Готовится к прыжку», – мелькнуло в голове Повелителя. Вон

эти когти, острые, как ножи, сейчас вонзятся ему в глотку, а хищно белеющие клыки мгновенно раскроют череп. Крупная дрожь вдруг прокатилась по хребту зверя. Голова тяжело повернулась вправо.

Оказалось, кто-то из нукеров вышел на мысок и, заменив тигра, застыл, как вкопанный. Однако уже через мгновение опомнился и схватился за лук. Повелитель тоже взял лук в руки.

Джигит из свиты увидел, как смерть в облике полосатого хищника метнулась на него, но тут же словно застыла в прыжке и рухнула наземь. Повелитель спокойно и деловито повесил лук на плечо.

Так же неторопливо Повелитель подошел к поверженному зверю. Стрела точно угодила в сердце, и тигр, не успев развернуться в прыжке, судорожно корчился на земле. Повелитель, глядя на предсмертную агонию хищника, вздохнул: то ли подосадовал, что не суждено было осуществиться его жутким грезам, то ли просто пожалел издыхающего в муках царя камышовых зарослей. А потом, должно быть, неожиданно для самого себя едко усмехнулся. Видно, почувствовал Повелитель тайную гордость от того, что раньше своего телохранителя сразил зверя, иначе завтра ротозей-слуга начал бы корчить из себя спасителя своего господина и при каждом случае возвеличивать свои заслуги.

Повелитель вышел из буерака. Коневоды бросились к мысу, полюбовались могучим красавцем, распластавшимся на камыше, и, колгоча, принялись сдирать с него шкуру.

В тот день в долине между гор только и говорили о неожиданном происшествии. О Повелителе, о тигре-людоеде красочно рассказывали охотники друг другу, возвращаясь по неожиданному велению в город. Один Повелитель сурово молчал. Невеселые думы вновь настигли его. В столицу вернулись на другой день к вечеру. И всю ночь в опочивальне ханского дворца не сомкнул глаз Повелитель. Сон, приснившийся там, на привале, и неожиданная встреча с тигром, угрожавшим гибелью еще больше разволновали и без того смятенную душу и сделали его существование еще более сложным, непонятным и тягостным.

Видимо, настала пора твердых решений. Судя по тому, как сам всевышний спас его от неминуемой смерти, от

него ждут решительного поступка даже там, на небесах. Только в чем заключается этот поступок? Где и какое оно, решение? Такое, как приснилось во сне: сменить золотую корону на благочестивую чалму? Как бы там ни было, томиться в опостылевшем ханском дворце становится невмоготу. Необходимо встретиться с сеидом, рассказать ему о сне. Давно уже не виделись. Может, святой старец на него в обиде?..

На следующий день по холодку Повелитель поехал в повозке к сумрачным и голым холмам, тянувшимся к юго-востоку от ханской столицы. Эти места очень напоминали выжженный зноем и ветрами священный край, приснившийся во сне. Склоны сопок казались опаленными. Земля потрескалась, верхний слой почвы обуглился, будто здесь недавно прокатился степной пал. Чудилось, будто пахло горелым. Посреди диковинного нагромождения шершавых валунов и меловых в причудливых трещинах увалов возвышалась на черном, почти недоступном крутояре скала с пещерой, обращенной к кубле стороне, куда поворачиваются лицом правоверные во время молитвы. У входа в пещеру что-то смутно белело. Потом с приближением повозки Повелитель узнал древнего старца в высокой белой чалме. Старец наверняка видел с высоты крутояра пышную ханскую повозку, запряженную цугом, слышал, вероятно, и переливчатый звон серебряных колокольчиков, однако не шелохнулся, продолжал сидеть, скрестив ноги и вперив взгляд в сторону священной обители пророка.

Повозка подкатила к подножию крутояра. Повелитель вышел и, как всегда, оставив здесь свиту, один поднялся на кручу. В какие бы дальние походы ни отправлялся Повелитель, на чью бы страну ни готовил поход, на чей бы трон и корону ни нацеливался, он сначала неизменно приходил сюда, к духовному отцу, святому отшельнику, и поднимался по едва различимой тропинке, вьющейся долго по песчанику, потом круто взбирающейся по глинистому обрыву. Перед решительной схваткой с врагом он должен был прикоснуться к редкой бороденке тщедушного, высохшего старца, получить его благословение. После него он отправлялся по обыкновению в самую большую мечеть своей столицы, чтобы отслужить намаз. Только потом он считал возможным выступить в поход. Но самый опасный, тяжкий и дальний поход не изнурял его тело и

душу так, как этот крутой глинистый склон, по которому пролежала тропинка к святому отшельнику на вершине кручи. Странники, приходившие на поклон к старцу, так утоптали бурый склон, что он, казалось, лоснился на солнце. И раньше, бывало, Повелитель с большим трудом взбирался к пещере в скале, а сегодня ноги подкашивались уже с первых шагов. Оступаясь и скользя, упорно карабкался он вверх, но был вынужден часто останавливаться, чтобы перевести дыхание и унять заколотившееся сердце. Те, что остались у подножия, с недоумением взирали на Повелителя, поражаясь, зачем он обрекает себя на такие муки ради какого-то иссохшего старичишки, которого не стоит труда сдуть с вершины его добровольного заточения.

Крохотный старичок, сгорбившийся у входа в пещеру, между тем, казалось, и не замечал великого Повелителя, который, задыхаясь и обливаясь потом, поднимался к нему. Святой отрешенно смотрел в сторону божественной Мекки. На маленькую голову его была накручена огромная белая чалма. Редкая белая бороденка, точно приклеенная к сморщенному пепельно-серому личику, придавала ему аскетически-суровое выражение. Маленькие блестящие глазки, обычно пыливо и пронизывающе глядевшие из-под насупленных, кустистых бровей, были на этот раз плотно зажмурены. Старик не шелохнулся и тогда, когда Повелитель, взобравшись, наконец, на кручу, откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. Подол ветхого выцветшего чапана на старике был изорван в клочья. Из-под рваных широких штанин высывались голые лиловые ступни. Пятки потрескалась. Руки, иссохшие, землистые, с набрякшими синими жилами, крепко обхватили гладкий, потемневший от времени посох. Сеид был весь во власти дум.

Повелитель опустился перед ним на колени, сложил на груди руки, склонил голову. Только тогда старец, похожий на дремавшего одряхлевшего беркута, приподнял веко, повел зрачком. Потом он, точно очнувшись, выпрямился, поднял голову, старческим, надтреснутым голосом проговорил слова вежливости. Повелитель коротко и откровенно, как на исповеди, поведал ему обо всем. Старец выслушал его не перебивая, не шелохнувшись, с нескрываемым холодком. В уголках тонких, лиловых, дряблых губ под крупным хрящеватым носом с вывернутыми ноз-

дрыми несколько раз едва заметно пробежала язвительная ухмылка. И каждый раз, уловив ее. Повелитель прерывал свой горестный рассказ, и тогда мудрец шире открывал по-старчески мутные, бесцветные глаза, в глубине которых мерцал тусклый свет, похожий на блики луны в стылой лужице. Повелитель рассказал про недавний свой сон и неожиданную встречу с тигром во время охоты и умолк в ожидании ответа святого сеида.

Старец молчал, думал, скашивал пытливый взгляд на Повелителя. После долгой паузы прошамкал:

— Всемогущий создатель, священные духи и святые заступники не выказывают открыто своих желаний. Они лишь сочувствуют, сострадают, сожалеют верным и покорным рабам своим. И намеками наставляют заблудших на путь праведный. И знак их — что посох в руках слепца. Должно быть, сын мой, отпугнул ты духов, прогневил святых заступников. Подумай!..

И больше не проронил ни слова. Раза два ткнул острием посоха в рыхлую супесь, вытянул тонкую морщинистую шею, устремил мутный взор к закату. Намек был ясен: святой старец сказал все, что посчитал нужным, а остальное пусть решает сам Повелитель. Сеид всегда был немногословен и суров, но сегодня от него повеяло еще холодным высокомерием. Это настораживало. Каждый его жест, каждый взгляд больно отзывался в душе Повелителя. Но он старался скрыть душевное смятение, сдержанно поклонился и направился к тропинке. Сеид не поглядел даже вслед. Вновь погрузился в свои думы. И советом не поделился, и благословения не дал. Раньше, случалось, он сочувствовал ему, жалел, по-отцовски проводил ладонью по лбу. На этот раз на лице Сеида он заметил только надменность, неприступность и старческую сварливость.

Спуск по крутому склону показался сегодня трудным, как никогда. Повелитель торопился покинуть эту суровую, сумрачную горную обитель. Дойдя до подножия, он оглянулся и увидел черную мрачную скалу, которая как бы замкнулась, затаилась под его взором. Он сел в повозку и до самого дворца старался ничего вокруг не замечать.

И дома, в ханском дворце, он долго не мог прийти в себя. Непонятное раздражение и досада душили его. У него даже не было сил ходить взад-вперед из угла в угол по просторному пустынному залу. Ноги, натруженные от

подъема на кручу, будто онемели. Сидеть он тоже не мог: толстый пестрый ковер под ногами казался убогим пустырем, усеянным колючками и крапивой. Всю жизнь он придерживался непреложного правила: «Избегай тупика, из которого нет выхода. На всякий случай всегда оставляй лазейку!» А теперь даже оно обернулось кощунством. Он, златокоронный властелин, поработивший тьму народов, оказался в растерянности, точно неверная жена, которую муж застал наедине с любовником, или как вор, пойманный на месте преступления. И нет никого, кто бы мог помочь добрым советом. Даже тоску свою высказать некому. Если всерьез подумать, и у юноши-слепца, доживающего свой куцый собачий век где-то в грязных киш-лаках за городом, и у томящегося в подземелье главного зодчего, и у Младшей Ханши, чья молодость — и краса вянут в ханских покоях, все же более завидная участь. Ведь у них на худой конец есть возможность рассказать кому-то о своем несчастье. Или хотя бы обижаться на кого-то. А кого он, Повелитель, обвинит в своих бедах? На кого ему обижаться? Златокоронный властелин может пожаловаться только на самого создателя. Но разве до него дойдут жалобы? Не то что создатель, даже сморчок-старичок, стерегущий святую пещеру на скале, и тот не желает иметь с ним дело. Сколько надменности было давеча в нем, будто это он своим посохом подпирает небо. Ведь в сущности он даже не удостоил его взглядом. Не дай бог быть кому-то обязанным на этом свете! Нет ничего более унижительного, чем зависимость.

Повелитель понял это еще в юности. Не потому ли с молодых лет он и боролся за власть, не щадя живота? Не потому ли он предпочитал рабской покорности добровольное изгнание? Не потому ли он не однажды оказывался на узкой меже между жизнью и смертью? Да-а, тех лишений и унижений он не забыл до сих пор. И теперь еще, вспоминая порой о них, он чувствует, как ноет старая зарубцевавшаяся рана, как пронизывает все кости тупая памятная боль. Однако, всей душой ненавидя зависимость и рабство, он разве потом, познав власть, пытался проникнуться сочувствием к тем, кто стоял перед ним коленопреклоненным? Кого из робких он поддержал, кого из сырых искрение пожалел? На гордые головы он неизменно обрушивал гнев и ярость; на тех, кто униженно припадал к его ногам, он смотрел с брезгливой жалостью.

Иногда он позволял себе проявление жалости. Но это не было потребностью души, а, подачкой, которую небрежно швыряют калекам и нищим, чтобы только не видеть их гнусное обличье и не слышать смрад и зловоние, исходящие от них. Может, сварливый старец хотел ему просто преподать урок – показать унижительность зависимости? Или намекнул на то, что и все сильного подстережет напасть? Но разве нельзя было это сказать просто и смиренно, без отчуждения и вызывающей надменности? Ведь раньше по какому бы путаному и тяжкому делу не приходил он к нему, старец, не роняя своей благочестивости, вел с ним пространную, задушевную беседу. А теперь обидную, уничижительную ухмылку, которая в последнее время и без того мерещится ему всюду, и откровенное злорадство, пристойное разве лишь кровному, извечному врагу, ему довелось увидеть на лице сеида, издавна считаемого – после, конечно, создателя – самой надежной опорой и верным заступником. Да, да, истинно так: ядовитую усмешку, которую злобная чернь тщательно скрывала от Повелителя, боясь его гнева и кары, этот тщедушный старец и не пытался даже погасить на своих дряблых губах. И сказал-то он ведь совершенно откровенно: «Должно быть, отпугнул ты духов, прогневал святых заступников».

Неужели отпугнул он духов тем, что сделал вид, будто не придает значения сплетням о Младшей Ханше? Неужели духовник считает, что Повелитель скрывает грех сжигаемой похотью бабы? И вместо того, чтобы кинжалом вырезать клеймо блуда на супружеском ложе, он, таясь от всевидящего людского взора, прикрывает его собственной ладонью? Как же, по мнению сеида, он еще должен поступить? Выгнать Младшую Ханшу как неверную жену? Но на такой позор не решался во все времена еще ни один властелин! Как он может всенародно признаться в том, что какой-то низкородный бродяга, пришелец посягнул на ханскую честь? И не только посягнул, а совратил его богоданную жену! Как может святой отец журить его за то, что он неспособен решиться на поступок, достойный самого ничтожного врага?! Ведь в таком случае и слепцу видно, что он наказывает не грешницу-ханшу и не ее дерзкого любовника, а прежде всего самого себя.

Выходит, Сеид печется не об осуждении подлинных грешников, а хочет, чтобы злые языки трепали честное

имя Повелителя? Это же невозможно! Этого может ему пожелать только Старшая Ханша, открыто ненавидящая свою соперницу и ради ее посрамления готовая жертвовать даже честью супруга. Но святой сеид, знавший с малых лет не только Повелителя, но и его отца, не может... да, да... не может и не должен с именем аллаха на устах и священным посохом в руках разделять и одобрять слепую ненависть и злобу долгополой бабы, у которой от ревности помутился рассудок. Какой же он святой, если он не может быть выше низменных страстишек презренной половины человечества?! Конечно, сам сеид оказался в плену сплетен, дошедших до него из дворца Старшей Ханши. Более того, злорадная усмешка, так явно обозначившаяся на его старческих лиловых губах, прилипла к нему от подлых и пронырливых сплетников, которыми кишмя кишит обиталище Старшей Жены. Тайнственная и злая сила сплетни сумела смутить душу святого праведника. Колдовство ползущих слухов оказалось сильнее мудрости и святости живого пророка.

В горькой усмешке искривились губы Повелителя. Он даже почувствовал нечто похожее на снисходительную жалость к святому старцу, которого так ловко опутали прожженные пройдохи и коварные потаскухи. И в самом деле, разве можно обижаться на беспомощного старика, сбитого с толку бесконечными слухами и подлыми дворцовыми интригами? Конечно, старец достоин жалости.

В этом лживом и продажном мире, где на каждом шагу твоей чести и достоинству угрожают позор и унижение, немудрено сбиться с пути истины и свихнуться с ума не только дряхлому старику-отшельнику, но и самому всемогущему творцу, из недоступной дали взирающему равнодушно на презренный человеческий род. Конечно, если сотворить мир сплошь из неумных, необоримых страстей и страстишек, разве можно не предаваться вожделинию и греху?!

Человек рождается от греха. От него же находит свою гибель. Если всякая страсть в конечном счете грех, а грех — неизменный спутник всякого смертного, то и святой отец один из двуногих грешников на земле. Его набожность, отрешенность от всех соблазнов души и тела во имя всевышнего нужны только для того, чтобы возвысить себя в глазах черной толпы. Он действительно от многого на этом свете отрекся и отказался, но все же...

не от всего, нет, нет, не от всего. Тщеславия он все-таки из себя не вытравил. И он отнюдь не прочь сохранять влияние на темный люд. Ему приятно, что его почитают, что припадают к его ногам. Он необычайно гордится тем, что к нему приходит и опускается перед ним на колени сам златокоронный владыка. А разве гордость, кичливость – не та же страсть?! Все неумеренное, преувеличенное – кощунство. А оно неизбежно приводит к греху.

Выходит, святой отец и великий Повелитель грешны в совершенно равной степени. Верно: Повелитель властолюбив, крутоправ. А разве святой отец уступает ему в этом? Разве то, что он проявил высокомерие и надменность к нему, Повелителю, облагодетельствованному самим создателем, не свидетельствует о том, что святой сеид по пояс погряз в кощунстве и грехе? За искусителем Азазелем, как известно, покорно следуют лишь духовные слепцы, одурманенные чадом житейской суеты.

Выходит, святой отец не избежал этой участи, поэтому нет ничего удивительного в том, что он оказался в сетях лжи и подлости, расставленных услужливыми холуями Старшей Ханши. Лишь извечной человеческой греховностью можно объяснить поведение старца, оказавшегося под влиянием жены Повелителя, которая, конечно же, обеспокоена почтенным возрастом грозного супруга, судьбой трона и его наследников. Значит, святой сеид печется о сохранении не только нынешней своей влиятельности, но и об обеспеченном завтрашнем дне. И его легко понять, если исходить из того, что он не столько святой, сколько обыкновенный человек. Но почему он, будучи сам не без греха, так строго осуждает его, Повелителя, за человеческую слабость?

Ведь совершенно определенно говорится об этом в коране: «Человеку необходимо знать: аллах един, нет у него товарищей, не породил он никого и никем не рожден, нет равного ему, он не брал себе ни товарища, ни дитя, и нет у него соправителей в царстве его. Он первый, который извечно был, и он последний, который никогда не избудет. Он властен над всем и ни в чем не нуждается. Пожелает он что-либо, он говорит: «Будь!» – и это станет. Нет божества кроме него, вечно живого; ни сон его не одолевает, ни дремота; он дарует пищу, но сам в ней не нуждается. Он один, пока чувствует себя одиноким, и нет у него друзей. Годы и время не старят его. Да

и как могут они его изменять, когда он сам сотворил и годы, и время, и день, и ночь, и свет, и тьму, небо и землю, и всех родов тварей, что на ней; сушу и воды, и все, что в них, и всякую вещь – живую, мертвую и постоянную. Он единственный в своем роде, и нет при нем ничего, он существует вне пространства, он создал все посредством своей силы. Он создал престол, хотя он ему и не нужен, и он восседает на нем, как пожелает, но не для того, чтобы предаться покою, как существа человеческие. Он правит небом и землею и правит тем, что на них есть, и тем, что живет на суше и в воде, и нет правителя кроме него, и нет иного защитника кроме него. Он содержит людей, делает их больными и исцеляет их, заставляет их умирать и дарует им жизнь. Но слабы его создания – ангелы, и посланники, и пророки, и все прочие твари. Он всемогущ своею силою и всеведущ знанием своим. Вечен он и непостижим».

Значит, это вовсе не в воле Повелителя – добиться полного согласия в мире, который сам создатель сотворил с изъяном. Если сам всевышний, создавая свой огромный мир, наделил каждую тварь разными недостатками и слабостью, дабы ему сподручнее было удерживать их всех в своей власти, то почему возбраняется земным владыкам точно таким же образом держать в узде чернь? Зачем осуждать смертного за то, что он лишь повторяет ошибки творца! И если создатель в душе опасается кое-кого из нечестивцев, которых сам же и расплодил, то почему бы Повелителю не испытывать подозрения к подлому человеческому роду? А может, деяния и отношения всевышнего к единичным избранникам судьбы не распространяются на всех бесчисленных представителей бедного человеческого племени? Может, создатель искренне убежден, что только ему позволительно творить чудеса, проявлять неслыханное великодушие или ниспосылать страшную кару, а всем остальным подобные поступки просто непосильны и недоступны? В таком случае истинная суть таких пугающих понятий, как грех и преступление, всего лишь ревнивое малодушие всемогущего творца, больше всего обеспокоенного тем, чтобы кто-то не дерзнул повторить его дивные деяния или постичь глубины его мудрости. Не для того ли и придуман в священном писании всемирный потоп, как самая страшная угроза человеческому роду, догадавшемуся о немощи

создателя? Ну, а коли сам всевышний так страшится выказывать свою слабость, то почему бы не опасаться этого Повелителю, рожденному, как все смертные, обыкновенной бабой?

Следовательно, предложение святого сеида прежде всего разрушить до основания свидетельство греха – голубой минарет и тем самым всенародно признать свое посрамление – нелепейший вздор, противный не только человеческому естеству, но и божественному духу.

Даже святые заступники, благодетели-хизры, не смогли подсказать Повелителю благую весть. Сон, приснившийся в канун охоты, явился знамением предстоявших мытарств. И то, что священный камень каабы упорно ускользал от него во сне, было не чем иным, как смятением, как отчаянием души в безысходности, в тупике. В самом деле, разве не в силках бессилия бьется его воля? Если бы всемогущий создатель обрушил свою страшную кару на столицу, которой Повелитель всю жизнь дорожил пуще зеницы ока, и одним махом стер бы ее с лица земли. Он бы – видит аллах! – ничуть не расстроился, не огорчился. Более того – обрадовался бы. Ведь тогда он бы избавился от мозолившего глаза голубого минарета. А вместе с презренным людом, точно мухи, подыхающим от мора, навсегда погасла бы и мерзкая сплетня. Конечно, всеобщая гибель захлестнула бы и его, Повелителя, ну и пусть, пусть, пусть. Он бы и себя не пожалел. Вместе с ним погибла бы и гнусная молва о нем. Погибла бы гадкая легенда. Но нет... всемилостивейший создатель, всегда благоволивший к нему и исполнявший все его желания, на этот раз проявил вдруг неслыханную скупость, оставаясь равнодушным к его горячей мольбе.

Он, пожалуй, впервые пожалел о том, что судьба уготовила ему участь быть самым сильным, могущественным владыкой на земле. Ведь разве не прискорбно, что поблизости не оказалось ни одного достойного врага, который дерзнул бы разрушить дотла этот до несуразности огромный город, населенный гнусным сбродом продажных, лживых, злобствующих нечестивцев?! Только кровавая бойня избавит презренную чернь от гнусных помыслов и низменных вожделений, охвативших их грязные души. И пусть эта бойня не угодна сейчас ни богу, ни врагам, он, Повелитель, затеет ее сам. Вонючеустую толпу, которую немислимо перебить в одиночку, он толк-

нет в кровавое побоище и истребит тысячами. Тем, кто останется в живых, будет уже не до сплетен, не до праздной молвы о Повелителе, его Молодой Ханше и дерзком зодчем. За то, что уцелели в кровавой сече, они станут благодарить не бога, а своего Повелителя и падать перед ним ниц лицом в прах и восхвалять его в легендах.

Повелитель приказал немедленно выступить в поход.

6

Великая река осталась позади. Понемногу удалялась и черная толпа на берегу, с нескрываемым любопытством взиравшая на бесчисленное ханское войско. Впереди начиналась пустыня, безлюдная, бескрайняя, пепельно-бурая, удручающе однообразная. Раскаленный ветер пустыни зло и колко бил в лицо. Войско брело, увязая в сыпучем песке. Даже куцую тень всадников выжгло полуденное солнце. Оно, казалось, намеревалось испепелить самих верховых.

Зной становился невыносимым. Упругой, обжигающей волной врывался он в ханскую повозку. Все тяжелее было дышать. Задыхаясь, Повелитель судорожно отодвигал шелковую занавеску, выглядывал из крытой повозки и с досадой откидывался на ковровые подушки. Все та же бурая пустыня простиралась вокруг. Угрюмо-молчаливые дюны, казалось, свинцово плавилась под немилосердными лучами. Кони понуро волочили ноги. Какая-то одинокая птица, спасаясь от зноя, подпрыгивала, трепетала слабыми крылышками в крохотной, с ладонь, тени от повозки.

Щурясь, с жалостью и тоской смотрел Повелитель на малую птицу — единственное, что привлекало взор в нескончаемой пустыне. Как в предсмертной агонии мечется бедняжка. Горлышко ее трепещет. Птица отчаянно цепляется за свою крохотную жизнь, ищет спасения от раскаленного до сизости дыхания пустыни. И нет у нее сейчас другой цели, другого стремления. Она вся во власти зова жизни. И только. Однако сколько в этом смысла! Любой другой порыв, любая другая цель в сравнении с этим — бессмысленны и ничтожны. Должно быть, любая неумеренность рождает зло. Ну, вот... хотя бы этот зной пустыни. Разве он не родился от нежного, ласкающего, как шелк, ветерка? Сначала ветерок дул в утеху усталым путникам, взбадривал их свежестью и стремился очистить мир от пыли и сора, но, постепенно распаляясь, почув-

ствовав силу и упоение властью, он разбушевался, осатанел и поскакал-понесся огненным смерчем, сметая все и вся на своем пути. Вон, будто раскаленный уголь, обжигает коготки и опалает крылышки жалкой птахи, обессиленной в неравной борьбе с настигавшей ее бедой. Не желая видеть предсмертное мучение крохотного существа, Повелитель отвернулся и плотно закрыл глаза.

Опаленной шкуркой съезжилась пустыня под нещадным солнцем. Зной проникал всюду, душил, сковывал, обжигал. Сознание мутилось. Казалось, на крытую повозку навалилась тысяча палачей, а сотня ангелов смерти в испуге увивалась вокруг, возжаждав души Повелителя. Видно, неспроста соскользнул на реке перстень. То был знак надвигающейся смерти... К тому же дурная примета – встретить перед дальней дорогой неприятного для тебя человека.

Молодой слепец неотступно стоял перед глазами Повелителя. Казалось, тот оставил свою двуколку, запряженную ишаком, на берегу реки и каким-то чудом пересел в ханскую повозку прямо перед ним. Лишившись лучистых глаз, он лишился и нежного, доброго выражения на лице. От учтивости и благонамеренности, столь украшающих юношей, не осталось и следа. В черных провалах глаз будто затаилась смерть. Тонкая, жилистая шея несуразно вытянулась, ноздри напряженно раздулись. Страшный лик его вдруг будто выплыл из пустынного марева и стремительно надвинулся на Повелителя. Ни один мускул не дрогнул на изнуренном, словно пеплом покрытом лице. Не страшны слепцу ни сам великий Повелитель, ни его бесчисленное войско. Корявые, узловатые пальцы, точно когти, хищно потянулись к ханскому горлу.

– Не бойся, – раздался хриплый голос, – все равно очутишься под землей.

Глаза Повелителя застыли от ужаса. Что это? Разве не отрезали зодчему язык? Разве еще тогда не выпал он окровавленным кусочком из-под ножа палача на каменный пол? Тогда откуда этот голос? Или... отрубить язык еще не значит сделать человека немым?! В смятении он выкатил безумные глаза на страшный лик слепца и увидел в уголке его бескровных губ ядовитую усмешку. Отдвигаясь, Повелитель всем телом вжался в ковровые подушки сиденья. Он чувствовал, как покидают его остатные силы, как руки-ноги, словно немея, не подчиня-

ются его воле. Страшная немощь сковала его, и под ним разверзлась черная пучина...

Он не помнил, когда очнулся. Медленно открыл глаза. В крытой повозке было все так же нестерпимо душно. Мягкая перина и пуховые подстилки под ним скомкались и только усугубляли его страдания. Он с усилием приподнялся, скосил взгляд на дверцу и никого не увидел. Бритоголовый слепец исчез, точно растаял в знойном мареве пустыни. Повелитель понимал, что сознание мутилось, все вокруг воспринималось как в зыбком тумане и что страшный слепец ему всего-навсего померещился, что все это бред... Да, да, бред бесконечно уставшего, больного человека, почувствовавшего роковой страх. В нем еще тлела свеча здравого рассудка, но сомнения и страх все решительней захватывали все его существо, растекались по всем жилам, и он подспудно понимал, что именно в них заключена его гибель.

Он вновь провалился в забытие. Вокруг от горизонта до горизонта во все стороны растянулась удручающе унылая пустыня. Угрюмые барханы казались испещренными таинственными знаками и причудливой вязью. Он, напрягая зрение, силился разглядеть их, прочесть загадочную надпись. Но рябило, мельтешило в глазах, и мрак суживался, заливал слабеющий рассудок, и все же через некоторое время с большим трудом удалось ему прочесть одну-единственную фразу: «Рано или поздно все равно очутишься под землей!»

Повелитель приоткрыл отяжелевшие веки. Прямо над его головой нависло что-то непомерно огромное, темно-бурое. Он уже неясно представлял себе, где находится сейчас: то ли в своей привычной повозке с позолоченным атласным верхом, то ли в сыром и мрачном подземелье под ханским дворцом.

Перевод Г. Бельгера

ПОВЕСТИ

ПРИЗОВОЙ БЕГУНЕЦ

1

Гнедой без труда узнал старого сеиса¹. А тому даже в голову не пришло, что эта захудалая, искусанная аульными собаками и верблюжатами кляча с выдерганным хвостом и клочковатой гривой и есть бывший призовой бегунец. Сеис гарцевал на серо-пегом, поблескивавшем гладким, бархатистым крупом жеребце-трехлетке; шел он какой-то развязно-грациозной рысью и остановился у белой юрты. Хозяин, опутывая лошадь, по давнишней привычке внимательно осмотрел, ощупал голень, волосяные щетки-лучики у запястья, копыта. В тени, вздрагивая, отчаянно отмахиваясь от мух и оводов, щелкал зубами громадный, черный, с пегими проплешинами пес. Жужжащий рой, вьющийся над старой незажившей раной на тощем ребристом боку пса, мог легко переметнуться на серо-пегого жеребца, и сеис отогнал собаку. А двух мальцов, которые увлеченно, забыв про все на свете, играли в асыки, предостерег: «Смотрите мне, чтоб к лошади – ни-ни: лягается». Потом только переступил порог юрты. Хозяйка в длинном, до пят, жаулыке сразу же взяла пузатый прокопченный чайник и направилась к жерошаку – продолговатой яме с котлом. Теперь сеиса скоро не жди, догадался гнедой. Он снова припал мордой к траве, но своими поредевшими, расшатанными зубами никак не мог ухватить жесткую, прижавшуюся к земле полынь. Гнедой поднял голову, перед его глазами мельтешило что-

¹ Сеис – тренер, воспитывающий скаковых лошадей.

то оранжевое. Он тряхнул головой, овод отстал, но вдруг кожу на крупе будто проткнули раскаленным шилом. Ну и кусачая тварь! Он вздрогнул, куцее ощипанное охвостье беспомощно дернулось в воздухе. Этим овода не испугать. Гнедой, шалея от боли и горечи, взметнулся на дыбы. Только куда поскачешь? Может быть, к краю аула, к запруде, в которую машиной доставляют воду? Но там не подступиться: у колоды плотной стеной бестолково тычутся козлята и ягнята, да и драчливые годовалые верблюжата со всего аула. А могут и бабы огреть чем попало — с досады, что никак не удастся напоить этих несмышленишей. Можно было бы постоять возле фанерной лачуги с двумя-тремя бочками, так нет, тут в тени улегся черный пес.

Сквозь рейки внизу белой юрты на подушке гнедой увидел чисто, до синевы, выбритую голову сеиса. Его вдруг потянуло туда. Чтобы не раздражать людей гулким топотом, он не стал скакать, а засеменял к юрте мелко-мелко, хотя конопляные путы больно врезались в ноги. А серо-пегий жеребец стоял и ронял кругляши. Знакомый запах ударил гнедому в ноздри. Обычно так пахнет помет лошадей, которых кормят пшеном да просом, а поят — молоком. Давно позабыл гнедой этот запах. С того самого дня, когда сеис натянул ему на морду холщовую пропыленную торбу. Он тогда чуть не задохнулся, с непривычки щекотало в горле, кружилась голова. Дотронулся было губами — укололся обо что-то острое, совсем не похожее на мягкое, медово-молочное просо. Тогда он стал мотать головой, стараясь сбросить противную торбу, но тщетно. Он заупрямился, несколько дней совсем не ел. Однако хозяин стоял на своем, торбы не снимал. А теперь он мог только мечтать о ячмене, который щекотно покалывал губы и всегда был смешан с пылью.

Гнедой вприпрыжку приблизился к серо-пегому. Жеребец запрядал ушами, по его круглому упругому крупу прошла дрожь. Он повернулся и тихо заржал. Сеис глянул из-за решеток. Но и теперь не узнал призового бегунца. Зевнул, расстегнул ворот рубахи — проветриться, и опять ноздри гнедого уловили знакомый запах — тот, что однажды пронзил его сознание и врезался навсегда.

... Тогда он еще ничего не знал о жизни. Помнится загремело, загрохотало вокруг. От резкого, неведомого еще ржанья едва не лопнули ушные перепонки. Он от-

крыл глаза. И не понял, кто стоял над ним, — кто-то большущий, с острыми, торчком, ушами. Этот кто-то, заботливо склонившись, приятно облизывал, оглаживал его с головы до ног, а он все лежал, разнеженный и разморенный. Потом глянул вверх и вдруг ощутил озноб. Ему представилось нечто серое, в темных пятнах и разводах. Оно было такое беспредельное, что маленькие глазенки никак не могли его охватить. Он раза два качнулся, порываясь подняться; кто-то схватил и приподнял его за шею. Запахло вокруг чем-то острым, кисловато-терпким. Он укрепился на ножках и пошел, пошатываясь, стараясь поспеть за четвероногими, спешащими куда-то, скачущими по степи, дружно топоча копытами. Догоняя их, он впервые осознал, что и сам относится к их вольному роду-племени. Потом догадался, что та из них, которая все время держалась рядом и нежно заботилась о нем, была его матерью. Скоро он уже безошибочно узнавал ее по выпуклым предплечьям, по сильным, в бугристых мышцах ногам, гулко дробившим землю, по маленькому, с наперсток, белому родимому пятну на левой ноге чуть выше копыта.

Однажды в отсутствие матери он неожиданно постиг, что-то серое и необъятное над ним было небо, и еще он открыл для себя, что оно где-то бесконечно далеко, куда скачи — не доскачешь, и что оно не всегда серое и хмурое, но и ясное, отрадное, как прозрачная вода в озере, когда нестерпимо хочется пить. Понял он, и кому принадлежит тот запах, который поразил его еще тогда, когда он лежал слабый, разморенный, а мать ласково облизывала его теплым, нежным языком.

Он научился не чуждаться этого запаха; напротив, когда, случалось, подолгу не слышал его — особенного, кисловато-терпкого, то, как и другие лошади, потерянно оглядывался по сторонам, прядал ушами настороженно ища кого-то.

Пришла пора, когда он уже не бегал послушно за матерью, а отделялся от табуна вместе с такими же молодыми, игривыми стригунками, что всегда злило старого гривастого красноглазого жеребца. И в этом новом косяке не было того запаха, который стал таким привычным и родным. Они тосковали по нему, искали. Однажды они увидели двух всадников, спускавшихся с недалевого серого бугра. У одного как-то особенно выдавалось пле-

чо. Стригунки и мерины радостно заржали. Но ноздри их не уловили ничего желанного. Один всадник – на плече его висело нечто черное, размером поменьше торбы – потыкал пальцем в направлении каждого, словно прокалывая насквозь, что-то прокричал спутнику и мелкой рысью поехал дальше. Другой же, скособоченный, остался с ними. От этих двух отдавало чем-то неприятным, будто спертым духом от болотистой старицы. К тому же их новый хозяин безо всякой нужды визгливо покрикивал, чего прежний никогда себе не позволял. И чуть что жгуче хлестал по крупу. К счастью, гонял он их недолго. Как-то на пастбище появился человек с белой повязкой на глазу. Он подъехал к табунщику, показал ему маленькую бумажку. Тот, едва глянув, так и просиял. Гнедой по обыкновению держался на отшибе и пасся в стороне на лужайке. Вдруг что-то колючее обвилось вокруг его шеи, захлестнуло горло. Он рванулся, дернулся туда-сюда. Напрасно. Петля сдавила так, что он уже начал хрипеть. Что делать? Это проклятое «что-то» того и гляди перережет горло. А табунщик все ближе и ближе, словно по ступенькам подтягивает к себе чем-то черным и длинным, как змея. Вот уж притянул совсем вплотную. Потом резким движением ловко схватил его за уши и больно скрутил. Гнедой громко заржал. Но тут ему на морду поспешили надеть недоуздок и повели к одноглазому, который все это время стоял в стороне и внимательно наблюдал. Незнакомец одной рукой взял повод, а другой стеганул камчой куцехвостую лошадку. Гнедой вздрогнул всем телом, чалый же привычно дернул куцым хвостом и тронулся с места.

Идя на поводу, гнедой то и дело оборачивался посмотреть на оставшийся позади табун. Испуганные его тревожным ржаньем лошади сбились в тесный круг и, высоко задрав головы, встревоженно глядели ему вслед. Впереди табуна он видел свою мать – приземистую гнедую кобылу. Рванул повод недоуздка и громко тоскливо заржал. Но тут увидел стоявшего у края косяка табунщика с кнутом над головой, сразу же умолк и послушно поплелся за потрухивающим впереди чалым. А куда вел его этот чалый, весь в колючках чертополоха, он не знал. Но что поделаешь, коли на тебя уже накинули недоуздок...

Дорога оказалась неблизкой. Не раз пришлось подниматься по крутогорью. Чалый шел ровной, слегка врас-

качку рысью. Гнедой тоже приспособился к поводу, только неотрывно следил за короткой палочкой в руке верхового с прикрепленной к ней пестрой плетеной веревкой. Но всадник ни разу не коснулся его плеткой. Прямо на пути лежала невысокая черная гора. Гнедой впервые ступал по камням; резкий скрежет и цокот копыт отдавался в голове. С каждым шагом что-то мелкое и твердое больно секло его по брюху в ногам. Он осторожно опирался на еще не окрепшие, податливые копытца, стараясь идти след в след с тяжело поднимавшимся по склону чалым. Пастбище в горах было ровное, хотя и не такое мягкое, как там, в степи. Узкая тропинка нескончаемо тянулась вверх, обвивая горы и хребты. Когда они обогнули крутой утес, сбоку запестрела отара овец. Раньше гнедой встречался с ними только на водопое, где они обычно неуклюже толкались, плотно обступая колоды, и долго пили, цедили тепловатую воду. Маленький пастушонок, увидев их, кинулся навстречу. За ним устремился низкорослый вислоухий конек. Гнедой остановился, уперся всеми четырьмя ножками, тревожно всхрапел. Кожа на спине съежилась, мышцы напряглись. Седок на чалом гневно вскрикнул. Те, кто бежали навстречу, застыли как вкопанные. Одному чалому, видно, до всего этого не было дела: спокойно ступал он ровным шагом по едва заметной, заросшей жесткой почерневшей полынью тропинке. И когда они преодолели еще один перевал, мелькнули наконец две невзрачные, выцветшие на солнце юртчонки.

Возле юрт чалый резко остановился. Стал и гнедой. Одноглазый путник, спрыгнув, привязал его к забитому в землю железному колу с кольцом на верхушке и зашел в юрту. Гнедой испуганно, с удивлением глазел на тонкий и такой хрупкий с виду кол. Потом, напрягая шею, мотнул два раза головой — кол не поддавался. Тогда он крепко уперся четырьмя ногами, натянул изо всех сил повод. И опять никакого толку. Одноглазый не появлялся. Из юрты вышла женщина, повесила на треногу чайник. На него она и не подумала взглянуть и снова исчезла за пологом. Он опять приложил силу, и снова впустую. Заныла шея, круп покрылся испариной. Ничего не осталось делать, как лечь в изнеможении на землю. Освежающая горная прохлада приятно коснулась утомленного потного тела...

Донесся слабый звук шагов. Оказалось — маленький

пастушонок, которого заметил тогда у края отары. Рядом с ним был тот низкорослый четвероногий с вислыми ушами. Гнедой вскочил. Из юрты вышел и его новый хозяин. Гнедой всхрапнул, шарахнулся было, но тот опять властно прикрикнул на него.

Отвязав повод, стал почему-то медленно, вприглядку приближаться. А когда подошел вплотную, больно сжал ему челюсти, открыл пасть и с лязгом сунул меж зубов что-то твердое. Оно обожгло язык и губы. Морду и заушье крепко обтянул ремнями и, схватив за холку, рывком взобрался на спину. Казалось, в тело впились железные когти, готовые вот-вот отодрать шкуру. Ничего не понимая, дичая от испуга, гнедой вздыбился, подался назад. И тут же его сильно пнули под ребра. Он опять взвился. Бока его зажали, словно в тиски, и он заплясал, слясь сбросить седока. На мгновение застыл, чтобы перевести дыхание, но то тяжеленное, что с двух сторон стиснуло ему ребра, заскользило вдруг к брюху. Он снова вскинулся на дыбы. И опять получил резкие удары в бока. Он заржал – тонко, душераздирающе. Пот залил глаза. Еще рванулся, высоко закидывая передние ноги, свечой вздыбился в небо, но тот, сзади, как клещ, присосался к его спине. Тишина горного ущелья огласилась исступленным, оглушительным ржаньем. Однако никто не услышал и не ответил на этот отчаянный зов. Кургузый чалый, стреноженный хозяином неподалеку, даже не оторвал морды от травы. И вдруг сильно, обжигаяще хлестнуло по крупу. Тогда он сорвался с места и понесся наметом, куда глаза глядят. Всадник стиснул ему мягкие, податливые бока железными коленями и застыл, будто слился с ним; теперь он не подгонял его пятками и не хлестал камчой.

Так и проскакал он некоторое время. Потом сбился на рысь, но камча еще раз прошла по его крупу, заставляя стлаться наметом. Он скакал с упрямством, ожесточением, ничего не видя от ярости. Летел вихрем, со злорадством думая, что умчит этого двуногого упрянца, впившегося в его спину, умчит далеко-далеко от аула, от кургузого чалого, от овец, пасшихся врассыпную в горах. Удила раздирали губы, не знавшие ничего, кроме мягкой травы, липкая кровавая пена падала хлопьями. Но он уже не обращал на это внимания. Скакал и скакал – и в гору, и долиной, преодолевал лощины и ручьи. А сильные колени, железным обручем сдавившие бока, все не разжимались.

Нет, не видать земле конца-края, а камни трут бабки, бока ходят тяжело, одолевает одышка. Начал уже сдавать, сбиваться на собачий скок. Сколько же дорог осталось позади? Только в сумерках кое-как доплелся до аула. Ноги переставлял, словно по колени утопал в вязкой глине. Вырываясь, бросаясь на дыбки, натрудил шею; голова отяжелела и невольно клонилась к земле.

Добравшись наконец до места, свалился от усталости. Только глубокой ночью опомнился, пришел в себя и принялся с голоду грызть железный кол: с обеда во рту не было и маковой росинки.

Рассвело, взошло солнце и поднялось уже высоко, а к нему никто не подходил. Воздух накалился, запахло сухой полынью, горячим щебнем. И тогда только появился новый хозяин, потянул за кончик чембура. Он не стал шарахаться, как вчера, не вырывался, а лишь дрожал всем телом и зорко следил за каждым движением хозяина. А тот был на сей раз еще суровее. Поднес к пасти волосатые ручищи, дернул удила, сорвав только начавшую подсыхать пленку на ране у краев губ, и опять закровоточило. Гнедой сгорбился, присел. Болью пронзило все его существо. Грубая кошма тугими колкими остюками впилась в нежную спину, привыкшую только к успокаивающим прикосновениям ветра. Поверх потника легло нечто громоздкое, весомое и гремящее. Он бросал на нового хозяина робкие взгляды и не нашел участливого выражения на его лице. Хозяин встал к нему с левого бока и, держа зубами кончик подпруги, свитой на козьего волоса, с усердием затянул ее. Подпруга свела брюхо и все внутренности в кулак и словно подвязала все это к хребтине. Он стал подтянутым и легким, как гончий пес. Едва коснувшись ногой стремени, хозяин вспорхнул в седло. Пятигранная, из сыромятной тесьмы камча всеми буграми вонзилась в нежную мякоть крупа, и гнедой пустился мелкой рысью.

Словом, как ни противился, ни вставал на дыбы, а покорился-таки двуногому. Он чутко улавливал каждое его движение, легко понимал малейшую дрожь узды. Только к мелкому суетливому ходу овец, упиравшихся мордами в пах друг другу, долго не мог приноровиться; подчас рванется, забывшись, вперед, и те бедняжки тут же окажутся у него под ногами. Сколько раз из-за этого хлестали по морде. Первое время с этими овцами он страшно ус-

тавал, бывало до тошноты кружилась голова. Иные ночи простаивал с путами на ногах, охваченный глубокой дремой. И снилось ему тогда далекое холмистое пастбище, где скакал на воле или пасся врассыпную родной косяк; иногда косяк этот стлался в неукротимом намете, а он среди многих лошадей узнавал приземистую гнедую кобылу – свою мать. Он жадно смотрел вслед табуну, но никто не оборачивался.

Вихрем мчались кони вдоль черного плоскогорья, оставляя за собой белый, как ременная тесьма, след пыли. Вот тугие, гладкие, лоснящиеся крупы исчезли за перевалом, и все погрузилось в белый туман. Он будто бы задыхается от пыли. И жалобно, надрывно ржет вслед удалившемуся табуну... От собственного ржанья просыпается в испуге. Вокруг пустынно. Один кургузый чалый пасется неподалеку. Но он даже головы не поднимает, будто вовсе и не слышал никакого ржанья, и все жуе-жуе свежую травку, словно боится не набить свою ненасытную утробу.

2

Сколько времени пробыл в ауле чабанов, он не помнил. Постепенно привык к мелкой, суетливой походке овец. На бескрайних выпасах редко встретишь какого-нибудь коня; никто тебя не кусает, не лягает, не торопит. Тихая спокойная жизнь. Летом всего вдоволь – и травы, и воды. А зимой тоже: зароешься мордой в скирду возле овчарни да и хрумкаешь день и ночь. Благодать! Однообразное, размеренное бытие оказалось ему по душе. Он дружески сошелся с вечно хмурым, сосредоточенным чабаном с белой повязкой на глазу, и с его рыжим, тощим, беспрестанно тяжело кашляющим помощником, и с хозяевами двух юрт, и с их многочисленными потомками. Даже с двумя собаками, сторожащими отару, – чернопегим псом и длинной рыжей сукой, и с теми успел сдружиться. Когда чабан уходит в ночное, конь до утра свободно пасется себе на воле. Теперь, как кургузый чалый, он научился пребывать в спокойствии, даже если мимо пронесутся косяки лошадей, но зато, как только заметит что-нибудь угрожающее овцам, начинает тревожно ржать, бить копытами, тереться об остов юрты. А вот как мчаться во весь опор, подставив грудь упругому ветру, он давно позабыл. Да и с чего помнить? Разве что

хозяйский мальчишка, постегивая прутиком по крупу, пустит его собачьим скоком. Из-за этого он и недолюбливает мальчика.

Однажды летом чабанский аул перебрался на новое джайляу. Вокруг, куда ни посмотри, — одна лишь бескрайняя степь. И травы густые, обильные. Как-то чабан, напоив отару, возвращался домой чаевничать. Порывистый ветер пригнул росшие поблизости кусты и донес оттуда мутящее душу зловоние. Гнедой запрядал ушами, зафыркал встревоженно, стараясь скорее уйти от этого места. Но хозяин властно повернул его как раз туда, где рос корявый черный боялыч; дотронься — рассечет кожу, будто ножом. Что только не делал гнедой: отворачивал морду, закидывал голову, норовил свернуть в сторону. Чем ближе, тем становилось омерзительнее и сильнее одолевала тошнота. На острых уродливых сучьях боялыча клочками висела овечья шерсть. Хозяин круто повернул к аулу. Сюда, оказалось, приехал невзрачный рыжеволосый всадник с холщовым мешком на плече немного меньше обычной торбы. На привязи стоял длинноногий саврасый конь. Хозяин, едва спешившись, начал говорить о чем-то с приезжим, который торопился навстречу. Говоря, он то и дело показывал в сторону кустов. Рыжий слушал, разинув рот. Потом они вошли в юрту и вскоре вернулись с соилами — березовыми дубинками — в руках. Оба вскочили на коней и быстро поскакали к зарослям боялыча. Только они въехали в кусты, как заметили подкрадывающегося с другой стороны матерого сивого зверя. Он полз на брюхе, намереваясь, видно, затаиться в густых зарослях, но, услышав цокот стремительно приближавшихся коней, не выдержал, выскочил из кустов и припустил по ровной, открытой степи. Саврасый взыграл, встрепенулся. Рыжий малый взмахнул камчой — и конь понесся вскачь. Гнедой же сбился с хода, заплясал на месте. Чабан огрел его плетью. Саврасый вихрем мчался впереди. А там, еще чуть дальше, мелькала среди рослой сочной полыни серая с подпалинами хребтина стремительно удалявшегося хищника. Гнедой, отвыкший от быстрого бега, чувствовал свинцовую, неодолимую тяжесть в теле. Даже цокот копыт, жесткий, как удар железного пестика в ступе, раздражал его и казался непристойным. А саврасый между тем стлался у самого горизонта, казалось, всего в нескольких шагах от сивого зверя.

Путь снова преградил колючий, жесткий кустарник. Ворваться туда саврасый не решился и пошел в обход. Чабан пришпорил гнедого. Но тот и без понуканий теперь старался вовсю. Ветер, который с утра сдерживал, как бы толкал его в грудь, сейчас не мешал, поддувал снизу. В ногах, еще недавно усталых, точно он утопал по брюхо в снегу, появилась пьянящая легкость. Вот и он доскакал до кустов боялыча. Подобно лесу, рос он на широком плоскогорье; один край зарослей дугой вытянулся в сторону.

Проскочит матерый волчище этот перелесок — там, за перевалом, наверняка уйдет от погони. А затаится в кустах — тогда верхом преследовать его станет бесполезно. Саврасый пустился в обход с другого края зарослей. Волк растерялся, пошел на отчаянный риск. Вывернув из кустов, полетел напрямик, пытаясь скорее достигнуть чинков¹, ограничивающих это ровное и гладкое, распростершееся до самого горизонта, выжженное зноем плато. Чинки приближаются все быстрее; сбоку уже показалась цепь высоких кряжистых гор, которые застыли в величественном безмолвии и, белея, издалека манили своей таинственностью взоры. Только на самом быstroногом скакуне можно помешать зверю добраться до этих спасительных для него пределов... Там он неминуемо исчезнет: нырнет в расщелину скалы, юркнет в заросли кустарника на склонах или скроется в какой-нибудь пещере, каких немало зеленеет вдоль всего яра. Саврасый, решивший обогнуть кусты боялыча, остался на отшибе. Чтобы не сдавило легкие не привыкшего к такой скачке коня, чабан не понукал его пятками, а лишь слегка зажал шенкеля. Гнедой еще плотнее прижал уши. И зверь надавал изо всех сил, даже хребтина внутрь вогнулась. Волк, казалось, стрелой летел по земле. И никогда еще, с самого рождения, так не горячился, не погружался в хмельной азарт бешеной скачки гнедой. Заметив усердие распластавшегося в беге волка, он ощутил новый прилив сил. Ветер свистел, завывал под копытами. Теперь гнедой уже ясно видел шерстистую хребтину дикого беглеца. Тот не сбавлял темпа, но боками водил тяжело. Чабан крепко зажал шенкеля. Под ушами гнедого выступил холодный

¹ Чинки — крутые склоны меловых гор.

пот. Вот наконец и край пропасти, а вон и крутые, обрывистые скалы, густо заросшие кустарником.

Хищник рванулся с отчаянием обреченного. Но гнедой чувствовал: теперь ему ни за что не уйти. Он настиг зверя и, казалось, вот-вот раздавит его копытами. Волк затравленно обернулся, оскалил пасть, щелкнул зубами. И тут тяжелая, как чугун, дубина угодила ему в темя. Зверь кубарем отлетел в сторону, перевернулся и застыл, поджав под себя задние лапы. Разгоряченный гнедой проскочил мимо, резко остановился и повернул назад. Чабан, размахнувшись, еще раз с силой опустил соил. Волк дернулся и свалился мертвый. Чабан спрыгнул с седла, вытащил длинный охотничий нож. А гнедой, трепетный, взбудораженный, никак не мог успокоиться, все перебирал ногами, кружась вокруг хозяина, прижавшего коленями волчью тушу. Саврасый остался далеко позади и встретился им, когда хозяин, сняв шкуру и швырнув ее поперек седла, возвращался назад.

Рыжий на волчью шкуру и не глянул — стал с восхищением, во все глаза осматривать гнедого и до самого аула возбужденно тараторил, не умолкая ни на минуту. Даже чабан, всегда сумрачный, немногословный, и тот повеселел. Дома гнедого обступили бабы и ребятишки. Прискакали и соседи из ближних аулов. На другой день у колодца только и пересудов было что о гнедом. Рыжий, навестив чабанские аулы, отправился за ним к водопою и долго толковал о чем-то с хозяином. Уезжая, гладил гнедому морду, пятерней расчесывал гриву. А гнедой после той дьявольской погони несколько дней едва переставлял ноги: ныли все суставы и мышцы — видно, растянул жилы.

Раз под вечер сынишка чабана погнал его к колодцу, потом дал немного поpastись на лугу. Вернувшись, увидел на привязи чужую лошадь. Из юрты вышел хозяин с незнакомцем. Тот первым делом приблизился к нему. Обошел, оглядывая пристально. Пощупал бабки, щетки, голень. Похлопал по губам. От рук его повеяло чем-то близким, почти забытым. Гнедой с удовольствием потянул ноздрями. Узнал! Еще когда он был совсем сосунком и, бывало, от слабости кружилась голова и темнело в глазах, то тянулся к спасительному лону своей матери, и тогда каждый раз, счастливый, вдыхал этот вождеденный, благодатный аромат. Ни у кого так не пахли руки,

как у этого незнакомца. Правда, с материнским запахом все же не сравнить: тот был более сильный, терпкий, он сразу же ударял в ноздри и в голову. Незнакомец что-то сказал чабану и рассмеялся. И голос был известен – хрипловатый, надтреснутый. Кажется, он впервые услышал его еще сосунком; это был первый человек, с которым ему пришлось столкнуться в жизни. Да, именно он, и никто другой, держал его, сосунка, на поводке и все одергивал, потому что тогда ему никак не стоялось спокойно на месте. И первый запах, который проник в его сознание, тоже принадлежал ему.

Вот так он снова очутился у сеиса, готовившего скаковых бегунцов. На другой день спозаранок тот выехал из чабанского аула, ведя гнедого на поводу. Проводить его вышли все здешние обитатели. Видно, грустно было с ним расставаться. В лачуге рядом с юртами осталось старое, потрепанное седло. Обе собаки проводили его далеко за аул. Отстали они лишь у западного перевала. Гнедой то и дело оглядывался. Две маленькие юртчонки, смутно темнели, оставаясь далеко-далеко позади...

3

Юрта сеиса находилась у подножья обрыва, рассекавшего цепь зубчатых гор. Где-то неясно шумела река. Рядом с юртой лежало небольшое пестрое поле. Скотину к нему не подпускали даже близко. Ночью оттуда струились вкусные, духмяные запахи пшеницы, проса, кукурузы. Сеис теперь не ходил с куруком, как прежде. По утрам и после обеда, когда спадала жара, он брал кетмень и отправлялся на поле. За домом стояла на привязи кобыла игреневого масти, подергивал недоуздок такой же рыжий светлогривый жеребенок. Из-за решеток с приподнятой кошмой шел приятный кисловатый запах кобыльего молока.

В первый же день гнедого стреножили и отпустили пастись возле запруды внизу обрыва. С горы с грохотом бежал бурный арык, берега которого были укреплены высоким валом. По обе стороны арыка тянулось густое ароматное разнотравье. Чем не житье: никто не седлает спозаранок и за глупыми овцами не надо плестись. А главное – всего вволю: ешь-пей сколько душе угодно.

Сеис был рыжеват и худощав, ростом невелик, гнедому по гриву. Маленькие серые глазки его постоянно улыба-

лись, а говорил он тихо, степенно, точно каждое слово пробовал сначала на вкус. Походка была неторопливой, движения – мягкими и плавными. И ладони ласковые, хотя иногда целыми днями не выпускал из рук кетменя. Затвердевшие мозоли на руке не царапали, а щекотно гладили шею, круп, спину. Такой заботливый уход был ему вначале непривычен. Особенно после аула чабанов. Там ему натерли седлом спину: рана только-только зарубцевалась, покрылась светлой шерстью. Он вздрагивал, едва лишь приближали к этому месту руку. А вот сеис на нем не ездил. Первым делом поплевал на раны и царапины, растер спину. Потом прикладывал к коже какие-то травы и снадобья, и вскоре все зажило, затянулось. Сеис вообще почти не тревожил: осмотрит, ощупает раза два в день – вот и все. Гнедой совсем отошел, начала лосниться шерсть. Но только он стал жиреть, сеис лишил его луговых трав, отвел в приземистую конюшню, как попало сложенную из дикого камня, и укрыл тяжелой, очень теплой попоной. Несмотря на жару, укутал с головы до ног. Пот с гнедого струился ручьями, заливал ноздри, стекал по ногам. Казалось, тело заживо плавится. Сеис приносил в большой деревянной чашке белой очищенной кукурузы, однако, чтоб не переедал, протягивал ее горсточками на ладони. Потом начал кормить не сырой кукурузой, а слегка поджаренной – нежными белыми, рыхлыми хлопьями. Через несколько дней пот исчез, а кожа сделалась чуть липкой и влажной. Полили его тоже понемногу – свежим молоком, слегка разбавленным тепловатой водицей. Вечерами, посадив мальчишку, сеис уводил гнедого к перевалу. Потом взбирался на вершину холма и наблюдал оттуда, как гнедой, будто преследуемый бесами, скакал взад-вперед во весь опор. Наскакавшись, возвращались домой, а его еще долго водили туда-сюда, и он постепенно остывал.

Теперь ему с тоской думалось о тех днях в чабанском ауле, когда можно было есть и пить сколько хочешь. Стоя под тяжелой попоной, он погружался в дрему. И тогда снились две убогие юртчонки в горах и вьющийся тонкой струйкой дымок над ними. Черно-пегий пес и рыжая сучка радостно бегут ему навстречу. А куцехвостый чалый, не подымая морды, знай себе похрустывает травкой. Но тут гнедой возвращается из забытья и видит перед собой все ту же безотрадную каменную стену...

В один из дней к сеису приехали четверо всадников. Пока на дворе было жарко, они не выходили из юрты. Лишь по вечерней прохладе сели на коней и, окружив гнедого, направились к знакомому перевалу. Потом он опять скакал, а гости вместе с хозяином смотрели с холма. На плоской, как доска, равнине сиротливо стояло невысокое надмогильное сооружение с четырьмя башенками по углам. Вот до него он и должен был проскакать взад-вперед трижды. После того как он сделал это, мальчишка-жокей перевел его на шаг, чтобы дать остыть. Гости горячо переговаривались о чем-то. Особенно шумел, кипятился, то и дело тыча себя кулаком в грудь, рыжий малый на саврасом коне. Теперь все, как по команде, кинулись к гнедому и стали наперебой трепать по холке. Потом — в который раз! — изучающе, придирчиво ощупали голень, щетки, копыта, подгрудок. Один, чуть отступив в сторону, нагнул голову так низко, что слетела шляпа, и принялся осматривать брюхо и пах.

Дня через четыре рыжий малый, растрепанный и взбудораженный, снова прискакал на саврасом. Не слезая с коня, вызвал сеиса из юрты, начал что-то быстро говорить, потом подъехал к гнедому, похлопал его по морде, погладил гриву и, не мешкая, той же дорогой поскакал назад.

На следующий день сеис посадил на него мальчишку-жокея, и они отправились в путь. У подножья пологой горы стояло, ослепительно сверкая окнами, десятка полтора каменных домов. Остановились у здания с красным флагом на крыше, в тени которого собралась громко галдящая толпа. Сеис привязал гнедого к высокому гулкому столбу, при виде коня все повскакивали с мест. Здесь околачивался и рыжий малый. Он подбежал первым и, тыча в него, тараторил без умолку. Какой-то невзрачный старикашка стоял в сторонке и недоверчиво косился на рыжего. Потом с резким хлопком откупорил пузырек с насыбаем, ловко отсыпал на ноготь большого пальца щепотку, поднес попеременно к обеим ноздрям и, как бы выражая этим свое пренебрежение ко всеобщей суете, со смаком, заразительно чихнул. А рыжий от восхищения только всплескивал руками да прицокивал языком.

Вскоре сеис вышел из пестрого, в грязных подтеках дома и повел гнедого к скотному двору на окраине поселка. Здесь его нарядили лучше некуда; круп приятно

щекотала новая, мягкая, даже мягче, чем ладонь сеиса, попона. После обеда человек пять верховых — среди них сеис и рыжий малый — выехали вместе с ним из поселка. Прохожие на улице и зеваки, отдыхающие в тени домов, удивленно пялили на них глаза, качали головами. Даже собаки, разомлевшие от зноя, и те взбудоражились, залаяли вразнобой.

Уже в вечерних сумерках доехали они до красивого ущелья в горах. Вокруг расстилалось зеленое, кое-где перерезанное узкими речушками джайляу. На одном краю ущелья выстроились в ряд белые нарядные юрты. Народу тут было видимо-невидимо и лошадей тоже немало. Какие-то люди выбежали навстречу и отвели гнедого на лужок подальше от юрт. Несколько человек во главе с сеисом не отходили от него всю ночь.

А утром началось... На деревянный помост, покрытый ярко-красной материей, поднялось, возвышаясь над толпой, человек десять. Все, как на подбор, в шляпах. Один из них подошел к краю помоста. Шум в толпе утих. Тот, что выдвинулся вперед, — громадный смуглолицый мужчина в очках, держа в руке кипу бумаг и время от времени перелистывая их, загудел густым басом. У гнедого уже онемели ноги. А смуглолицый все не умолкал. Наконец толпа шелохнулась и начала оглушительно хлопать в ладоши. Он глянул на помост. Смуглолицый оторвался от бумаг, закинул голову и, поблескивая очками, что-то отрывисто выкрикивал. Гнедого невольно охватило волнение, он стал нервно переминаясь на месте. А толпа словно обезумела — дубасит и дубасит ладонями, звон стоит в ушах.

Теперь вышла вперед еще одна шляпа. Так же уткнулась в бумаги, не отрываясь, отбарабанила что-то, и опять толпа взорвалась яростными хлопками. Какая-то женщина с упавшим на плечи платком тоже начала быстро говорить, но вдруг сразу замолкла, должно быть, забыв слова, постояла растерянно, махнула рукой и быстро спустилась с трибуны. В толпе засмеялись. Очкастый, что говорил первым, снова вышел вперед и стал выкликать кого-то. Вызванные торопливо всходили на помост, пожимали очкастому руку. Тот прикалывал им к груди что-то небольшое, с копытце жеребенка, круглое и блестящее, или совал в руки какой-то сверток. После этого они еще раз жали руку и, довольные, с улыбкой до ушей опуска-

лись вниз. От шума и суматохи у гнедого зарябило в глазах и закружилась голова; тогда он повернулся ноздрями к ветру, блаженно потянулся и с облегчением выпустил на утопанную землю златопенную струю...

Собрание наконец-то закончилось. Верховые спешно уселись на коней. Толпа, суетясь и толкаясь, потоком устремилась к равнине перед широким ущельем. Мальчишки наперегонки кинулись к ближайшей каменистой сопке. В одно мгновение здесь уже некуда было воткнуть иглу; сопка сделалась разноцветной от усеявшей ее малышни. Сеис посадил мальчика-жокея на гнедого и подвел его к лошадям, сбившимся в кучку на зеленом пятачке неподалеку от толпы. На всех лошадях красовались такие же легкие и ловкие мальцы; головы их были туго повязаны платками. Рядом с каждым скакуном, держа его под уздцы, стояли старики и что-то нашептывали склонившимся к ним юным наездникам. Сердитый мужчина на белосивом коне, с красной тряпицей на рукаве, прогнал стариков в сторонку, а скакунов отвел к восточной части бугра, где стояли люди с красными флажками. Гнедой растерянно осматривался вокруг. С какой стати собралась здесь эта крикливая толпа? Отчего надрывается тот краснолицый, прильнув ртом к какому-то колпачку величиной с кулак на железной палке? И зачем мальчишка в седле без конца подергивает поводок?

Резко ударили во что-то железное; звон, казалось, пронзил темя. Задевая стремяна гнедого, лошади по обе стороны рванули вперед. Мальчик-жокей ударил в его бока каблуками. Гнедой поскакал вслед за всеми. Конский топот, подобно граду, наполнил окрестности гулом. Огромная людская толпа засвистела, заулюлюкала. Кони, вытягивая шеи, вовсю старались обойти друг друга. И только гнедому хотелось поотстать, чтобы скакать свободно. Голова его разламывалась, точно все эти копыта вокруг дробили не землю, а колотили его по темени. А тут еще мальчишка сильнее зажал шенкеля. Разве плохо здесь, позади? Что ему нужно в окутанной удушливой пылью конской гуще?

Бок о бок шумно, со свистом проносились лошади, однако держались они пока тесной кучкой. А гнедой все еще чувствовал непонятную скованность. Единственное, чего он желал, — чтобы белесое облачко пыли над землей поскорее исчезло. Порывистый ветер швырял из-под ко-

пыт в морду песок, жесткие комки сухой глины. Глаза запорошило, все вокруг казалось серым и мутным. Даже небо, только что голубое-голубое, стало грязным и тусклым, будто вывалянная в пыли попона. Белесое облачко не рассеивалось. Мальчик обеспокоенно заерзал. Может быть, ему неудобен скок? Шенкеля сжались крепче. Вот, черт, все уже сливается в одно. Кажется, снова маячит кто-то с красной тряпичей в руке. Да ведь он только что проскакал мимо такого же! Этот новый с красной тряпичей, когда поравнялись, громко, напрягая жилы, что-то крикнул мальчишке. Тот склонился и мягким-мягким платком вытер гнедому глаза. Теперь другое дело. Стало видно, что тесная куча коней растянулась, сейчас участники байги скакали группками — по двое, по трое. Рассеялось и пыльное облачко, недавно еще похожее на грязный клочок шерсти. За каждой группкой вился белый воздушный шлейф. Воздух стал чище, дышалось свободней. А вот уже и он — этот пестрый, шевелящийся от множества людей холм. Значит, первый круг пройден.

При появлении каждого скакуна толпа с новой силой свистела, металась, вопила. Тот, что намертво вцепился в железную палку с колпачком на конце, сипло кричал, надрываясь. А кто такой на сером коне? Не сеис ли, готовивший его к байге? Да, так и есть. Зачем он выходит из себя из-за каких-то скачек? Почему красные повязки отталкивают его, не пускают в круг? Гнедому хотелось повернуть к сеису, но мальчишка-жокей не позволил. Сеис коротко выкрикнул что-то вслед. В толпе — хохот, свист. Гвалт — невыносимый. Однажды, когда гнедой жил у чабана, его впрягли крутить водяное колесо вместо куцехвостого чалого, который поранил ногу; но и тогда у него так не кружилась голова, как сейчас. Пестрая орущая толпа осталась позади. Эх, порезвиться бы всласть на просторе, как в тот раз, когда гонялся за волком!

Мальчишка держит его с подветренной стороны, сжимает шенкеля, отпускает повод, прося, умоляя тем самым:

«Быстрее! Быстрее!»

Кончился и второй круг. Он стал наконец настигать четверку лошадей и обогнал на краю холма. Справа по-прежнему кипела, бесновалась толпа. Скорее бы миновать этот бестолковый людской муравейник. Прямо впереди мордой в хвост скакали две караковые лошади.

Вихрем подлетел он к ним с подветренной стороны, а те, соперничая между собой, будто и не заметили его. Лишь когда гнедой оторвался от них, обдав облаком пыли, они вперили в него свои налитые кровью глаза. Теперь он скакал один. Дикий вопль сзади донесся приглушенно. Под ушами появилась испарина. Вот-вот выступит по всему телу облегчающий пот. Но снова за клубилась пыль над дорогой. Там мчались сумасшедшим карьером три скакуна. Мальчик опять вытер ему глаза. До той тройки осталось уже немного. Крайняя белой масти лошадь силилась во что бы то ни стало не подпустить его. Но он все-таки ворвался в головную группу. Под ударом упругого, бьющего в грудь ветра прикрыл глаза. Топот вроде бы отдалялся, становился глуше. Гнедой коснулся мордой развевающегося хвоста передней белой лошади. Жокей еще хлестнул его камчой и он надал. Тяжесть в теле быстро исчезла. Он уже не скакал, а плыл по воздуху, легко перебирая ногами. Смотреть по сторонам ему было некогда. Все краски вокруг стирались, и перед глазами пошли цветные полосы. Желтая... Голубая... Темно-коричневая... Пестрая земля стремительно неслась под ноги. Вскоре он уловил взглядом промелькнувшее справа рыжее пятнышко. Возле уха опять прогудело. Кончался третий круг. Мальчик протер его слезившиеся глаза, почесал за ухом. Гнедой увидел: прямо, почти у горизонта двигались две темные точки. Но он не старался непременно нагнать их. Просто наслаждался легким парением, послушностью мускулов своего молодого, упругого тела. Ничего больше не надо, кроме этого бескрайнего раздолья, да ласкового шелкового ветра, да глотков чистого, прозрачного степного воздуха. Не нужно ему ни громких почестей, ни гула взбудораженной толпы. Только оставьте его в покое. Он еще жеребенком любил стремительный бег. Но за время унылой службы в чабанском ауле едва не забыл про эту свою прирожденную страсть, такую же острую и неодолимую, как желание пить, когда жажда, есть, когда голод. Потребность в возбуждающих, горячащих кровь скачках едва совсем не угасла в нем. Ее разбудил тот самый матерый волк, посланный ему судьбой и нашедший из-за него свою погибель. Теперь он чутко поводит ушами и слышит дробный перестук: цок-цок-цок-цок... Что это за звук? То ли цокот копыт, выбивающих гулкую дробь, то ли биение сердца,

выталкивающего кровь во все жилы, — начало начал, благодаря которому он вдыхает с упоением духмяные запахи степного приволья? Не сразу и поймешь...

И мальчишка-жокей, видно, доволен вполне: сидит — не шелохнется. Вот и половина четвертого круга. Дразнящий холм, который до сих пор оставался сбоку, теперь оказался прямо по ходу. Топота сзади не было слышно: верно, далеко оторвался от остальных скакунов. А до тех двух лошадей все еще было не близко. Однако расстояние позволяло уже различить их и даже определить масть: первой шла караковая, второй — посветлее — не то чалая, не то сивая. С холма доносился неясный гул. Караковая сделала рывок — ее соперница отстала на длину крупа. Холм всколыхнулся и взревел. Мальчишки на передних скакунах победно подняли камчи, вихрем пронеслись мимо тех, кто стоял с красными флажками! Гнедой отстал от второго бегунца всего лишь на какие-то полкорпуса. Жокей натянул поводья, но разгоряченные кони, не в силах остановиться, перешли на рысь, на трусцу и только потом — на шаг. Караковая и чалая направились к холму, откуда брали старт. А он все топтался на месте, переминался с ноги на ногу, не решаясь приблизиться к колышущейся стене — орущей, гикающей, свистящей. К нему, торжественно размахивая руками, прискакали рыжий малый и сеис. Подскочив, они схватили его за чембур и повели к холму.

4

Весть о том, что на первой в своей жизни байге он пришел третьим, долетела до аула намного раньше их возвращения. Поднявшись в гору, они увидели, что у конторы столпилось множество людей. Когда же конные приблизились, все высыпали навстречу и жадно разглядывали его блестящими от восхищения глазами. Рыжий малый, подгоняя своего саврасого каблуками, опять выехал вперед. Снял с головы шляпу в мелких квадратных дырках, покрытую дорожной пылью. Размахивая зажатой в ладони камчой, громко и хвастливо затараторил. В толпе разинули рты. Овод в глотку залетит — не заметят. Старик — любитель насыбая, который вчера только недоверчиво фыркал, нынче тоже прислушался, даже пробку из пузырька вытащить не успел. А у гнедого ныла спина, от усталости он переминался с ноги на ногу. Сеис дал

приятелям понять, что пора в путь. Они тут же уехали, а поселковые еще долго глядели ему вслед, будто копыта его были золотыми. Из конторы вышли человек шесть в шляпах и сели на коней. Рыжий малый поскакал по улице в другой конец аула.

Сеис, сопровождаемый верховыми в шляпах, направился домой. Когда подъезжали к одинокой юрте сеиса, на вершине перевала промелькнул и саврасый. Они остановились у коновязи за юртой, спешились, и в это время прискакал рыжий. Он спрыгнул с лошади, осторожно снял с седла мешок, в котором что-то звонко звякало, и передал мальчику-жокею, чтоб он занес в юрту. А там царило необычное оживление. Радостным восклицаниям не было конца. Гнедой остался на привязи среди остальных лошадей. Гости в шляпах громко хохотали. Было слышно, как мешали мутовкой кумыс в бурдюке, из-за приподнятого полога донесся терпкий запах хмельного.

Пузатый почерневший чайник повис на треноге. В юрте гости шелестели плотной бумагой. Мальчик-жокей, не раздевшись, не отдохнув, побежал в гору; распутав ягнят и козлят, полеживавших в холодке, поймал кругленького ягненка раннего окота с уже затвердевшими, шероховатыми рожками и поволок к юрте.

Ягненка быстро разделали и опустили в казан. Черный чайник выпили до дна; дастархан убрали. Из юрты слышалось неясное бормотание домбры. Только тогда гнедого отвязали, сняли седло и, укрыв легкой попоной, отпустили в ближние заросли чия. Там, на месте байги, он два дня стоял на выстойке. Теперь он избавился от суеты и мог в тишине вдоволь полакомиться свежей травкой.

На другом краю чиевых зарослей, у самого входа в ущелье, зафыркала лошадь. Потом слышалось тонкое ржанье игривого жеребенка. Гнедой, пощипывая на ходу травку, направился в сторону журчащего арыка. Услышав знакомые звуки, поскакал быстрее. Игрневая кобыла сеиса паслась в тени под утесом. Заметив его, она обрадовалась и, шурша щебнем и галькой, спустилась ему навстречу. Жеребенок надоедливо тыкался мордой в пах, явно мешал ей, кобыла резко обернулась и недовольно осклабилась. Подойдя к гнедому, прижалась головой к его брюху — согнать овода, застрявшего в челке. Но овод все же успел ужалить ее, и кобыла клацнула зубами, отгоняя назойливую тварь.

С тех пор как гнедого отлучили от табуна, ему не приходилось стоять так близко от лошади. Куцехвостый чалый не подходил никогда. И, живя у сеиса, не водил дружбы ни с кем, а теперь вот — то стоял на привязи, то скакал с мальчишкой-жокеем. Игрeneвую кобылу он видел каждый день, да все недосуг было подойти к ней. По всему было видно, что это была молодая кобылица, недавно ожеребившаяся первенцем; она просто была очень привлекательна и волновала обаяние. Отгоняя оводов, кобылица касалась его своими мягкими, теплыми губами, и от этих прикосновений он слабел, подкашивались ноги; непонятная, неизведанная дрожь пронизывала все его существо. Жеребенок, путавшийся под ногами матери, очень раздражал его, и он, грозно щелкнув зубами, отогнал непутевого.

В последнее время, должно быть, и сеис заметил что-то неладное. Кобылицу стал выпускать подальше, а его старался держать в чиевых зарослях поблизости от юрты. Лишил его прежней воли. Изредка он поднимал голову, вытягивал морду к ветру, надеясь уловить знакомые пьянящие запахи. А сеис, видно, следил за ним и все примечал. Однажды он сел на коня, а его повел на чембуре. Приехали они в аул табунщика, с которым сеис долго говорил о чем-то. К обеду он отправился назад, а гнедого отвели в здешний табун. Лошади, смачно хрумкавшие зеленый тростник — курак, с удивлением уставились на пришельца. Несколько дней он держался особняком, но когда табун мчался на водопой, он подстраивался к нему и непременно выскакивал вперед. И опять земля проносилась, уплывала под ноги разноцветными желтыми, черными, голубыми полосами. А за ним гулко топали кони. И чем сильнее слышен был топот, тем азартнее предавался он бегу, плотнее прижимал уши.

Вскоре табун привык к нему. Сначала вокруг него стали толпиться жеребята, потом подходили и зрелые кобылицы. Тогда на них гневно фыркал издали большеголовый чалый жеребец. Молодняк тотчас отскакивал от гнедого, а степенные, самоуверенные кобылицы не очень-то пугались грозных предостережений табунного вожака. Разъяренный, он мчался к непослушницам. Гнедой, которому раньше не приходилось биться с себе подобными, сразу отступал. Жеребец его не преследовал, только сердито храпел и водворял кобылиц на место. Гнедого одолевала

робость пастушьей лошадки, и он не решался драться с чалым, как подобает истинному жеребцу. Догадавшись об этом, табунщик оставлял его в сторонке с двумя-тремя кобылами. Однако стоило вожаку призывно, зычно заржать, как он сразу же лишался своих подруг.

Дни проходили за днями. Все ему надоело: и дробный перестук копыт, и храп, и фыркание. Он затосковал по уединенной, спокойной жизни мерина. Соскучился по мягким ладоням, так приятно поглаживавшим его бока и гриву. Все чаще мечталось ему о прозрачной воде, душистых травах, о свежем, прохладном ветре в горах. И еще хотелось увидеть игреневую кобылу сеиса. Эх, ходила бы она сейчас рядом, играя тугими мышцами крупа!.. Очнулся он от неожиданного ржанья. Вздрогнув, поднял голову. Табун пасся в сторонке на лугу. Чалый жеребец забрался в густой курак, обильно росший на дне обвалившейся ямы. И он очутился наедине с кобылой-трехлеткой. С хрустом уминая сочный курак, она подходила все ближе. Головы их встретились. Кобыла, делая вид, будто тянется к траве, коснулась его губами. Они у нее тоже были мягкие и теплые. Да и сама она была соблазнительна; круп ее так же лоснился, как у игренивой красавицы сеиса. Гнедой осторожно дотронулся до ее холки. Кобылка показала ему зубы, фыркнула негромко и продолжала пощипывать траву. Он дотянулся до ее шелковистого крупа, да так и застыл, положив на него голову. Тогда кобылка оторвалась от курака и потерлась о его гриву. Но тут же отпрянула в сторону: чалый жеребец больно задел ее зубами и погнался к табуну.

С тех пор из всего табуна он постоянно искал только сивую трехлетку. Она тоже тянулась к нему. Только отвернется чалый – кобылка тут как тут. А табунный вожак, увидев их вместе, ярился по-прежнему. Бывало, жеребцы и лягались, и кусали друг друга, но до серьезной схватки дело не доходило.

Прошло лето. Подкралась ранняя осень. Теперь он уже не слишком робел перед чалым. К сивой кобылке скакал не таясь. Чалый весь кипел от злобы. Наконец взаимная неприязнь столкнула их в открытую. Вожак, оказалось, был стар и дряхл, кобылы в табуне уже не признавали его, вот он и стал без меры подозрительным и вздорным. Днем и ночью он хрипло ржал. Иной раз затевал драку даже с жеребятами и стригунками. А с приходом в косяк

гнедого и вовсе обезумел. Дошло до того, что как-то чуть было не загрыз сивую кобылку, когда она мирно стояла у края колоды с водой. Гнедой услышал отчаянные вопли, не выдержал — кровь кинулась в голову, залила глаза. Грудью растолкав столпившихся у поилки, ринулся к чалому, вцепился ему в холку. Громко клацнул зубами — и почувствовал неприятный сладковато-солоноватый привкус крови. Брезгливо разжал зубы — во рту остался пучок волос. Теперь и чалый схватил его за холку. Гнедой встал на дыбы, сильно лягнул соперника в бок. Тот разжал челюсти, но тут же ловко вывернулся, набросился сзади, пытаясь отгрызть ухо. Гнедой отчаянным рывком задрал голову и резко ударил ею жожака в челюсть. Ошеломленный ударом, старый выпустил ухо. Не смог отгрызть его, однако оно пылало от боли. Но тут раздался зычный окрик табунщика. Он подскочил к ним, размахивая бадьей, но вконец рассвирепевший гнедой сейчас уже ничего не видел, не соображал. Чалого жеребца, которого табунщик бил по крупу тяжелой бадьей, он напоследок еще раз сильно укусил в охвостье. Обычно добродушный и невозмутимый, сейчас он осатанел от боли и ярости, дрожал всем телом и даже не заметил, как подъехали сеис и рыжий малый на саврасом коне. Рыжий, увидев раны на его теле, вдруг вышел из себя, стал визгливо кричать, махать руками и несколько раз показал стоявшему у колодца табунщику кулак. Сеис же сохранял спокойствие. Он даже улыбался, растянув рот до ушей, словно был очень обрадован происшедшим. Гнедой ушел из косяка обиженный и злой. Идя на поводу сеиса, угрожающе глянул на прощание на чалого жеребца.

Сеис после этого два долгих месяца готовил его к скачкам. Два месяца не знали покоя ни он, ни мальчишка-жокей. Один за другим приезжали люди в шляпах из той конторы, интересовались, как идут дела. Сеис выхаживал его не в одиночку, как прежде, а держал в общей конюшне, иногда даже выводил из стойла и отпускал вместе с остальными лошадьми. Теперь его уже не тянуло неодолимо, как раньше, к другим четвероногим, наоборот, стало раздражать, даже оскорблять, когда обыкновенные коняги толпились вокруг. И если, случалось, он приходил с ними в столкновение, сеис не отгонял забияк, не бросался на выручку, а только довольно улыбался маленькими серыми глазками.

Выгоревший лоскут на крыше конторы сияли; на его месте появилось ярко-красное полотнище. Подмалевали, подновили соседние дома. И в селе стало многолюдно. В один из таких суматошных дней в конюшню заглянул рыжий малый. С ним были две женщины. Они вперились в гнедого взглядом и уселись на ворох соломы в углу. Рыжий вытащил из-за пазухи блестящую материю. Женщины начали обшивать ее. Потом рыжий сам укрыл его новой, сверкающей белизной попоной. Важно так походил-доходил вокруг, мысленно прикидывая что-то.

Наутро гнедого вывели на улицу в сопровождении свиты. Держал его на поводу сам рыжий, на голове которого вместо старой плоской шляпы красовалась круглая шапка, отороченная каракулем. Одет он был во все новое. И неизменный черный холщовый мешок не болтался на нем как попало, а аккуратно висел сбоку. Чтобы все видели плетенную из пяти полос сыромятины камчу с блестящим медным кольцом и с яркой кисточкой, он небрежно помахивал ею в воздухе, не касаясь крупа савра-сого.

К вечеру они прибыли в маленький белый городок, неожиданно вынырнувший меж двух гор. Он тоже был принаряжен; на каждом доме алело по флагу. Скачки должны были начаться завтра в полдень. С восточной стороны за городом тянулся крутой яр с тупыми зубцами — след давнишнего горного хребта. А между окраинными домами и крутояром лежала открытая равнина. Когда их привели сюда, на крутояре уже поджидала тьма народу. Понаехало огромное стадо машин, чадивших бензиновым смрадом. Раньше один их вид пугал его еще издалека. А сейчас он, почувствовав зуд, как ни в чем не бывало, с удовольствием потерся мордой о железку стоявшего рядом грузовика. Скаковых лошадей стали выводить на середину. Сеис тоже повел его в круг. На этот раз расстояние между контрольными пунктами увеличилось, и людей на них было намного больше. Заметно прибавилось и скакунов. Бухнул колокол. Он с ходу было выско-чил вперед, но мальчишка-жокей сдерживал его. Бегунцы, шедшие пока что кучкой, как стрелы, со свистом обтекали гнедого.

Осенняя выцветшая степь гулко застонала под копытами. Взметнулась пыль. Чей-то белый бегунец падучей звездой вынесся из бурой завесы. В следующей за ним

кучке скакал и он, недобро косясь на мелькавшие слева и справа голенастые ноги.

Проскочили второй контрольный пункт. Но мальчишка был спокоен и не отпускал повод. Он тоже чересчур не напрягался. Две чуть приотставшие лошади теперь обошли его. Головная горстка бегунцов под гул толпы устремилась к стартовой возвышенности.

Вот и гнедой промчался где-то в середине. Жокей все не подгонял, и он не менял темпа. Еще несколько коней, обдавая пылью, пронеслись мимо. Передние бегунцы оторвались далеко. Чего доброго так и задние вот-вот начнут настигать. Вдруг он услышал под боком какой-то особый цокот. Маленькая рыжая лошадка, суетливо прыгая, обогнала его. Ну и прыть у этой бедняги! И это при ее-то коротеньких ножках! Прыг-скок, прыг-скок, покатился колобок. Смехота, да и только. Он прижал было уши, чтобы обойти рыжуху одним махом, но мальчик крепко держал повод.

Сегодня он чересчур спокоен. Уж не дремлет ли? Эх, припустить бы сейчас!

Снова домчались до места старта. Когда пронесся головной сивый бегунец, окрестность огласилась таким дружным ревом, от которого, казалось, душа уйдет в пятки. Когда же проносились остальные лошади, рев постепенно стихал, превращаясь в разноголосый гул. Жокей не шелохнулся. А он уже не мог сдерживаться. Догнал дерзкую рыжуху, что катилась отчаянными рывками. Но той вовсе не хотелось отставать, она закусила удила и рванулась из последних сил. Но куда ей, неуклюжей коротконожке? Выдыхалась лошадка, запарилась, отстала. Видно, те, кто допустил ее к байге, знали, что приза ей не получить. Но зато – какая честь, коль твоя лошадь участвует в скачках! Да и рыжуха может потом всюду выхваляться, что состязалась на байге. Нет, не догнать ей гнедого.

Головная горстка лошадей тоже растянулась. Он почувствовал едва заметное движение ног жокея и прибавил в беге. Скоро он снова очутился между шедшими почти впритык скакунами. Впереди него осталось бегунцов шесть. За головным сивым ступь в ступь пластался светло-серый конь. Остальные тоже шли бодро, не выказывая усталости. Замкнулся третий круг. Заметив, что светло-серый скакун отстает от сивого всего лишь на полкорпуса, зрители взревели пуще прежнего. Орала все, не щадя гло-

ток, а кое-кто даже рычал. Должно быть, ради такого всеобщего помешательства и гнали, усердно нахлестывая, взмыленных бегунцов эти двуногие крикуны. Дикий гул подействовал на светло-серого воодушевляюще. Бег его стал стремительней, и болельщики на холле, казалось, и вовсе ошалели.

Дистанция скачек была огромная, и многие бегунцы сдали после третьего круга. Некоторые сошли с пути раньше и теперь отрешенно паслись на обочине. Другие еще бежали — просто так, по инерции, вовсе ни на что не надеясь.

Мальчишка начал ерзать в седле. Со старта гнедой распарывал тугой, упругий воздух грудью; теперь ветер завистел где-то между копыт. До этого он мог различить каждый кустик, каждый камешек окрест; теперь все привычно превратилось в одну уносящуюся назад бесконечную полосу. Промелькнул очередной контрольный пункт. Из глаз покатались слезы. Благо мальчишка вовремя смахнул их платком. На расстоянии примерно трех лошадиных корпусов несся саврасый со звездочкой на лбу. Еще дальше — сивый скакун. А перед ними пылил светло-серый.

Гнедого никто не преследовал. Вот он уже догнал саврасого, распластавшегося в намете. Сбоку хлестко бил ветер. Гнедой надал еще...

Пошел шестой круг. Две лошади впереди отделились на большое расстояние. Сивый скакун, долгое время державший первенство, казалось, растянул жилы. Однако, но всему, бегунец этот был многоопытным. Хотя и пропустил светло-серого, виду не подал, скакал ровно, ни разу не сбившись с ног. Вот он вновь вплотную подошел к светло-серому. Их яростное соперничество странным образом придало гнедому прыти. Все вокруг поплыло, как в тумане; орущие, вопящие голоса все усиливались, нарастали.

Пошли по седьмому кругу.

Как ни трудно было, он старался в этом бешеном калейдоскопе не упустить из виду двух лидеров, скакавших сейчас бок о бок. Может быть, чуть-чуть маячил один хвост позади. Теперь поравнялись — голова в голову. А вот сивый рывками выскочил вперед, оставив светло-серого в хвосте. Ветер так сильно толкал в грудь, что гнедого невольно сбивало в сторону. Но расстояние между

ним и теми передними резко сократилось. В глазах помутилось; мальчик опять дотянулся до них платочком. И — о чудо! — тех бегунцов как не бывало.

Один, один летел он, не чуя под собою ног! Только бы оторваться от преследователей! Он ощутил холодную испарину за ушами. Вот уже рядом и холм. Гнедого вдруг обуял страх, словно не лошади гнались за ним, а лютые волки. А двуногие на холме вопили столь неистово — казалось, вот-вот взорвутся от собственного крика. Пулей пронесся он мимо тех, с красными флажками!

Мальчик-жокей отъехал в сторону, чтобы дать ему опомниться и остыть, а обезумевшая толпа хлынула к нему, доставляя немало хлопот людям в синих воротниках и с красными повязками на руке. Верховые мигом окружили его, преграждая путь ошалевшим болельщикам.

Он не знал, чего от него хотят, однако не чувствовал и той робости, какую испытывал прежде. И вся эта шумная фантасмагория не раздражала его; более того — происходящее вроде бы даже было ему по нутру.

Маленькая машина, битком набитая людьми, подскочив, резко затормозила. Мгновенно из нее выскочили люди и бросились к нему. Некто прыткий с узкой щеточкой усиков, держа в руках какую-то черную коробочку с блестящим стеклянным глазком, забегал вокруг и, нацелившись, щелкал то вблизи, то издали. Остальные вцепились в узду и свободной рукой тянулись к маленькому жокею. Тот растерялся, повернулся к толпе, кому-то крикнул. Рыжий малый, держа сеиса за руку, скоком спешил сюда на своем саврасом. Черный холщовый мешок в такт болтавался на шее, шлепал по бедру. Но он ничего не замечал. Те, кто только что приставал к мальчишке, переметнулись к нему, спросили о чем-то, и рыжий весь засиял, так и зашелся от смеха.

Обладатель маленьких усиков оказался тут как тут... подал конец поводка рыжему и стал бесцеремонно отталкивать остальных. Потом сам отступил назад и выставил блестящий глазок на рыжего, держащего за повод призового скакуна. Молодая, коротко остриженная особа поправила болтавшийся на животе рыжего мешок, отодвинула его на бок. Тот, с усиками, щелкнул еще раз. Потом на место рыжего встал сеис. Он был явно взволнован; уши пылали огнем, улыбаясь, оглядывался по сторонам. Мальчишку-жокея попросили слезть. А на скакуна,

тяжело кряхтя, кое-как взгромоздился поддерживаемый четырьмя джигитами дюжий толстобрюхий детина с большими очками-блюдцами на носу. Усики снова услужливо щелкнули. Затем кто-то из мужчин посадил стриженую молодуху. И опять блеснул глазок. Один за другим все, кто приехал на машине, попеременно садились на гнедо-го. И каждый раз щелкала черная коробочка.

Гнедому стало скучно. Переступая с ноги на ногу, он повернулся к сеису, негромко фыркнул. И все эти двуногие – до чего же чудной народ! – разом сникли и поспешно ретировались, словно напроказившие детишки, на которых строго прикрикнул отец.

5

Пожалуй, не было человека, который не радовался бы тому, что он пришел в байге первым. Кто и не видел скачек, и те заворожено любовались им. А радость рыжего вообще не знала предела. Однажды он прилетел к сеису как на крыльях, еще издали крича и размахивая чем-то белым. Спешившись, тут же развернул большую, с потник, пеструю бумагу и, тыча пальцем в черное тавро величиной с копыто стригунка, возбужденно забалаболнил. Глаза сеиса тоже заблестели. Позвал жену из юрты, показал ей бумагу. Потом рыжий выхватил лист, поднес к морде гнедого, но тот, пугаясь шуршащего звука, задраг голову, осторожно потянул ноздрями и подумал, что от бумаги пахло так же, как и от черного ведра с мазутом, висевшего у входа в юрту.

- Отныне, если только в их краях устраивали скачки, первым делом сообщали о том сеису. Все жаждали поглазеть на бег призового бегунца. И всюду его неотступно сопровождал рыжий малый. Казалось, он не доверял даже самому сеису: сам наполнял торбу и давал зерно.

Как-то раз приволок целых два мешка проса. Одному богу известно, где раздобыл: проса в здешних местах отродясь не водилось. Собственноручно толлок его в ступе, очищал от шелухи. И за молоком к пастухам в горы тоже скакал сам. Потом чистое, белое-белое, как бусинки, зерно высыпал в торбу, навешивал ему на морду и только после этого садился в сторонке, вздыхая с облегчением. И пока гнедой не наестся, не отходил ни на шаг. Лицо его сияло, и он побрякивал довольно, будто это не конь, а он сам наслаждался отменной едой. И, кроме сеиса, никого к

гнедому не подпускал. Прогнал даже нескольких человек из соседнего аула, специально приехавших взглянуть на скакуна. Если же приходилось отлучаться на день-другой, то, вернувшись, пускал гнедого рысью — убедиться, что его ноги, копыта в целости и сохранности. И всегда держал в своем холщовом мешке сахар. То и дело протягивал ему на ладони лакомые белые кусочки.

Рыжий малый ревновал его не только к людям, но даже к лошадям. Поехали они раз в город на скачки. На ночь поставили гнедого в сарай. И вот ночью скрипнули ворота и, воровато оглядываясь, вошли внутрь какие-то люди. Он вздрогнул, зафыркал от испуга, а незнакомцы ласково, успокаивающе окликнули его. По голосам он понял, что были они не из приятелей рыжего.

Пришельцы нашарили в темноте засов, откинули его, и ворота широко распахнулись. Ночь была темная, все небо в тучах. Никак было не разглядеть, кого ввели в сарай: что-то огромное, черное. Один из незнакомцев в сердцах прошипел этому черному, и оно двинулось вперед. Двое сразу же осторожно закрыли ворота. Их скрипа никто, должно быть, не услышал. Вокруг стояла тишина. Все застыли у порога, чутко прислушиваясь. Потом подвели к нему это громадное черное близко. Теперь он определял по запаху — лошадь. Уши его встопорщились. Чьи-то мягкие ладони погладили ему морду. Он не понимал смысла всего этого, однако продолжал стоять спокойно.

Лошадь, которую тайком привели к нему, между тем очутилась совсем рядом; он оскалил зубы, готовясь укунить, то лошадь мягко коснулась его ноги. Жеребец или мерин стали бы задираться. А эта вытянула шею, понюхала его холку. Он лизнул ее возле носа. От нее исходил знакомый, желанный, приятно томящий запах. Пришельцы, затаив дыхание, следили за ними.

Он прядал ушами, настороженно всхрапывал, прижимался мордой к гладкому тугому крупу кобылицы. В глазах помутилось, в груди тяжело, гулко заухало. Он почувствовал под собой плотное, ухоженное тело, потянулся было, чтобы вцепиться в холку, но в нетерпении никак не мог удержаться и все соскальзывал с маслянистого упругого крупа. Наконец он поймал холку, крепко вцепился зубами, и кобыла вздрогнула, осела на задние ноги...

Теперь он стоял измученный и поникший. Двое в темноте подошли к нему с двух сторон, нежно похлопали по морде, погладили гриву. Потом торопливо повели кобылу к воротам, оживленно перешептываясь. И вдруг дверь резко, со скрипом отворилась. Послышался суматошный крик рыжего малого. Эти двое, держа кобылу под уздцы, хотели было улизнуть, но пугливое животное уперлось всеми ногами. А в воротах уже столпились рыжий малый, сеис, мальчишка-жокей да еще двое-трое человек из их аула.

Рыжий вытащил из кармана какую-то жужжалку, и яркий, ослепительный пучок света ударил его по глазам. Двое так и застыли, держа пеструю кобылу с обеих сторон под уздцы. Рыжего прямо трясло от ярости. Он извергал поток отборной брани. Те двое смущенно молчали, но, видя, что рыжий никак не угомонится, тоже налегли на глотки.

Разъяренный рыжий схватил стоявшую у порот жердину и набросился на них. Сеис встал между ними. Тогда рыжий несколько раз кряду ударил кобылу жердиной по крупу. Бедная кобылка, заржав, отпрянула в сторону; из ворот выскочили и незадачливые визитеры. Рыжий, грозя им вслед кулаком, так и сыпал проклятиями. А он до сих пор не может понять, отчего так рассвирепел тогда рыжий малый и с какой стати ударил беззащитную кобылу.

После той победной байги гнедой много раз неизменно приходил к финишу первым. И с каждым разом желающих поглазеть на него, погладить его темно-коричневую гриву становилось все больше и больше. От людской ласки и внимания он пребывал в постоянно радостном возбуждении. Крик толпы на стартовом холме ничуть не раздражал, а, напротив, как бы подбадривал его.

В промежутках между скачками его больше тянуло к людям, чем к своим четвероногим сородичам. Окажись рядом лошадь, готов был загрызть ее. Если же мимо проходил человек, он приветливо ржал, словно говоря: «Эй, куда ты? Разве тебе не хочется подойти ко мне, погладить мою гриву?»

Ко всему привык гнедой бегунец. Раза два он выступал на скачках в большом городе, куда его доставляли на барже. Оказалось, там скачут иначе, чем в аулах, — не по ровной безбрежной степи, а по кругу, огороженному за-

бором. Бесчисленное множество зрителей сидят на досках по обе стороны круга. Нечто громадное, железное, блестя большим, как дно чаши, глазом, пощелкивая-потрескивая, следило за каждым его шагом.

Пышнокудрый загорелый джигит, волоча за собой длинный аркан, направился к нему, держа в вытянутой руке что-то черное и длинное, как рукоять камчи. Гнедой занервничал, всхрапнул, и громким эхом откликнулись ему большие ослепительно блестящие на солнце ведра, укрепленные на высоких столбах. Джигит оторвал диковинную железку от его морды, поднес себе ко рту, сказал что-то, и зрители шумно откликнулись, загоготали радостно.

Гнедой бегунец научился понимать каждое движение ног жокея, прислушиваться к малейшей дрожи поводка. Познал он и немало тайн скаковой дорожки. На скачках предпочитал вначале держаться позади, сохраняя силы, пока не узнавал и не взвешивал возможностей своих соперников. При виде опередившего его коня он особенно не волновался, знал, что опасность подстерегала его сзади. Поэтому он напряженно, с тревогой прислушивался к топоту за спиной.

Во время скачек он уже не испытывал такого восторга и наслаждения, как прежде. Теперь он скакал трудно, настороженно озираясь; при этом ломило в висках, стесненно билось сердце. И хотя, первым закончив дистанцию, старался ступать твердо и горделиво, чувствовал неприятную усталость и разбитость. Нет, в нем не было никакой хвори; он был совершенно здоров и аппетит имел отменный; сеис ухаживал за ним с еще большим старанием.

Ему льстили почет и слава, и, окруженный всеобщим вниманием и заботой, он бодрился, но, когда слышался топот скачек, терял уверенность и самообладание, охваченный глухим раздражением и неясной тревогой. Исчезли прежний азарт и увлеченность; теперь он скакал с каким-то упрямством, злостью, вызовом.

Все больше становилось скакунов, преследовавших гнедого, наступавших ему на пятки. Он стал невыносим; любая лошадь приводила его в ярость; дай волю, он готов был растерзать соперников на стартовом холме. Раньше толпа редела от восторга, когда он вырывался вперед и скакал один, теперь она столь же восторженно гудела,

когда его настигали другие. И тогда ему хотелось сойти с круга и наброситься на эту безрассудную, изменчивую, непостоянную в своих привязанностях орду, чтобы затоптать ее копытами.

Последнее время его неотступно преследовал серый в яблоках. Он совершенно неожиданно выныривал на последнем круге откуда-то сбоку. Гнедым овладевала злость, он остервенело закусывал удила. Пока он не давал серому обогнать себя. Но тот неизменно приходил вторым, притом, впритык к самому его хвосту. И половина крикливой оравы, еще вчера плотно обступавшая гнедого, окружала после скачек своего нового любимца.

Этот серый в яблоках в конце концов и добил-таки его. В одном заезде он с самого старта пристроился следом и висел на хвосте до последнего круга, не отставая ни на шаг. Пошли этот последний круг, и гнедой почувствовал, что топот позади убыстрился. Тут он встрепенулся, отчаянно надал. Когда оставалось полкруга, бегунцы поравнялись. Оскалив морды, грызя удила, скакали они рядом, слившись в одну фигуру. Но вскоре серый в яблоках стал неумолимо обгонять, и у самого финиша его круп промелькнул перед мордой гнедого.

Болельщики рекой хлынули к серому. Туда кинулся и тот, с усиками, который раньше все щелкал коробочкой, направив на него глазок. Правда, и гнедого окружили. Но ряды поклонников заметно поредели. И никто уже не кричал восторженно; все смотрели с недоумением, как бы говоря: «И что это с ним случилось?»

Посрамленным и злым вернулся он тогда домой. Ничего, утешал он себя, в следующий раз заставлю серого плестись у меня в хвосте. В том же году на осенних скачках они встретились вновь. И серый в яблоках не только не отстал, но оставил его далеко позади. На этот раз возле гнедого бегунца не оказалось никого, кроме сеиса и мальчишки-жокея. Даже рыжий малый и тот примкнул к плотному кольцу, окружившему победителя, и, встав на цыпочки, вытягивая шею, жадно глазел на него.

Выходит, скаковая дорожка узкая, как адов мост, тропка: нет на ней места двум скакунам, но и свернуть с нее некуда. И еще понял гнедой: любители зрелищ пламенно восторгаются лишь тем, кто приходит первым, лишь одним-единственным, а остальных, будь они хоть золотом осыпаны, и не заметят. Раньше при виде шумного сбори-

ща, душа его ликовала, как весеннее половодье, теперь же, наоборот, ныла, будто незаживающая старая рана.

И в ауле никто не выезжал встречать его. Возле конторы не было живой души, кроме пастушьей лошадки с притороченной увесистой торбой. В тени соседнего домика стоял дряхлый старик в протертых штанах и даже не глядел в сторону конторы, а покрикивал на внука, погнавшегося за верблюжонком, который с ревом бежал в горы вслед за удалявшейся верблюдицей.

В тот день его загнали в конюшню. Вечером сеис повесил ему на морду пыльную заскорузлую торбу. В этой конюшне он и простоял до зимы. А с наступлением холодов приехал рыжий малый, и они опять долго толковали с сеисом. Потом куда-то уехали. Вернулись примерно через неделю. Привели с собой пегого жеребенка, точь-в-точь похожего на того серого в яблоках, и поставили его в стойло рядом. Привязав жеребенка, рыжий малый, ухмыляясь, подошел к гнедому, и он, радостно сопя, по старой привычке потянулся было губами к ладони, по тот поднес к его морде кулак, высунув что-то между двумя пальцами. Решив, что это какая-то сладость, он вцепился зубами, и рыжий вдруг взревел и с яростью хлестнул камчой по правой скуле. Ему почудилось, что вылетел глаз. От дикой боли закружилась голова; зашатавшись, он шмякнулся оземь. Горячая кровь залила морду. Сколько так пролежал, он не знал. Когда очнулся, сеис теплой водицей осторожно промывал его текший, распухший глаз.

6

С тех пор он видит сеиса впервые. И правая сторона для него давно покрыта мраком. Когда какой-нибудь шорох доносится с незрячей стороны, его охватывает страх, будто вот-вот из-за угла набросится волк, и пробирает озноб. С того часа и солнце, и луна за небе, и гладь прозрачного озера у ног кажутся ему половинными; да и земля, которая раньше, сколько ни скачи, всегда казалась безбрежной, теперь сузилась; сузился весь мир вокруг; и поступь его, легкая горделивая поступь бегунца превратилась в собачью трусцу, а жизнь — в жалкое бессмысленное прозябание. С тех пор кто только на нем не ездил! Сначала попал он к полеводу, отгонял скотину от старого заповедного покоса. Месили на нем глину для саманных кирпичей. Возил и почту. Но недавно, проезжая этот

аул, почтальон пересел на попутную машину, бросил его здесь, да так и не вернулся. Должно быть, подыскал другую подводку. Раз во время стрижки он встретился с куцехвостым чалым. Оказалось, ничуть не постарел. Не то что он, отощавший и дряхлый. Чалый весь так и лоснится. Хмурый, молчаливый чабан расстался наконец со своим старым, засаленным, в полосках халатом. Теперь на его груди поблескивала, ослепительно сияя на солнце, подвеска величиной с копытце жеребенка. Видно, поправились его дела, вот он и сам поправился, и за конем своим стал присматривать — чалый был укрыт новенькой белой попоной.

Раскрасневшийся после чая сеис появился в сопровождении нескольких человек. Они подошли к серо-пегому жеребцу-трехлетке, ощупывая его глазами. Серо-пегий, не ведая, чего от него хотят, нервно вздрагивал. Сеис держал его под уздцы и, довольно улыбаясь, посматривал на приятелей, любовавшихся его конем. Гнедой тихо заржал. Сеис круто обернулся. Глядел, глядел и, кажется, узнал. Подошел. Он тоже потянулся ноздрями. Знакомые до каждой мозоли ласковые ладони погладили его лоб, скулы, обгрызанную гриву. То ли сеис сам начал стареть, то ли просто расчувствовался, глядя на его запущенный вид, но, когда рука дотянулась до вывернутого, незрячего глаза, пальцы на ней дрогнули. Милые, незабвенные ладони, по которым он так соскучился. Как тяжело было гнедому расстаться с ними. Но сеис нежно похлопал его по морде и направился к своему серо-пегому. Снял путы, вскочил в седло, еще раз глянул на него на прощанье и уехал. А серо-пегий жеребец-трехлетка был, что ни говори, настоящий красавец. И поступь была грациозна: при каждом шаге тугое, упругое тело мелко-мелко вздрагивало. За аулом он пошел шагом. С восхищением и одновременно с непонятной жалостью глядел гнедой вслед удалявшемуся выхоленному, ухоженному жеребчику. Вскоре серо-пегий исчез за горизонтом. В ушах когда-то знаменитого бегунца глухо стучало, и он не мог сейчас различить, что это было: то ли топот скрывшегося за перевалом молодого призового скакуна, то ли стук его собственного, усталого, одряхлевшего сердца.

АВТОМОБИЛЬ

*Это как выпущенный бес,
знающий свой путь.
Ригведа. Гимн Варуне.
Мы живем впервые...
Ю. Олеша.*

I

Жахан долго не мог понять, какой же бес в тот день нашептал Бледносерому Елемесу, который не только на центральную усадьбу, но и в соседние аулы к чабанам не давал ступить ногой.

Поутру Жахан седлал коня, чтобы съездить на пастбище и посмотреть табуны. Тут из юрты вышел Елемес в накинутом на плечи верблюжьем чекмене. Стоило старшему табунщику сделать пеший шаг, как у него менялась походка – он не шел, а волочился, еле поднимая ноги, словно проболел полгода и только что поднялся с постели. На краях его губ та же привычная многозначительная улыбка. Жахан вначале сильно удивлялся, почему этого светлолицего человека с постоянной застенчивой улыбкой люди называли Бледносерым Елемесом. Лишь потом он понял, что если бы скончался родной отец и тогда бы этот человек не повел даже бровью, а сидел бы с той же неизменной улыбкой. И сейчас он улыбался, выйдя из юрты ни свет ни заря.

Елемес подошел, поправил скрутившийся на коне ремень седельного стремени. Поглядывая на широкие нозд-

ри большеглазого каурого жеребца, обошел его сзади и подошел с другой стороны.

– Не ты ли, Жахан, говорил, что хотелось бы заглянуть в магазин?

– Да, штаны износились...

– Тогда отведи сегодня Шайхату иноходца Тенбилькока.

От неожиданности у Жахана глаза полезли из орбит: «Вот это да!» – Старший табунщик, который по малейшему поводу, бросив табун, исчезал на целые недели, предлагает ему прокатиться на иноходце. А не шутит ли он? Нет вроде, с той же улыбкой глядит на него в ожидании ответа.

Жахан не медля взялся за стремя, за седло.

– Ну ладно. Сначала чайку попей. Идем.

Елемес поправил соскользнувший с плеча чекмень и направился в юрту. Жахан последовал за ним.

Жахан всегда наслаждался чаем Торгын: густым, душистым, с гвоздикой, а в этот раз торопился побыстрее допить пиалу – хотелось скорее уехать, пока Елемес не передумал.

Не дожидаясь пока уберут со стола, встал с места. Он сел на коня. Ездовые лошади, которых держали отдельно от косяков, обычно паслись в богатом травами овраге около аула. Тенбилькок пасся отдельно. Не стал убежать. Даже когда положили на его спину потник стоял не шевелясь.

Тенбилькок – благословенная лошадь. Без седла он кажется незавидным, изнуренным, а стоит накинуть уздечку, как он меняется на глазах, едва стоит на месте, пока не коснешься стремянем. Будто в него вселяются духи тулпаров, камышом затрепещут уши, заколышется грива.

Барекелде! Вот это да! Пока Жахан успел перекинуть ногу через седло, конь уже вспрыгнул, поднялся на дыбы. Разве не за это любит его баскарма колхоза Шайхат!

– Хоть я и выхожу из конторы последним, но от коновязи все равно отъезжаю первым. Когда наш Тенбилькок расправит гриву, вытянет шею и пустится иноходью, другие лошади по сравнению с ним – мальки рядом с щукой, вот он какой! – так пару раз слышал Жахан хвастливые слова Шайхата.

Ох уж эти баскарма... Как они знают себе цену, а!

Оказывается человек, скачущий на Тенбилькоке, чувствует себя пловцом на лодке. Гляди-ка, все кругом кажется мерно вздымающимся бескрайним озером. Сразу и не понять, что кружится перед твоими глазами и, мелькнув, остается позади. Будто весь мир пришел в движение, зашатался и пустился в веселый пляс.

Вот оно что. Вот почему баскарма Шайхат взял привычку залиvisto смеяться и горлопанить. Кто же будет жизнерадостным, как не человек, сидящий на таком коне. Оказывается бывает и так, что ни с того ни с сего душа полнится задором. А ведь до этого скудная степь выглядела взъерошенной, словно скатерть ленивой хозяйки.

Чем больше разогревался Тенбилькок, тем сильнее становился его бег, как у набирающего скорость горного ручья, тем глубже зарывался в свои мысли Жахан.

Ну и забавные же люди. Судачат, что Шайхат важный, гордый. Говорят, что он такой чистюля и морщит нос, брезгливо оглядывая стол и постель дома, где ему случается заночевать. Рассказывают, когда он пришел сватать ясноглазую Торгын, которая и по сей день смотрится весенним цветком, не теряя красоты, ушел из ее дома только потому, что она, видите ли, стряхивала палас с ветреной стороны и нечаянно обдала его пылью. Разве такие перемены не пролетят мимо ушей человека, оседлавшего Тенбилькока! Едет же теперь вот он сам, Жахан, пренебрегая красотой привольной степи, не говоря уж о людях!

Баскарма не позволял другим и близко подойти к своему любимому коню. Лишь Бледносерый Елемес, тайком от постороннего глаза, иногда ездил на Тенбилькоке к родичам своей жены. Кроме них двоих во всей округе среди двуногих теперь только Жахан коснулся шенкелями благородного животного. Шайхат есть Шайхат... Разве председателю доступно то же, что и всякой мелюзге! И Бледносерый Елемес такой тип, что не отстанет от других. Красавица Торгын, по которой сохли многие джигиты, и та в конце концов досталась ему. Богатый, полный всяческого добра дом в ауле тоже принадлежит ему. Что ни говори, простой смертный не коснется шенкелями Тенбилькока. Судя по этому, всещедрый Бог сполна облагоденствовал Шайхата и Елемеса, кажется не обделил своей щедростью и Жахана.

Эх, Тенбилькок, Тенбилькок! Достался бы он ему, Жа-

хану... Тогда, как и Шайхат, он тоже накрыл бы коня льющейся шелком белой попоной. Как начальник почты Нуркен, он тоже напялил бы на голову широченный белый картуз, надел бы ослепительно белый пиджак и белые брюки. И глядел бы на всех свысока, словно он – сливки на молоке. Останавливался бы только в домах, где есть дочери-красавицы возлежал бы на самом почетном месте на перинах, скрестив ноги и считая уйки, подпирающие шанырак – верхний круг юрты. Во рту – дымящаяся папироса, в руках газета, и лениво отвечал бы людям, справляющимся о его житие-бытие, чуть шевеля губами:

– ...Панимайыш...

– ...тойыс...

– ...сылушай...

Если бы ненароком встретился какой-нибудь безмозглый, не понявший его слов, то он сказал бы:

– Тыф, шорту! – и стукнул бы по столу.

Чем больше он так поступал бы, тем больше людей восклицало бы:

«Охо-хо! Этот голоштаный сирота поднялся вон как! Словно большой палец на руке стал. Тьфу, тьфу! Типун нам на язык! Как бы не сглазить ненароком», – сказал бы кто-то.

«Фу-ты ну-ты, ой как брыкается этот ублюдок, не дает даже прикоснуться к себе», – поерничали бы другие.

Первые из них те, которые искренне сочувствуют сиротам, потерявшим отца на войне, матери – в детстве и жившим, чистя кошму родичей. А последние – это завидующие вчерашнему худосочному сироте-горемыке за то, что он тоже оседлал коня и выбился в люди. Бельмо им в глаз, что еще можно о них сказать. Жахан не тот, кто из-за чьих-то пересуд спрыгнет с седла и прогонит коня.

А в чьем бы доме Жахан останавливался чаще? Конечно же, в доме Бледносерого Елемеса. Потому что нет в ауле девушки краше и лучше Жамал! Белолобая. Когда бы ни встретил, всегда добрая. Глаза-смородинки постоянно излучают нежное тепло. Прямой нос, круглое личико, пухленькие губки – точная копия Торгын. Пара толстенных кос до пят. Как засмотришься на ее розовощекий лик и на то, как разливают чай, сердце обожжет жар углей горящих головешек.

В последнее время скакуны аульных модников с длин-

ными волосами почему-то стали часто прихрамывать. Эти молодчики обивают порог табунщика, мнутя, мямля о том, что хотели бы сменить коня. Жестокощетинные уполномоченные тоже часто сворачивают к его дому, якобы интересуясь табуном, еле поворачивая при этом жирные шеи с тройным подбородком и не отрывая косые взгляды от девичьей красы, которая будто тростиночка, плывет по дому, одетая в шелковое платье, шитый бисером камзол и в сапожках на высоких каблуках.

Про себя Жахан ухмыляется над ними: тоже мне женихи, лучше бы подтянули свои необъятные животы как у жеребых кобыл. А когда приезжает начальник почты Нуркен, сам не зная от чего, Жахан съезживается подобно старому сапогу в огне.

Увидев Жахана, тот тоже становится похожим на обожженного кота. Вот уж точно его конь-бедолага всегда натирает спину, всегда измотан. Какая лошадь выдержит болвана, который чуть не каждый божий день как сумасшедший, мчится в девичий аул, высунув язык на целый аршин!

Корча из себя важное лицо, он без зазрения совести восседает на торе, где незадолго до этого возлежали Шайхат и уполномоченные. Во рту у него кончик папиросы, в руках газета. Ни до кого ему нет дела. Никого не замечает. Но стоит войти Жамал, его будто подменяют: он сразу подтягивается, вытягивает шею и рот растягивается до ушей, словно радуется долгожданному гостю. Жамал, сдержанная с другими, смотрит на него с приветливой улыбкой, показывая белоснежные зубки. Станет ли Нуркен после этого замечать кого-либо?

Общаясь с Жаханом, важничает, слова его доносятся невесть откуда – то ли через нос, то ли из желудка. Через каждые два слова вставляет слово «понимайш» и через каждое слово – «знайш». И столько в нем важности, будто он познал и раскрыл все чудеса и тайны мира.

– Шорту, сколько же как тебя? тебе лет? – спросил он однажды, словно огрев Жахана плеткой.

Жахан ответил. Но тогда он не обратил внимания, что скрывалось за этим вопросом. Это он понял лишь потом, при разговоре с сыном «утильщика» Утемаганбета.

Юрта Бледносерого Елемеса – зайдешь в нее не захочешь уходить. Все кереге-стенки ее завешаны дорогими

коврами. Все одеяла сплошь из атласа. Всегда аккуратная осанистая Торгын доит кобылиц и то в шелковом платье. Все это дело рук того «утильщика» Утемаганбета. Глядя на это, Жахан вначале думал, что дорогие и добротные убранства по-русски называются «утиль». Оказалось, что так называют утиль-сырье: кости, щетину, старую кошму.

Утемаганбет приезжает на своей тархтящей телеге, раздает детворе и женщинам всякие зеркальца, гребни, иголки и увозит горы валяющегося возле золы хлама. Никому неведомо, чем бы он мог поживиться у табунщика, юрта которого стояла далеко в стороне от большой дороги, ведущей в райцентр, но каждый раз не ленится заглянуть сюда.

В такие дни они с Бледносерым Елемесом до утра сидят за богатым дастарханом красные, готовые лопнуть от съеденного и выпитого. Сгребает огромными ложками и тут же запихивает в желудок жирный куырдак и громоподобно хохочет Утемаганбет; едва приметно улыбается и молча кивает головой Елемес. Утемаганбет один управляется с содержимым бутылки, стоящей между ними. Елемес не балуется озорной водицей, табаком и картами. Особенно стоит ему увидеть бутылку с горячительной жидкостью, так шапка сама сползает на его глаза. Раньше он говорил, что страдает желудком, а ныне взял привычку чуть что хвататься за сердце.

Всегда приезжавший один, угощавшийся один, лопотавший один и тем облегчавший свою душу, в последний приезд Утемаганбет привез с собой взрослого сына. Сын Утемаганбета, хвастающий, что он живьем влезет в душу любого человека, Уразмаганбет оказался придурковатым мальцом. И поведение, и речи его такие, будто бьют в деревянную ступу.

В юрте еще не успели сесть за дастархан, как толстогубый, смоляно-чернявый парень, устроившись рядом со своим отцом, растянулся во всю длину, подмяв под локоть пуховую подушку, словно имея на нее давнюю злость, и вытянул свои жирные, подобные паре бревен, ноги за спину хозяйской дочери, собравшейся угощать гостей чаем. И так вертелся паренек, и сяк и, не дождавшись конца чаепития, поднялся, встал раньше всех и направил-

ся к выходу, попутно ткнул Жахана в плечо, приглашая с собой.

Оба направились к высохшему руслу реки за аулом.

– Этот табунщик тебе родич? – спросил Уразмаганбет.

– Нет.

– Тогда кто он тебе?

– Названный сын?

Уразмаганбет прыснул от смеха и было похоже, что у него вот-вот треснет сморщенная от смеха переносица.

– Есть ли у тебя родные? – задал он следующий вопрос.

– Нет.

На этот раз толстяк не стал фыркать.

– Как там, много ли сватов к его дочери?

Жахан удивленно посмотрел на парня. Тот щелочками глаз тоже уставился на Жахана.

Жахан промолчал.

– Не доходит до тебя, что ли? – вспылил Уразмаганбет. – Я говорю о таких липких хитрецах, которые ночами трутся об юрту как верблюды, и как только удалится мать, тут же ныряют к девушке в постель.

Жахан передернул плечом и отвернулся. Уразмаганбет оскалил зубы.

– А тебе самому сколько лет?

– Девятнадцатый идет.

Гость насупил густые брови.

Жахан повел плечами и сделал удивленный вид. Уразмаганбет то ли довольный ответом, то ли самим собой, засмеялся, подошел к кусту, отвернулся и встал расставив ноги. Затем, подобно черному ишаку старика Жанака – мастера жарапазана (коляды) из этого аула, откинулся назад и потрясся довольный.

Возвращаясь, он временами поглядывал Жахану в лицо и бессмысленно смеялся. И только тогда Жахан понял в чем дело – Уразмаганбет посчитал, что он ему не соперник. После этого стоило Жахану увидеть Жамал, как он тут же весь покрывался краской.

Оказалось, что и липкий Нуркен, и «тронутый» Уразмаганбет ревновали Жамал к нему.

Первое время воспоминания о том разговоре изрядно мучили Жахана. Затем его начинал разбирать смех. Теперь же стоит ему, возвращаясь от табуна, увидеть Жа-

мал, которая, подобрав под себя подол платья, ставит перед юртой самовар, почему-то все вокруг будто обволакивается туманом.

Жахан представлял себя, одетым во все белое, плывущим иноходью на Тенбилькоке. Вот таким Торгын сама бы встретила его, звеня подвесками в волосах и настезь открывая скрипучую дверь. Бледносерый Елемес, не отрываясь, смотрел бы ему в рот и не находил себе места, опасаясь его немилости. Даже волкодав с торчащими ушами, лежавший обычно у порога, глядя на входящих наливыми кровью глазами, и тот завил бы хвостом и потерялся об его ноги, вымаливая ласкового поглаживания.

А, чего говорить о них, об этих женихах? Все они не стоят одного взгляда Жамал, которая, протягивая ему пиалу с чаем, улыбнется краем губ, как она между прочим делала это и Нуркену. Эх, такая красавица, которую взлелеяли на родительских ладонях, вряд ли обратит внимание на Жахана, с его потресканными губами и шелушащимся лицом.

Питаюсь сухим черным хлебом интерната, что в райцентре, Нуркен все же сумел закончить среднюю школу, но не смог продолжить учебу в большом городе из-за постоянно болевшей матери, которую не с кем было оставить и стал работать начальником межаульной почты.

А теперь Елемес твердит, что самый ученый человек в ауле – Нуркен. По рассказам Елемеса получается, что и начальник аулсовета Батырбек, черкающий каракули, в которых сам черт ногу сломит, тьюкающий по бумаге печатью, и даже Шайхат, бравирующий, хвастающий тем, что на войне был командиром, и в подметки не годятся Нуркену в смысле политической грамотности. Елемес говорит, только этот пацан – начальник почты – может правильно истолковать речь товарища Вышинского, произнесенную в Организации Объединенных Наций. Я про это слышал из уст самого уполномоченного района. Бедняга, даром что сирота без поддержки. – И покачивает головой, цокает языком. То ли он хочет, чтобы дочь вникла в эти отцовские слова.

Только вот после прошлогоднего собрания он что-то прижал язык. Едва приехав с собрания, долго молчал, расстроенным. Потом, отлежавшись на кошме, стал рассказывать:

– Выступал Нуркен. Сильно выступал, но, как говорило потом начальство, совсем не в ту сторону, как говорится – вкось пошел, совсем не туда куда надо. Погорячился парень. Попадет теперь ему, крепко вкатают. А-а, бедный говорун. Не к месту погорячился и сунул в петлю свою бедную голову. Через некоторое время он и вовсе перестал упоминать имя Нуркена.

И Елемес теперь уже хает Нуркена:

– Что остается «пустоголовому» Жахану, глупым верблюдом просидевшему за партой до шестнадцати лет и кое-как одолевшему шесть классов...

До сих пор Жахана разбирает смех при воспоминании о школьных годах. Он сидит на самой последней парте. Его большие руки и ноги не помещаются под ней. Стоит шевельнуться, как тут же латаная-перелатанная, держащаяся на честном слове, она начинает издавать вдовий стон. Опасаясь этого, Жахан старается не шевелиться, сидит, как каменный.

В напряженной этой неподвижности многие слова учителей не доходят до его сознания. Лишь однажды слова нового учителя – неказистого, чернявого паренька, закончившего пединститут в области, старше Жахана всего на один год, привлекли его внимание, пришлось по душе. Назавтра, при проверке домашнего задания, на удивление всего класса, Жахан поднял руку. Учитель кивнул головой, разрешая говорить.

– «Дуб и чилик», – рявкнул Жахан, вскочив с места, и продолжал. – Давным давно жили-были высоченный, достающий до самого неба тополь и чилик, дрожащий и трясущийся от малейшего дуновения ветра и бьющий бесконечные поклоны. И вот однажды великому тополю захотелось поговорить с чиликом: «Что у тебя за жизнь, чилик? Даже если мимо тебя пройдет шелудивый козленок, ты и то задрожешь. Был бы ты таким, как я, который и не заметит, если об меня потрется даже верблюд».

Чилик тоже был настырным и знал себе цену: «Посмотрим на твою силу, когда поднимется ветер», – усмехнувшись ответил он.

И вот из-за моря Каспия, из-под горы Кап поднялась, не приведи Господь, страшная буря. И получилось как во все времена, как всегда сильный в первую очередь бросается на сильного. И в этот раз буря набросилась на то-

поля, вырвала с корнем, приподняла и бросила оземь. А чилик, постоянно бьющий поклоны, спасся благодаря своей давней привычке. Теперь поняли, кто сильнее? – воскликнул Жахан.

Учитель впился глазами в Жахана:

– Кто сочинил эту басню?

– Наверное кто-то из стариков, кто же еще.

Тут уж вместе со всем классом засмеялся и учитель. Только самый первый ученик в школе Косжан сидел молча. Кичась своими успехами, держится надменно. В классе обычно во время уроков не смеется, на переменах не играет, ходит хмурый, неулыбчивый наподобие самого директора.

Учитель обратился к нему:

– Ну-ка, Косжан, расскажи-ка ты.

– Эту басню написал великий русский поэт Иван Андреевич Крылов, – вскочив с места, отчеканил Косжан.

Позднее Жахан нашел в книге портрет этого поэта. Если не считать того, что у него не было бороды и усов, Крылова никак не примешь за юношу. Значит, он Жахан, правильно определил его в старики.

Когда он в тот раз вышел на перемену, злясь на одноклассников за их смех, дежурный сообщил:

– Тебя вызывает директор.

В кабинете директора сидел какой-то невзрачный, съезженный человек. Заговорил он осторожно, протяжно произнося слова.

Жахан в начале не понял, о чем идет речь. Наконец, уяснил, человек приехал за ним, знает, что Жахан сирота, лишившийся отца и матери. Директор и приезжий задавали вопросы, Жахан отвечал.

Прозвенел звонок, а они все сидели. Директор и гость задавали вопросы. Он отвечал. Наконец директор развел руками, словно говоря: «Пускай будет по-вашему. Прощай, Жахан». Незнакомец поднялся. Повел Жахана за собой на улицу. Подошел к коню, привязанному в тени дровяного склада.

Молча посадил Жахана на коня позади себя и только когда отъехали от аула, заговорил:

– Ты, конечно, понял, что сколько бы ни учился, все равно не станешь прапесором?

Жахан кивнул головой. Еще бы не понять!

– В ауле у тебя никого нет. Твой покойный отец – пришлый из-за моря, был другом моего отца. Они познакомились давно на Текинском базаре. И видно крепко подружились. Желая породниться, твой отец назвал меня своим сыном. Твоя бедная мать умерла, пока мы жили на отгоне.

В этом году баскарма не отпустил нас на отгон, оставил здесь, вблизи аула. И как теперь я могу спокойно смотреть на твое бродяжничество и сиротство?

Жахан вновь кивнул. Еще бы не понять...

– Возьму к себе, станешь жить под крылышком. Вырастешь – женю, поставлю отдельный дом, сделаю человеком.

Слова эти пришлись по душе Жахану. С тех пор он в теплом доме, у сытного дастархана. Работа несложная – пасти коней. И нет больше Жахана, которому когда-то так хотелось лучшей доли. Лишь иногда его бесит важность и горделивый взгляд приезжающего Нуркена и ему подобных. Нуркен – это Нуркен. Как говорит Елемес: «За ученой собакой не угонишься». Правда, иногда заявляются на их стан чабаны с ободранными шапками и гоняют его туда-сюда, покрикивают:

– Эй, пацан, слови мне коня!

– Эй, напои коней!

Ох уж этот белый свет, позволяющий одному покрикивать на другого. Раньше он видел лишь у лошадей, как мощные жеребцы, оскалив зубы и, рыча, кидаются на трехлетних собратьев, отгоняя их от своих подруг. Те, в свою очередь, измывались над лошаками с ободранными спинами. Лошаки покусывали кастрированных трех-четырёхлеток, а те с боевым ржанием гонялись за стригунками. Все это всегда злило Жахана.

Теперь он стал замечать подобное и у людей. Хозяин очага, которому досталось от кого-то, придя домой, рычит на жену, та вымещает зло на детях, дети тоже не остаются в долгу и грозят пальцем своим игрушкам и молодняку домашних животных. Куда ни глянешь, повсюду кто-то кого-то обижает, раздает пинки.

Наверное только Жахан пока что не кричит ни на кого. Да и то иногда припустит своего каурого жеребца за непослушной скотиной и догнав, дубасит бедное животное по чем попало.

За этим занятием и застал его однажды Елемес. Он стоял, улыбаясь, и когда Жахан подошел к нему, сказал:

– Эй, Жахан! К чему ты так? Нет двуногого, упустившего свое четвероногому. Лучше не дай провести себя двуногим. – И повел разговор о том, что в соседнем колхозе табунщики в прошлый ливень потеряли лошадей.

В последнее время Жахан обратил внимание на привычку старшего табунщика заводить разговор, который заинтересует, заставит задуматься собеседника, и вдруг безо всякой на то причины заканчивает и резко меняет тему, уходит в другую сторону. Но кое-какие слова он любит повторять часто. Особенно эти: «Ох, уж эти грамотеи!» Задолжает ли государству продавец, снимают ли с должности кого-то, возвысится ли какая-то посредственность – неспособность и беспомощность которого известны и Богу, и людям перво-наперво Елемес обязательно скажет эти свои слова, свой «аминь!».

При этих словах Жахану кажется, что блеск непроницаемого лица Елемеса стирается, постоянно улыбающиеся глаза тухнут. Он посидит некоторое время молча и вдруг проговорит:

– Да ладно, к чему толковать об этом! – и протягивает жене остывшую пиалу.

Судя по всему, Елемес не зря скрипит зубами, восклицая: «Ох уж эти грамотеи!» Но пусть он сам разбирается, зачем ему далась эта самая грамотность. А Жахан понял одно: то, что ему хотелось – в отсутствие Елемеса облачиться во все белое, сесть на Тенбилькока и вскачь пуститься по миру – оказалось пустой фантазией.

...Как только он вспомнил про это, окрестность, переливавшаяся всеми цветами природы, подобно нарядному платью девушки, вмиг потускнела и посерела, как лицо сварливой бабы. Только что тянувшиеся до неба высоченные тополя показались какими-то колючками, вцепившимися зубами в землю.

Он осмотрелся – приближался конец пути. Уже скоро он распрощается с Тенбилькоком.

У подножия черных холмов, похожих на усталый караван верблюдов, в котором усталые животные теснятся друг к другу, в низинке центральная усадьба колхоза, состоящая из неказистых глинобитных домишек, рассыпанных, как просо на широченном дастархане. Там он

распрощается с Тенбилькоком, сядет на коня, освободившегося от шенкелей баскармы, и вернется на свой стан в одинокую юрту табунщика на бескрайней равнине.

«А, вернулся», – скажет, улыбнувшись, Бледносерый Елемес.

А дальше – все по-прежнему...

Вмиг исчез Жахан, одетый во все белоснежное, франт, курящий папиросу, его сменил теперь Жахан на своем кауром жеребчике, в седле, напоминая собой пугало у кошары.

Все так и произошло, как думал Жахан. Баскарма встретил его словами:

– «А, парень, приехал!»

Он потягивал чай на торе – самом почетном месте огромной шестикрылой юрты. Позади него четыре мальчонки, один к одному, и две девочки возились с патефоном.

Крутящаяся пластинка заливалась соловьем. Жахан слышал ее не раз. Одна сторона пластинки воспевала пятилетку, другая – цветущую жизнь молодежи. Этот дом первым купил патефон. Свою покупку, привезенную из района в пестром курджуне, Шайхат показал аульным ребятишкам. Собрал их всех послушать песни. Жахан, тогда он еще учился в школе, был тут же. Взрослые тоже не поленились полюбопытствовать, окружили юрту.

Шайхат до упора крутил ручку патефона, менял иголку, воткнутую в круглую, с детский кулачок, железяку, ставил на крутящийся черный диск пластинки. Надтреснутый голос, похожий на голос матершинника-бахчевода Калия, запевал, кричал во весь голос. Дети разом падали ничком на кошмы, потом заглядывали во все щели патефона, стараясь разыскать скрывающегося внутри певца-старика, но безрезультатно.

Шайхат тогда возлежал на пуховой подушке, покручивая правый ус. Жахан давно заметил, что если баскарма чем-то доволен, то крутит правый ус, если недоволен, крутит левый. Он, блаженно закрыв глаза, упоено слушал песню, и будто готов был замурлыкать.

А было при патефоне всего две пластинки. На одной – мужской голос, на другой – женский. Старший сын баскармы объяснил детворе так: одна сторона пластинки

с женским голосом, на ней песня «Актамак», на второй – «Айголек».

Когда проиграли пластинку с женским голосом, мужчины, стоявшие за юртой, разом загалдели.

– Пах, пах! – воскликнул кто-то, – Как она заливаается, – и повернулся к соседу: – Наверное такая же голосистая, как твоя баба!

– Ну, куда ей до песен, она только мастерица детей проклинать, орать до хрипоты!

Пластинки прокручиваются раз за разом, но люди никак не расходятся, слушают. Четыре песни из тех двух пластинок весь аул выучил наизусть. Даже неподвижный сапожник Есбай, о котором старики шутливо говорили: «Наверное, он не ходит даже в отхожее место», – увлекся песнями, доносившимися с ветреной стороны дома баскармы, постукивая молотком, бубнил под нос мотивы. Заслышав его мурлыканье, готовящая что-то возле очага худосочная старуха бросала неприязненный взгляд на своего маленького с кулачок старика, едва возвышавшегося над сундучком, удивленно качала головой.

– Проходи! Проходи! Садись к чаю! – сказал Шайхат задержавшемуся у порога Жахану.

Опускаясь на колени у края дастархана, Жахан бросил взгляд на тор. Портрет Шайхата, висящий на самом почетном месте, был больше похож на другой портрет, вырезанный из журнала, застекленный и повешенный рядом с фотографией, чем на самого Шайхата, сидящего за дастарханом. На обоих портретах у него густые усы, прямой нос, у обоих тонко очерченные брови, китель с воротником, туго обтягивающий шею: у обоих правая рука засунута под китель, возле сердца.

А Шайхат, сидящий за дастарханом, не собран, не кажется таким значимым, как на портрете и фотографиях – воротник расползся во все стороны, пот катит градом, весь готов растаять на глазах. Густые черные усы тоже растрепаны. Он то и дело вытирается полотенцем, сыто отрыгивая. Мальчонки и шустрые девочки время от времени свешиваются через плечо отца и хватают рассыпанные на дастархане конфеты. Смуглая жена с вздернутой верхней губой хмурится.

– Клим, что на тебя нашло?

– Лазарь, где совесть?

– Серго, зубы испортишь.

– Максим, сколько раз тебе говорить!

А двум девчушкам Куляш и Розе отец подкладывает сам конфеты гладит их по волосам.

После чая Шайхат осмотрел Тенбилькока. Походил вокруг него, сказал Жахану:

– Сегодня оставайся здесь. Вечером будет кино. Поговорим завтра утром.

Жахан опешил. Ему никогда в жизни не приходилось, не положено переспрашивать что-то непонятое. Он молча смотрел вслед чинно уходившему в сторону конторы баскарме. Что же остается, как не смотреть. Для Жахана баскарма Шайхат – сплошная загадка.

«Интересный человек», – думает он.

«Интересный человек», – говорят люди и приторно улыбаются.

Люди – это те, кого он знает – Бледносерый Елемес и его жена. Торгын, съездившая в аул верблюдоводов на праздник в честь новорожденного. Разговарившись она поведала, что, оказывается, Шайхат собирается строить плотину, перегородив черное ущелье.

Елемес усмехнулся.

– Как интересно!

Жамал, как-то побывавшая в колхозном центре, на комсомольском собрании, рассказывала, что, оказывается, Шайхат собирается сеять просо на низменности Бюрли, откуда и привязанная собака обязательно убежит, такая она непригодная. Услышав эту новость, Бледносерый Елемес чуть не поперхнулся чаем.

Однажды Елемес съездил в колхозный центр и вернулся оттуда посмеиваясь. Оказалось, что Шайхат перевез в колхоз старика-корейца, не нашедшего работу в райцентре. Заставил его посадить на улицах деревья и сторожить их. Особенно, похоже, досталось от старика козлятам да ягнятам, считавшим, что вся трава и прочая растительность вокруг предназначена на корм. Но стоило им подойти к деревцам, старик гонялся за ними как собака и дубасил без пощады.

Бабы, которые раньше в таких случаях выскакивали из домов, изрыгая брань, теперь заткнули свои рты. Потому что жилистый старик, скрипящий суставами, им не брат и не сват, чтобы выслушивать их ругань.

Если судить по Елемесу, так любой почин Шайхата не более чем детская игра, а то и пляски дервиша. Жахан же ломает голову, не находя в действиях видного собой Шайхата ни одного из многочисленных недостатков, которые так любит перечислять Елемес.

– Думай, парень, думай... В жизни есть много вещей, о которых ты пока и понятия не имеешь», – словно прочитав мысли Жахана, сказал ему как-то Шайхат.

К Жахану, стоявшему у дверей юрты, обратилась, будь она благословенна, жена Шайхата.

– Табунщик, не наколешь ли ты лучинок для самовара?

Стоило ли просить о таком! Он управился с заданием в миг. Жена баскармы не нашла другой работы.

И пошел он гулять по колдобинам единственной улицы аула. На глаза попалась машина, притулившаяся на сопке за аулом. Он забыл, как только что шел важно, подражая кому-то из взрослых. Не заметил как очутился возле нее.

Ох, драгоценная вещь. В бытность стоило кому-либо из ребят приблизиться к ней, как хозяин-шофер Гинаят щедро, давал щелчки, доставал из кармана твердый, как камень, верблюжий катышек, метко прицеливался и попадал малышу прямо в висок. Тот пускался наутек, поглаживая ушибленное место. А Гинаят, он еще тот тип, исколесивший все уголки большой страны, не говоря уж о Казахстане. Как начнет чесать на русском, ругаться на татарском, узбекском, украинском, все семь колен твоих предков, прочешет, переберет, так весь аул со смеху умирает.

Теперь эта машина, которую Гинаят берег как зеницу ока, стоит без присмотра. Дети исписали ее мелом, исчеркали ножичком, исковыряли гвоздями. Деревянный кузов и кабина машины исписаны в основном ругательными словами.

«Эх, Гинаят, – подумал Жахан, – не будет пути тебе, ушедшему, плюнув на и без того скудное колхозное добро».

Перед его глазами возникла фигура багрово-громадного детины, обычно петушившегося по поводу всего. Его лицо всегда было покрыто прыщиками и вымазано машинным маслом. А вообще-то был он мужик на все руки: махнет рукой, позовет к себе и нарисует твоё лицо на примятой коробке от «Беломора», не забывая изобра-

зять оттопыренные уши и вздернутый нос. Ухватит листок бумаги, тут же примется черкать на нем извивающуюся змею, скачущую лошадь, пароход, пускающий дым, голых-полуголых женщин с вьющимися волосами. Иногда нарисует красавицу и сидит, не сводя с нее глаз, словно сам влюбился в нее.

Стенки заброшенного туалета за конторой пестрят от его остроносых, скалящих зубы, щетинистоусых гитлеров, труменов, чан кай-ши, ли сын-манов.

Увидев его художества, некоторые произносят: «Нет ничего, чего не мог бы сделать этот Гинаят!» Другие машут рукой: «Ей, чего взять с этого придурка!»

Но вот настоящим шайтаном он делался, когда речь заходила о машине. Знал ее всю, мог собрать и разобрать своими руками. Приезжая из района, еще за пять-шесть километров давал протяжные сигналы. Услышав, стар и млад аула выскакивали на улицу. Не сбрасывая скорости, Гинаят взлетал на сопку. Шайхата высаживал там, а не у его дома, зато поутру не мучил себя, крутя заводную ручку, спускал машину с сопки и все. Люди, имевшие отношение к машинам, говорили, что в наших местах нет шоферов равных Гинаяту, что перед ним все пасуют и в знании машины и в мастерстве управления. А если кто попытается обогнать его, быстро остается за ним, глотает дорожную пыль.

И кого бояться Гинаяту? Сам его хозяин – председатель колхоза Шайхат разговаривает с ним вежливо, осторожно. В отдаленном районе найти кандидата на должность председателя колхоза запросто, а вот найти шофера на единственную машину, на которую они молились, дело нелегкое.

Шайхат с трудом уговорил Гинаята, работавшего в экспедиции геологов, остаться в колхозе, и вот теперь, не проработав и года, дал деру. А какой был парень! Бывало, чуть освободится от работы, усядется с гармошкой на подножку машины и давай наигрывать то русские, то татарские, то узбекские песни. При этом все прыщи на его лице сглаживаются и оно сияет. Потом топнет ногой, встряхнет никогда не знавшими расчески маслянистыми волосами, вскочит с места. Замотает головой.

– Эх, разве тут жизнь?!

В один из таких моментов он и бросил:

– В этом ауле нет танцев, скучно. – И на следующий день уехал.

И остался Шайхат без шофера, лежал, накручивая левый ус.

На сопке осталась машина на потеху аульным ребятишкам.

Мысли Жахана прервал шум мотора.

Он вздрогнул и огляделся. Солнце уже садилось. Вдали, перед сельским клубом тарахтел маленький моторчик. Дети, толкаясь и споря друг с другом, втаскивали в клуб железные ящики, привезенные на мотоцикле киномехаником.

...Поутру Шайхат повел Жахана в контору. Усевшись за широким столом, накрытым зеленым сукном, он уставился на Жахана, придирчиво оглядел его с ног до головы, словно они не шли сюда вместе и будто только теперь увидели друг друга.

Жахан сидел, готовый к тому, что земля вдруг развернется под ним.

– Как дела, сынок?

Наконец суровый взгляд баскармы потеплел, он спросил:

– Ты сколько классов закончил?

– Пять...

В висках Жахана стучало так, будто к ним приложили горячую сковородку.

– Ничего, – махнул рукой Шайхат, поднялся с места, стал ходить взад-вперед, скрипя хромовыми сапогами, которые не снимал даже летом. Подошел к Жахану. Постоял. Положил руку на плечо.

– Как смотришь, если пошлем учиться?

Сковородки, снова прилипли к вискам Жахана. Горели уши. В горле пересохло. Капли пота на груди катились под ситцевой рубашкой. Он молчал, не зная, что сказать, пораженный предложением.

Шайхат ответил на свой вопрос сам:

– Школу ты перерос. А на курсах будешь учиться со сверстниками. Только мямлей не надо быть. Джигит должен быть твердым и острым, как шашка кавалериста.

Теперь уже Жахану казалось, что его рубашка сшита не из ситца, а из добела раскаленного железа и оно обжигало все тело.

– Будь я на твоём месте техника плясала бы передо мной и я ходил бы на пароходах на Волго-Доне, или по Тахия-Ташу мотался. – Почему именно там, Жахану было неизвестно. – Но меня возраст не пускает, – продолжал баскарма. – Теперь было бы хорошо, если бы молодежь взялась за дело.

Хотя они и сидели вдвоем в кабинете, Шайхат взмахивал рукой, словно выступал перед народом. Затем пошел на своё место. Его голос стал стихать.

Упершись кулаками о стол, он проговорил:

– Вон единственная машина, кивнул он в сторону сопки, стоит грудой железа. И она не сдвинется с места, пока у нас не будет нашего колхозного шофера, механика. Так вот, в районе открыли курсы по подготовке шоферов, и мы решили послать на них тебя.

Уши Жахана заалели подобно двум красным флажкам и Шайхат, заметив это, принял за проявление радости.

– Тогда собирайся. На машине киномеханика отправишься в райцентр.

II

Глухая степь. С севера дует ветер, жалящий, как железо, мокрую руку в морозный день. Один единешенек. Лежит на спине. Спина заледенела и как бы он ни хотел, не может встать. Не знает, что с ним случилось. Может быть упал с лошади. Но, похоже, ничего не сломано, не вывихнуто, а тело свинцово-тяжелое.

Что-то теплое гладит его по лбу. Что же это? Может быть, родной каурый жеребец нашел его, звеня уздечкой, и теперь нюхал, вода теплыми губами по лбу. Или... Но такого быть не может. Она никогда настолько не приближалась к нему, не то что по лбу гладить... Лишь иногда издали посылала улыбку. А сейчас... Вроде бы подошла к нему, гладит по лбу, даже как шепчет что-то на ухо. А он молчит и не шелохнется. Даже глаза не открывает. Если откроет глаза, если шевельнется, если скажет что-то, то отпугнет и потеряется это сладостное мгновение, которое он испытывал от прикосновений материнских рук.

Один бок начал было леденеть. Та же заботливая рука закутала его. И на самом деле рядом кто-то. Неужели все это не сон, а явь?

Он насмелился, сначала открыл один глаз. И не поверил увиденному. Глянул обоими глазами.

У кровати, на которой он лежит, стоял бледный человек глядевший на него. Он кивнул головой и слегка нажал рукой на его грудь, не давая двинуться. Теплая ладонь, которая гладила его по лбу принадлежала... да... да... преподавателю Естемесову. Как всегда он бледен, как белый камень, как всегда его единственный глаз смотрит, проникая в самую душу. Тонкие, как лезвие ножа, губы, жесткие волосы, твердые и колючие, как у ежа, торчат иглами.

Постояв, Естемесов ничего не сказал, поправил одеяло и вышел спокойным шагом.

Жахан огляделся вокруг. Двадцать коек, как одна. Двадцать подушек, заполненных соломой. Неизвестно, какого цвета были в свое время изношенные из-за множества стирок двадцать одеял. Пониже подушек на одеялах лежат сложенные треугольником полотенца. На двадцать первой койке лежит он сам.

Картина, которую он видит каждый день. Но где остальные? Как объяснить, что он лежит, когда все встали и ушли? Почему Естемесов, который обычно за малейшее опоздание «убивал» колючим взглядом, сейчас гладил его по лбу? Разве при появлении Естемесова все парни, обучающиеся на шофера, не вытягивались в струнку? Даже курсант Султан, не признающий ни бога, ни черта, перед ним делался тише воды, ниже травы, мягче теста.

Естемесов никогда не повышает голоса, не оскорбляет. Молча приходит и поднимает правую руку. Это приказ построиться. Ребята вмиг выстраиваются, как ласточки на проводе. Естемесов отдает приказы, словно вбивает гвозди, весомо и твердо. Он заставляет курсантов бегать, прыгать, ползать, повторять упражнения, снова и снова заставляет бегать, прыгать, ползать. Пока не почувствуешь ломоты во всех частях тела, не даст ни минуты отдыха. Затем, словно ничего и не было, ведет курсантов к скелету машины, стоящему посередине зала, где гуляет пронзительный ветер, и начинает урок.

Несмотря на то, что перед ним двадцать два казаха, говорит он только по-русски. Только ядовитые колкости, по поводу чьей-то несуразной выходки, произносит четко по-казахски.

Жахану, который в жизни не видел ни одного живого

русского, кроме киномеханика «Колки», постоянно вступающего в спор с аульными стариками по части заповедей Корана, разобраться в том, что рассказывает Естемесов, трудно. С холодного лица преподавателя дует пронизывающий морозный северный ветер, когда он начинает говорить по-русски.

Однажды на вопрос Естемесова «знаешь?», он брякнул «не ызнайш», и тем самым на месяц превратился в объект усмешек проныры Султана.

Жахан уяснил: язык казаха, красноречивый и бойкий в отношении скота, шерсти, травы, имеющий по сорок наименований на каждый предмет, начинает заикаться, когда речь заходит, например, о железе. Будь хоть одно название по-казахски у этой проклятой железяки, кроме «темир!». Остальное все на русском, каком-то английском, немецком, латинском... Хочешь произнести название, а язык начинает заплетаться, словно к нему прилипла жаба. Хоть бы раз Естемесов сказал: «Раз не можешь выговорить, не говори». Жахан понимает, пока не подойдешь к слову поближе, оно сереет и не открывает свой смысл.

– Карбюратор, – говорит Естемесов.

– Керберетор, – повторяет Жахан.

Ехидные курсанты начинают при этом издавать писклявые звуки, еле сдерживая смех, как будто в них вселились мыши. Естемесов молчит, словно воды в рот набрал.

Жахан беспомощно оглядывается вокруг. Курсанты сжигают его насмешливыми взглядами, будто сами родились уже все познав еще в материнской утробе. Ждут, чтобы он опять сморозил по-русски что-то, корявое. Готовятся похохотать. Лишь проныра Султан сидит молча. Льстивый шельмец следит за настроением преподавателя. Стоит ему спросить: «Ну, кто скажет?» – как этот проныра тут же выставит свой указательный палец, похожий на куцый хвост шелудивой козы. Готов скользить языком, как лыжами по снегу.

Жахан так и варился в горячем котле уязвленной чести, умоляя все семь колен предков, чтобы они поддержали его в учебе, защитили от насмешек ребят. Но как же предки могли напомнить Жахану то, чего они сами не знали. Бедная головушка Жахана распухла до размера казана. Султан иногда помогает в изучении русского, пе-

реводит кое-что, но за это обжора требует его долю капустного супа. Пусть, пусть забирает, лишь бы помогал.

«Карборатор», – слово-то какое, не то что выговорить, во рту не помещается.

Ломая голову над ним, Жахан представляет бородатых старцев, выдумавших его. Наверное эта штука «карборатор» нужна зимой, когда дорогу заносит снегом – сообщает он: – Ведь «кар» – это «снег», «бора-тар» – по-русски значит «метет», «метет снег». Раз метет снег, его надо смести!

Он уже не замечает, что говорит вслух. Курсанты замерли. А потом вдруг захлебнулись хохотом. Черти, так трясутся от смеха, как колдующие бахсы. Естемесов махнул рукой и отвернулся. Проныра Султан улыбается, словно ничего не случилось. Поднял подбородок к небу и стоит, как сытый кот...

Жахан круто разворачивается и с размаха бьет Султана в подбородок. Падая, он крутанулся и грохнулся на пол.

Жахан рванулся из класса к двери.

– Стой!..

От командного голоса Естемесова пятки Жахана будто прилипли к полу. Но в груди кипела злость. Он твердо зашагал к выходу. Хлопнул дверь. Выбежавшие за ним несколько человек, увидев, как он идет в сторону общежития, вернулись обратно.

В общежитии он забрал свою маленькую холщовую торбочку, висевшую у изголовья. Не зная куда идти, рванулся к горным кряжам, возвышавшимся в двух шагах от райцентра. Шел, не зная куда. Как быть? Вернуться обратно и стать на колени перед этим Султаном? Потом вернуться в аул? А кто ждет там? Что там делать? Нет, лучше идти и идти, куда глаза глядят и ноги несут. Люди встретятся. Они же и в горах. Среди людей не пропадешь, не умру же с голода. Что уготовано судьбой, никто не отберет. А если суждено ненароком замерзнуть и умереть от холода, значит, так суждено, так Бог велел. На Боге, который создал его таким, ни к чему не приспособленным, никому не нужным, и ответ.

Он шел, утопая в снегу. Иногда ноги полностью застревали в наметах. Он кое-как вскарабкивался наверх... Пот катил градом, а он упрямо шел и шел, не зная куда,

пересекал, преодолевал холм за холмом, холм за холмом... Он уже потерял им счет.

Подножье одного из холмов было завалено глубоким снегом. С каждым шагом он проваливался все глубже и глубже — чуть не до подмышек. Хотел выкарабкаться, но снег проваливался под ним, его тянуло вниз, будто в какую-то бездну.

Жахана охватил страх. Злость, которая гнала в горы, теперь вроде как растворилась, увильнула куда-то, но все равно никто не заставил бы его вернуться. От напряжения онемели руки, даже скулы свело судорогой. Белый снег резал глаза, вызывая слезы, они стекали по лицу.

Слева обнаружились огромные, похожие на ямы, следы. Он решил попробовать пройти по ним, хотя бы до следующего холмика, затем идти не прямым, а по хребтам, на которых снега было меньше, на некоторых его не было совсем. Нужно было подняться на сопку, отдельно стоящую справа, найти на ней укрытие и заночевать. Завтра уточнить направление и идти дальше.

Лезть, карабкаться на сопку было нелегко. Он падал, поднимался и опять падал. Руки и ноги онемели вконец. Пушистый утренний снег к вечеру пошел плотнее, ветер толкал в грудь.

Короткий, словно сайгачий хвост, зимний день кончился, пока он выбирался из карагайника между холмами. Наступали сумерки. Зимняя ночь накрывала тьмой белые снега. Было тихо, как в колодце. И какая она страшная, эта самая черная колодезная тишина...

Мороз сотнями иголок колот лицо. Жахан стоял по пояс в снегу, ноги онемели. Стоит сесть или лечь, мигом исчезнешь под снегом. Он схватился за ближайший карагайник и, волоча за собой свою измокшую старую шубу, повалился на него. Кустарник показался жестким, но зато не дал утонуть в рыхлом снегу. Тут же «заголосили» ноги, с утра бредущие по снегу. Жахан спрятал подбородок поглубже в воротник.

Щекочущая подбородок теплая шерсть напоминала о чем-то былом. Перед глазами безмятежные видения... Какие они — различить нельзя. Да, это и неважно. Главное в том, что они вели утомленную душу, изможденное усталое тело, измученное в борьбе с этим убийственно рыхлым, как вода, жидким, как жидкое болото, вязким снегом,

жестким холодом, самой, как видно, ожесточившейся против него природой, куда-то к какому-то неведомому, мягкому, ласковому отдохновению.

И ему уже кажется, что в окружающем его безбрежном, заснеженном пространстве, колыхающемся подобно озеру, он снова скачет на Тенбилькоке. И небо, то опускается до земли, то земля вздымается наверх к небу. Копыта Тенбилькока гулко цокают то по небу, то по земле. А небо снова кажется таким же бессердечным и каменным, как застывшая, укрытая снегом земля. В какой-то миг ему показалось, что и скачущий, разбросав гриву и вытянув шею Тенбилькок, рухнул где-то рядом, и будто Жахан уже сидит и плачет по нему.

Что-то ледяное обожгло руку. Оказалось — это лицо. Кое-как разомкнул глаза, огляделся, в голове мелькнула мысль: «Нет, каким бы скакуном ни был Тенбилькок, разве он здесь помощник?» Что может сделать в таком глубоком снегу? Здесь лучше был бы его каурый жеребец. С яростью в глазах, раздувая ноздри, он бы в пух и прах искромсал эту толщу снега! Разгребал бы его грудью до тех пор, пока не пал бы сам. Потому что он непоколебим в упорстве, яростный в работе. Поэтому и используют его для сбора табуна в кучу. Заставляют идти грудью на непослушных коней.

Бледносерый Елемес говорит: «Там, где нет настырного упрямого характера, способного подчинить себе других, повести их там, не то что четырехкопытная длинноногая лошадь, а и сам двуногий, человек побредет, куда попало». И Елемес упрекает Шайхата за его нехваткость. Мол, вместо того, чтобы держать народ в грозном повиновении, Шайхат возится с людьми, как с детьми. Как любит говорить Елемес: «Е-е, на шайхатовское куриное кудахтание народ и ухом не поведет».

Хотя Бледносерый Елемес и ходит с постоянной улыбкой на краешках губ и глаз, хватка у него железная. На что уж избалована Торгын, и та семенит перед ним, подобно послушной животине. И Жамал следит за каждым движеньем бровей и глаз отца. Елемес никогда не говорил Жахану плохих слов. Куда бы ни отправлял, какое бы поручение ни давал, делал это только с ласковой улыбочкой. Поэтому во всех случаях Жахан всей душой старался добросовестно выполнять его поручения и ни разу не подумал о нем дурного.

Елемес знает все. Нет никого, кто бы лучше него знал что делать, чтобы был доволен человек. И в то же время не увидишь, чтобы он когда-нибудь сидел беспечным, наслаждаясь радостями жизни. Всегда собран, энергичен, готовый к любому делу. Его чуткий слух улавливает малейший звук приближения каких-то событий, изменений, не находит себе места, поглядывая, то на небо, то на землю, ища одному ему ведомые признаки и неизвестные остальным людям приметы: «А что подумал Елемес, услышав об отъезде его, Жахана, на учебу? А Жамал?».

Перед его глазами предстала красавица, застенчиво глядящая из-под длинных ресниц, скромно двигающаяся вокруг дастархана.

...Как бы проклятый ночной холод, пронизывающий насквозь, не свел с ума. Возвращается он к действительности. Что за хруст? Не фыркнул ли каурый жеребец? Нет, кажется, гулко топая, резвится косяк лошадей. Откуда звуки? Нет, как бы с неба не свалилось что-то и не грохнулось оземь...

Теперь всем существом Жахана, его сознанием овладело равнодушие. Тело ниже груди совершенно онемело, превратилось в кусок льда. Мозг затуманился, в глазах потемнело. Он потерял сознание.

...Огромная комната, двадцать одна койка, двадцать убранных как одна постелей, языки пламени, весело гудящего в железной печке — все это и знакомо и незнакомо.

Открылась дверь, в комнату один за другим вошли ребята, вошли осторожно, на цыпочках, не балагуря как всегда, не толкая друг друга. Увидев его, не стали как обычно тыкать пальцами в его сторону, не прыскали смехом, остановились, не доходя до его кровати.

Жахан долго не мог ничего понять. Его удивляло, что после того, как сокурсники ночью нашли его в горах, перестали насмехаться над ним, ходили хмурые. Едва увидев его, рдели и принимали виноватый вид, и то, что он, видя их смущение, сам тоже чувствовал себя не в своей тарелке, словно та морозная ночь, чуть не стоившая ему жизни, заставила повзрослеть ребят, которые только вчера то и дело беспечно и беспричинно хохотали, собравшись, тут же валились друг на друга, в кучу-малу или обменивались далеко не безобидными шутками.

Обычно не приближавшийся ни к одному курсанту, Жахан закрывает глаза, засыпает. Но и во сне он чувствует, сознает, что жизнь его теперь начинается снова и будет идти совсем по-новому.

Естемесов в последнее время как-то изменился, тоже сблизился с ним, с Жаханом. После занятий остается с ним и учит, наставляет чему-то. Как ликовал Естемесов, когда Жахан впервые сел за руль и сам повел машину! Он сорвал узкую полоску хрома, закрывающую его незрячий глаз и давай вытирать светлое пятно на его месте. Роди ему жена сына – и то бы наверное не поступил так. Тогда и увидел Жахан впервые на краю его губ проблеск улыбки. Естемесов похлопал Жахана по спине, что-то сказал, видно похвалил... После этого Жахан не раз замечал во время учебного вождения машины, когда в кабине были вдвоем, как Естемесов, посмотрев на него, по-доброму улыбался краями губ. А в день окончания курсов, вручая ему удостоверение водителя, картон величиной с ладонь, вновь улыбнулся, сказал слова Бледносерого Елемеса:

– Чтобы овладеть железом, нужен стальной характер. Оно тоже не подчиняется робким людям, слушается только человека с мертвой хваткой.

III

Жахан забыл многое из услышанного на одногодичных курсах. Но щальные слова Естемесова сохранились в его памяти. Когда он после окончания учебы подошел к той самой разодранной машине, сиротливо стоящей на сопке, вспомнил эти слова.

На этот раз полуразобранная машина не показалась ему жалкой. Наоборот, она словно испытующе смотрела на него, безмолвно приговаривая: «Давай, давай. Посмотрим, чему ты научился, на что способен!».

Как бы Жахан ни старался не выдать себя перед стоящим поодаль, дергавшим себя за левый ус Шайхатом, проклятые его уши опять горели огнем. По привычке, уже приобретенной на курсах, он сунул обе руки в карманы брюк. Отпихивая носками поношенных брезентовых туфель мелкие камушки, перечитал все корявые надписи на кузове. Глаза уперлись в хулиганистый рисунок какого-то озорника, на котором был изображен большой палец, высывающийся между средним и указатель-

ным. Как будто этот рисунок предназначался именно Жахану.

О том, что он, Жахан, будет после курсов восстанавливать эту машину, они – по рекомендации Елемеса – договорились давно. Причем разговор произошел по его же, учителя, инициативе, который уговорил, убедил Жахана в том, что он настолько овладел техникой автомобиля, что вполне справится с задачей. Жахан поморщился, глядя на ржавеющую машину.

– Сначала внимательно осмотри, – сказал Шайхат через некоторое время. – Чего не хватает, скажешь мне. Продадим последние сорочки, но что-нибудь да сделаем. – Сказал и пошел с сопки.

Обычно степенный человек, с гордой походкой сейчас, спускаясь вниз, сгорбился, ступал нетвердо. Жахану стало не по себе от такого вида баскармы, который до этого в его кабинете говорил о предстоящем деле, довольный, повел его в эту сторону, к машине.

Наконец успокоившись, Жахан подошел, открыл кабину. Поднялась пыль, ее тут на сиденьях было пальца на три. Из сиденья змеями выползали пружины. Дверные стекла были выбиты. Лобовое стекло покрыто трещинами, словно паутиной каракурта.

К чему бы он ни притронулся – на всем пятислойная грязь. Опять не к месту вспомнил о своей давней мечте одеться во все белое, сесть на Тенбилькока и гулять по аулам. Это вызвало улыбку. Показалось, что становится похожим на Елемеса. Заглянул в кузов. Все доски разохлись. Четыре борта были непригодны ни к чему. Слез и пошел к мотору. Открыл капот... О ужас!.. Все покрыто пылью, грязью, торчат гвоздики, все перевязано, перетянуто проволокой, напиханы тряпки... Судя по всему, шофер Гинаят не ставил ни одну деталь, вместо вышедшей из строя старой. Заменял их какими-то самоделками.

Жахан смачно плюнул от досады. Это была еще одна дурная привычка, приобретенная в районном центре. Подошел к подножке и плюхнулся на нее мешком. Сидел в безысходности. Он только теперь понял, почему Шайхат приуныл, увидев, в каком состоянии была его машина, пожалел и ее, и Жахана.

Но не сидеть же здесь, нужно работать. Он стянул с себя рубашку и нырнул в мотор. Копошась в пыльной

машине, с трудом нашел пару ключей. Залез под кузов и лег на спину.

Сначала подошли дети. Постояли поодаль, не смея приблизиться. Потом начали приближаться кошачьим шагом. Вскоре зашумели, загалдели. Им все интересно. Радует даже и то, если какая-то гайка с грехом пополам вкручивается на какой-то болт. А если какой-нибудь винтик обломится, то тут уж выше счастья не найти. Для них весь мир – игрушка. А разве у игрушки бывает что-то, что не было бы интересным, чтобы не ломалось?

Иногда заглядывают и взрослые. Приходят по два-три человека. Стоят чинные. Их нисколько не удивляет то, что каждая деталь в руках Жахана находит свое место. А заметят что-либо вдрызг испорченное, то, считай, бог вознаградил их удачей. У них веры в успех дела, за которое взялся этот аульный парень, нет.

Не выдержав, они иной раз восклицают: «Ей, пацан, зачем сунулся в такое гиблое дело? Для казаха, который в кой-какие веки подержит в руках стригальные ножницы, и то трудность, целое событие. Он же потом два-три дня ходит с ломотой в пояснице, не чуя свою нижнюю часть. А такое хлопотное дело, как это, подобное вытаскиванию червей из заднего места овец, нам не подходит, ой, как не подходит!» – покачают головами и удалятся вразвалку, хохоча над Жаханом.

Для них вся жизнь – беспричинно злая завистливость. Они получают истинное удовольствие в том, чтобы увидеть зияющую брешь в делах и жизни кого-то другого.

С такими Жахан и словом не обмолвится. Вспоминаются ему смешливые дружки, с которыми учился вместе. Он хорошо знает, что и теперь не избавится от любителей посмеяться и, стиснув зубы, крутит гаечный ключ.

Так прошли неделя, месяц. Проходит и лето. Но изъянов у этого железного скелета, который взялся восстановить Жахан, все еще не счесть. Шайхат тоже был готов без остатка лишиться совести, выпрашивая у всех проезжих шоферов и в райцентре железяки для машины. У исхудавшего Жахана остались на лице лишь заостренный нос и обвислые уши. Провалившиеся в глазницы, болезненно блестящие глаза смотрят на всех затравленно. Вечером он валится без ног.

Стоит коснуться головой подушки, как видит сон. Снят-

ся лошади, вразброс пасущиеся в глубине оврага, резвящиеся жеребята, снится каурый жеребец с раздутыми ноздрями. Не снится только Тенбилькок. Не снится себе и он сам как раньше, весь в белом, смотрящий свысока, говорящий важно. Не снятся и раскуроченная машина, и Шайхат, не менее четырех раз в день навещающий к нему.

Снится ему одинокая юрта в степи и сама степь — широкая, раздольная, до самого горизонта. И еще снится Жамал, мелькающая подолом платья, ставящая перед юртой самовар.

Сонное сознание будто говорит ему: «Бедняга, где твои прежние светлые дни?». Иногда, проснувшись, Жахан не может прийти в себя, поднять собственное тело, продолжает жить в сновидениях. Но действительность берет свое. Он заставляет себя подняться с постели, браться за дело.

Трудно ему здесь, вдали от родного аула, от юрты, в которой жил он, теперь там живет Жамал. Да, да, черноглазая Жамал. О том, что ему трудно наверное знают все, знают и его аулчане, которые нет-нет да заявляются сюда. И ему кажется, что они еще издали показывают на него пальцами, говорят о нем что-то нехорошее. Кажется, и Нуркен, иногда нарочно заворачивающий к нему, издевательски вопрошает, тыкая пальцем в машину и выпятив при этом толстый живот:

— Эй, когда ты исправишь эту чертовщину?

Елемес говаривал: «Можно терпеть клевету, наговоры, но насмешки человек не должен сносить никогда!». А Жахан терпел, он убежден в том, что пока не проедет на этом ржавом скелете по большой дороге, от ядовитых насмешек и колкостей не избавится.

Во всем ауле сочувствует и жалеет его один Шайхат. Ему надоело, это самое тыканье в глаза: «Смотрите, мол, вот его ученик-мученик, которого он послал учиться на курсы, как будто в ауле нет других достойных джигитов». Шайхат слушает колкости и молчит. Он уже истоптал-износил свои сапоги, но где-то достал аккумулятор.

Итак, постепенно, они добились своего. Сев на место водителя, взялся за руль, нажал на стартер и мотор, целых два года стоявший немым, вздрогнул, чихнул и вдруг зарычал, заработал. Расхлябанная машина обрела дух и сдвинулась с места.

Жахан осторожно выжимает педаль подачи газа – название ее он знает, но выговорить чисто не может. У него и у машины на первый раз хватило сил, чтобы проехать в оба конца единственной улочки аула. Сесть в машину, которая брыкалась, то прыгнув вперед, то заглохнув на ровном месте, никто не осмелился. Только дети шумно сопровождали ее, бегая по обе стороны, пока она петляла, ковыляла по улице.

Шли дни. Жахан продолжал налаживать работу мотора, латал кузов и продолжал ездить. Теперь рейсы были посOLIDней и рабочие. Он вывозил навоз с фермы, возил воду и ездил по отарам. Потом его машина даже навьючила на себя шкуры и съездила в райцентр.

После этого Шайхат вышел из конторы с толстой папкой и решительно плюхнулся на сиденье в кабину. Сердце Жахана подступило к горлу.

Баскарма, который до этого говаривал: «Возьми себя в руки, парень! Е-е, вот, вот так! Вот молодец», – вдохновлял его, теперь остерегал его, то и дело покрикивал: «Гляди в оба! Осторожно! Потише!»

А Жахан сидел за рулем, уверенно сжимая его. Как только гул машины стал ровным, отвислые уши его обрели прежнюю форму, перестали краснеть. Если кто-нибудь посмотрел бы на него в эти минуты, не узнал его. Теперь он на своем месте, теперь он не опускает голову смущенно, а тоже уставится на него, говорящего: «Ну что, чем я хуже тебя!». Стоит ему прочистить горло и рывкнуть на детей, опасно приблизившихся к машине, как те засверкают пятками.

Да что там говорить, он и без машины осмелел. Прежде сидевший застенчиво в уголке, теперь он смело вмешивается в разговор, вставляет реплики даже в речь баскармы. А перед возвращением из района, где они бываюТ нередко, он обязательно напоминает: «Ага, ведь женге дала поручения... Надо забежать, пока магазины не закрылись».

И Шайхат тоже чуть что: «Ну, мой ординарец, так ли делаем или как?» – советуется с Жаханом.

Кому же теперь важничать, как не Жахану? Он и говорит, подражая Шайхату, весомо, значительно, надувая щеки. Иногда его рука тянется к верхней губе, как у баскармы, но на губе еще ничего нет, и рука опускается.

Интересно еще и то, что нынче его брезентовые туфли стали изнашиваться не сверху, а с каблуков. Бывший табунщик, который весь день верхом на коне и только перед сном или во сне вспоминал, во что он одет. Теперь он так и носит с собой: отряхивается на ходу, садясь и вставая.

При этом его уже угнетает прохудившаяся одежда. Желая привести себя в порядок и обзавестись обновками, он заглянул было в бухгалтерию в надежде что-то получить, но вышел с пустыми руками. Весь его заработок, причитавшийся за работу в табуне, был удержан за каких-то «съеденных волками» стригунков и «утонувших в болоте» кобылиц.

Он впервые услышал такое. Учетчики не тянули с объяснениями, лишь повели плечами: так велел Елемес.

Ломая голову, он понял причину этого темного дела. Обычно, через пару дней после того, как заезжал утильщик Утемаганбет, Елемес бесследно исчезал. Не было его на месте и сегодня, и вчера, и позавчера... И возвращался он тоже внезапно, появлялся тихо, поглаживая усы. Отсутствие объяснял вяло, вроде бы «гостил у родни жены». На поминках у того-другого. Но о потерях в табуне не заикался. А вот вернувшись из последних своих блужданий принялся рассказывать:

«Оказывается, солончак под отвесной скалой, по его словам, затягивет в себя все живое. В тот раз, когда был град, пять-шесть лошадей утонули в нем.

Но, по его же мнению, те лошади принадлежали соседнему колхозу. Получалось, что раньше он обманывал.

После каждого такого исчезновения этот треклятый, ступающий кошкой делался вовсе тихоней. Отбросив привычку валяться сутками в юрте, он пару дней вместе с Жаханом объезжал табун. Начиная длинный и нудный разговор под бег своего иноходца. Бубнил о чем-то беспрестанно... Сначала заговаривал о состоянии пастбищ, водопоев, новостях аулов, где он побывал на этот раз. А далее бормотал что-то туманное, непонятное, подобное миражу, который приплясывает на далеком горизонте и никак не дается в руки — ни поймать его, ни понять.

А вот о пропаже коней не вспоминал больше, но Жахан, не забывая, обдумывал все. С чего это он тогда так великодушно забрал его из школы? Чтобы прикрыться

им, мальчишкой, и за его спиной воровать лошадей в вверенном ему же табуне. Может быть, тогда он встретил этого самого «утильщика», с которым стал отправлять коней на продажу. Видимо, не зря Елемес и спровадил Жахана на Тенбилькоке подальше, чтобы не было свидетеля их грязных дел.

Он представил себе Елемеса, который разговаривал всегда с непременной улыбкой, воровато поглядывая из-под ресниц, которые не поднимались, как у всех людей, а лежали как прикрытие над глазами. «Поехать бы сейчас к нему, вцепиться этими лежащими на руле руками в его пухлую шею под мягким подбородком и подмять бы его, как беркут мышку», — вдруг разозлился Жахан.

Мелькнувшая мысль засела в голове. И вскоре он осуществил уже сжигавшее его желание.

Попросив разрешения у Шайхата, он выехал на своей машине. Кровь будоражила родившаяся в голове догадка. Отталкиваясь колесами машины от лежащих в объятиях покоя холмов, он мчался, прижимая ногой акселератор. Перед глазами вставала одинокая юрта, плывущий над нею легкий дымок, смугловатая, старательно ухоженная, будто городская, женщина, хитроумный мужичок, посматривающий на всех с усмешкой; словно зная сущность их прегрешения, их невинная, ни в чем не похожая на них дочь, которая постоянно ходит, опустив глаза, словно повинна перед всем миром.

Пегая степь, вся в складках, словно засохшая верблюжья шкура, бескрайна. Чем больше он давит на педаль, тем она становится длиннее. Черные валы, издали угрожающе распрямившие плечи, стоит только подъехать к ним, сразу же приникают, пластаются по земле. Машина переваливает через один вал, за ним другой. Выбоины да бугры, жирная пыль, зеркальные лысины такыров остаются позади один за другим. С шумом взлетают воробьи, яростно чирикают, выражая недоумение появлением этого грохочущего в тихой степи чудовища. Сверкая белым задом, убегают каракуйруки.

На небе добродушно-улыбчиво сияет солнце. Изредка степь будоражит с легким свистом пролетающий ветерок. А машина, словно гордясь своей силой и скоростью, шумит, работает клапанами, мотором, тянет свою песню. Все это: степь, воробьи, мерно гудящий мотор — будто

невидимыми волшебными пальцами поглаживает Жахана, смягчает кипящую в груди ярость, смягчает натянутые, как тетива лука, нервы.

Дорогу пересекает очередной бугристый холм, не раз кормивший табуны Жахана. Желая посмотреть, не пасутся ли лошади и сейчас, он вытянул шею, выглянул в боковое окошко. На этот раз табуна не было.

Степь пустая, глазу не за что зацепиться.

А машина свой бег продолжает. Перед глазами все те же одноцветные, однообразные валы поперек дороги. В душе недоуменный вопрос: «Как же этот самый его родной аул за столько лет не откочевал из этих мест стоит и стоит, будто вросший, словно говоря, что все здесь капитально, неизменно».

Он въехал на срезанный с одного конца черный вал, на вершине которого возвышался шест, издали маня к себе путников. Машина остановилась, и сразу наступила тишина. Белые облака в небе на всем пути как всегда придавали горизонту особый облик. Когда Жахан смотрит на них с высоты, наклонив голову, ему кажется будто множество сайгаков безостановочно скачут по степи. А дальняя низменность кажется чистым и прозрачным голубым озером.

Он всматривается до рези в глазах. В степи не видно ничего похожего на пасущихся лошадей, на одинокую юрту. Только на вершине отдельно торчащей сопки словно сказочный ханский дворец возвышается старый мавзолей.

Впереди темный предмет, торчащий над землей, похож на извивающийся как бы подвешенный к небу аркан. Предмет этот тоже степной маяк, схожий с шестом, рядом с которым стоит в этих окрестностях много таких разных, непонятных предметов: обрубков каменных валов, похожих на круглоголовых ящериц и похожих друг на друга, как две капли воды: просто мощных каменных выростов и почти у всех на вершинах шесты, загаженные птицами, или древние надгробные сооружения. А перевалишь через увал и сразу натыкаешься на низменность, полную туманных миражей, переливающихся через край низины, подобно пиале, полной кумыса.

У Жахана кружится голова от такой родной ему теплой картины, стучит в висках. Он откинулся на спинку

сиденья, вздохнул всей грудью. Дышать было легко. К горьковатому аромату полыни примешивался запах каких-то других трав. Он сидел, легко управляя машиной, наслаждался родными запахами.

Но вот снова ожил ветер.

Машина нырнула в голубое марево, колыхавшееся под ним на дне изменности. Машина бежала, голубая гладь отступала, голубой мираж убежал рысью, удалялся все дальше и дальше, потом свернулся и превратился в сизый дымок.

Показался аул табунщика. Одинокая юрта в глуши. За юртой коновязь. На правой стороне разный домашний скарб, прикрытый чием, рядом два-три деревянных бочонка для питьевой воды. Перед юртой куча кизяка. Из-за нее выскочил серый волкодав и с хриплым лаем понесся к машине. Двери юрты распахнулись. Перед ним Жамал... Жахан замер, в глазах туман. Только теперь, в этот миг он понял, что всю дорогу его торопила не злость, не ярость на Елемеса, а непонятная бездонная тоска. А перед глазами вставала она – Жамал. Он выскочил из кабины. Серый волкодав, с хриплым лаем остановился в недоумении, вмиг замолк, опустил морду вниз и, виляя хвостом, подошел к Жахану, стал тереться о его ногу. Жамал узнала приехавшего сразу, юркнула за дверь. Вышла Торгын.

Все трое возбуждены: не зная, что сказать друг другу, то и дело восклицают: «Апырай! Апырай!» Жамал растелила на торе в центре юрты одеяло. Поставила перед Жаханом тазик, слила на руки из кумгана. Жахан ополоснулся, посвежел и направился на почетное место, на тор, где обычно восседали Шайхат, уполномоченные из района, Нуркен. Храбрился, но колени дрожали с непривычки – на торе он же впервые. Чтобы унять дрожь, он поспешил опуститься на кошму.

Женщины быстро приготовили сочный куырдак, поставили самовар. Дастархан уже расстелен. Уселись на расстоянии друг от друга, треугольником. Хозяйки, украдкой бросая на него любопытные, смешанные с уважением взгляды, готовят, как для почетного гостя. Жахан смущенно опускает глаза. И Елемес, и давешняя злость на него начисто вылетели из головы. Показалось, что самое близкое и теплое место в мире для него именно

этот дом. Отчего это? В чем причина? Этого не может понять и он сам.

Волнение не покидает его, особенно когда он ловит любопытные взгляды Жамал.

К вечеру, погрузив на машину всю свободную посуду, вместе поехали к колодцу за питьевой водой. Жахан доставал воду ведром. Жамал сливала в бочонки. Встречались глазами, лишь когда подавали друг другу ведро.

И все-таки Жахан успел осмотреть ее всю. За это время девушка повзрослела, стала осанистее, стройнее. Лицо загорелое, круглый подбородок стал немного острее... А в глазах какая-то затаенная мысль. Жахан замечает, что она в его присутствии чувствует себя неудобно, то ли от застенчивости, то ли еще от чего, не дающего покоя ее душе. «Кстати, – задается он вопросом, – а часто ли, как прежде, приезжает в этот аул Нуркен?»

Возвращая ведро, девушка улыбнулась теперь как-то просто, радостно, пухлые губы было раскрылись, но снова сомкнулись. Под подбородком дрогнуло. Видно, она опять хотела что-то сказать или, наверное, спросить о Нуркене... Почему же не спрашивает? Что тут смущаться? – Даже сердито поморщился Жахан.

Бочки наполнены. Девушка села в кабину рядом с ним, съежилась. За всю дорогу лишь пару раз подняла голову и бросила на него взгляд. В горле девушки снова что-то дрогнуло. Сейчас спросит о Нуркене... – жжет мысль Жахана. – Что же, спрашивай, спрашивай... Разве сам черт сможет прибрать этого строптивца... Ходит, глядя на небо и считая звезды.

Но девушка и рта не раскрыла.

Дома она перестала смущаться, стала посмелее.

– Угощайтесь, – сказала ему за дастарханом, подставляя тарелку, – совсем мало кушаете.

За дастарханом просидели до глубокой ночи. Легли спать поздно. Жахан долго не мог сомкнуть глаз. Верещит кузнечик, иногда подает голос, лает серый. Хотя бок и онемел, Жахан терпел, опасаясь, как бы кто не подумал плохого, если он начнет ворочаться среди ночи. Услышал как, ворочаясь, глубоко вздохнула Жамал. Вслед за ней шевельнулась и Торгын, кажется, поправила подушку или покосившийся на голове платок.

В темной юрте словно тесно от опять появившегося,

возникшего перед глазами голубого миража, точно такого, что сопровождал его на дороге. Теперь ему кажется, кто-то прошел мимо, совсем близко, заглянул в лицо. Но все это – призрачная фантазия, дурная мечта, подобная той, что одолевала, когда он вовсю скакал на Тенбилькоке... Но почему тогда, возле колодца, Жамал так часто поглядывала на него? Раньше-то не поглядывала так... Он замечал, что раньше только Нуркену она улыбалась из-под ресниц. Почему же о нем сегодня не справилась?..

С этой мыслью повернулся к стене, заснул.

После утреннего чая Жахан решил уехать. Покопавшись в сундуке, Торгын положила перед ним белую сорочку, пиджак и брюки. Оказалось, все это привез из города Елемес, именно для Жахана, чтобы подарить после окончания учебы. Увидев новую, с иголки одежду, Жахан растерялся. Плечи так и зачесались. Но мерить он не стал, поблагодарил, уложил подарок в кабину.

Торгын и Жамал проводили его до кабины. Жамал выглядела грустной. Бросала на него не то жалостные, не то вопрошающие взгляды. С каждым взглядом ее нежная шейка вздрагивает, словно в ней застряло какое-то слово. «И вчера было так. Что это за слово?..» – мучается Жахан.

– Ну вот, – сказала Торгын, – приезжай так, запросто.

Лицо Жамал просветлело.

– Да, да – выдохнула она, – приезжай... – улыбнулась и, сверкнув белыми зубами, словно радуясь, что слова матери совпали с ее желанием.

Это единственное слово звучало в ушах Жахана, эхом отдавалось в чистом утреннем воздухе.

Машина тяжело двинулась с моста. И ход ее, по сравнению со вчерашним, был медленнее. Только перевалив за первый увал, Жахан вспомнил, что за все время так и не спросил, куда и на сколько дней уехал Елемес. Но это не интересовало, не вызывало сожаления. Его не покидал тоскливый вид Жамал, который он наблюдал в течение целых суток.

«Что с ней, – удивлялся он, – раньше она такой не была, о чем грустит?».

Мотор разогрелся, скорость приличная. Его вчерашний след четко обозначен в траве. Лежит темной поло-

сой в нетронутым зеленом море, в не топтанных скотом выпасах. Таких следов машина Жахана проложила немало. На этих колхозных полях вряд ли найдутся сопки, низины, где бы Жахан не оставил за собой такую же четкую полосу следов.

Сначала, собираясь в далекие местности, где не бывал, он брал с собой в проводники знатоков этого края — старых аксакалов. Теперь в какую бы ни было даль ездит сам, вытаптывая свой след. На многие богом забытые места, где не только не пасли скот, но о которых вообще забыли, машина Жахана проложила свежую дорогу. И наверно, не случайно теперь в разговорах чабанов, табунщиков проскальзывает: «Перевал Жахана», «Увал Жахана», «Жахана находка»... Словно он не пропахший бензином шофер, а батыр прежних времен, ставший гордостью целого племени. И многое в их хозяйствах, в жизни теперь связано с его именем. То и дело слышится:

«Хотелось показаться врачу, скорей бы Жахан заехал...»

«Хотелось бы перекочевать к ближнему колодцу, а Жахана не видно...»

«Жахан бы заехал...»

«Жахан бы привез...»

«Жахан бы передал...»

«Жахан...»

«Жахан...»

В какой бы дальний конец колхоза, расположенного между сопками, перевалами, зеркально гладким пустынным или плоскогорьем с песчаными барханами ни поехал, не говоря о табунщиках и чабанах в вислоухих шапках, даже степные орлы единым взмахом крыла достигающие головокружительной высоты, вглядываясь в свои же тени, будто бы бросают один клич: «Жахан, Жахан!».

Везде его ожидают с нетерпением. Через многие пороги, которые лишь недавно переступал с робкой боязнью, он уверенно перешагивает, словно говоря: «Если тот, кого вы ждете — это я, то вот я и появился. Какие еще там у вас дела?» Едва заметив издали скотоводческий аул, он нажимает на сигнал, подобно Гинаяту, сотрясая степь его ревом. И никто не сердился на это. Наоборот, привычно восседающий на гнедой кляче возле

рассыпавшихся как, просо, овец чабан вздрогнет, поднимет голову и вмиг расплывется в улыбке. Аульная детвора выскакивает на улицу.

Даже старые заглядывают через откинутый полог, шепелявят беззубыми губами: «Е-е, тот парень успел заявиться», – и начинают подниматься, наступают на свои подола. И все потому, что вместе с Жаханом появляется вмиг вылечивающий оба виска, которые словно кто-то буравит вот уже сколько дней, благостно-сладкий чай и самосад-насыбай из его корджуна.

В кармане Жахана обязательно и вести от сына, почему-то затаившегося с некоторых пор в армии, пишущего только некоей знакомой. И от дочери, которая учится в райцентре. Слава богу, старики узнают, что солдат-джигит успел привыкнуть к страшному сибирскому морозу, жив-здоров, дочь, отдавшая в жертву учебе свои роскошные косы и длинный подол платья, пока вроде бы то же цела, не ушла, взявшись за руку с каким-то чужаком, в бог знает какую неслыханную землю. Пишет, что соскучилась по курту и иримчику бабуси.

Его приезду рады все – даже ягнята и верблюжата. Они окружают машину, трут об нее спины, голову об колеса.

«Говорят, что от запаха этого благовонного бензина убегает всякое насекомое. Сынок, поставь машину с наветренной стороны», – просит некая матушка, устанавливая казан.

Жахан внимательно выслушивает всех, забывая, что приехал усталым и пыльным с дальней дороги, кое-как похлебав чая, тут же принимается за работу, что-то делает, окажет помощь одинокому скотнику, вдове. Все что-то грузит на машину, устраивает все сам. Посадит в кабину бабулю с голопузым малышом.

И вот он уже едет на место новой стоянки. Мелькает, кружится по бокам пустынная степь, как тогда, когда он ехал на Тенбилькоке. Скупая земля, только что лежавшая, тускло взъерошивается струями ветра, скоростью машины, оживает, зацветает всеми цветами, подобно кружевам, связанным руками девушки.

Жахан самодовольно смотрит на сидящую рядом бабулю, то и дело, при каждом толчке, поминающую всех духов и Аллаха, на малыша с выпученными глазами, со-

пящего от удовольствия на всю кабину. Наездившись так за целый день, он спит мертвым сном: отрежь уши – не почувствует.

Поднимется рано утром бодрым, отдохнувшим. Ему кажется, что пока он отсыпался, мир неузнаваемо изменился. И обязательно стал лучше. И перевезенная им семья, устроившаяся на новом джайляу, даже овцы, кони, другой скот, жадно набросившийся на новые сочные травы, – все радостно возбуждены.

Попрощавшись со старшими и младшими, он садится за руль и то ли от стремительной скорости, то ли от прохладного ветра, бьющего в лицо, то ли от благодарных глаз, которые смотрят вслед, пока он не перевалит за первую сопку, у него пересыхает в горле и слезятся глаза. Для тех, оставшихся за спиной, для них он стал самым дорогим, самым близким человеком.

Оглядываясь назад, Жахан давит на акселератор. О боже, как хорошо быть нужным людям! А ведь человечность измеряется тем, насколько ты нужен другим людям. Как чудесно, что они идут к тебе, желая, чтобы ты им помог! Разве есть другое счастье для джигита, чем услышать свое имя из уст других!

«Жахан!»

«Уа, Жахан!..»

Пускай говорят, пускай зовут криком, каждый день зовут и зовут тысячу, даже миллион раз, пускай говорят о нем, называют его имя, лишь бы не постигла его судьба, скажем, вон этой высохшей травинки на обочине, не попавшейся никому на глаза, не понадобившейся в этом огромном мире, лежащая у дороги, покрытой пылью. Жахан думал так и удивлялся, как он мог жить такой неприметной, тусклой жизнью, которую знала лишь одна семья, да и то неизвестно, был он нужен ей или нет.

А сейчас... Сейчас словно все глотки этого аула вроде существуют лишь для того, чтобы голосить одно и то же имя!

«Жахан...»

«Жаханжан...»

«Жахан, светоч...»

«Жахан, родной...»

Слава богу, чего сейчас предостаточно, так это дел людских. Чуть прикоснись к ним, к людям, тут же выло-

жат свои просьбы: Жахан не оставляет без внимания ни одну. Однако в последнее время он стал думать, задаваться вопросом: «А что станет с ним, с машиной, если он каждый раз будет нестись по направлению, указанному чьим-то пальцем. Обдумав положение, он стал разбираться в просьбах, при этом многие поручения, которые раньше преподносились как надлежащие к обязательному исполнению, как приказы, словно он был всем чем-то должен, теперь он прикидывал, – а нужна ли для исполнения той или иной просьбы машина, вместо нее хватит и конской подводы. В общем, теперь он, жалея машину, не кивает согласно каждому просящему.

Некоторые после отказа надолго затаивают обиду, даже не здороваются, обижаются, что не повез их туда-то, не прихватил их вещей, не исполнил просьбу. Жахан уже привык пропускать мимо ушей такие пересуды. Не понимал одного, почему на него обижается Нуркен? Не было случая, чтобы он уклонился от его просьб, исполнял все поручения, а он на что-то обижается.

А обязанностей у шофера Жахана прибавляется. Почту теперь из соседнего аула на коне не доставляют. Отвезти ее и привезти – обязанность Жахана. Он же прихватывает с собой письма и газеты на далекие отгонные участки, вручает адресату. Доставляется все адресованное и Нуркену. И все же Жахан никак не может ему угодить.

Жахан не знает, зато хорошо знает Нуркен. Дело, конечно, в зависти. Как же это? В руках вчерашнего пацана-табунщика с потресканными губами и шелушащимся лицом оказалась баранка машины и он вознесся за облака. А он, Нуркен, сразу лишился уважения и ночлега, которыми одаривали его, когда он скакал на коне от аула к аулу, от одной юрты к другой. Как только почту стали возить машиной, ему даже перестали давать коня. Теперь он сидит в сырой комнате, с утра до вечера копаясь в бумагах. Нет и повода, чтобы каждую неделю наведываться в аул табунщика Елемеса, который в последнее время поглядывал на него отчужденно, сейчас, наверное, совсем возликовал, радуясь избавлению от него.

Многие верблюды выкинули из своих ноздрей кольца, многие кони избавились от седел, всех их заменил расторопный Жахан. Кто умчался, вздымая пыль? Жахан. Кто

примчался, вздымая пыль? Жахан. Люди только и ждут этого Жахана. То и дело смотрят в степь. Не едет ли машина. Каждый степный вьюн принимают за пыль от машины. Не любит Нуркен Жахана. Как тот появится, начинает буравить глазами землю. Ходит он все еще важно, облачившись во все белое, как прежде, и его привычка задирать нос в небо, подобно верблюду со стершейся спиной, прежняя.

— Шорту, запылил все! — зло бурчит он на Жахана, доставая из кузова почту.

Только Жахана не смутишь, он и ухом не ведет на слова Нуркена, ходит вокруг машины постукивает ногой по колесам, проверяя их упругость. — «Не подкачать ли?»

Когда Жахан выезжает к отарам, плечи Нуркена опускаются вовсе. Он сбрасывает с себя всю показуху и кипитится, взмахивая руками:

«Ей, эти газеты отдай сразу по приезду! Они как раз нужны чабанам, которые не прочтут ни одной строчки, зато завтра им это будет поводом для выступления. Где они будут плакаться полчаса, что их газеты вовремя не попадают им в руки. Это телеграмма. Смотри, не вытри руки об нее после сытного бесбармака».

Жахан стоит, добродушно скаля зубы. До чего забавна сердитость гордого парнишки, который каждым своим словом, суетливым движением подчеркивает, что он чуть не самому богу брат родной, что между ним и Жаханом нет места сватовству...

Хлопнув сосновой дверью почты, Нуркен скрывается внутри. Жахан садится за руль.

Всю осень Жахан доставляет сено к кошарам. Всю зиму возит концентраты из района. Весной перевозит скотников на джайляу, осенью обратно.

Молодухи чабанов за это время, по его вине забыли, как надо укладывать, укреплять тюки на верблюдах. До того обленились, что без зазрения совести просят парня смотаться на старое их стойбище привезти забытую там лоханку собаки.

Пока мотался между «домчись» и «примчись», Жахан никак не мог выкроить время, чтобы съездить в аул своего табунщика, родной аул. Как вспомнит об этом, руки, вцепившиеся в руль, медленно слабеют. Ему сразу представляются сверкающая как яйцо, одинокая юрта на тем-

ном бугре, вислоухий волкодав, издали несущийся с хриплым лаем, и Жамал, главное она, выскакивающая из дома, едва услышав собачий лай, шум мотора. В прошлый раз – возле колодца, и провожая, идя рядом с машиной, она снова, так хотела сказать ему что-то, так глядела умоляющими о чем-то глазами. Совсем было собралась сказать... И не сказала... Как чудесна эта самая застенчивость девушки! Ее лебединая шейка вздрогнула и сжалась. Не раскрывая пухлых губ, она глянула просительно-ласково. Все это запечатлелось в памяти Жахана, все до мелочи... И как она глянула, как кивнула головой – все-все перед глазами.

Жахан с мольбой смотрит на равнодушно лежащую с правого бока черную сопку. Ничего не видно. Почему из-за этого радостно расцвеченного горизонта не выскочит всадник? Почему не помашет рукой и не закричит: «Ау, почему не сворачиваешь к нам? Тебя там ждут!». Глаза слезятся, он смахивает слезы рукой и снова упирается взглядом в даль. А впереди, перед ним все то же гладкое, будто вылизанное змеей, пространство. И тихо, как в яме, ни малейшего дуновения. Даже кустики и те присели, затаились, словно ждут чего-то, будто им известно, отчего, почему замерла в жаркой тишине степь, что ждет его, Жахана, истосковавшаяся душа, что он предпримет.

Он не заметил, как машина вроде сама, по своей воле свернула с дороги. Сразу появился откуда-то ветерок, не жаркий, ласковый, приветливый... На лбу выступил пот. Машина начала подпрыгивать по хребту черной сопки, натываясь на кочки. За ней аул табунщика, аул Жамал значит вот он, нет, его машина, куда повернула.

Ее одну, ее он и видит в ауле, перед его глазами – одна она. Ее большие лучистые глаза, вздрагивающая нежная белая шея.

Сегодня ему почему-то стыдно ехать в этот аул. Руль машины слушается не так легко, как обычно, то и дело выскакивает из рук. Только сейчас, впервые, он признался себе, что, собственно, никакого родства в ауле у него нету, что он вообще-то не имеет никаких родственных уз с семьей табунщика. Что скажет, если сейчас Елемес спросит: «Ну, парень, какие дела привели сюда?» Как быть, если красивая девушка увидит его пыльного, измазанного маслом, отвернется и начнет хихикать?.. Возникающие в

душе сомнения терзают его, но он впивается руками в баранку и упрямо ведет машину по определенному им направлению.

Он знает, что там, в ауле, в конторе его ждут все во главе с Шайхатом. Знает и то, что в районе лежит без присмотра, под открытым небом много груза, предназначенного для колхоза. Но все равно он обязательно заедет в аул табунщика. Впервые в жизни самовольно изменив заданный маршрут едет в аул Елемеса. Ради своей прихоти. Пусть завтра люди скажут что угодно, лишь бы увидеть Жамал, лишь бы разок посмотреть на ее белую шейку... Но кто она эта самая Жамал, чтобы он так хотел ее увидеть? Не придется ли ему сгинуть живым в могилу, если этот вопрос задаст Елемес. А еще хуже, если сама Жамал?! Ну и что же? Пускай, пускай... Он выдержит, переживет, если она прогонит прочь, натравливая собаку, лишь бы увидеть ее еще раз...

Аул Елемеса уже рядом, отсюда до него рукой подать. Отчего же сегодня такая длинная дорога? Тянется и тянется. Но вот он, наконец, показался! И серый волкодав мчится навстречу. У юрты – привязанный конь. Значит, Елемес в ауле. Вышел кто-то, откинув дверь. Не Торгын ли... Может, сама Жамал... Снова зашел в юрту.

Машину Жахан остановил за юртой. Волкодав завилял хвостом. У коновязи стоял Тенбилькок. Весь облеплен колючкой.

Жахан вошел в юрту, робко произнес приветствие. Семья Елемеса в сборе. Вокруг широкого дастархана трое: сам Елемес, Торгын и Жамал. Жахан ополоснул руки и пошел на тор. Жамал поднялась, пропуская его. Торгын поправила на голове платок с кисточками. Как всегда здесь тот же крепкий вкусный чай, приправленный гвоздикой. Все по-прежнему, а он чувствует себя неуверенно, будто не в своей тарелке, ему неудобно.

После того как убрали дастархан, Елемес справился о новостях. Сам он выглядит похуже чем прежде. Прямой нос заострился и словно вырос. Лицо почернело от ветра и солнца. У порога валяются пыльные сапоги с ободранными травой носками. Наверное, нелегко приходится пасти лошадей одному.

После полудня вся порожняя посуда для воды была погружена в кузов. Теперь в кабину уселся сам Бледносерый Елемес. С ним и пришлось ехать за водой.

На завтра, на рассвете Бледносерый Елемес поднялся и отправился в табун. Торгын и Жамал проводили Жахана до машины. При матери девушка смогла бросить на него лишь пару взглядов. Улыбнулась, показывая белые зубы. Но как только он сел за руль, на ее лицо снова легла густая тень. Снова она вся вздрагивала. И опять ничего не сказала. Хотя – он это видел, чувствовал, что-то хотела сказать, что-то...

Жахан уезжал убежденный, что надо снова заехать сюда, обязательно заехать и поговорить с девушкой, обязательно... О чем? Этого он не знал...

IV

Заехать в аул табунщика Жахан смог лишь поздней осенью. Степь, словно чувствуя волнение и смятение его души, выровняла свои обычные выбоины и лежала гладкая, как бритый подбородок. И он жал и жал на газ. А черные валы впереди вроде как вжимали в плечи свои головы, ужимались, чтобы пропустить машину. Переливающийся серебром и хитро виляющий белыми хвостами ковыль сопровождал его, шурша, словно приговаривая: «Знаю, знаю к кому торопишься! Ну давай, давай, жми на газ!».

«Ну и пусть, знает! И пускай все знают, я не скрываю» – говорил он про себя, а, может быть, и кричал, покрывая шум мотора. Отскакивающие в сторону и тут же настороженно замирающие каракуйруки смотрят на него и кажется говорят: «мы тоже знаем, куда ты торопишься!» – и прыгают от радости на месте.

«Ну и пусть, знаете, так знайте!» – снова повторяет он.

Промелькнув, остаются позади ящероголовые обрубки сопок и увалов, чашевидные ямины, гладкие равнины, зеркальные такыры, сухие низменности, блестящие жирные пески. Вон мелькает сбоку каменный черный вал с указательным шестом на вершине. Издали вроде кивающий Жахану: «Слишком уж ты торопишься. Знаю, почему не остановишься около меня»...

«Ну и пускай, знаешь. Так и знай», – отмахивается, снова говорит он про себя.

Но вон и одинокая белая юрта, куча кизяка у очага. Из-за нее выскочил все тот же волкодав. Мчится сюда,

высунув язык. Лает незло, вроде приветствует: «Я узнал тебя. Но раз я собака, то не имею права не лаять на приезжего, хоть он и на машине. Не буду лаять, не оправдаю лакомые кости и сурпу, которые мне выносит молодая девушка, живущая в юрте», буду виновен перед хозяином. Он волкодав, мог бы отметить и то, что в последнее время красотка этого дома взяла привычку часто смотреть на дорогу: «Вот и лаю нарочно, чтобы она узнала о твоём приближении. Я знаю, что от моего лая она еще больше заволнуется, но это ничего, так должно быть».

На этот раз из юрты вышла Торгын. Увидев его, сразу же поправила платок. Сверкая браслетом, подняла руку ко лбу, улыбнулась.

«Эй, жигит, если кто и знает, почему ты зачастил сюда, то я», — говорит она своим взглядом.

«Если знаете, то хорошо!» — про себя отвечает Жахан.

И на этот раз у коновязи стоял Тенбилькок. Его грива, хвост были очищены от колючек.

Когда Жахан резко откинул полог двери и вошел, его взгляд упал на Жамал. Она вскочила из-за стола, отбросив обычную застенчивость, радостно засмеялась. «Как хорошо, что ты приехал. Я ведь знала, что так и будет!» — словно говорит она.

«Слава Аллаху, что знаешь!» — отвечает Жахан про себя.

Оба застыли, не отводя глаз друг от друга. Вошедшая Торгын, как бы нечаянно задела его локтем. Только теперь взгляд Жахана уловил сидящих за дастарханом. Его лицо сразу переменилось.

На самом торе, на привычном месте пил чай Елемес. Будто не замечая ничего, он вытирал лоб мягким полотенцем, лежащим на коленях. Поблизости от Жамал возлежал Уразмаганбет, локтем опираясь на подушку. И возлежание его, и наглая улыбка, и вытянутые до порога ноги — все выглядело по-прежнему. Он шевельнулся и поднял голову лишь за тем, чтобы потесниться и дать Жахану место.

Жахан сполоснул руки. Только тогда заметил держащего кумган шальноглазого подростка. Мальчик поставил куман у порога и, усевшись на корточки возле Торгын, потянулся за чаем.

Жахан сел возле Уразмаганбета. Чай не шел в горло. Он внимательно разглядывал лица присутствующих. Жамал не отрывала глаз от заварочного чайника. Торгын искоса поглядывала на него через чайное блюдце. Сквозь зубы Елемес спрашивал о делах в ауле. Жахан отвечал также сухо и кратко. После двух чашек чая он отодвинулся от дастархана. Остальные тоже поставили свои чашечки вверх дном. Он был явно напряжен, словно ожидал от присутствующих чего-то важного, Жамал неторопливо вытирала посуду, убирала в тумбочку. Собрала дастархан, унесла на улицу тазик.

Елемес кинул за губу насыбай. Уразмаганбет лег на спину и глазами уперся в шанырак.

За вышедшим из юрты незнакомым подростком вышел и Жахан. Огляделся. Жамал возилась возле очага, не смотрела в его сторону. Лишь волкодав, словно давая понять, что происходит что-то неладное, прижав тревожно хвост, жметя к его ногам.

Жахан подошел к машине. Подросток сидел в кабине.

— Ага, верно, что она делает за час сто километров?

— А что, ты раньше не ездил?

— Нет, ага.

— В вашем ауле разве нет машин?

— Есть, ага.

— Из какого ты колхоза?

— Из «Ушкына».

— А что делаешь здесь?

— Дядя пригласил...

— Кто твой дядя?

— Елемес...

Словно поняв в чем дело, Жахан присвистнул.

— А где твои родители?

— Есть больная мать, дядя говорил, что скоро привезет ее к себе. Вы тоже оказывается пасли овец.

— Да.

Подросток не уходит.

— Дядя обещал отвезти в колхозный центр. Навряд ли он найдет на это время, пока не закончится свадьба тети Жамал...

Жахан замер. В горле будто камень. Слова не приходят на язык. Он только ест глазами подростка, соображая: «Вот в чем дело!.. Вот зачем они здесь. За Жамал!».

Из юрты вышел Уразмаганбет. На нем блестящий черный костюм. От сидения на полу колени брюк оттопырились. На руках сверкающие часы. Передние зубы тоже блестят: «Эх, дать бы, широко размахнувшись, по этим блестящим золотым зубам, – с трудом подавляя ярость соображает Жахан. – Содрать бы блестящий костюм и белую сорочку, напустить на него серого волкодава и погнать голым так, чтобы его ни во что не вмещающиеся ляжки мелькали и дрожали от страха. Увидеть бы, как он дает стрекача, сверкая голыми ягодицами, как этими зубами...»

Но Уразмаганбету не было никакого дела до того, что о нем думает Жахан, широко расставляя ноги, он прошел в тень машины. Поленился выйти в овраг возле аула. Встал в тени машины, расставив ноги. Сейчас откинется до ломоты в пояснице и потрясет себя, как черный ишак аульного старика Жанака.

Жахан сел за руль, нажал на газ и рванул с места. Уразмаганбет остался за юртой на широко расставленных ногах. Возящаяся у очага Жамал резко повернулась. Ее белая шея, блеснувшая на солнце, вздрогнула.

Жахан гнал машину, сам не зная, в каком направлении. Убегал от ненавистного дома, который словно ледяной водой окатил его, сломал крылья безмерной надежды. В глазах потемнело. Теперь у него одно желание – броситься вместе с машиной с ближайшего обрыва, единым рывком уничтожить себя, чтобы не видеть, как Жамал превратится в жалкую бабу, доставшись грубому животному.

Куда он теперь едет, что будет, он не знает. Знает одно – он не хочет видеть этот лживый, убогий мир с его Елемесом, Утемаганбетом, Уразмаганбетом. Плевать хотел тот, вышагивающий дородной бабой самоуверенный подлец, расставив ноги так же, как в тени у машины, на чистое, ничем не запятнанное чувство Жахана, на красоту и сокровенную мечту Жамал. Раз так, пусть топчут, бросив себе под ноги этот убогий, безвольный, бессильный мир, эти мужчины с бабьей походкой.

Жахан изо всей силы нажимает на газ, грудью налегает на руль. И не знает – едет ли, летит ли машина. Слепая ярость не дает остановиться, передохнуть, несет, закрутив в своем бездумном вихре. И вдруг его подкину-

ло, он ударился лбом о потолок кабины. Нога соскользнула с педали газа. Машина дернулась и, накрываясь, остановилась. Жахан шарил рукой – не мог открыть глаза. Через некоторое время рука нашарила ручку, он рывком оттолкнул дверцу и вышел из кабины.

На краю унылого такыра яма, прикрытая сверху большими листьями. Одно из передних колес провалилось в нее. Вокруг ямы следы тележных колес, затвердевшая глина.

Слава Аллаху, что не перевернулся. Осмотрел машину. Ничего не сломалось и не испортилось. Дав задний ход, выскочил из ямы. Увидел разбросанные там и сям обрывки кошмы и кости. И сразу определил, дорожка, по которой ехала машина, проложена телегой утильщика Утемаганбета.

Он разозлился. Попробовал растоптать колесами машины следы телеги утильщика, исчеркавшие белый такыр, но не смог. И вдруг, что-то решив, развернул машину, снова помчался к юрте, которую только что покинул в ярости, с таким презрением. Голова просветлела, мысли были четкими. Внезапно родившееся решение созрело.

Затормозил он за юртой, на том же месте, где останавливался только что. Жамал все еще копошилась возле очага. Увидев его, удивилась, выронила из рук тазик с кизяком.

Жахан громко хлопнул дверцей кабины, подозвал ее.

– Я забыл. Мне же велели привезти тебя на комсомольское собрание. Одевайся, поехали!

Лицо Жамал то алело, то бледнело. Она поняла в чем дело. Подумала и решительно кивнула головой. Из юрты вышел Елемес. За ним показался и Уразмаганбет. Жамал передала им слова Жахана. Жахан жег глазами мужчин, стоявших перед ним озадаченными. Выпяченные толстые губы Уразмаганбета, распухли еще больше, глаза его, и так похожие на мышинные норки, все больше уходившие за жирные веки, сузились окончательно. Его необъятное, величиной с круглый стол лицо не выражало никаких чувств – ни удивления, ни злости. Даже проблеска сожаления, каких-то сомнений, подозрений незаметно. А ведь должен был возмутиться от того, что какой-то замызганный шофер командует, словно свалился на их головы с божьих небес.

Он даже не задает вопрос, откуда вдруг взялось какое-то комсомольское собрание, почему он говорит об этом сейчас, а не до этого? Наконец, почему он, Уразмаганбет, приехавший на свидание с невестой и с ее родителями, должен посадить ее, Жамал, рядом с кем-то и отправить бог знает куда?! Как видно, все это его не волнует, потому что он просто ничего не понимает, не вдумывается ни во что. Смотрит по-прежнему высокомерно, надменно и все.

«Важничай, важничай!» – злится Жахан, варясь в котле своей ярости.

Он перевел взгляд на Елемеса. Тот вышел, накинув на плечи свой верблюжий чекмень, отороченный зеленым бархатом, который обычно надевал, когда в доме важные гости. Чекмень то и дело спадает с плеч. Табунщик тоже не выражает никакого недоумения, или просто не подает вида. Кто знает, о чем он думает, что таится в его вороватых глазах. А пускай думает, о чем хочет... Жахан все равно не отсупится от задуманного. Лишь бы Жамал не спасовала.

Круглое лицо Бледносерого Елемеса начало вытягиваться. В том месте, где должны быть скулы, заиграло, будто кто-то тыкал изнутри палкой. Но он не сделал ни одного движения. Или Жахан не заметил?

Нет, Бледносерый никак на него не среагировал даже и не чихнул...

Чем же объяснить такое безразличие и бездействие двух здоровенных мужиков при таком необычном обстоятельстве? Напряженная готовность Жахана к скандалу, даже, может быть, к драке, сменилась еще более неприятным недоумением. Почему они, услышав его сообщение, даже не шелохнулись, не возмутились? Ладно, пускай этот полоумный: Уразмаганбет ничего не смыслит, но почему молчит Елемес? С чего это его хитроумные глаза, которые чувствуют, замечают, видят скрытое даже под семью слоями земли, ничего не подметили? Почему не задевает его отцовской чести наглые слова: «Увезу твою дочь на комсомольское собрание» и то, что ранее понуро бродивший за ним, словно верблюжонок на поводу, безродный тьюфяк теперь стоит перед ним высокомерно? Куда делась привычная саркастическая улыбка Елемеса, которая никогда не сходила с его губ, теперь словно прикле-

енная, ведь обычно, покажи ему самого бога, он и то нашел бы у него какой-то недостаток. А сейчас он молчит.

И пусть попробует улыбнуться... Если после этого Жахан не «посчитает» все его тридцать шесть зубов и не положит их ему на ладони, то пусть лучше земля не носит его – бывшего табунщика. Пусть лишится звания джигита тот, кто не сможет хотя бы в кровь разбить рот подлеца, который встал поперек пути.

Чем ходить мямлей, называя себя джигитом и носить шапку набекрень, пусть эту шапку сменит платок базарной торговки. Если сейчас он упустит свое, если даст этим мужикам, один из которых самоуверенный придурок, а другой скользкий проныра, возможность добиться их гнусной цели, тогда пусть Жахан навсегда распрощается с шапкой. Лишь бы Жамал... не подвела, не бросила его к их ногам, пускай не проявит безволия... Он-то будет стоять на своем, а потом – будь что будет... Что скажут люди, что скажет закон – Жахану все равно. Он не может отдать, отправить Жамал, на седельном корджуне такой ничтожной бездари. Что по сравнению с этим люди, закон...

Апырау, что случилось с Бледносерым Елемесом? Он повернулся к дочери, уперся в нее пытливым взглядом, словно изучая, перевел взгляд на Жахана. И опять безо всякого выражения на лице, опять безо всяких насмешек, без его противной улыбочки? Нет, Бледносерый Елемес стоит как вкопанный, губы крепко сжаты.

– Наверное, будут ругать, если не поеду. И в прошлый раз собрание пропустила, – с трудом выговорила Жамал, не поднимая глаз. И скрылась за дверями юрты.

Жахан продолжал смотреть на Елемеса в упор, в глаза, ожидая его действий.

Из юрты вышла Торгын, за ней Жамал.

Однако никаких противодействий, скандала Жахан не дождался. Все пошли к машине. Не дойдя остановились. Елемес опять глянул на Жахана, будто собираясь что-то сказать. И опять Жахан не отвел глаз, смотрел на табунщика в упор.

Появилась Жамал, за нею вышла из юрты Торгын. Все пошли к машине. Не дойдя, остановились. Постояли молча.

Жахан открыл дверцу, запрыгнул в кабину, помог сесть Жамал. И тут лицо Бледносерого Елемеса стало пепельным. Его лукавые глаза, постоянно глядящие искоса, лишились блеска. Он смотрел на самоуверенного шофера, которому больше не быть его послушным подпаском.

Уразмаганбет стоял по-прежнему самоуверенный и безмятежный. Он только погрозил Жахану пальцем:

– Ты, парень, смотри! Береги ее!

Жахан нажал на педаль газа. Когда машина преодолела перевал, увидел подростка, который, развевая подол чекменя, скакал на кауром жеребце к разбредшемуся табуну, пасущемуся в долине, похожей на чашу. Все было точно так, как с ним, табунщиком, совсем недавно.

Уши Жахана уловили всхлипывание. Он резко обернулся – Жамал! Она плачет, слезы покатались по щекам.

Жахану стало жаль ее. «Эх, родной дом. Не может от него отречься. Даже когда отец чуть не связал ее и не отправил на крупе коня какого-то полудурака, лишь имя и отличает которого от животного. Ему захотелось вытереть девушке слезы, погладить ее, утешить. Но не смог это сделать хоть ехали только вдвоем, не смог даже шевельнуться, словно весь мир оставил все свои дела и устоялся на них.

Серая дорога, надвое разрезавшая черный вал, вытянулась в струну, словно вела их в неизвестность. Одинокая юрта табунщика давно скрылась за сопкой. Около нее мужчины, оставшиеся вбитыми как копье в землю. Все благодаря этой машине. Жахан ласково погладил руль правой рукой.

...Да разве Елемес и Уразмаганбет, и сам Шайхат смогут раскрыть рот против него, когда весь аульный люд молится на небо, ожидая его приезда, желая ему, Жахану, благополучия... Остались же стоять, не посмев раскрыть рот.

Обрубки черных валов, которые сопровождали его сюда, теперь лежали настороженно подняв камни-головы, интересуясь, что же он смог совершить.

Жахан жал на газ. Валы и сопки, перевалы бескрайней степи, которые от стремительной скорости вмиг слились в необъятное ковыльное море, по которому одна за другой бежали седые ковыльные волны, они бежали откатываясь назад, оставаясь за машиной. Жамал теперь словно

удивлялась, глядя в боковое окно, безмерно удивлялась этому несравненному чуду, которое оставалось позади, наверное, тысячи раз, переливаясь и кружась, не отводила широко раскрытых глаз. Повисшие на длинных загнутых ресницах прозрачные слезы уносил встречный ветер, несущийся в открытое окно, катя их как бусинки.

На только что бледное лицо девушки снова прихлынула кровь и ее лицо алело, сияя от безмерного ликования. Ее пухлые сочные губы горели пламенем. Белая нежная шейка изгибалась, как у горянки, пьющей воду. Ему хотелось погладить ее по волосам и приласкать, прижимая к груди. Но руки и ноги будто приклеенные к педали и рулю...

Жахан не знает, где они остановятся, у кого он приютит свою Жамал. Но он убежден – желание его исполнилось и в этом мире нет никого счастливее его.

Машина уже давно оторвалась от земли, парит в заоблачных высотах. Стремительная скорость несет их на крыльях счастья. Еще немного и он мягко опустит машину на середине какого-нибудь ошарашенного аула. И тут не только дети, но даже и взрослые будут удивленно цокать языками. Те, которые сочувствуют ему и любят, скажут: «Все так и должно быть! Не зря говорят, от благословения народа человек расцветет. Разве ежедневно сыпавшееся «спасибо» могло оставить его без божьего внимания!» – И все будут ликовать. А один-два недруга скажут: «Разве на глаза щедрого бога попадет кто-нибудь, кроме вчерашнего табунщика. Ну и льется на него благодать через край. Смотрите, даже первая красавица аула досталась ему», – посудачат они.

Эх, посмотреть бы на Нуркена. Отбрыкивающийся как злой бык при виде Жахана, этот тип, наверное, лопнет от зависти, когда он выйдет из кабины, взяв за руку красавицу Жамал. Пусть лопнет. Жахан возьмет Жамал под руку так, как видел в кино, в райцентре, и гордо пройдет прямо в контору аулсовета.

У подножья холмов разбросанный по мелким ущельям аул. Жахан повернулся к Жамал – у ней горели щеки. Покусывая нижнюю губу, она что-то тихо шепчет. Застенчиво глядя под ноги, Жахан прикасается рукой к ее плечу.

Машина спускается с высокого черного вала на краю аула. Жамал глядит с опаской в глазах.

«Ай, что ни говори, судьба девушки нелегкая, – сообщает Жахан. – Наверное, сидит и думает, какая жизнь ее ждет, когда она так внезапно, без их согласия оставила воспитавших ее родителей, ушла, доверив себя чужому человеку. Не печалься, душа Жамал. Лишь бы были целы мои руки и ноги, голова на плечах, и ты не будешь жить хуже любой своей сверстницы. Только ради того, что без слов поняла меня и ради меня посадила в лужу проныру вора, старающегося обмануть даже свою тень, хоть отца родного, и того как пустая бочка из-под бензина, негодая, обросшего поганым жиром, нажившегося на барахлах, обрывках кошмы да костях, разгрызанных собаками. Я никогда не стану перечить тебе, исполню все, о чем бы ты ни попросила, до самой смерти буду носить тебя на плечах. Поверь моим словам, душа Жамал, как словам святого».

Девушка его понимала, это было видно по ее благодарному взгляду, она чувствовала его расположение к ней. Она показывала свои белоснежные зубы, алые как свежие ягодки губы и словно говорила: «Я поняла, я тоже не забуду твое мужество, которое ты показал в такой решающий момент, проявил себя настоящим джигитом. Я благодарна тебе за твой подвиг, когда ты, не раздумывая, вынес меня из огня несправедливости. Этого не может сделать любой. А ты смог. За это я тоже буду почитать тебя до самой смерти. Мало джигитов, которые подобно тебе поставили бы в один ряд со своей жизнью девичью судьбу». Ему даже казалось, что она полна желания заявить: «Для меня нет большего счастья, чем опереться на тебя, прожить вместе и уйти из жизни вместе с тобой».

Ай, до чего прекрасны ее смородиновые глаза! Не поцеловать ли, не обнять ли... В ауле он не сможет этого сделать, утолить жажду, прижать ее к себе и целовать. Там же люди...

Перед глазами зарябило, в горле пересохло, по телу побежала дрожь. Никогда прежде не переживал он такого состояния. Вроде бы не дрожал и тогда, когда готов был умереть, замерзнув в степи на белом снегу. Если еще немного подождет, не послушается нетерпеливого чувства, отвергнет, лишится ума. Он уже напрочь забыл об извилистой дороге под колесами, о руле перед собой, повернулся к ней. – «Что будет, то будет». Наклонился

над цветущей алым лепестком девушкой, над ее дрожащими чуть раскрытыми пухлыми губами... Но в ушах несмелый... слабый... голос... шепот:

– Сам он... в... ауле?

Жахан отдернул голову. О ком она? И что это «в ауле»? Кто это «сам он?».

Он посмотрел ей в глаза. Недоуменно посмотрела и Жамал. Ей показалось, что он не расслышал. Проговорила, приглушенно, выдавливая слова.

– Нуркен... О нем я... В ауле ли он сам?

Лежащую на педале ногу Жахана схватила судорога. Он невольно застонал. Машина, переваливаясь с боку на бок, соскочила с дороги и встала. Гул мотора, свист встречного ветра оборвались. Жахан опустил на руль, всем телом повис на нем. Повернул посеревшее, как от пыли, лицо к девушке, посмотрел на нее обреченно. Жамал посмотрела на него. Ее сверкающие большие глаза расширились.

– Жахан, что с тобой?

Вместо того, чтобы вскрикнуть от испуга, с девичьей жалостью кинуться к нему, обнять, обласкать, она отодвинулась, забила в уголок, закрыла руками грудь, крепко сжала колени. Плечи и подбородок тряслись.

Горячая кровь, которая только что фонтаном билась в молодецком сердце Жахана, разливалась по всему телу, вмиг отхлынула, грудь его кто-то полоснул ножом, кровь высосали жадные барханы, все тело начало леденеть. Он изо всех сил дергал ручку дверцы. Дергал остервенело, как будто оказался в пламени пожара. Дверца, наконец, откинулась. Волоча ноги, он вышел из кабины. Белый пар валил из радиатора. Постоял растерянно, не понимая, что случилось. Наконец сообразил. Преодолевая вдруг нахлынувшую усталость, волоча ноги, кое-как дотянулся до висевшего на борту кузова резинового баллона с водой. Залил воду в радиатор. Зашел в кабину и сел на место. Не сел, упал, обнимая руль. Вдоль крутого спуска, который виднелся впереди, по дороге катились, подгоняемые ветром шары курая, кругом мертвая, беззвучная тишина и неподвижность. Лишь одинокий кустик чия, поодаль, будто в недоумении качает ветвистой головой.

Стиснув зубы, Жахан нажал на стартер. Машина дернулась, как захромавшая лошадь, выбралась из оврага,

двинулась с места, побежала раскачиваясь, потащилась еле-еле, подобно черному жуку, кое-как волоча свою тяжесть.

Так, воловьим шагом добрались до окраины аула. Тем же шагом доползли и остановились около почты. В окошке, величиной с ладонь, показался унылый, отрешенный Нуркен. Не обратив никакого внимания на машину, он нехотя поднялся с места, волоча ноги вышел на улицу. На крыльце шевельнул губами, что следовало принять за приветствие. Жахан даже и этого не сделал. С привычным равнодушием Нуркен бросил в кузов два бумажных мешка. С грохотом кинул еще два деревянных ящика. Выпятив губы, подошел к кабине, не поднимая глаз. Сунул Жахану желтый пакет. Затем отвернулся, показав взлохмаченный затылок. Протягивая руку к высохшей певучей сосновой двери почты, обернулся, зло посмотрел на Жахана, словно говоря: «Чего стоишь? Дул бы отсюда». И тут глаза его так и застыли, сам по себе раскрылся рот. Рука на дверной ручке начала медленно падать.

Жахан скосил глаза на Жамал. Только что алевшее лицо девушки побледнело, словно румянец высосала пиявка. Крепко сжимая в кулаке кончик головного платка, она уперлась глазами в пол.

Сердце Жахана кольнуло. Он перевел взгляд на Нуркена. А тот стоял остолбенело. Удивление в его глазах исчезло, теперь в них искрился холодок и было непонятно: то ли это злость, то ли ненависть. Только что уныло переставлявший ноги молодчик обрел свой привычно высокомерный нрав. И без того вздернутые губы вовсе раздвоились. Весь его вид говорил о том, что он возненавидел, отрекся и плюнул не только на нахала, но и на Жамал, и на весь мир.

Жахан вскипел:

— Ей, чего стоишь, задрав хвост, как козел, приметивший собаку? Не узнал, что ли? Жамал приехала к тебе! — гаркнул он на Нуркена.

Щеки девушки снова зарделись. Она закрыла их руками. Не зная, верить или нет, Нуркен, нелепо перебирая ногами подошел к машине, кое-как нашел ручку дверцы. Жамал одним рывком оказалась на земле, прижалась лицом к его груди.

Смотреть на эту пару у Жахана не было сил.

Машина сорвалась с места, скрылась за перевалом.

Жамал оторвала голову от груди парня, застенчиво посмотрела на него, улыбнулась белыми зубами. Отвернулась, глянула на дорогу, уносившую машину.

Стоявший до сих пор, как шест, Нуркен забыл о своей тяжеловесности, бегом побежал за Жаханом, спотыкаясь и махая рукой.

А Жахан остервенело жал на акселератор. Машина выскочила на большую укатанную дорогу, ведущую в район-центр. Вдруг поднявшийся злой ветер, врывающийся в открытое окно, безжалостно бил по лицу. Как будто невидимый некто мстил ему за бог весть когда нанесенную обиду и колотил его без устали. Но Жахан не отворачивался, чем больше было ударов, тем больше он получал удовольствия. Словно острая плеть ветра, хлеставшая его по лицу, принадлежала ему самому, будто он бил самого себя.

Клубок ярости, до сих пор распиравший грудь, взорвался, он зарыдал громко по-мужски. Отчего, почему? Он этого не понимал и не хотел понимать. Зачем? Ему больно, просто больно, грудь раздирает боль. Казалось, что кости, он весь сейчас разлетится на куски. Почему? от чего?! От злости, ярости? Но почему ярость?.. Да потому... Любил он, и все, любил!!! Любовь эта до самой смерти камнем будет давить на его грудь! Ревность? Или жалость от потери девушки, которая влила в его молодую беспечную жизнь незнакомое до тех пор горячее сияние, да что там – жаркое пламя, которое, как он думает, никогда не потухнет в его душе.

По лицу грязью катится горький, ядовитый пот или слезы, он их не замечает. Он подставляет лицо свистящему ветру. Чем злее бьют его лоб растрепанные волосы, подстегиваемые ветром, тем лучше. Говорил ли ему сегодня председатель, чтобы он съездил в район или нет, какие он задания давал – он этого не помнит.

Но что такое? Кто-то отпрыгнул на обочину? Кто-то закричал? Он услышал, высунул голову из открытого окошка. Поодаль стоял его однокашник по школе Косжан. Закатав штанину выше колен, повесил на шее рваные ботинки, связанные шнурками. Весь облик школьного забияки, когда-то смешно подражавшего директору, неважен, он весь обтрепан, замызган, измятое лицо, пот градом.

В ауле после Шайхата Жахан опасался этого паренька. Его уверенная походка, важный вид, значительно произносимые слова вызывали у ребят насмешку, они хихикали, показывая на Косжана пальцем, а Жахан сидел в стороне, завидуя ему.

Прошло уже сколько лет, как Жахан покинул школу, но увидев Косжана, снова почувствовал робость перед ним. Быстро стряхнул пыль с груди, вытер лицо платочком, глянул в смотровое зеркальце. В нем пожилой человек с растрепанными как у чуть не утонувшего щенка волосами, красноглазый, с ввалившимися щеками, глубокой бороздой на лбу. Таким он выглядел. Тоже измызганным.

Подошедший Косжан, здороваясь словно не с ним, а с тем пожилым человеком в зеркале, уважительно протянул:

– Ассалаумагалеюкум!

– Аликсалам – бормотнул Жахан. Его голос прозвучал устало. Только теперь Жахан понял, – в зеркале он видел самого себя.

– Иди, садись, подброшу до аула. – И осмотрел однокашника.

Разве Косжан поторопится. Ну, конечно... Важно открыв дверцу, он переваливаясь, поднялся на подножку. Как и в прежние времена, подобно тому, когда усаживался на место, получив «пятерку», переваливаясь, уселся рядом.

Машина тронулась. Жахан чувствовал какое-то неудобство. Он вроде как робел, снова как там, за школьной партой, заискивающе посматривал на Косжана, как будто спрашивая – не напутала ли я чего в ответе учителю. И сейчас чувствовала себя не в своей тарелке.

А Косжану и дела нет. Он смотрит на стремительно откатывающиеся назад валы, глядит на дорогу, которая несется навстречу и, извиваясь, наматываясь на колеса, убегает за спину. Летучая скорость бега машины, начисто согнала с бледного лица лопоухого Косжана пудовую важность. Звезда школы, всегда старавшийся быть во всем похожим на взрослых, передовой ученик вдруг загорелся ветреным легкомыслием, безоглядным детским восторгом, заставляющим во все горло кричать. От восторга он разинул рот, несколько раз стукнулся головой о потолок

кабины, вскакивал всякий раз, когда дорогу перебежали тушканчики.

И Жахан удивлялся самому себе. В опустошенной его груди, только что готовой было разорваться на части, как будто вновь загорелся озорной огонек. Он давит на газ. Постоянно пребывавший в школе хмурым, надменный Косжан то и дело посматривает на него, словно прося, чтобы прибавил скорость. С каждым его взглядом собиравшееся в жахановской груди озорное чувство начинает играть все сильнее и сильнее, словно растаял тяжкий свинец, лежащий на его сердце. Он вдруг вздохнул так громко, облегченно, всей грудью перекрыв рев мотора.

Косжан оглянулся. Разве может так вздыхать человек, который днем и ночью мчит на такой машине, которая своей скоростью глотает дорогу. Ему бы надо быть веселым, хохотать да бушевать, чтобы аж земля трещала.

Жахан усмехнулся. На его лице появился светлый, добродушное выражение, как у ребенка, которого только что успокоили и обрадовали. Он ликовал потому, что в мире еще есть много такого, чего не знает этот парень, а он успел познать то, чего Косжан еще не знает и не ведает — любовь и разочарование в ней. Он нажал на газ, и мир снова закружился в веселой пляске...

Вечерняя прохлада ласково гладила его тело и душу. Посмотрел в небо. По правую сторону от заходившего солнца появилась луна. Она не лежала скрюченной, жалкой, родилась тонко, красиво и нежно, подобно серебряной серьге в ухе невинной красавицы. Под только что родившейся луной лежала, играя наперегонки двумя ленточками, подобно белым шелковым вожжам, прямая накатанная дорога, по которой легко катила машина, его машина, основа, теперь главная опора в его жизни!

Перевод А. Сергеева

РАССКАЗЫ



Абиш с матерью
Айсауле-апа. 1992 г.

Среди внуков. 1998 г.



Внук Абул. 1988 г.



Абиш Кекильбаев и Абдижамил Нурпеисов. 1991 г.



Абиш Кекильбаев и академик Мухтар Алиев в Нью-Йорке. 1988 г.



Абиш Кекильбаев, Чингиз Айтматов, Кенжегали Сагадиев,
Зейнулла Кабдулов. 1995 г.



На Кастекском джайляу. 1988 г.



Абиш Кекильбаев и Мырзатай Джолдасбеков.



Прогулка в Медео. 1993 г.



В кругу друзей. Тулен Абдиков, Марал Скакбаев, Манаш Козыбаев, Нурлан Оразалин, Анатолий и Наталья Ким, Абиш и Клара Кекильбаевы, Саутбек Абдрахманов, Сакип Керельбаев.



Писатель среди братьев-фронтовиков Мукура Ниязова и Бисена Жанбирбаева. 1999 г.



Семья Кекильбаевых на мангистауской земле. 1999 г.



У священного источника Канга-Баба.



Поэт Дуйсенбек Канатбаев и Абиш Кекильбаев.

ВСТРЕЧНЫЙ-ПОПЕРЕЧНЫЙ

Сначала он объявился в городе, в том самом, что раскинулся у моря. И не будь этого моря, еще неизвестно, очутился бы он в наших краях или нет. Впрочем, думаю, все равно очутился бы. Потому что ему надо было собственноручно передать в политчасть простреленный партбилет Ахата-куке, моего старшего брата. А в билете, оказывается, было вписано название того самого города, который раскинулся у моря. Сойдя с парохода, он сразу же направился в военный комиссариат. И там, покончив с делами, расспросил, как добратся до нашего аула.

День ждал попутной подводой – не было. Два дня ждал – не было. Три дня прождал – не было. На четвертый день, разозлившись, отправился пешком. На окраине города наткнулся на столовую. Заказал порцию украинского борща – не наелся. Заказал еще одну – не наелся. Заказал третью тарелку – наелся. «С тех пор мне больше ни разу не удалось похлебать борща», – вспоминал он потом, и при этом обязательно сглатывал слюну. Глядя на него, и я каждый раз облизывался. Он – потому что хоть и один раз, но все же от пуза наелся диковинного борща. Я – потому что не только сроду его не ел, но до этого даже не знал, как он называется.

Так вот, наевшись до отвала, он решил немного отдохнуть в тени возле столовой. Снял сапоги, перемотал портянки и в это время увидел, как на шелудивую, худющую рыжую суку, обнюхивавшую отбросы, яростно набросился вислоухий, с волчьим загривком, мосластый черный пес.

Вцепился в глотку несчастной, подмял под себя, того и гляди в клочья разорвет. «Прочь, пааадлессс!» – закричал он рад, пес – ноль внимания. Еще раз крикнул, пес – хоть бы что. В третий раз рывкнул – то же самое. Тогда он снял ремень с большой, с кулак, медной пряжкой, ша-рахнул разъярившегося пса по морде – тут нахалюга опешил, заскулил и дал деру.

Путник закинул вещмешок за плечи, выбрался на большак и потопал в сторону нашего аула и шел, целый день шел, а перед заходом солнца поднялся на бугорок у обочины дороги, сел, закурил. И тут услышал: кто-то за спиной тихо, жалобно так заскулил. Схватив ремень, лежавший рядом, путник оглянулся – неподалеку сидела на задних лапах та самая рыжая сука.

Дальше пошли уже вдвоем – человек и собака. Шли день – до нашего аула не дошли. Шли еще день – не дошли. Шли третий день – не дошли. На четвертый день, вечером, уже в сумерках увидели: в голой степи горит огонек. Подошли. На треноге побулькивал казан. Рядом темнела юрта. Сунул было путник голову в проем двери – никого нет. Не решаясь шагнуть через порог, постучал кулаком по притолоке. «Можно?» – спросил раз. Ответа нет. «Разрешите!» – подал голос второй раз. Молчок. В третий раз спросил – опять ни звука. «Что ж... делать нечего», – решил он про себя и уже собрался было уйти восвояси, как услышал за юртой протяжный стон верблюдицы.

Он быстро поправил пилотку, одернул гимнастерку, ловко отогнав складки под ремнем назад, и вытянулся. Сначала он увидел, как, выплыв из густеющей темноты, блеснуло в отсвете огня ведро; потом забелел огромный тюрбан, накрученный на голову; наконец, показалась светливая старушонка, спотыкавшаяся о подол длинного, просторного платья. Заметив незнакомца, старуха в испуге застыла. Видя, как испугалась старуха, еще напряженнее вытянулся незнакомец. Так они и стояли, уставясь друг на друга, а чуть в сторонке попеременно косилась на них в изумлении приبلудная рыжая сука.

К счастью, в это самое время вернулся с пастбища старый табунщик, мой дядя Даир, старший брат мамы.

Тут только его старуха и пришла в себя. Убедившись в этом, как бы очнулся и незнакомый путник.

Втроем вошли в юрту. Незнакомец сразу сел на боль-

шую деревянную ступу в правом углу. Дядя Даир, раздеваясь, пригласил его пройти на почетное место – не идет. Бабушка, расстилая дастархан, тоже пригласила гостя на почетное место – не идет. Так и сидел на деревянной ступе, как истукан. И даже чай пил, все так же сидя в углу.

В это время за юртой послышался топот, кто-то спросил:

– Эй, есть кто живой?

– Заходи, кто бы ни был, – ответил дядя Даир, продолжая прихлебывать из чашки горячий чай.

В юрту вступил военный в капитанских погонах. Незнакомец, неподвижно сидевший на ступе, заполошенно вскочил, вытянулся в струнку, и, приставив пятерню к виску, звонко отчеканил:

– Товарищ капитан! Демобилизованный гвардии ефрейтор Казиев Самат разыскивает родителей гвардии старшего лейтенанта Ахата Бекбаева, погибшего смертью храбрых на войне!

Дядя Даир и его старуха, ничего не понимая, растерянно переглянулись.

– Ясно. Сядь! – вяло отозвался капитан.

То, оказывается, был нынешний бухгалтер Бекен, возвращавшийся с фронта. До глубокой ночи просидели мужчины за тихой беседой.

А на другой день, после обеда, дядя Даир неожиданно нагрянул в наш аул. С ним был чернявый, щуплый незнакомец. Он смущенно переминался с ноги на ногу, без конца дотрагивался до крохотной пилотки на макушке и поправлял широкий, с медной пряжкой ремень.

Должно быть, внушения дяди Даира возымели действие на незнакомца: у нас он уже не сидел на ступе в углу, опершись на деревянный пест. Переступив порог, он разулся, прошел на почетное место, уселся чуть ниже дяди Даира, поджал под себя ноги – маленький, невзрачный, будто бугорок или кочка в степи. Заметно выцветшую, в белесых от пота разводьях пилотку сунул под колено. Достал из кармана металлическую расческу, попытался причесать, пригладить жесткие, как скребок для чистки казана, густые волосы. Примятые пилоткой, они, едва их коснулась расческа, вдруг встопорщились, грозно оцетинились во все стороны. Под непробиваемым ежиком с трудом можно было различить узкую полоску лба. Ну, а

подо лбом, как известно, полагается быть глазам. Глаза незнакомца были похожи на две крохотные пуговички, расположенные рядом. Не было даже намека на белки глаз, или на красные прожилки – ровно поблескивали лишь маленькие черные зрачки. Словно не желая привлекать к себе внимания, на маленьком лице чуть бугрился плоский носик, а под ним, где положено быть усам, опять-таки торчком росли редкие, не более десятка, щетинки. Вмиг собравшиеся у нас аулчане, как ни пытались, ничего больше другого не могли разглядеть в незнакомце, скромно сидевшем возле дяди Даира.

Между тем дядя Даир приказал мне подать кумган с теплой водой и принялся, по обыкновению неспеша, ополаскивать руки. Потом неспеша плеснул две пригоршни воды в лицо; потом неспеша потер нос; потом неспеша вытерся большим полотенцем. Потом неспеша расспросил про житье-бытье всех в ауле. Потом неспеша расспросил про хозяйские дела. Потом неспеша пил чай. Потом, когда убрали скатерку-дастархан, снова попросил подать кумган.

Чем медленнее становились движения дяди Даира, тем заметнее ерзал чем-то потревоженный гость. Глазки-пуговки забегали-зашныряли туда-сюда, то устремляя маслянистый взгляд на необъятное лицо табунщика, то поспешно отворачиваясь. Обратили ли на это внимание другие – не знаю, но я обратил, и меня почему-то разбирал смех.

Должно быть, дядя Даир тоже догадался о беспокойстве гостя и вскоре заговорил. Речь свою он начал издаleка. Мой дядя слова роняет медленно, веско. Вообще он больше всего на свете презирает спешку. Если при нем кто-нибудь начинает суетиться и выказывать нетерпение, то такого, кто бы он ни был, дядя Даир отчехвостит самыми последними словами. Поэтому никто не осмеливается торопить моего степенного дядю. Но при этом вот что странно: самый быстрый скакун в округе – у моего медлительного дяди. Самая резвая собака – у моего медлительного дяди. Самая вспыльчивая камча, то и дело гуляющая по спине старухи, – у моего медлительного дяди.

Дядя Даир сидел сейчас на коленях. Глаза его выпучились и холодно поблескивали. Жесткие усы встопорщились, концы их грозно и круто задрались. Слова в нем

клокотали. Он говорил неистово, яростно. Он хлопал длинными, обожженными степным солнцем ресницами и говорил. Он потюкивал черенком плети себя попеременно по коленям и говорил. Он вытирал большим полотенцем обильный пот со лба, смахивал светлые струйки широким, небрежным жестом и говорил. Он ловким щелчком корявых пальцев сбивал зеленых мух на войлочной подстилке и говорил. Он говорил... говорил... говорил... Серые, будто с налетом соли, глаза дяди Даира метали искры, кустистые брови устрашающе сошлись на переносице. Казалось, он вступил в поединок с невидимым лютым врагом, затаившимся не то в укромном уголке под семью пластами земли, не то в недоступной выси за шестью слоями неба. И еще чудилось, что если этот злодей ненароком попался бы сейчас дяде Даиру в руки, он рязорвал бы его в клочья.

Через некоторое время дядя Даир будто подломился: голос его зазвучал глухо и скорбно, словно он прощался с самым дорогим человеком. Он закрывал глаза, безутешно покачивал головой. Теперь он не пот со лба вытирал большим полотенцем, а слезы на глазах. Вдруг дядя Даир, как-бы обессилев, оборвал речь, распахнул сильно покрасневшие глаза, оглянулся вокруг. Тогда и я покосился по сторонам и с недоумением увидел, что все... всхлипывают, всех душат слезы. Гость весь сжался, сник, будто придавленный к земле. Голова свесилась на грудь.

Как только дядя Даир закончил свою длинную речь, все враз завyli на разные лады. Дряхлая моя бабушка, кое-как сидевшая возле сундука, обложенная с трех сторон тремя подушками, обвила шею папы. Грузная, крупная телом мама, одна занимавшая все пространство, отведенное для домашней утвари, обняла дядю Даира. А Жазира, моя женге, скромно опустившаяся на одно колено возле меня, закинула руку в браслетах на мою шею. Плакали навзрыд, содрогаясь телом, безутешно. А я ничего не могу понять, пытаюсь изо всех сил вырваться из объятий Жазиры. Мне с трудом удалось вывернуться из подмышки и посмотреть в сторону гостя. Он изо всех сил прижимал пилотку к глазам. Плечи его вздрагивали.

Отпустив дядю Даира, мама обняла теперь гостя. Маленький, щуплый солдатик, словно ребенок, утонул, исчез в могучих объятьях мамы. Ее скорбному причитанию теперь вторил его отрывистый, как кашель, плач. Потом,

все так же, рыдая, стали попеременно обнимать гостя и папа, и бабушка, и тетушка Жазира. Тут мигом сбежались аулчане и тоже с плачем, с горестными воплями принялись обнимать одного за другим всех членов нашей семьи. Я выскочил во двор, побежал к песчаному холмику за аулом и там, в укрытии, чтобы никто не видел, тоже заплакал. Плакал долго-долго, слезы лились сами по себе. И еще я боялся, что ребята увидят меня, плачущего, и засмеют, и потому скрывался по лощинам, за бугорками и все плакал, плакал, никак не мог успокоиться. Пока не зашло солнце, пока не стемнело, я так и просидел в своем укрытии на холме, очнулся оттого, что рядом будто кто-то робко фыркнул. Я вскочил. Худющая, все ребра на виду, рыжая сука, поджав меж задних ног тощий хвост, подползла ко мне на брюхе и боязливо лизнула мою ногу.

Вместе с собакой я отправился домой. Скорбный плач утих. В земляной печке, жер-ошаке, перед нашей мазанной горел огонь. Там толпились все женщины аула, а все мужчины собрались в нашей юрте. Теперь они плотно окружили не дядю Даира, а щуплого незнакомца. Дядя Даир внимательно слушал, низко опустив голову на грудь. Если кто-либо неуместными расспросами перебивал рассказчика, дядя Даир строгим взглядом тотчас осаждал его. Когда я показался на пороге, он и на меня посмотрел так сурово, что я и сам не заметил, как юркнул к бабушке и сунул голову под ее просторную безрукавку.

Гость между тем продолжал рассказывать про что-то своим по-ребячески высоким, тонким голосом. А усевшиеся вокруг аулчане, казалось, были готовы его слушать до утра. Прижавшись к бабушке, крепко закрыв глаза, будто слушаю длинный сказ, я наострил уши. Не все было понятно, о чем рассказывал гость, но я все равно слушал, слушал. Сначала я слушал, сидя в обнимку с бабушкой. Потом слушал, прислонив голову к ее плечу. Через некоторое время слушал, положив голову на ее колени. Слушал-слушал. Глаза плотно закрыл, а уши наострил. У бабушки, должно быть, онемели ноги, она переложила мою голову на подушку сбоку, а я даже не шелохнулся, будто сплю, но все равно все слышал. И понял я вот что: наш гость – несомненно, смельчак, храбрец, герой. Одним словом, настоящий батыр. И еще я понял: мой старший брат, мой Ахат-куке – тоже батыр. Притом не какой-нибудь там рядовой батыр, а большой батыр, са-

мый-самый, ну, как Кобланды, как Алпамыс, как Таргын и Камбар, которые воспеваются в древних сказаниях. Так вот, мой Ахат-куке и этот наш с виду неказистый гость погнажи врага, не давая ему опомниться, от города Сталинграда за нашим синим морем, до самого Берлина, который, как я понял, находится за семьюдесятью перевалами на краю земли. Загнажи лютого, семиглавого дракона в его же логово и всыпали ему как следует. А он, и подыхая, продолжал сопротивляться. И в последнем сражении смертельно ранил моего Ахата-куке. Но все равно победили наши. Тот недавний большой праздник в нашем краю – с конными скачками, с борьбой силачей-палуанов, с песнями, – оказывается, проводился как раз в честь этой победы.

Слушая это, я не забыл, почему давеча так горько плакал. Слушая это, я и не заметил, как уснул на подушке возле бабушки.

Проснулся рано, на рассвете. Все еще спали, прямо на углу, впритык. Я взгляделся в лица: среди спящих не было ни дяди Даира, ни вчерашнего щуплого гостя. Я выбежал на улицу. Дяди Даира и след простыл. Не видно ни седла, ни уздечки. А в тени юрты на большой узорчатой кошме, под лоскутным сатиновым одеялом, что-то бугрилось. У изножья стояли рядом обтерханные, исцарапанные колючками и травами кирзовые сапоги. Я обрадовался и пока гость не проснулся, все ходил и ходил вокруг.

Когда солнце поднялось на длину конских пут, гость, наконец, проснулся. Увидел меня, присевшего на корточки у его изголовья, поздоровался и протянул руку:

– Ну, батыр, как дела?

Потом попросил принести воды, чтобы помыться. На правом бедре гостя явственно виднелся шрам. На левой руке, выше локтя, обозначилась ямка. От нее тянулись белесые рубцы. Маленький серповидный шрам был замечен возле ключицы.

Когда я его обливал ледяной водой, он громко фыркал и радостно восклицал:

– Ах, хорошо! Эх, благодать!

Узнав про гибель моего Ахата-куке, люди приезжали со всей окрестности, выражали соболезнование и читали поминальные молитвы. Несколько дней все только и смотрели щуплому гостю в рот, слушали его длинный и скорбный рассказ. Так прошел месяц. Потом еще один.

Вот однажды после утреннего чаепития гость долго беседовал с моим папой. Беседа кончилась тем, что папа решительно кивнул головой. Потом, оседлав коней, они съездили в колхозную контору. И уже на следующий день, после вечерней дойки, овец на выгон погнал не папа, а гость. Поили же отару мы втроем. Воду из колодца большой бадьей доставал папа, а мы с гостем пускали овец группами к деревянному желобу, чтобы они не передавили друг друга. Отныне я ни на шаг не отходил от гостя. Мне он сразу понравился. Он был не такой, как дядя Жанас, который раненым вернулся с фронта незадолго до окончания войны. Дядя Жанас не любит, когда я начинаю приставать к нему с расспросами: «Иди, зануда, играй», — отмахивается он от меня.

Жанас для меня не чужой дядя, а родственник. Правда, я так и не понял, какой. Но когда я выбегаю ему навстречу, он меня не подсаживает на коня. И не то что свою шляпу, а даже камчу свою подержать не дает. И обнять себя не позволяет, боится, что я его невзначай замараю. Когда он приезжает к нам, то подаст свою камчу, шляпу, белоснежный чесучовый китель, сумку только в руки одной Жазире-женге. И Жазира-женге торжественно принимает камчу, шляпу, белоснежный китель, сумку из рук дяди Жанаса и так же торжественно развешивает на верхние решетки юрты. После этого Жанас подходит к моей бабушке, сидящей возле сундука, опускается на колени и подставляет лоб для поцелуя. Потом шаловливо ткнет пальцем мою маму в бок и потребует подать миску остуженного айрана. Потом направляется в соседнюю юрту-отау для молодых, поставленную для моего Ахата-куке и тетушки Жазире, располагается на почетном месте и подолгу наигрывает на маленькой с длинным грифом, черной домбре. Ведет он себя так вольно и развязно, будто он, а не я самый младший и потому самый любимый и желанный в этом доме. И меня это просто раздражает.

Если откроешь его черную полевую сумку, с которой он почти не расстается, то увидишь в ней пучок разноцветных карандашей: красный, синий, желтый, зеленый, коричневый. Полный набор всевозможных цветов! А как приятно, как сладко пахнет дерево, из которого сделаны эти карандаши! Ноздри щекочет. А когда к этому аромату добавится запах совершенно белой, гладкой бумаги —

голова кружится, глаза туманятся. Для меня нет в мире лучших запахов, столь они желанны и в такой же мере недоступны. Да, эта драгоценность не для меня. Жанас даже не позволяет мне дотронуться до карандашей и белых листиков.

Когда он уходит в соседнюю юрту моего Ахата-куке, я подкрадываюсь к черной сумке, снимаю ее с решетки и начинаю разглядывать и обнюхивать каждый карандаш, каждый листик. Наша юрта сразу наполняется причудливыми запахами, которые, как я думаю, струятся только в райском саду. Едва доносится за дверью шорох, я мгновенно мешаю сумку на место. Только из-за этих карандашей и белых листиков я и увиваюсь вокруг Жанаса, хотя он меня и не подпускает к себе и даже отталкивает, прогоняет. Ну и пусть теперь не подпускает, жадина! Да пусть он сгинет с моих глаз! Пусть отныне не показывается не только в нашей юрте... не только в нашем ауле... не только на земле, но и на небе! Пусть, и вовсе провалится! Подумаешь! Обойдусь и без него. Теперь со мной везде и всюду дядя Самат. А с ним я нигде не пропаду.

Да, кстати, нашего гостя, верного боевого друга моего Ахата-куке, зовут Самат. Хоть он мне и никто, даже не родственник, как Жанас, а совершенно случайный человек, как говорят, встречный-поперечный, пришлый, но сразу достал из своего потертого вещмешка и блестящую трофейную тетрадку, и несколько цветных карандашей и все подарил мне. И пахли эти сокровища так, что рядом с ними запах карандашей и бумажек в сумке Жанаса смахивал на чадную вонь горелой кошмы. Поневоле поморщился. Но не только карандаши и тетрадки подарил мне Самат-ага, но и губную гармонику в придачу. Говорит, трофейная. Немцы сделали, значит. Подносишь к губам, чуть подуешь – такие сладкие звуки польются, что душа замирает.

Такое чудо не то что Жанас, но ни один из его предков до седьмого колена и видать не видал, и слыхом не слыхал.

С Саматом-ага мы теперь спим вместе на широкой узорчатой кошме в тени юрты. И пока не усну, я расспрашиваю, расспрашиваю его обо всем на свете, а он меня за это никогда не ругает, даже не обижается.

И рано утром, направляя отару к водопою, мы тоже все время, без передышки, ведем беседу. Водопой – один-

единственный на всю округу колодец в густых зарослях чия, растущих в узкой теснине возле пологой горы. Когда подгоняемая нами отара, вздымая клубы белесой пыли, спускается в низину по склону черного холма, мой папа, широко расставив ноги, дожидается на срубе колодца, уже успев наполнить продолговатое каменное корыто под ним весело серебрящейся водой. Едва почуяв желанную прохладу, измученные жаждой и наглотавшиеся пыли овцы, разом все, шалея, переходят на трусцу. Тут важно не сплеховать. Мы с Саматом-ага подбегаем с двух сторон навстречу отаре, швыряем в обезумевших овец комья глины, сгоняем в круг. Овцы, широко и вольно разбредшиеся но утренней прохладе по склону горы, мгновенно сбиваются в тесный круг, и мы их небольшими группами, но десять-пятнадцать голов отпускаем к водопою. В противном случае мой папа не успеет наполнить корыто водой, а ошалелые овцы могут затоптать друг дружку. Надо быть в это время особенно внимательным и бдительным. Иначе не миновать беды... Но даже в эти минуты мы с Саматом-ага умудряемся продолжать нашу бесконечную беседу.

К середине дня отара, наконец, напоена. Присмирившие овцы разбредаются по густым чиевым зарослям, наслаждаются покоем и прохладой. И для нас наступает желанная передышка. Мы – папа, Самат-ага и я – свежей колодезной водой ополаскиваем лица, руки, после чего садимся в тенечек колодца обедать. Главная наша еда – коиртпак, то есть кислая молочная закваска, разведенная свежим молоком. Обычно в бурдюке из козлиной шкуры мы храним острую, аж в нос шибает, кислую-прекислую закваску. Я нацеживаю свежего овечьего молока, перемешиваю его с прокисшим айраном и остужаю напиток в ледяной воде. Через некоторое время коиртпак в бурдюке становится прохладным, медовым, густым и жирным, точно весеннее молозиво. Достаточно опрокинуть в себя большую деревянную чашу такого напитка, как блаженная истома разливается по всему твоему телу, и тебя начинает клонить ко сну. А если разохотишься и выцедишь еще одну, а то и две чашки, то мгновенно покроешься испариной, и охватит тебя жар, будто внутри тебя раскалилась печка, и ты поневоле начинаешь ворочаться и кататься по траве. В таких случаях папа достает вместительной бадьей, сшитой из жеребьячьей шкуры, воды из

колодца и ка-ак окатит тебя разом, ты и вскакиваешь, как угорелый, начинаешь зубами выбивать дробь, и от недавнего снедающего жара и следа не останется.

Иногда коиртпак этот надоедает чабану, и тогда он грызет курт – твердые комочки сушеного сыра. А я предпочитаю горячее, вскипяченное молоко – особенно в степи, на свежем воздухе. Я знаю немало способов кипячения молока. Для этого не нужны мне ни котел, ни тренога. Достаточно иметь прочный бурдюк из козлиной шкуры. Летом, в нещадный зной, зарываешь бурдюк с молоком в раскаленный песок или в горячую рыхлую супесь; а осенью выкопаешь ямку, кладешь туда бурдюк, сверху разведешь костерок из хвороста или кизяка. Пока туда-сюда походишь, молоко в бурдюке вскипает, даже подрумянивается, сладкой корочкой покроется по краям. Тут уж слюнками изойдешь, пока дорвешься до нехитрого степного лакомства. Не могу судить, каким бывает борщ, о котором слышал столько восторженных слов, но должен заметить, ни разу не видел, чтобы Самат-ага, изведавший немало диковинных яств за свой долгий путь от Сталинграда до Берлина, когда-либо морщился от белой пищи в нашем закопченном бурдюке.

Напившись до отвала коиртпака, мы отдыхаем в тени у колодца. Папа сразу тянется к роговой табакерке с душистым табаком-насыбаем. Самат-ага сосредоточенно крутит «козью ножку», а я начинаю задавать ему вопросы, которым нет конца.

– Эй, болтун, уймись, наконец! – урезонивает меня папа. – Ты же надоел дяде – сил нет.

– Ничего-о... – добродушно улыбается Самат-ага. – Пусть спрашивает.

А я и не могу не расспрашивать, даже если бы и запретили. Вопросы так и прут из меня, и я не в силах молчать. Когда же все вокруг, казалось, сомлело от жары, мы обливаемся холодной водой, поднимаем отдыхающих в кустах овец и гоним отару на выпас. Язык мой и тут не знает покоя.

От восхода до захода солнца рот мой, можно сказать, не закрывается: все расспрашиваю и расспрашиваю. От восхода до захода солнца рот Самата-ага, можно сказать, не закрывается: все отвечает и отвечает. По ночам папа и Самат-ага стерегут отару попеременно. И когда рядом со мною нет Самата-ага, я не нахожу себе места,

ворочаюсь на узорчатой кошме ночь напролет. Зато в следующую ночь, придвинувшись к Самату-ага, я начинаю сыпать вопросами:

– Вот, смотрите, Самат-ага... каждую ночь на нашем небе зажигаются звезды. А на германском небе, что зажигается – кресты и свастика, да?

– Когда мы вступили и Германию, там, на небе, тоже всходили звезды.

– Как же так? Фашисты ведь, носят на груди кресты...

– Да, конечно... Но мы ведь фашистов истребили.

– А сколько вы вместе с моим Ахатом-куке уничтожили фашистов?

– Много.

– А по именам их не помните?

– О, еще как!

– Назовите тогда.

– Гитлер, Геринг, Геббельс, Риббентроп, Кейтель, Йодль, Гесс...

– Всего семерых только и прикокнули?

– Нет... Куда больше. Только других по именам не помню.

Я задумываюсь. Конечно, разве всех подлых тварей на свете упомнишь... Я смотрю некоторое время на роящиеся в темном небе звезды.

– Самат-ага, скажите, что больше – тысяча или миллион.

– Разумеется, миллион больше.

– А что больше миллиона?

– Миллиард.

– А больше миллиарда?

– Говорят, триллион.

– А больше триллиона?

– Больше триллиона, говоришь? Хм-м... Больше триллиона, наверное, «несть числа».

– А больше «несть числа»?

– Должно быть, «сколько песчинок на земле».

– Тогда что больше – звезд на небе или песчинок на земле?

– Больше, чем песчинок на земле, ничего не бывает.

– А если бы на нас пошел враг больше, чем песчинок на земле, мы бы победили?

– Конечно, победили, – уверенно отвечает Самат-ага.

– Я тоже так думаю, – говорю я убежденно. – У нас

ведь очень много смельчаков-батыров. Александр Невский, Минин и Пожарский, Суворов и Кутузов. Ушаков и Нахимов, Фрунзе и Щорс, Лазо и Пархоменко, Чапаев и Буденный, Ворошилов и Жуков, Конев и Рокоссовский, Баурджан и Малик, Тулеген и Каиргали, Маншук и Алия, а потом... потом вы и мой Ахат-куке...

– Да-а... батыров у нас много, – соглашается Самат-ага.

Молчим мы недолго.

– Самат-ага... а, Самат-ага...

– Говори, говори... не стесняйся.

– Скажите: кто сильнее – Суворов или Кутузов?

– Оба сильны.

– Ну, а если бы они вышли один на один, на поединок, кто бы из них взял верх?

– А ты подумай: стали бы выходить друг против друга батыры Кобланды и Алпамыс?

– Да с какой стати, если им нужно сражаться против джунгар и кызылбашей?!

– То-то и оно! Значит, Суворову и Кутузову тоже нечего между собой состязания устраивать.

– А ведь и в самом деле, – говорю я, немного подумав. Мне даже становится неловко. Как я сам не мог додуматься до этого? От смущения я некоторое время молчу, но уже очередной вопрос не дает мне покоя, уже и в гортани пощипывает, и вот-вот сорвется с языка. Я креплюсь изо всех сил, даже с боку на бок переворачиваюсь, но любопытство мое сильнее меня.

– Самат-ага, сейчас мы живем при социализме, да?

– Да.

– А что будет после социализма?

– Коммунизм.

– А после коммунизма?

Самат-ага вдруг надолго задумывается. Я уже думаю переспросить, но тут он говорит:

– Рахатизм...

Странное слово... рахатизм. Первый раз такое слышу. Что это еще за рахатизм? Райская жизнь, что ли? Соблазнительно, однако. Ах, скорее бы дожить до этого рахатизма! Если бы все-все люди на земле, сколько бы их ни было – хоть триллион, или даже больше, чем «несть числа», чем песчинок, – вдруг стали бы нашими друзьями, и у каждого из них в такой же сумке, как у Жанаса,

были бы не десяток цветных карандашей и две-три тетрадки, а больше чем «несть числа», даже больше песчинок, красивых и пахучих карандашей и ослепительно белых и гладких листиков.... И у меня бы тоже. Пусть у всех, всех будет. Только пусть не будет у одного лишь Жанаса. И когда он, протягивая ладошки, начнет у кого-либо клянуть цветные карандаши и бумагу, пусть никто ему не даст, а скажет: «Иди, иди, попрошайка. Прочь! И не прикасайся ко мне – замараешь!» Даже тетушка Жазира пусть его близко к себе не подпускает. И я, размечтавшись, четко вижу перед глазами опозоренного Жанаса, такого жалкого, ничтожного, с опущенной головой, с повисшими плечами, с дрожащими руками, с тощей, как пустая торба, сумкой на шее. Но в это самое время сон настигает и накрывает меня.

Наутро меня будят с превеликим трудом. Я едва не руками раздираю глаза, судорожно проглатываю чашку айрана и спешу к Самату-ага, который еще чуть свет выгнал отару на выпас.

Я одолеваю один перевал – никого не видно. Я одолеваю второй перевал – никого не видно. А уж на гребне третьего перевала непременно сидит, осторожно оглядываясь вокруг, рыжая сука. Увидев меня издали, низко опускает морду, будто принюхивается к чему-то, поджимает хвост между ног и трусцой семенит навстречу. Она – очень деликатная собака. Подбежав, не бросается дурашливо на меня и не тычется мордой в мои руки, а сдержанно трусит за мной, время от времени обнюхивая мои пятки.

Я поднимаюсь на вершину перевала, где только что сидела рыжая сука, и вижу, как неподалеку, в низине, вразброд пасется отара – черные, белые, пестрые овечки. На дальнем краю стришет чахлую траву чалая пастушья лошадка. В тени ее стоит, сверкая серебряной цепочкой на груди Самат-ага.

Когда я показываюсь на вершине ближайшего холма Самат-ага каждый раз оглаживает ладонью ослепительно сверкающую в лучах солнца цепочку на груди и достает из кармана гимнастерки плоские часы с крышкой. Когда открывают и закрывают крышку, часы издают приятный, мелодичный перезвон. Вообще Самат-ага часто поглядывает на часы. Смотрит, укладываясь спать. Смотрит, собираясь вставать. В последнее время он по своим часам

даже определяет, когда моей бабушке следует совершить очередной намаз.

В нашем доме никто не смеется над тем, что Самат-ага определяет время по часам. Я только два заметил, как тетушка Жазира прыснула и тут же закусила губу, когда Самат-ага привычно щелкнул крышкой сладкозвонных часов. Зато, слышал я, аулчане будто посмеиваются над этой причудой Самата-ага. «Должно быть, бедняга малость тронулся, – говорят. – Не с луны ведь свалился: с детства глотал баскунчакскую соль, насквозь прожарился на солнце, ходил в лохмотьях. Так у каких таких предков увидел дурень, что овец пасут и стерегут по часам?! Потеха да и только!»

– Ну как, батыр... выспался? – спрашивает меня Самат-ага.

Я мотаю головой. Это означает: да, выспался. Потом, как бы боясь, что растеряю все вопросы, роящиеся в моей голове, я, запинаясь, с ходу спрашиваю:

– Самат-ага... а, Самат-ага, скажите, кто из вас старший: вы или мой Ахат-куке.

– Ахат был старше. Потому я его всегда называл «ага».

– А ростом мой Ахат-куке был высок?

– Да, высокий. Среди офицеров нашего батальона он был самый рослый.

При этом Самат-ага весь вытягивается и расправляет плечи, будто речь идет о нем, а не моем Ахате-куке.

– А мой Ахат-куке был красивый?

– О! Красивее его джигита мне видеть пока не приходилось.

Теперь я испытываю гордость и вспыхиваю от удовольствия. И, словно почувствовав это, Самат-ага продолжает:

– Волосы его были черные-черные, смоляные, с блеском, как твои. К тому же вьющиеся. И лоб широкий, открытый, как твой. Только нос был не такой плосковатый, как у тебя, а прямой, аккуратный. Глаза круглые, большие. Э, что там говорить, видный был мужчина, пригожий!

Самат-ага вздыхает. И я тихо вздыхаю. Беседа наша обрывается. И без того маленькие глазки Самата-ага еще более сужаются, задумчиво глядят куда-то вдаль, куда не хватает моего взора, видно, туда, за те далекие-далекие перевалы, откуда он пришел недавно. Так он, застыв, стоит

долго-долго, наконец, как бы очнувшись, обводит взглядом разбредшуюся по лугу отару и по-чабански окликает ее: «Шайт! Шайт!»

В таких случаях я отчего-то робею и не осмеливаюсь задавать свои вопросы. Должно быть, Самат-ага замечает мое смущение и первым нарушает наше затянувшееся молчание:

– Эй, батыр, что же ты умолк?

– А ведь моя Жазира-женге тоже красивая, говорю я. – До чего же лицом белая-белая, а глаза черные-черные. А косы какие длиннющие!

Дальше у меня не хватает хвалебных слов, чтобы описать красу моей женге, и я вопросительно смотрю на Самата-ага. А он в это время задумчиво смотрит на гребень холма возле нашего аула, будто оттуда идет-плывет нам навстречу эдакой легкой, плавной походкой, с развевающимся подолом просторного белого платья и лентами, вплетенными в толстые косы, чуть-чуть улыбаясь большими лучистыми глазами, сама моя Жазира-женгеше...

– Да-а... – медленно говорит Самат-ага. – Женге твоя красивая... Стал бы разве наш Ахат-командир влюбляться в замухрышку?!

Влюбляться.... Любовь... Эти слова меня настораживают. У меня почему-то вспыхивают щеки и в горле становится сухо, будто мучит меня жажда.

– Ага, а что это такое – любовь? – спрашиваю я через силу.

Самат-ага тоже вдруг пунцовеет лицом. От растерянности он даже не знает, что сказать.

– Ну, это... как бы тебе ответить?.. Ну, вспомни сказания, которыми ты бредишь. Вот, к примеру, Кыз-Жибек и Тулеген, Камбар и Назым, Кобланды и Кортка... Помнишь? Так вот, они ведь... это самое... любят друг друга. Да, очень любят... Друг без друга жить не могут... страдают....

Самат-ага отчего-то вдруг опять умолкает. Вид у него печальный. И у меня пропадает охота продолжать этот туманный разговор, и я тоже молчу. Перед моими глазами возникают диковинные видения. Небольшое ущелье, где мирно пасутся овцы, превращается вдруг в полноводное прозрачное озеро. Вдоль берега едет верхом на вороном скакуне со звездочкой на лбу красивый путник. К

седлу приторочены подстреленные утки, гуси. Путник похож на сказочного батыра-охотника, который один кормил охотой аул в девяносто юрт. На краю этого аула в девяносто юрт мы с Саматом-ага, не отрываясь, смотрим па приближающегося путника. Вдруг со стороны аула на берегу прозрачного озера показалась миловидная, стройная девушка. Покачивая бедрами, она подошла к путнику, восседавшему на вороном коне со звездочкой на лбу, и ухватилась за стремя. Путник повернулся к девушке, и он мне почудился моим Ахатом-куке. Такой же рослый, прямоносый, круглоглазый, весь из себя видный, каким обрисовал его мне Самат-ага. А девушка ни дать ни взять – моя Жазира-женеше. На ней белое ситцевое платье, бархатная безрукавка, на груди комсомольский значок. Странно, однако... Ведь ни Камбар, ни Назым из древнего сказания в комсомоле не состояли...

– Твой Ахат-куке души не чаял в Жазире. Когда получал от нее письмо, ног под собою не чуял, головой, как говорится, едва до неба не доставал. Как только приходила почта, я сам первым долгом искал письма от Жазире. Почерк у нее крупный, ясный, каждая буква на виду, сразу бросается в глаза. Как увижу знакомый почерк на конверте, я – хватать! – и сую письмо к себе в карман. И потом хожу радостный, веселый, места себе не нахожу, будто не письмо у меня в кармане, а горячая праздничная лепешка за пазухой. Когда же, наконец, встречаю твоего Ахата-куке, я мигом суровею, сдвигаю брови, надуваю губы и начинаю выкладывать перед своим командиром все обиды-горести. Однако твой Ахат-куке вскоре разгадал мой уловку. Он поначалу выслушает мое ворчание, а потом говорит: «Знаю, знаю тебя, хитреца! По тому, как прикидываешься Асаном-печальником из древних преданий, надо полагать, что от Жазире пришло письмо. Не томи – давай сюда!» Ну, тут я уже не выдерживаю. Начинаю улыбаться.

И пока твой кукке погружается в чтение письма, вся власть переходит в мои руки. Начинаю готовить праздничный стол из всего того, что выдает старшина. И даже спиртягу раздобуду. Теперь уж я полный командир. Разливаю горячее по двум кружкам. Бульк-бульк-бульк...

Лицо Самата-ага светлеет, в глазах играют-вспыхивают озорные лучики, и весь он как-то сразу подтягивается, преображается. Жидкие усики маслянисто поблески-

вают. И я испытываю восторг и удивление, глядя на его сияющее от счастливых воспоминаний до черноты загорелое лицо.

Он падает в траву на краю отары, облокачивается, вытянув ноги, достает из нагрудного кармана папиросу. Потом начинает шарить по себе в поисках спичек и при этом неожиданно хмыкает.

— Знаешь, как ревностно оберегал я твоего куке от разных полковых девиц и молодых? О! Прямо-таки львом заступался за честь далекой Жазиры, которую и в глаза-то никогда не видел. Сразу после войны твоего Ахата-куке назначили комендантом небольшого немецкого городка. Ну, ясное дело, разве меня он оставит? Сразу же определил в комендатуру. Городок маленький, а забот по горло. То одного не хватает, то другого. С утра до вечера мотаемся мы с твоим куке по городку — с одного конца в другой. Изредка заглядываем в комендатуру, и тут ушам покоя нет. С раннего утра толпится народ. У всех какие-то неотложные дела. А к каждому посетителю следует относиться с вниманием. Мало что победители! Ведь не с народом воевали, а с извергом-фашистом. Так вот, одного бедность к нам приведет, другого на работу надо пристроить, третий приходит ради любопытства — на новую власть поглядеть хочет. Однажды пожаловала одна фрау... баба, значит. Уже, видно, в годах, но опрятная и смазливая. И не одна, а с дочкой: красивой, юной. О таких говорят: подуй и в рот клади. Потому, как одеты, как держатся, никак не скажешь, что страдают от бедности. Ну, значит, зашли эти фрау с дочкой к твоему Ахату-куке, а обратно не выходят. Полчаса жду — нет. Целый час жду — нет. Что за чертовщина! Вежливый, деловой разговор, чую, превратился в дружескую, вольную беседу. За дверью то и дело раздается веселый женский смех. Даже с какими-то игривыми нотками. «Ишь, как выпендривается фрау! — берет меня досада. — Будто не к коменданту, а к зятю в гости пришла». Проходит еще полчаса. Потом еще. А разговору за дверью конца — краю нет. Тут уж я не вытерпел. Одернул гимнастерку, поправил ремень, четким шагом вошел в кабинет. Рапортую: «Товарищ старший лейтенант! В авточасти приостановлена работа из-за отсутствия горючего. Срочно просят вашего содействия». И при этом делаю строгое лицо.

Да-а... Твой куке был нетерпелив, решителен. Он тут

же вскочил. Белокурая фрау и ее смазливая дочка, вольно рассевшиися на кожаном диване, тоже нехотя поднялись. Обе разом протягивают белые руки, а сами, шельмы, так и постреливают глазами на твоего куке. Особенно старается хорошенькая фрейлейн. Прямо-таки глаз не сводит, до самой двери все оглядывалась и сладко улыбалась рыжая бестия.

Только они скрылись за дверью, твой куке и говорит: «Ну, чего мы стоим? Где машина?» «Нет машины, – отвечаю. – Тоже бензин кончился». «Вот те раз! Как же быть?» И твой куке тут же хватается за телефон. «Не беспокойтесь, – останавливаю я его. – Все в порядке. Из авточасти никто не звонил. Виноват, товарищ старший лейтенант!»

Застыл твой куке, на меня уставился. Ничего не понимает. Потом догадался. «Ах, хитрец!.. Эта фрау, оказывается, владелица местного музыкального салона. Просит разрешения снова открыть свой салон». И расхохотался. Глядя на него, и я расхохотался. Вот как было, батыр...

Я тоже рассмеялся было, но, видя, как вдруг запечатлелся Самат-ага, тотчас спохватился. Самат-ага задумчиво глядел на крутобокие, как вздыбленные волны, барханы, которые причудливо зыбились в полуденном мареве. Потом вытащил карманные часы, щелкнул позолоченной крышкой.

– Да, пора уж поить овец...

И направился в заросли, к отаре. И я молча поплелся за ним, напрочь забыв задавать вопросы, которые обычно теснились в моей голоде.

В последнее время Самат-ага часто ходит грустный. Недавно он встал утром с опухшими глазами. И за чаем сидел необычно притихший, молчаливый. Даже забыл предупредить бабушку о времени намаза. Пришлось ей самой спросить, который час. Не знаю как другим, но мне эти неожиданные перемены были невдомек. Мне в то утро показалось, что и Жазира-женге, обычно, ни на кого не глядя спокойно разливавшая чай, была чем-то смущена и упорно прятала от всех глаза. Я заметил, что она как-то резко и небрежно ставила перед Саматом-ага чашку с чаем, будто при этом пристукивала кулачком по дастархану.

Нетрудно было заметить, что с некоторых пор Жазира-женге стала все больше замыкаться. Раньше она целыми днями пропадала в большой юрте, хлопотала по

хозяйству, а теперь, едва помыв и убрав посуду, спешит уединиться в соседней юрте для молодых.

Мои вопросы, которыми я, возможно, замучил Самата-ага, явно пошли на убыль. Да и не хотелось тревожить его, грустного и задумчивого. Я видел, как он, сцепив пальцы под затылком, подолгу смотрел прохладными ночами на звездное небо. Я испытывал неясную тревогу, от непонятной печали сжималось сердце, и я тихо лежал рядом, стараясь не шелохнуться. Чуть поодаль, у наших ног, смутно темнела рыжая сука. Время от времени она попеременно задирала то одно, то другое ухо, вслушивалась в тишину, преданно оберегая нас от малейшей напасти. Но, вскоре убедившись, что никакая опасность нам не грозит, она опускала морду на передние лапы и погружалась в дрему. Загадочно мерцающие на черном небе звезды, прохладный ветерок, едва заметно, ласково оглаживающий лицо, треск в чистых зарослях за аулом, где еще пасется скотина, мерное чавканье верблюдицы и верблюжонка за юртой, монотонно жующих свою жвачку, невнятный шепот бабушки за стенкой, привычно взывающей к милосердию аллаха — все-все это волнует и томит мою душу, пока сон не смежает мои веки. Потом до нового дня, пока не взойдет и не поднимется высоко над юртой солнце, я ничего не вижу, не слышу, не знаю.

Однажды неожиданно проснулся среди ночи. Разбудила меня непонятная возня неподалеку. Я прислушался. Рыжая сука у изножья тоже задрала голову. Кто-то хрипло и злобно шипел:

— Слушай, т-ты... бездомный бродяга, чужак... первый встречный-поперечный... куда с-с-суешься?! Кого от кого оберегаешь, приш-шлый пес-с?!

Другой задышающимся шепотом отвечал:

— Сгинь, исчезни с моих глаз подобру-поздорову! А то ка-ак врежу... вмажу промеж глаз... отца родного вспомняешь. А ну, живо! Раз... два... три! Что ж... пеняй тогда на себя!..

Голос этот показался мне знакомым.

Донеслось надсадное кряхтенье. Потом глухой стук. Что-то ухнуло. Рыжая сука сорвалась с места и беззвучно застрочила туда. Я тоже поднялся.

Самат-ага сидел на корточках в кустах чия. Неподалеку прижалась брюхом к земле рыжая сука. Самат-ага приложил ладонь к носу.

– Что случилось? – спросил я, подойдя.

– Да так... Мерзавец один... – махнул Самат-ага рукой, отворачиваясь.

Он встал и углубился в заросли. Рыжая сука услужливо потрусил за ним. Я стоял в недоумении, озирался по сторонам. Вскоре продрог и вернулся к постели. Через некоторое время пришел и Самат-ага и лег, повернувшись ко мне спиной.

Тихо. В чиевых зарослях ни шороха. И бабушка в юрте перестала бормотать. И из белой юрты Жазиры-женге ничего не слышно. Я лежал, думая, что же могло случиться в глухую полночь, но ничего так и не придумал и опять уснул. А утром Самата-ага уже не было рядом: по обыкновению с рассветом он погнал отару на выпас.

Дня через три появился в аул давно не показывавшийся Жанас. Такой же, как всегда. Конь накрыт белой попоной. Сам Жанас в белом костюме, белом бешмете, в белой кепке. Подъехал к нашей юрте, спешился, стреножил коня. Потом подошел к бабушке, учтиво поздоровался. Маму, на правах деверя, игриво ткнул в бок, попросил подать айран. Опростав большую деревянную чашу квашеного молока спросил:

– Где Жазира?

– В своей юрте.

– Иди, малец, позови ее сюда! – приказал он мне.

Я понесся к юрте молодых. В это время из ночного вернулся и мой папа. Как только Жазира вошла в большую юрту, Жанас начал речь.

– Ну, я все решил-уладил. Подыскал в конторе работу для нашей Жазиры. Если на то будет ваше родительское благословение, может приступить к работе хоть сегодня. Будет ездить на лошади. Утром туда, вечером – обратно. Ну... так как?

Бабушка, папа, мама молча кивнули. На другой день, после чая, Жанас привел рыжую лошадь, посадил Жазиру и поехал с ней в колхозную контору.

Мы с Саматом-ага, стоя возле юрты, долго и молча глядели вслед двум верховым, удалявшимся за перевал, – один на саврасом коне, другая – на рыжем...

Отныне каждый день, как поднимается солнце, Жазира-женеше, оседлав лошадь, отправлялась на работу, а возвращалась поздно, с заходом солнца. Теперь мы ее видели только во время чаепития – утром и вечером. Она

еще более похорошела, подтянулась вся, и стала одеваться еще наряднее. В еще недавно тихих, скромных глазах заиграли смелые, даже дерзкие лучики. И держалась прямо, уверенно. В домашние дела вмешивалась все реже. Едва убрали дастархан после вечерней трапезы, она тут же удалялась в свою юрту и при тусклом свете подслеповатой керосиновой лампы склонялась над какими-то бумагами, выводила аккуратные цифры и щелкала на счетах. Когда я подходил к ней, она молча совала мне в руки лист бумаги и карандаш и продолжала заниматься своими делами. Я некоторое время смотрю на то, как из-под ее длинных, тоненьких пальцев нанизывается на бумаге ровный ряд букв и цифр, а потом ухожу к себе в большую юрту. Там я устраиваюсь на широкой подстилке и долго люблюсь карандашом и белым листом бумаги. Однако они не пахнут так привлекательно, так заманчиво, как прежде. Они как бы отдают затхлым.

В последнее время Самат-ага стал пасти овец и ночью. Возвращается он из ночного поздно утром, после того, как напоит овец, пьет чай, отдыхает немного, а перед заходом солнца снова оседлает коня и спешит к отаре. Теперь мы уже не лежим рядом на подстилке под открытым небом и не беседуем о том о сем до глубокой ночи. И на водопое, и дома Самат-ага теперь больше молчит. Он держится ближе к моему папе, у которого часто ноет поясница. Потому Самат-ага сам достает кожаной бадьей воду из колодца. Я чувствую, что Самат-ага переживает за моего папу, жалеет его, смущается оттого, что папа хворает, ходит хмурый, и одежда на нем вся сопрела и порвалась. Отчего-то вроде неудобно Самату-ага, будто виноват в чем-то. А в чем — и он сам не знает, и я не пойму.

Однажды он заявил папе: «Разрешите, я съезжу в колхоз, получу пособие за ранения».

Я напросился поехать вместе. Самат-ага посадил меня в седло. У меня сразу зачесался язык: ведь столько времени мы ни о чем не говорили. Еле заметная тропинка бесконечно извивалась между барханами и песчаными холмами, навевая тоску и уныние. Самат-ага молчал и время от времени только откашливался.

У меня иссякло терпение, и я принялся вновь сыпать вопросами. Вначале Самат-ага отвечал коротко, вяло. Но вскоре увлекся, оживился. А когда речь зашла о моем Ахате-куке, он и вовсе разговорился.

– Когда убили моего куке, вы были рядом? – спросил я.

Самат-ага ответил не сразу. Проследил взглядом, куда вдруг понеслись рыжая сука и вислоухий пастуший пес, приставшие к нам. Они застыли у какой-то норки под кустом, напряженно насторожив уши, но, никого так и не выследив, обескураженно потрусили назад. И только тогда, как-то успокоившись, Самат-ага начал свой рассказ:

– Мне в тот день очень не хотелось ехать в Берлин.

Поехал скрепя сердце, чтобы только не злить твоего куке. В нашем городке, в детском приюте, вдруг обнаружилась какая-то болезнь. Врачи без конца звонили в комендатуру не хватает лекарств. Ну, твой куке и приказал мне вместе с одним врачом съездить в Берлин за лекарствами. В Берлине задерживаться не стал. Достал, что надо, и скорее назад. Приезжаю, значит, в нашу комендатуру, а твоего куке не видно. Уехал, говорят, с шофером на ферму за городом. Детский приют уже третий день сидит без молока. Должно быть, скоро вернется. Ну, присел я, жду, а на сердце что-то беспокойно. Прямо как кошки скребут. Не утерпел – побежал в детский приют, «Молоко поступило?» – «Нет». – «Коменданта не видели?» – «Приезжал утром». – «И больше не показывался?» – «Нет». Как быть? На единственной машине комендатуры уехал твой куке. Отправился я на ферму пешком. Иду, значит. Кругом тишина. Безлюдно. Буйно растет трава. Городок, разрушенный, разбомбленный, точно страшный призрак, остался позади. То здесь, то там темнеют лесочки. Я иду один. Вокруг ни живой души. Хотя бы бабочки порхали над цветами... Хотя бы кузнечики стрекотали да прыгали в траве. Ни-че-го... Будто вымерло все. И только сердце мое гулко и тревожно стучит: тук, тук, тук. Я иду то быстрым шагом, то перехожу на бег. На краю лесочка вдруг почувал горелый запах. Пошел по направлению к нему. Действительно, на открытой поляне что-то горит. Подбежал и вижу: горит машина нашей комендатуры. Кругом врассыпную лежат железки. Чуть поодаль валяются уцелевшие одно колесо и насос. Все остальное испепелил огонь. Оглядываюсь – ничего не видно, не слышно. Пошел по тропинке вперед. И вдруг споткнулся, упал. Смотрю: прямо из-под земли торчит огромный гвоздь. Острие чуть прикрыто листьями. Впереди еще в нескольких местах видны такие же

кучки. Все стало понятно. То, что детский приют сидит без молока, — явная диверсия. Эти гвозди вбиты специально, чтобы не прошла машина. Значит, машина твоего куке напоролась на засаду. Диверсанты подожгли ее. Но что сделали с людьми? Мне почудилось, будто следят за мной из-за каждого дерева, из-за каждого куста. Я сорвал с плеча автомат и дал очередь. За спиной что-то упало с дерева. Смотрю: фуражка. Фуражка нашего Миши — шофера. Я отступил на шаг — чья-то рука задела мою штанину. Отпрянул, оглянулся — рука Миши... болтается на весу — пальцами касаясь земли. Повесили Мишу на дереве за ноги, а на сапог напялили его фуражку. Из грудного кармана высовывалась бумажка. Взял, развернул. На листе бумаги по-русски написано: «Поздравляем с победой».

Кровь ударила мне в голову. Я заскрежетал зубами. Еще сильнее стиснул автомат. И иду, иду, не спеша, широко расставляя ноги, по дорожке дальше. Думаю: если из-за деревьев следят за мной, то пусть не злорадствуют, пусть видят — идет советский воин грудью вперед и никого не боится. Шагов через пятьсот показалась ферма. В глазах моих черно от ненависти. Иду, словно готовый стереть с лица земли и эту по-немецки опрятную, чистенькую, заботливо ухоженную ферму, и этих мукающих коров, и четверых мужчин, подобострастно снявших шляпы и застывших, точно кол, да оградой, и несколько насмерть перепуганных женщин в белых передниках. Приближаюсь шаг за шагом. Перед глазами все зыбится, как в тумане. Чудилось, будто четверо мужчин и женщины в белых передниках обступают меня, тянутся ко мне руками. Я подошел к ним, встал в середке. Они все задрали кверху руки. А-а-а, думаю, руки тянете? Да упадите вы все к моим ногам, да хоть лижите мои сапоги, я вас сейчас всех, как один, на корню скошу... Хочу нажать на гашетку — не могу. Хочу заорать на них — тоже не могу, голоса нет. Только глазами, полными ненависти, сверлю их насквозь. А они стоят, смирные, жалкие, как обреченные. Один старичок, пошатываясь, держа руки над головой, вышел на шаг вперед. Я смотрю на то, как трясутся, шевелятся его лиловые губы, но что он мямлит — не слышу. Наконец разобрал кое-какие слова. Понял: третий день, как диверсанты захватили ферму. Уже три дня не позволяют доставлять молоко в город. Заметив, что гос-

подин комендант едет сюда, открыли из-за угла огонь. Он упал было раненый, но они потащили его на склад, где хранится молоко. Потом всех согнали в круг и приказали не шевелиться. Направили дуло автомата. И только при вашем появлении куда-то исчезли... Все это старичок кое-как пролепетал. Я кивком приказал: веди меня на склад. Он пошел под автоматом, а остальные покорно побрели за мной. Вошли в громадное, прохладное хранилище. Посреди стоит необычайной величины цистерна. Крышка наверху открыта. Из нее торчат два сапога. Я тотчас узнал их: сапоги твоего куке, которые я еще утром начистил и надраил до блеска...

Голос Самата-ага задрожал. Из моих глаз потекли слезы. Я, сидя сзади, заметил, как у Самата-ага несколько раз дернулись плечи.

Мы оба некоторое время молчали. Потом Самат-ага продолжил свой рассказ...

– С большой честью всем гарнизоном предали мы тело твоего Ахата-куке земле. Я как осиротел. И не мог я больше ступать ногами по той земле, не мог. Подал командованию рапорт и демобилизовался...

Самат-ага вытер рукавом глаза. И у меня слезы все струились, струились по щекам. Все вокруг затуманилось. Горбатые, крутосклонные холмы и барханы то отдалялись от нас, точно уплывали, то вновь надвигались, обступали нас плотными грядами. Сколько времени мы ехали, сколько пути осталось позади – даже представить не могу. Вдруг вдалеке, словно в тумане, я заметил два темных предмета. Не то кусты, не то пасущийся скот. Самат-ага пробурчал что-то себе под нос – я не различил. Мы понемногу приближались к темнеющим предметам. Потом проехали мимо, Самат-ага как-то сник весь и все оглядывался назад. Я протер рукавом глаза, взгляделся внимательней. Возле русла высохшей степной речушки стояли привязанные друг к другу поводьями две лошади. Обе были заседланы. Одна – саврасая, другая – рыжей масти. Одна склонила голову, вторая опустила на нее шею.

Мы проехали еще один перевал. Заседланные лошади остались в сторонке. И только тут меня осенило. Саврасый конь – Жанаса. А рыжая кобылка – Жазиры.

– Вот тебе раз! – воскликнул я. – Что они здесь делают? Заблудились, что ли?

Самат-ага не ответил, пропустил на этот раз мой воп-

рос мимо ушей. Только чуть подшуровал пятками ленивого коня. Вдалеке уже смутно виднелась центральная усадьба нашего колхоза.

Мордастый пес всю дорогу заигрывал с рыжей сукой, обнюхивал ее сзади, и та смущенно металась впереди, у самых ног нашего коняги. Самат-ага отчего-то вдруг рассердился на них и, замахнувшись камчой, сказал с досадой:

– У, собачье отродье! Нашли место...

Всю оставшуюся дорогу мы молчали. Самат-ага сразу же зашел в контору аульного совета, получил свое пособие. Потом мы направились в магазин – беленый домик, стоявший на отшибе. Самат-ага купил два бешмета – один себе, другой – моему папе, мне подарил рубаху, закупил полный мешочек чаю и сахару. Из магазина мы вышли, нагруженные свертками, кульками, и наткнулись на нескольких мужчин, томившихся в тени. Среди них я узнал только вислогубого Заира. В свое время его тоже отправили на фронт, но губошлеп Заир очень скоро прибыл назад, оказалось, его ранило как раз в висячую губу. Мой дядя Даир над ним постоянно подтрунивал: «Должно быть, очень умный немец в тебя стрелял. И как только он умудрился попасть в твою болтающуюся, – точно подол чумазой бабы, губу – уму непостижимо!» Поначалу Заир куражился над аулчанами, орал на каждом углу, в грудь себя бил: «Я с фашистами сражался, кровь проливал. Имею право работать там, где хочу!» И действительно некоторое время заведовал складом, потом магазином, потом стал охранником, а теперь главным образом подстерегает тех, кто, выходит из магазина.

Вот и сейчас он начал приставать к Самату-ага.

– Эй, а бутылек-то купить забыл, что ли?

– Какой еще бутылек?

– Ну, как же? Приехал из такой дали, а теперь улепетываешь, даже не раздавив одной белоголовки?! Какой же от тебя, бродяги, толк? Только и умеешь, как старый пес стеречь Жазиру, чтобы кто-нибудь не задрал ей подол...

Сидевшие в тени дружки громко расхохотались. Уши мои будто пламенем обожгло. Самат-ага потемнел лицом. В ярости схватил вислогубого Заира за ворот.

– Эй, эй! Смотрите-ка, приткий какой! Сам с кулачок, а туда же... драться лезет!

Дружки в тени все разом повскакивали. Вид у них был не то удивленный, не то оскорбленный.

– А ну, повтори! Считаю... раз... два... три!

Самат-ага, вцепившись в охальника клещом, рванул его к себе.

– Ну!!

– Э, ты что! Ты что, что? Взбеленился?! – забормотал, трусливо озираясь, вислогубый.

– Тогда заткнись! Понял?!

И Самат-ага, резко встряхнув еще разок, брезгливо отпихнул его от себя.

Пока мы усаживались на лошадь, никто из дружков Заира и пикнуть не посмел. Лишь когда мы отъехали на порядочное расстояние, послышался хриплый гогот.

Обратный путь показался особенно длинным. В аул прибыли уже в сумерках. Ужинали молча, Жазира то входила, то выходила, мелькала молча, будто тень. Я, должно быть, сильно устал с дороги. Едва коснувшись головой подушки, уснул как убитый. Ночью, сквозь сон, мне почудилось, что кто-то ладонью провел по моему лицу. А может, приснилось... не знаю. Когда проснулся, постель рядом со мной была пуста. Я в спешке, кое-как ополоснул лицо и помчался к отаре. Одолеп один перевал – никого не видно. Перемахнул через второй перевал – опять никого не видать. На гребне третьего перевала что-то вроде темнело. Запыхавшись, поднялся по склону – оказался одинокий иссохший куст гармалы. А там, за холмом, в узком ущелье паслись врассыпную овцы. Неподалеку, не поднимая головы, пощипывала травку чалая лошадка. В тени ее, расстелив перед собой белый платок и обратившись лицом в сторону заката, мой папа сосредоточенно гадал на бобах-кумалаках. Я не знал, о чем гадают папа. Я только понял, что Самат-ага покинул нас. Так стало горько, что у меня подкосились ноги. Я посидел немного на вершине холма, не зная, как мне теперь быть, а потом побрел назад в аул. Всю дорогу я пристально оглядывался по сторонам, надеясь увидеть хотя бы рыжую суку. Но, кроме одинокого всадника на рыжей кобылке, отъезжавшего от нашего аула, никого не увидел. То знакомой дорогой ехала на работу в колхозную контору Жазира-женге.

Я хорошо познал характер Самата-ага. Он считал: мужчина имеет право на три попытки. Что бы ни делал, что

бы ни говорил. Самат-ага обычно считал до трех. После этого принимал решение, которое становилось окончательным и бесповоротным. Я ждал день – Самат-ага не вернулся. Ждал еще день – не вернулся. На третий день я уже не находил себе места в ауле. Целый день озирался по сторонам. Нет, никто не показывался. Хотя бы рыжая сука вернулась. Была бы она здесь, разве позволила бы мне, как неприкаянному, бродить-бегать вокруг аула с утра до вечера? Поджав хвост промеж ног, низко опустив острую морду, она покорно трусила бы за мной и обнюхивала бы мои пятки. Ни на шаг не отходила бы от меня. Лизала бы мне ноги. Преданно заглядывала бы мне в глаза, стараясь развеять мою печаль-тоску, угодить своей собачьей верностью. Но нет ее, нет... Ну, а нашим аульным псам нет до меня дела. Им не понять моей тоски, моего горя. Вон, забрались они сегодня на вершины холмов и застыли, довольные собой. Вижу: все отчего-то уши наострили, хвосты задрали.

Вокруг, до самого горизонта, не за что глазу уцепиться. Будто посмеиваясь надо мной и над моей тщетной надеждой, медленно закатывалось за барханом солнце пустыни.

Перевод Г. Бельгера

СОЛОМИНКА УДАЧИ

Да-а... если уж повезет, то везет во всем. Раньше, бывало, пока у неумехи жены, которая то и дело спотыкается, наступив на свой отвисший подол, закипит старый законченный чайник, вполне можно было целому аулу откочевать за перевал и даже поставить юрты. А сегодня, как ни странно, вода в чайнике забулькала в мгновение ока. Раньше, случалось, всю округу обшаришь, пока разыщешь саврасую лошадку, склонную к бродяжничеству. А сегодня она, словно привязанная, мирно паслась на лужайке за аулом. «Видно, будет мне удача», – радостно подумал Карабала, ставя ногу в стремя. Однако, ухватившись за повод, тут же усомнился: не грешно ли заранее так радоваться? И потому, на всякий случай, трижды прошептал про себя какие-то обрывки молитвенных слов, вслух же сказал: «Йа-а... аллах, не обделяй своей милостью!» – и ударил саврасую каблуками по крутым бокам.

Вот уже несколько дней гложет Карабалу нежданная забота. Даже сна лишился. Ну, в самом деле, какой с него проситель? Не было для него страшнее наказания, чем обратиться к кому-то с просьбой. А просить, видимо, придется. Еще куда ни шло, если твою просьбу великодушно уважат. А если ни с чем выйдешь из двери, куда с робостью и страхом сунулся в кои-то веки? Не дай бог! Тогда уж лучше сразу провалиться сквозь землю. Ведь он, дожив до почтенных седин, никогда никого ни в чем

не утруждал, хотя у него самого отбоя от просителей не было и в нем, вернее, в его руках, в его молотке и наковальне, нуждались многие. Изю дня в день, изю года в год с утра до вечера пропадает он в старой кузнице на краю аула. И другой жизни, другой судьбы он себе не представляет. Другим же старикам дай только повод для сборищ, и в радостные, и в скорбные дни, толпясь, по домам ходят, по аулам разъезжают. А Карабала не охотник до развлечений. Правда, на поминки он еще ходит, чтобы не обидеть дух усопшего. Но и там, слушая праздную болтовню иных аульных краснобаев, каждый раз испытывает досаду и раздражение. Среди аулчан он давно прослыл молчуном и затворником.

Теперь вот и домосед Карабала собрался в путь. И не куда-нибудь — в самый район. И не к сватам на угощение — к высокому начальству по неотложному делу. И толкнул его на это свой же родич — забияка Онбай.

Ох, и неугомонный же, неуживчивый он человек! Там, где сбор, на трибуну первым лезет. Там, где нужно бросить призыв, первым горло дерет. Не было такого руководителя в ауле, с которым бы он не схлестнулся. А ругаться мастак, какого свет не видывал. Лихо пройдетя и по матушке, и по бабушке вплоть до седьмого колена. Вообще по части сквернословия Онбай и русского, и казаха за пояс заткнет. Еще и года нет, как поселился в ауле старый кореец-портной. А прошлой осенью, возле магазина, к восторгу аулчан, Онбай обложил растерявшегося портного на его же родном языке...

Недавно он через сына позвал Карабалу к себе. Не успел тот порог переступить, как коршуном набросился:

— Чтоб вы все провалились! Тоже мне родичи! Ни одна собака в дом не сунется! Даже не спросят, живой или подох. Онбай, выходит, вам нужен, пока он ради вас глотку рвет. А как его хворь скрутила, так пусть пропадает?! Видишь, даже на костыле ковылять не в состоянии. А между прочим, не в пьяной драке ногу потерял. Таким государство машины выделяет. Однако, если не хлопотал, просто так ни хрена не получишь. С теперешними начальниками надо уметь поладить, глаза мозолить, пороги обивать. А мне сейчас собственный зад в тягость. Валяюсь вот, как пень трухлявый. Так что вся надежда на тебя. Поезжай в район и похлопочи за меня. Как-никак

деды наши одну титьку сосали. Небось руки не отвалятся, если один день не потюкаешь по наковальне. Поезжай. А не исполнишь мою просьбу – пеняй на себя. Когда издохну и ты распустишь нюни у моих останков, так и знай, вот этим костылем трахну по твоей башке. Понял?!

У Карабалы чуть дрогнули кончики усов. Ишь, чего захотел! Даже мертвый не прочь еще разок учинить драку. Э-э... с него станется. Не угомонится, пока не засыпят землей. И все же жалко стало. Измучился бедняга. Одни кости да кожа. А что родственники, пусть и дальние, – правда. К тому же росли вместе. И был Онбай забиякой с малых лет. В пятнадцать от роду, точно чесоточный стригун, отирался возле девок. И по домам молодых шнырял, как кот. Не один старик хлестал его камчой. Страсть, как куролесил. Но выходил всегда сухим из воды. А вот с войны вернулся без правой ноги. У самого основания оттяпали. Но и с одной ногой петухом носился по аулу. Не одной длиннополой голову вскружил. Живое свидетельство его любовных походов – дети четырех вдов, такие же крутогрудые и с такими же чертиками в глазах, как у Онбая. И это не считая доброй дюжины от собственной бабы!

Дерзкий был сызмальства. Никогда не унывал. Случалось, еще мальчишкой, поборет его кто-нибудь из сверстников, а он встанет, отряхнет штанину и говорит:

– Ничего! Все равно моя возьмет.

И действительно, удача была к нему благосклонна. До недавнего времени жил – горюшка не знал. И хозяйство имел хоть и небольшое, да крепенькое. А с осени его закрутило. Всю зиму промаялся. Из дому – ни шагу. То ли возраст да бурная жизнь сказывались, то ли старые раны донимать начали. Худо стало Онбаю. Слег в постель. И хоть с этой поры тихо стало возле совхозной конторы, однако рот Онбаю никто заткнуть не смог. Только и слышно было в ауле: «Онбай сказал так», «Онбай сказал этак». И люди по-разному относились к шальным его словам. Одни осуждали: «Никак не уймется, хоть и к постели прикован». Другие сочувствовали: «Трудно бедолаге смириться со своей судьбой». Осуждающих было много, сочувствующих – мало. Всю жизнь он всегда за что-то воевал, упивался своей неуемностью, а тут, когда пришлось бороться с собственным недугом, пылу у него

заметно поубавилось. Дети же, как нарочно, выросли не в строптивного отца, а в мать, не способную подобрать даже собственный обвисший подол. Все сплошь тихие, бессловесные. Старший был шофером. За какую-то провинность недавно отстранили от баранки. Онбай, узнав об этом, пришел в ярость: «Все из-за моей болезни. Будь я на ногах, я этого начальника костылем шарахнул бы так, что отец его в могиле от боли взвыл!» При этом и так и сяк костерил сына, на что тот только носом швыркал и все мямлил: «Ну, ладно, отец. Хватит, может быть...» Теперь сакманщиком устроился на далеком чабанском становище.

Должно быть, рукой махнул Онбай на сына, понял, что проку мало, вот и позвал Карабалу. Над ним, как над родственником, он всегда подтрунивал. «Пропадай ты хоть сутками в кузнице, все равно не достигь тебе славы Хасана. Тот слоняется по аулам, в картишки поигрывает, ест-пьет сколько влезет. Кто-то за него отдувается, отару пасет, а вся слава – Хасану, вся честь – Хасану. На выставку в Алма-Ату и в Москву едет он. В разных представительствах сидит он. Ковры, индийский чай получает он. Речи почтенных слушает он. А тебе в награду – одна унылая песня молота и наковальни».

За всю свою жизнь Карабала лишь второй раз едет в районный центр. Впервые ездил он туда вместе с другими джигитами в военкомат. Было это в первый год войны. Признали его тогда непригодным: то ли вывих в коленном составе обнаружили, то ли плоскостопие. Ну, и раза два-три гостил в соседнем ауле у родственников жены. Теперь вот еще собрался в путь. Выехать-то выехал, а от волнения сердце подскакивало к горлу и даже подташнивало будто топленого масла объелся. Побаивался он и предстоящей встречи с районным начальством, которое Онбай представил... ну, если и незаконченными бюрократами, то, по крайней мере, формалистами, каких свет не видывал. Одному из них, по словам Онбая, сколько ни плачься, как ни убеждай, все нипочем. Дескать, ни дать ни взять – охотничий пес, стерегущий свою жертву у норы. Другой, мол, от спеси так вознесся, что и родного отца через порог своего кабинета не пустит, пока не продержит часика два у двери. Третий – бумажная душа, буквоед, скупердяй, у которого зимой снега, а летом –

травинки не выпросишь. Этот так просто ничего из рук не выпустит, все за семью замками держит, каждую бумажку десять раз обнюхает, каждую букровку глазами просверлит. Вообще, если послушать Онбая, то во всем районе нет ни одной порядочной души, за исключением, пожалуй, дородной горластой официантки чайханы, которой достаточно подмигнуть и подкинуть одну синенькую, чтобы тотчас перед тобой появилась «белоголовка» с закуской. И при этом он еще насильно толкает его в это бюрократическое логово, требуя вырвать для него машину. Разве по силам робкому аульному кузнецу такую просьбу исполнить?! Легче наверное, гору сдвинуть, озеро вычерпать, чудо чудное сотворить. Однако так, для очищения совести решился-таки уважить просьбу больного родича, съездить разок в район, чтобы не обижался потом, дескать, ради меня даже клячу свою пожалел лишний раз оседлать.

Резвая на воле и ленивая, спотыкливая под седлом, лошадка трусила так вяло, что седоку можно было без труда сосчитать каждый кустик полыни по обочинам. Аршинную резиновую плетку Карабала держал под длинным рукавом чапана.

Черный увал после весенней недавней бури был в сплошных трещинах. Из трещин торчали, оголив корни, чахлые кусты. Между ними куда-то деловито ползали, неуклюже передвигая кривые ножки, черепахи. Обычное зрелище после пустынной бури, именуемой в народе черепашьей. Услышав мягкий топот копыт, невзрачные твари настораживаются, замирают, на миг втягивают под панцирь голую, заскорузлую шею, а потом, едва отъедешь на пару шагов, вновь ползут, с трудом волочась по истресканной бурой земле. Э-э... эта бедняга, выбираясь из воронки величиной со сковородку, вдруг оступилась и опрокинулась на спину. Лежит несчастная, морщинистой шеей туда-сюда вертит, ножками отчаянно сучит, пытаюсь перевернуться на брюхо. Во рту торчит былинка. Глазки, похожие на пшеничные зерна, выпучила в испуге. Старая, должно быть, черепаха; глядит, точно из глубины веков, с мудрой отрешенностью, как бы размышляя о том, как, интересно, поведет себя взгромоздившийся в седло степняк в старом измятом треухе.

Карабала пожалел бедную черепаху, тщетно пытавшу-

юся перевернуться, потянулся к ней с седла рукояткой камчи, но тут же вспомнил древнее поверье о том, что соломинка во рту черепахи, ожившей по весне, непременно приносит удачу. Он спешился, подошел к черепахе, наклонился над ней и, прошептав молитвенное «бисмилля!», вытащил из ее рта былинку. Тонюсенькая блеклая травинка, растущая в пустыне. Он положил былинку на ладонь, осторожно провел по ней пальцем. Потом перевернул черепаху, все еще таращившую на него мутные старческие глазки. Сел на коня. Отъехал на пару шагов. Оглянулся, священная черепаха медленно ползла к зарослям молодой, еще не закудрявившейся полыни. «Надо же! Явь это или сон? Неужели сама судьба сулит мне удачу? Неужели божья милость ко мне обращена? Чем я заслужил такой дар?!» От неожиданной радости зачастило сердце. А тревога не оставляла его уже несколько дней. Ведь если он вернется из района с пустыми руками, от Онбая пощады не жди. Каждый божий день шпынять станет своим жалом. Карабала с трепетом в сердце еще раз осмотрел былинку, потом аккуратно вложил ее в сложенный вдвое рецепт жены, по которому он должен был привезти из района лекарство, сунул за пазуху. Взволнованный, он даже не заметил, как огрел резиновой плеткой сонного маштачка по тощему крупу. Тот, раздраженно дернув хвостом, перешел на жесткую трусцу.

– Э-э-эй... рыжий мерин!

Девушка с джигитом

Глубину колодца мерили...

От негромкого мурлыканья чуть дрогнули кончики пышных усов. Когда на душе становилось легко, почему-то взбредали в голову эти две несуразные строчки из какой-то немудреной песенки. Ее неизменно поет забияка Онбай. На вечеринках он обычно ни с того ни с сего начинает к кому-нибудь придирааться. Ни за что не упустит повода для перебранки. Потом, сверкнув глазами и засучив рукава, начинает заливать луженую глотку. Рюмки, наполненные по самый верх, едва касаются его подстриженных усов и тут же показывают дно. Если же в недавней словесной стычке Онбай потерпел поражение, то некоторое время спустя у него стекленеют глаза, а на желваках упруго вздуваются бугры. Если же в споре одержал верх, то он, как только лоб покроется испариной, вскакивает с

места и, опираясь на костыль, высоко поднимает руку со стаканом водки, запекает с надрывом:

– Э-э-эй, рыжий мерин!..

При этих словах женщины за дастарханом начинают отчего-то игриво похихикивать. Карабала недоумекает: что смешного в каком-то рыжем мерине, какое он имеет отношение к джигиту и девушке и с какой стати этим двум бедолагам понадобилось вдруг измерять глубину колодца. Однако эти две нескладные строчки крепко застряли в голове и в веселую минуту сами собой напращивались на язык. Правда, в устах Карабалы они не звучат так озорно и дерзко и вряд ли в состоянии вызвать у женщин двусмысленную улыбку. Наоборот, мелодия получается вялой и монотонной, словно нудная трусца ленивого коня под ним. Но Карабала и этому рад. В этой задорной песне есть некая бодрящая душу сила, от которой мгновенно развеиваются тоска и печаль, и действует она так, будто чаша холодного шалапа¹ в знойный день.

Отец Карабалы пас верблюдов и всю жизнь жил одиноко в степи. И сын вырос диковатым, нелюдимым. От робости всегда жался к отцу-матери. Застенчивость эта преследовала его постоянно. Вот и сейчас в тихой безлюдной степи, едва запев вполголоса, он испуганно оглянулся вокруг. Не дай бог, кто-нибудь его услышит, и тогда прокатится по аулам молва, дескать, наедине Карабала горланит невесть что...

Вокруг простиралась по-весеннему невзрачная, голая степь. Только кое-где пробивалась травка, точно редкие щетинки на безбородом лице. И небо, лишившись за зиму голубизны, серело сиротливо, тускло. Тощая савраска всю дорогу почихивала, пофыркивала, махала головой, словно радуясь тому, что в этом безбрежном пространстве она из всех четвероногих единственное живое существо.

Карабала, вспоминая о том о сем, затаенно улыбался своим мыслям. В те давние уже годы не в меру приткий секретарь аулсовета едва ли не силком забрал его у отца и определил в школу. Она располагалась в бывшей мечети одного благочестивого служителя аллаха. Маленький четырехугольный домик, сложенный из меловых камней, в окрестных аулах называли не иначе, как «ак шкель» –

¹ Шалап – смесь кислого молока с водой, утоляющая жажду.

белой школой. Поначалу навезли сюда из низовья и верховья два десятка сорванцов. Самыми старшими из них оказались двенадцатилетние Онбай и Карабала. Онбай схватывал все на лету, был поразительно восприимчив, а до Карабалы все доходило с трудом. На уроках арифметики он запросто складывал и вычитал овец, лошадей, верблюдов, но оказывался совершенно беспомощным, когда надо было высчитывать количество воробьев на телеграфных проводах, или ящиков с яблоками, или скорость велосипедистов, едущих навстречу из разных пунктов. А Онбай щелкал любые задачи как семечки, и для него было все равно что складывать, что вычитать, что умножать, что делить, будто он с самого рождения только и делал, что считал воробьев на телеграфных проводах или ящики в яблонево́м саду или мчался из города в город на велосипеде. Словом, играючи усвоив мудрость начальной «белой школы», он с таким же успехом окончил и семилетку в соседнем ауле. Карабала семилетки и не нюхал; ему даже скудные знания «белой школы» оказались не по зубам. Рано разочаровался он в учении. Вскоре Онбай вымахал в смазливую джигиту с непокорным чубом, в черном, с иголки, костюме и белой сорочке с отложным воротником. Весь он сиял, и все на нем блестело: и смоляные, тщательно расчесанные волосы, и белые крупные зубы, и дерзкие, насмешливые глаза, и начищенные, точно вылизанные, кожаные ботинки, а на Карабале длиннополый чапан, широченные штаны с болтающейся мотней, просторная ситцевая рубаха. Не было в аулах девицы – кроме, разумеется, явных дурнушек, – которая не получала бы от Онбая любовные письма в стихах. Карманы Онбая были набиты платками, любовно вышитыми поклонницами. На многолюдных собраниях или вечеринках Онбай воодушевлялся, точно в его неуюнную душу вселялся джинн. Глаза вспыхивали черными искрами, румянец пылал во всю щеку. Не бывало собраний, на которых не выступал с пламенной речью Онбай. При этом ему все равно какое собрание – торжественное, отчетное, перевыборное или по поводу сенокоса, стрижки овец, весеннего окота. Сразу же после докладчика на трибуну лезет он. Народ оживляется, хлопает в ладоши. Онбай заливается соловьем. И те, что в зале, и те, что в президиуме, восторженно головами ка-

чают, языками цокают. Уполномоченные из района, представители из области пожимают бойкому, сообразительному юноше руку, хлопают по плечам. Молодец, дескать, джигит, подаешь надежды, выйдет из тебя толк. И наверняка вышел бы, если бы не война. Карабалу и сейчас еще, когда он только подумает об этом, грызет тоска.

Добрая молва о приятеле всегда радовала его. Он не испытывал ревности или зависти. Думал искренне: «Кого еще хвалить, как не Онбая? Разве есть еще джигит, подобный ему?!» В детстве Карабала прятался за спиной отца, в юности верной тенью сопровождал Онбая. Когда люди с восторгом глазели на приятеля, у Карабалы, стоявшего в сторонке, губы расплывались до ушей. А как он плакал, прощаясь с бледным, враз осунувшимся Онбаем, стоявшим в строе новобранцев! Слезы градом катились по лицу, и проклинал он тот час, когда врачи признали его негодным для фронта. Онбай – строгий, отрешенный – только губами чуть пошевелил да руку ему раза два крепко потряс. Так и расстались. Убитый, точно осиротевший, приплелся Карабала в аул. Перед глазами его неотступно стояли строгий взгляд и бледный лоб приятеля. Показалось чудовищно несправедливым посылать под вражеские пули такого видного юношу, в котором бурлили чистая, вдохновенная сила и трепетный, точно разгорающийся огонь порыв. Карабала давно уже привык считать приятеля незаурядным, даже исключительным среди всех своих сверстников, и потому в толпе неоперившихся юнцов, отправляемых на фронт, больше всех он пожалел Онбая. И еще он испытывал ужасную неловкость, точнее сказать, необъяснимый стыд оттого, что его отправляют назад, в аул, а Онбая, быть может, на верную гибель. И потому он старался не показываться людям на глаза, и все ему чудилось, что говорят или думают о нем с неприязнью, дескать, посмотрите на этого ловкача, дома, в тепле отсиживается, когда лучшие из лучших на войне кровь проливают.

Четыре бесконечно долгих военных года, можно сказать, он ни на шаг не удалялся от кузнечного горна и наковальни. За год до окончания войны Онбай вернулся. Впервые за все это время Карабала вышел из закопченной кузницы еще засветло. Он пошел повидаться с другом, и когда увидел его, растянувшегося на подстилке на

почетном месте, с подушкой под боком... увидел приставленные к стенке два костыля... увидел у порога изрядно изношенный единственный солдатский сапог, Карабала помертвел. Он не вымолвил ни слова, только схватил обеими руками сухую руку друга, скользнул виновато по его сухощавой, неприступной в солдатской форме фигуре и опустился, точно подкошенный, рядом.

– Ну, как? Живой-здоровый? – глухо спросил Онбай, мизинчиком чуть коснувшись красиво подстриженных черных усов.

Кое-кто из аулчан смущенно заерзал: видно, в словах Онбая почудилась насмешка, дескать, какого черта тебе тут, в ауле, делается. Но Карабала ничему не придал значения. Он по-своему понял хмурь на лице друга. Что и говорить, тяжело было гордому Онбаю, любимцу, бабовню аула, возвращаться с одной ногой. Вызывающая дерзость, полыхавшая в глубине зрачков, сейчас сменилась жестким, беспощадным блеском. Взгляд его точно сверлил, пронизывал насквозь. И к кому бы ни обращался, говорил Онбай резко, отрывисто.

Осенью того же года колхозники избрали его председателем. Лихо закрутил дело одноногий баскарма. День-деньской с лошади не слезал. Одна нога в стремя, с другой стороны к седлу приторочены два костыля. Появлялся баскарма обычно там, где его никто не ожидал. Все замечал, все знал, все предвидел. Аулчане поражались его вездесущности его прыти. Отныне женщины-жницы уже не осмеливались часами валяться в тени возле копейки, чесать языками и перемывать чужие косточки. Старики сторожа на хирманах не решались бабам и детям совать, как прежде, по нескольку горстей пшеницы в честь окончания молотбы. Служащие колхозной конторы ходили на цыпочках. Отныне колхоз Онбая первым в районе подписывался на заем. Даже холостяцкий налог с приходом Онбая выплачивался исправно. При Онбае на бросовых лугах за перевалами стали пасти скот. При Онбае распахали и засеяли пшеницей мало-мальски пригодные участки, за исключением лишь диких, недоступных чащоб, где водились архары и косули. При Онбае перегораживались речушки, строились запруды, и в долинах, оврагах колосились ячмень, овес, просо. При Онбае в колхозе выпестовали скакуна, которому доставались все

призы из скачках. При Онбае даже стенная газета и боевые листки стали выпускаться своевременно. При Онбае впервые на трудодни выдавались деньги. При Онбае нелюдимый молчун Карабала наловчился выступать на собраниях. При Онбае неторопливая аульская жизнь точно вскачь пустилась. Из дома в дом несся голоногий мальчишка-гонец и скликал народ в контору то на заседание правления, то на сходку, то на экстренные совещания. Э-хе-ей... Крутые времена настали при неуемном Онбае. На весь район гремела слава колхоза. Увы, недолго продолжилась эпоха одноногого баскармы.

Громкий клич о том, что необходимо срочно укрупнять мелкие хозяйства, одним из первых подхватил сам Онбай. Вскоре объединили три соседних колхоза, но в председатели выбрали уже не Онбая, а другого. Онбай оказался в заместителях. Но давно замечено, что двум бараньим головам тесно в одном казане. Не поладили с ходу председатель и его зам. На собраниях недобро косились друг на друга, так и норовили друг друга осрамить при всем народе. Взаимная неприязнь перешла вскоре в откровенную вражду: в вышестоящие инстанции посыпались жалобы. Потом то и дело возникала публичная перебранка. Кончилось тем, что председателя отправили руководить отдаленным колхозом, а зама назначили заведующим фермой. Онбай оскорбился и на работу не пошел. Месяц спустя вызвали его в район и предложили место агента по мясозаготовкам. «Не хватало мне еще у весов стоять!» – отрезал Онбай. Не соблазнился он и должностью фининспектора. «Только и осталось мне копейки считать!» Кому охота дело со строптивцем иметь? Оставили Онбая в покое. Он, однако, еще долго ждал, все надеялся, что придут, в ножки поклонятся, место достойное предложат. Напрасно. Обиделся Онбай, дулся, злился, возмущался, не раз намеревался писать самым почтенным людям у власти, напомнить свои права и боевые заслуги перед Родиной. Но вскоре подвернулась ему вполне приличная работенка. К его счастью, прибыла в эти края большая экспедиция, искавшая то ли воду, то ли нефть. Аллаху одному ведомо, каким образом пришелся строптивый Онбай по душе руководству экспедиции, но факт, что сразу же его приняли заведующим складом. А в то время – известное дело – все колхозы вечно нуждались и в

бензине, и в баллонах, и в запчастях для машин. И вот тебе на: и бензин у Онбая, и баллоны у Онбая, и запчасти у того же Онбая. Каково?! Ну, а Онбаю сам черт не брат. Хочет – лихо загнет сочный русский мат, нальет тебе бензина с лихвой и – будь здоров. Попадешься под добрую руку – бери, что надо, Онбаю ничего не жалко. Не захочет – цвиркнет звучно сквозь зубы и любого пошлет к такой-то матери. Да еще добавит: «То же самое передай и твоему мокроносому начальнику». Как бы там ни было, отныне в трудный час шоферы и трактористы первым делом не бога вспоминали, а Онбая. И потому любой каприз исполняли, любой его наказ с готовностью, точь-в-точь своему начальству передавали. По-началу в ауле шушукались: «А знаете, что Онбай сказал?!» Потом: «Э-э... уж наш Онбай скажет так скажет». Потом: «Уж наш одноногий баскарма знает, что сказать!» Потом: «О, Онбай правду-матку и глаза режет. Онбай кого угодно отбреет». Молва подхватывала и раздувала любую выходку дерзкого Онбая. Кто знает, много ли проку для колхозного трактора или машины от ведра горячего, которое отпускал Онбай, но для громкой молвы этого было вполне достаточно. Словцо, оброненное Онбаем, степным палом преследовало местное начальство.

Больше всего доставалось новому председателю колхоза. Когда шоферы-охальники передавали ему в первоизданном виде «горячие приветы» Онбая, бедняга вскакивал, будто проглотил невзначай раскаленный саксаульный уголек. Краснел, бледнел, темнел, грозился: «Ну, подожди, стервец! Я тебя...» Только что проку от таких угроз? Однажды один из колхозных председателей, должно быть, самый горячий, решительный, пришел в ярость после очередного укуса Онбая. Все! Довольно! Толкну-ка я тебя, одноногого, в яму. Попадешься, голубчик, в мой капкан! К ящику водки из аульного магазина он прикупил в районе ящик коньяка, зарезал белоголовую жирную ярку и пригласил начальника экспедиции совместно с аульным активом. А тот, начальник-то, оказался ушлым. Такого застольем не проймешь и на мякине не проведешь. Сначала хозяйку – «марджу» похвалил. Потом прелестных детишек – «баранчуков» похвалил. Заодно отдал должное куырдаку – жаркому из свежего мяса, воспел бесбармак, восхитился бараньей головой, которую в знак поче-

та поставили перед ним и с которой он явно не знал как поступить, потом восторженно отозвался о кимране – квашеном верблюжьем молоке, дескать, какой кислый, какой нежный, потом восславил кумыс, ах, какой, мол, терпкий, хмельной, душистый, не обидел и горькую водку и сладкое вино, а когда время перевалило уже за полночь, по-приятельски похлопал хозяина по спине, по плечу, нежно погладил черного кобеля у порога, потом смачно облобызал всех разорявшихся домочадцев, жену хозяина даже слегка к себе поприжал и, прослезившись от избытка чувств, с трудом попрощался.

Однако стоило завести разговор о «кладовщике-казахе Бекенове», он только похохатывал да языком пощелкивал, явно уклоняясь от беседы на эту тему. Баскарма осторожно, намеком хулит Онбая, хитрюга начальник улыбается. Баскарма начинает разоблачать Онбая, начальник экспедиции хихикает. Баскарма открыто ругает Онбая, начальник головой мотает, хохочет. Тогда, потеряв терпение, баскарма в сердцах кроет матом почтенного гостя, тот еще больше веселится, говорит: «Ай, молодец!» – и лезет целоваться. С какой бы стороны ни подходил председатель к Онбаю, начальник как заведенный, одно твердит: «Бекенов – умный человек». А означает это одно: «Оставь, дорогой. Нам нет никакого дела до ваших аульных распрей». Словом, никак не удастся вырвать из рук Онбая жирный кусок. С начальства же какой-никакой, а спрос есть. Сено следует заготовливать, урожай нужно собрать, поголовье скота множить. Короче: кровь из носу, а план давай. А чтобы был план, машина должна быть на ходу, трактор обязан грохотать. Для этого нужен бензин, нужна резина, нужны опять-таки бесконечные запчасти. Ведь нынешняя техника – это тебе не серпы, не косы, однолемешный плуг, борона или какая-то там жатка, лобогрейка, с которыми вполне справлялся и Карабала. Так что сколько бы ты ни брыкался и ни ненавидел вредину Онбая, а без него и шагу не ступишь. Поневоле идешь к нему на поклон. Ибо никто не может твердо сказать, располагает ли всевышняя современной техникой и дефицитными запчастями к ней, а вот то, что Онбай ими располагает – совершенно очевидно. И Онбай, конечно же, цену себе знает. Когда подходит конец месяца, или конец квартала, или тем более – конец года, он

не то что с шофером, не то что с бригадиром, но и с механиком или даже с самим инженером разговаривать не станет. Пока само начальство не приплетется к нему с низко опущенной головой. Онбай и бровью не поведет. Ничего не поделаешь: переборов гордость, колхозное руководство едет просить, умолять норовистого Онбая. И тот, не торгуясь, без лишних слов даст, нальет, сунет все, что твоей душе угодно, и даже сверх нормы, больше, чем ты просил, чем тебе надо. А если к нему с открытым сердцем, если назовут его почтительно «Онке» или скажут: «Только вы знаете», «Вся надежда только на вас», то он так расщедритя, что не только бензин отпустит, не только запчасти достанет, но и скажет, где следует построить новую кошару, где разумнее копать колодец, где выгоднее косить сено, где целесообразнее пасти лошадей, верблюдов, овец. Запросто, без утайки научит уму-разуму. Старики благословляют его, начальство благодарит от души, довольное, что теперь-то хозяйство пойдет на лад. Но недолго длится их радость. Едва расправятся с планом, едва приходят в себя после всех треволнений, как по аулам прокатывается слух: «Да-а... если бы не Онбай, сидеть бы нашему начальству голым задом на колючках», «Только благодетель Онбай спас нас от неминуемой беды». Ну разве приятно честолюбивому руководству о себе такое слушать? Вот безногий черт! Будет ли на тебя, наконец, управа?!

Экспедиция для Онбая оказалась поистине благом, свалившимся с неба. Но через четыре года она так же неожиданно исчезла, как и появилась. Многие злорадствовали тогда в душе, дескать, все, укоротили руки наглецу Онбаю, теперь-то он и язык свой длинный прикусит. Но не тут-то было. Руки, действительно, стали короткими, но язык еще длинней. Правда, удар был чувствительным. Времена изменились. Сначала потребовались «образованные руководители», потом делали ставку на «молодых, энергичных». Пришлось Онбаю копейки перебирать, хоть еще недавно это считалось зазорным. Понадобилось Онбаю у весов торговать, хоть и казалось это позорным. Да что там? Честолюбивый джигит, еще недавно морщивший брезгливо нос при запахе паленой овцы, теперь смиренно вдыхал вонь прелой шерсти и шкуры. Стал-таки агентом заготживсырья. Навалившись грудью на костыли,

стоял в затхлом, но всегда прохладном сарае у железных весов и яростно пощелкивал на счетах. Много нынче в аулах шерсти и шкурок стало. У всех теперь дело до Онбая. Да и у него на складе кое-что найдется. Самый крепкий насыбай – у него. Самый крепкий чай – у него. Ну а в углу, на холодном полу, в ящиках, опять-таки соблазнительно поблескивают белые, коричневые, серебристые головки. Да и место бойкое. Такого наслушаешься – месяц всюду рассказывай; и все от изумления только рты распахнут. И снова у всех на устах Онбай. Усталый, ковыляет он после работы домой. По дороге непременно нарвется на какую-нибудь компанию. А Онбай не из тех, что пройдет мимо. Обязательно с одним сцепится, с другим схлестнется. И тот, о котором еще недавно говорили «отчаянная голова», «лихой», «палец в рот не клади», стал все чаще называться «задирой», «смутьяном», «скандалистом», «драчуном». Если раньше к нему льнули, как мухи на мед, то теперь от него шарахались, точно комары от дыма. И вот пускается Онбай на костылях по пустынной улице, глотку дерет, врагов клянет. Не по нутру ему одиночество, и он обязательно заворачивает к дому Карабалы. Одним прыжком взбирается на почетное место, отпихивает костыли в сторону и поудобнее располагается на кошме. Сакип, жена Карабалы, услужливо хлопчет возле него, стелет лучшее одеяло, подает самую пышную подушку. Наевшись до отвала свежего куырдака, напившись до испарины крутого чая, он по-немногу оттаивает, успокаивается, заставляет хозяина достать из ларя заветную белоголовку, чтобы прополоскать горлышко. Нальет себе в стакан по самый верх, а хозяину плеснет в пиалу, Карабала – слабак по этой части. Тяпнет разок – губы распустит и все смеется ни с того ни с сего, как блаженный. А примет второй раз – свалится на бочок и храпит. Онбаю же не хочется лишаться единственного собеседника. Поэтому плеснет ему на доньшко, заставляет его похихикивать, а сам и водку хлещет, и речи говорит.

– У-у, язви тебя в душу! – восторгается он молчуном ровесником и таращит на него хмельные глаза, будто видит впервые. – Лоб-то, а?! Не лоб, а лбище, скажу я тебе. Целый отгонный участок! А вот удача тебя обходит. Разве ты меньше других вкальываешь? Или рожей не вышел?

Врешь! Прямой нос, пышные усы, круглолиц, в кости широк, да такой казах любую газету, понимаешь, украсит. Умное руководство должно бы тебя выдвинуть. Дескать, вот наш маяк! Вот наш герой! А то превозносят какого-то Хасана, у которого ни кожи, ни рожи. Тоже мне герой! Срам! Обглоданная кость! Удача, дружище, — капризная стерва. А счастье — одноглазое чудовище. Оно не видит, кого там за уши тянут. А увидит — с высоты зараз в пучину швырнет. Настанет день и этот ублюдок Хасан тоже вверх тормашками полетит. Посмотришь!

Тут он делает паузу и залпом осушает стакан. Кажется, свирепый огонь сжигает его изнутри и не загасить его ни водкой, ни жгучим луком, ни жирным куырдаком, ни крепким чаем со сливками. Только слова, пусть корявые, но задушевные, способны унять пламя в груди.

— Эх, будь я на коне, приторочил бы счастье к твоему седлу!

— Какой разговор, Онке...

И Сакип, разливающей чай, приятно от этих слов. Конечно, вернись то время, Онбай для них сделал бы все.

— Да, да, да! — как бы угадав ее мысли, подхватывает Онбай. — Сам я виноват. Сам! — он с остервенением мнет под собою подушку. — Ведь когда укрупняли колхоз, именно меня хотели поставить председателем. А я взял да самого первого подзадел на районном активе, коршуном обрушился на «бумажный стиль» руководства. И не заметил, как моя критика одним концом треснула по лысине самого главного. Он метнул на меня косой взгляд и сразу усек: от этой белы подальше. Ну, с тех пор и поползло у меня все по швам. Черт меня дернул тогда за язык. А в этом мире, дружище, одинаково худо и тихоням, и не в меру горластым, и чересчур смышленным, и шибко умным. Большому богатству сейчас, может быть, и не позавидуют, а вот большой ум... его простить тебе не каждый способен. Большой ум иной раз что путы на ногах. Обидно не то, что бог не дал. Не жалко, если бог дал, но он же и забрал. Самое несправедливое, когда тебе сулят, но не дают. Или из-под носа уведут. Вот эту обиду не забудешь до самого гроба. Так-то, дружок.

Онбай пытливо смотрит на сверстника и выливает остаток бутылки в свой стакан. Потом, опершись одной рукой на плечо хозяина, резко поднимается, Сакип по-

спешно сует ему под мышки костыли, и Онбай, побледнев, яростно мотнув головой, с ходу срываясь на крик, затягивает песню. Для зачина он споеет непременно по-русски. Странная какая-то песня, вроде как с надрывом, с неумемной тоской. Хозяева не понимают слов, но от мелодии щемит в груди. Онбай все больше распалается. Обвислые усы, покорно покрывающие усталый рот, вдруг вздрагивают, топорщатся. В хмурых, заметно приугасших в последние годы глазах вспыхивают шальные искорки. Губы, обожженные водкой, дряблые и блеклые, обретают упругость и живость. Грудь ширится, бугрится, и кажется, что Онбай не на костылях висит, а стоит на двух ногах, во весь свой рост. Неожиданно русская песня сменяется казахской, и на глазах расчувствовавшейся Сакип поблескивают слезы. И у Карабалы взор туманится, и жилка у глаз нервно подрагивает. Заметив, что хозяева размякли, Онбай усиливает скорбную дрожь в голосе.

Чистые слезы сердобольной четы, внимающей каждому слову песни, точно смывают в его груди досаду, боль и невысказанную обиду, смягчают горечь только что выпитой огненной водицы, развеивают хмель, угнетающей слабостью растекавшийся по жилам, точно свежим ветерком разгоняют стеснившую душу тоску.

Положив руки на плечи супругов, он с глубоким вздохом говорит:

– Эх, бедняжки мои! Десять дворов осталось в нашем роду, а я единственный, в чьих жилах сохранился живой огонь. Если завтра что-нибудь со мной случится, кто заступится за нашу честь?!

От этих слов у Карабалы еще больше сжимается сердце. Дрожа подбородком, он выстанывает сквозь слезы:

– Опора т...т...ты наша! С...с...кала несокрушимая! – говорит искренне, с душевной болью и тоской. Ввергнув в смятение простодушную чету, Онбай стремительно уходит, и сквозь раскрытое окошко плоскокрышей мазанки еще долго слышится яростный стук костылей о жесткую землю.

После посещения друга Карабала обычно проводит ночь без сна. Он, огромный, сильный мужчина, многого в жизни не понимал, да и никогда не стремился вникать в ее суть. Он привык принимать жизнь такой, какая она есть, и

никаких претензий к ней не имел. Слава аллаху, руки-ноги целы. Слава аллаху, без дела никогда не сидит. Слава всевышнему, жена Сакип, хоть и нерасторопная, бестолковая малость, а все же очаг содержит, да и против шерсти не погладит. Родила ему сына и дочь. Сын, табунщик, давно женился, отделился. Дочь вышла замуж в соседний аул. Какой-никакой, а угол свой есть. Жить можно. Попросят: «Карабала, будь добр, сделай» – он сделает. Попросят: «Карабала, пожалуйста, съезди» – он съездит, куда надо. И, дожив до преклонных лет, он еще не слышал, чтобы кто-нибудь был им недоволен. А потому он не знал обид, ни на кого не жаловался, да и голову по пустякам не ломал. И лишь после встречи с Онбаем ему каждый раз чудилось, будто что-то неладно в этом, казалось бы, надежном и непоколебимом мире, будто зыбится твердь под ногами. В душу отчего-то закрадывалось сомнение. И он тщетно силился понять, почему так не везет его сверстнику, которого он боготворит с малых лет, почему от него отвернулась лукавая судьба. Видно, существует все-таки нечто несуразное в этой жизни, о чем глухими намеками нередко говорил Онбай. Ведь в этом ауле нет ни одной души, которая могла бы затаить на Онбая обиду. Никто не назовет его нечестивцем, никто не отвернется от него в трудный час. И все же незавидная житуха у Онбая. Почему-то упорно ему не везет. В чем дело? Может, жизнь совсем не такая, как привык ее представлять Карабала? Может, она состоит вовсе не из одной наковальни и молота? И иных она мнет так, что они оказываются уже ни к чему не пригодными, не то что разные поделки, вышедшие из-под рук аульного кузнеца. Но Онбай не один из многих живущих. Он незауряден. Сколько и нем заложено энергии, умения, сноровки, ума и сметливости! И все это пропадает бессмысленно, бесследно. «Сам виноват, – говорит он часто. – Не на кого пенять. Надо бы поступать вот так-то и так-то». Возможно, так оно и есть. Но лично он, Карабала, склонен думать, что все беды-напасти сверстника исходят от того шального кусочка свинца, выпущенного этим распроклятым Гитлером. Тот свинцовый осколок не только ногу Онбая оторвал, но и гордые крылья его подрезал. Иначе с его способностями он неизвестно до каких бы высот нынче добрался. А так что? Искалечили видного

джигита, какому и равных-то по всей округе не сыскать, и теперь томится он в кругу сереньких, как он, Карабала, людишек. Вот и корежится его душа, тесно ей на этом клочке земли. И когда Карабала думает об этом, все нутро его точно огнем горит.

До сих пор Карабала, можно сказать, и горюшка не знал. Довольствовался тем, что уготовила судьба. Жил как живется. Сыт не сыт, одет не одет, а все хорошо, все слава аллаху. Да и отец покойный, видно, тоже не утруждал себя заботами. Родился сын, увидел, что чернявый, ну и назвал его, не ломая головы, Карабалой – черным мальцом. Как говорится, и учиться, и молиться не заставлял. Так и вырос. Теперь, считай, стариком стал. А в родном ауле по-прежнему Карабалой кличут. Никто его не зовет почтительно «Кареке». Так уж повелось: «Карабала сделал», «Карабала выковал», «Карабала клепку поставит»... Если случается, кто-либо из соседних аулов обратится к нему по острой необходимости и назовет подобострастно-уважительно «Кареке», то у него от смущения затылок покрывается испариной и под лопатками начинает зудиться. На сборищах-вечеринках он ни за что не полезет на почетное место, а незаметно пристроится где-нибудь поближе к порогу. Э-э... В жизни все должно быть по чину, по месту. У каждой щепки свое назначение. Где это видно, чтобы из жести ковали меч, а из крепчайшей стали лили горшки?! Вот так же нелепым кажется и нынешнее житье-бытье Онбая. Нет... не такой доли он достоин...

«Видно, и бог на небе – большой чудак, – подумал сейчас Карабала и тут же спохватился. – Прости, прости мои прегрешения!.. А все чудно получается. Былинка во рту черепахи, соломинка удачи, как божья благодать редкость достающаяся простому смертному, выпала не кому-нибудь более достойному, а именно ему, неприметному аульному кузнецу, сорок лет тому назад с грехом пополам окончившему три класса и кое-как корябающему в ведомости по зарплате четыре начальные буквы имени отца заканчивающиеся загогулиной, от которой иногда и сам он приходит в недоумение. Эх, досталась бы она, соломинка удачи, лучше ухарю Онбаю! Может, встретился бы он со своей пылкой юностью. Может, стройный, миловидный джигит, радовавший взор и ласкавший слух

аулчан, с блеском одолел бы любую грамоту хоть в районе, хоть в области, а может, даже и в самой Алма-Ате или Москве. И восседать бы теперь ему в столичных президиумах среди блистательных ученых. И тогда запросто рассовал бы по столичным институтам всех аульных сорванцов. А земляки, которых хворь или другая беда пригнала в город, непременно останавливались бы у него, располагались бы в его большой, из пяти или даже шести комнат, квартире, как у себя дома. А может быть, еще выше взметнулся бы Онбай? Может, мы лицезрели бы теперь его по телевизору... Что? Разве не смог бы он закатить речугу? Да он два часа шпарил бы без запинки, ни разу не заглядывая в бумажку. А как бы он о своем родном крае заботился! Он не потерпел бы, чтобы пыльные смерчи мчались наперегонки по солончаковым проплешинам, а привел бы, точно на поводу, какую-нибудь полноводную реку в родную степь, как об этом пишут в газетах. У, что там говорить?! Поднимись Онбай на такую высоту, Карабала через какого-нибудь аулчанина послал бы такой наказ: «Эй, пес ты этакий, став важной шишкой, ты небось и не помнишь, как мы и детстве, точно жеребята по весне, на лугу за аулом резвились... Смотри, не зазнавайся. А уж коли тебе такие права даны, то и на нас, грешных, обращай изредка свой благосклонный взор. Так вот мой сын, Куатбек, – знатный табунщик. Деньгу, сам знаешь, зашибает, будь здоров. Одна беда – больно робкий, стеснительный. В меня, что ли, губошлеп, пошел... Вздумалось ему машину купить. А для этого, оказывается, надо бог знает сколько в очереди торчать. Люди говорят, чтобы получить машину, нужны не только деньги, но кое-какое знакомство, связи. Словом, нужен толкач. Понимаешь? Возни, хлопот с этим делом больше, чем кизяка в степи. Нам это не по силам. Так будь добр, подсоби по старой памяти. Крохотная Жанель, дочурка (ты ее помнишь), ныне замужем. Детей растит. А вот порядочного жилья у нее нет. Может, и тут чем поможешь? Другие аулы как аулы. А в нашем кособоких мазанок со слепыми окошками еще хватает. Это тоже имей в виду. Для нас все это – недосыгаемые снежные вершины Каратау. А для тебя – раз плюнуть. Поднимешь трубку, звякнешь – и все готово». А-а... ладно, мало ли что он мог бы наказать своему другу. Да только все это глупая

мечта, блажь. К тому же живет Карабала не хуже других. Просто самому Онбаю было бы хорошо, пробейся он в большие начальники. Разве не приятно было бы ему спросить при случае у знакомого аулчанина: «Ну, как там мой ровесник кузнец Карабала? Живой еще?» Говори не говори, а не метался бы тогда Онбай, как затравленный пес, по аулу...

Приятно помечтав, Карабала опять живо представил Онбая, каким он увидел его три дня назад: изможденным, исхудалым, с лицом, будто покрытым золой. Тяжелые складки избороздили лоб. Под глазами набрякли мешки. Брови поредели, ощетинились. Усы понуро повисли. В зрачках нездоровый блеск. И лишь по словам, колючим и едким, можно еще догадаться, что изнуренный мужчина, укутавшийся в старое лоскутное одеяло, и есть некогда грозный Онбай.

Карабала ударил савраску пятками. Нет, поездка его должна быть удачной. Неспроста ведь встретила ему черепаха с былинкой во рту. А если ему удастся исполнить сокровенное желание больного сверстника, кто знает, может, встрепенется бедняга, поправится.

К обеду впереди показался районный центр. Плутая по кривым пыльным улочкам, расспрашивая у прохожих, Карабала добрался до учреждения, куда Онбай советовал заехать в первую очередь. Тонкобровая молодка, говорившая томно, врасстяжку, надменно выслушала робкого аульного казаха и направилась в кабинет. «Заходите», — бросила мимоходом, вернувшись оттуда. У стенки напротив двери на большом сосновом столе сидел, накинув на плечи пальто, крупный сухолицый мужчина. Сверкнув стальным зубом, с ходу стал расспрашивать о деле. Перед ним лежала подшивка газет и, слушая, он с треском переворачивал страницы, шныряя глазами по колонкам. Едва Карабала изложил свою просьбу, он резко оторвался от газеты, вытянул длинную кадыкастую шею, как-то странно крутанул головой и цепко оглядел посетителя от подбородка до лба и от лба до подбородка. Потом вдруг улыбнулся, обнажив сверкнувший стальной зуб. «А ведь Онбай точно обрисовал его, — подумал про себя Карабала. — Он и впрямь похож на гончую у норы».

— Знаю, знаю, почтенный, — сказал сухолицый. — Это, вы о забияке Бекенове говорите. Здесь у нас находится

его письмо, в котором он подряд кроет все районное руководство. Заодно досталось от него и нашим отцам и матерям. Конечно, в отместку можно было бы поманежить смутьяна. Но раз уж вы приехали, то отказать трудно. Вообще, в принципе, машина ему положена. И соответствующие бумаги имеются. Однако вопрос о включении его в список первого полугодия может решить другое учреждение. Если нам будет оттуда указание, мы с готовностью сделаем. Человек вы, я вижу, совестливый, честный. Вам не откажут. Так что, будьте добры, обращайтесь туда.

И сухолицый вновь пристально посмотрел на Карабалу. Тот неуклюже поднялся с места.

— Как «Искра»? Благополучно вышла из зимы? Как молодняк? — поинтересовался сухолицый.

— Слава аллаху, неплохо...

Карабале все чудилось, будто он где-то видел этого верзилу с длинной шеей. Закрывая за собой дверь, он незаметно покосился на него еще раз, но так и не вспомнил.

Следующее учреждение оказалось не в пример первому многолюдным. Вдоль стен длинной приемной выстроились в ряд мягкие стулья. Почти на каждом из них кто-то сидел. И у каждого на коленях покоилась толстенная папка. Судя по всему, самый главный задерживался. Белокурая смазливая девушка, настукивавшая что-то на машинке, то и дело хватала трубку непрерывно заливавшегося телефона и коротко роняла:

— Нет. Нет. Не пришел еще. Народу много.

Каждый раз, поднимая трубку, она искоса оглядывала ряды посетителей. И каждый раз солидные мужчины, чинно державшие перед собой папки, как бы вытягивались и просительно-подобострастно глядели на девушку. Наконец распахнулась обшитая светлым дермантином дверь и в приемную вступил главный. Он был подтянут, худощав, невелик ростом. Смотрел строго, пронизывающе. Скулы остро выпирали под смуглой кожей. Щуплый, легкий, он ступал, однако, широко, важно. Никого не удостаивая взглядом, решительно направился к обитой черной кожей двери кабинета. Приоткрыв ее, повернулся к девушке, что-то сказал ей, и взгляд его невзначай скользнул по Карабале, выжидающе застывшем на крайнем, у самого

порога, стуле. Вскинул редкие брови, явно что-то припоминая. Потом сразу потеплел лицом, чуть улыбнулся, приветливо кивнул.

Доброго тебе здоровья, дорогой, – поспешно ответил Карабала, скрипнув стулом под собой.

И, неизвестно отчего, густо покраснел. Вроде неловко стало. В приемной все разом повернулись к нему. Начальник прошел к себе. Вскоре задзвонил звонок. Девушка-секретарь, вспорхнув, юркнула за дверь и тут же вышла.

– Аксакал, вас приглашают.

Карабала растерянно оглянулся по сторонам, как бы прося прощения у толпившихся в прихожей посетителей, и направился к начальнику.

Кабинет оказался непомерно огромным – хоть конные скачки устраивай. В глазах Карабалы зарябило от множества изящных полированных деревяшек. У стены напротив двери громоздился блестящий коричневый стол, длиной с добрую лошадь. Из-за стола легко вскочил щуплый поджарый мужчина с ястребиным носом и пошел навстречу. Крепко пожал руку. Потом, поддерживая под локоть, привел к узкому маленькому столику, приставленному к большому, и усадил в одно из двух кресел, стоявших друг против друга. Карабала, не знавший других сидений, кроме жестких табуретов, плюхнулся нерасчетливо и утонул в мягком кресле, будто провалился куда-то. Он торопливо сдернул с головы тяжелый треух, бросил его на низенький столик перед собой и, теребя завязки треуха, начал сбивчиво рассказывать о своем деле. Щуплый серолицый мужчина молча слушал. Время от времени делал какие-то пометки на белом листе. Едва Карабала умолк, нажал синюю кнопку стола. Тут же выросла в двери услужливая секретарша.

– Соедините меня, пожалуйста, сначала с Есенкуловым, потом с Жузбаевым.

– Хорошо.

Секретарша едва успела закрыть за собой дверь, как зазвенел один из телефонов. Серолицый поднял трубку.

– Здравствуйте... Ах, вон как!.. Тогда оформляйте бумаги. Ничего, что-нибудь придумаем... Ладно.

Щуплый мужчина с сухим, как из камня высеченным лицом, говорил резко и отрывисто. От него веяло реши-

тельностью и деловитостью. Только положил трубку – залился второй телефон.

– Да. Приветствую. Значит, те три машины еще на месте? Прекрасно! Одну из них выделим инвалиду. Что? Решение, говорите? Не беспокойтесь. Передовиков производства тоже не обидим.

Тот, на том конце провода, видно, оказался не из робких. Что-то настойчиво говорил в трубку.

Серолицый досадливо наморщил лоб.

– Первого сейчас нет. Приедет – я сам с ним переговорю. Скажете, я приказал. Понятно?!

Серолицый насупился. Видно, был из тех, что умеют настоять на своем. Пальцы его начали выбивать нетерпеливую дробь. Пепельница, наполненная окурками сигарет, запрыгала на столе. А серолицый барабанил пальцами все яростней. Должно быть, называя его властолюбцем, Онбай имел в виду его прямоту и непреклонность. Кончив разговор, повернулся к посетителю.

– Аксакал, идите снова туда, где только что были. Получите бумаги. Потом зайдете к товарищу Жузбаеву. Тот исполнит все, как надо. Других просьб у вас нет?

– Нет, дорогой. Большое-большое спасибо. Да отвернутся от тебя все беды.

– И вам спасибо! За то, что в прошлом году выручили нас. Установление памятников погибшим воинам было мне поручено. И если бы не вы, опозорились бы крепко.

Карабала вспомнил: в прошлом году, весной, партторг уговорил его выковать несколько десятков пластинок из стали. Значит, это имел в виду серолицый! Начальник вновь встал из-за стола, пожал руку, проводил до двери.

Жузбаев, как выяснилось, заведовал всей торговлей района. До сих пор Карабала был совершенно убежден, что по торговой части работают одни лишь шустряки да ловкачи, способные пролезть через игольное ушко. А тут начальник оказался огромным, дородным детиной с плоским носом на широком мясистом лице и с тяжелой гривастой головой. Разговаривая, он оглаживал поверхность стола ручищей, на которой отсутствовал мизинец.

– Значит, почтенный, вам машина понадобилась?

– Зачем?! У меня родственник инвалид. Для него хлопочу.

– Что же делать, а?! Это вы сейчас у председателя были?

– Я...

– Дело вот в чем, аксакал. Мы нынче еще не получили ни одной машины из фонда для инвалидов. Правда, на базе стоят три машины. Но решением бюро они выделены для тех чабанов, кто получил большой приплод. Так и сказано: чтобы ни одна душа не позарилась. А теперь мне приказывают отдать инвалиду. Завтра вернется первый и шлепнет меня по загривку. Вам-то все равно. А каково мне?

– Не знаю, дорогой... Но... мне сказали, что... будто все решено...

– Хм-м... Разумеется, делать человеку добро – прекрасно. Но... существует ведь и закон... С ним-то следует считаться. Не так ли, старина?

– Ну, если против закона, то...

– Нет, нет! Что вы, аксакал?! Вы-то тут ни при чем.

– А-а...

– Как же быть, а?!

Жузбаев был явно озадачен. Порылся в стопках бумаги на столе. Потом, выдвинув, копался в ящиках. Наконец нашел какой-то листок. Водрузил большие, как блюдце, очки. Почитал, шевеля губами. Постучал толстенным указательным пальцем о край стола.

– В общем закону не противоречит. Только вот решение бюро... Вы из совхоза «Искра»?

– Да.

– Скотовод?

– Нет... кузнец.

– Вот как! Хм-м... А как зовут?

– Карабала.

– Хм-м... Надо же!.. И давно кузнецом?

– Я там родился. И как работать начал – так и стою у наковальни.

– Бескормицу в весну пятьдесят третьего помните?

– Конечно.

– А машины, вмерзшие в грунт у холма возле вашего аула? В марте?

– Ну, как же! Там они и проторчали, пока земля оттаяла. У многих ось лопнула. И я целый месяц провозился с ремонтом.

– Вот оно что! Помнится, говорили, что у тамошнего кузнеца золотые руки. Выходит, это вы?!

Карабала покраснел, опустил голову. Видя его смущение, заерзал и Жузбаев.

— В той суматохе и я участвовал. Пришлось разгрузить все машины, собрать верблюдов из ближних аулов и доставить сено в тюках к чабанским становищам. Сколько отар тогда спасли?! А сколько овец погибло! Да-а...

— Э-э... так вы... выходит, предисполкома Жузбаев?

— Да, тогда я работал в исполкоме.

Оба некоторое время помолчали. Карабала вдруг живо вспомнил этого крупного, беспокойного человека. Вспомнил и ту зиму, необыкновенно холодную, затяжную. Все ждали тогда: вот-вот весна наступит, и вдруг повалил снег намело целые сугробы. Скот отощал за зиму. Начался падеж. Люди растерялись. В это время пронесен слух, что из района идет колонна машин с сеном, одеждой и продовольствием. И возглавляет колонну сам товарищ Жузбаев. Действительно, через день из-за черного холма за аулом слышались гул и грохот: колонна застряла в снежных сугробах у подножия холма. Начальник колонны товарищ Жузбаев пришел к Онбаю и приказал немедленно собрать верблюдов и лошадей. Каждый двор обошел, всех на ноги поднял. Два дня и две ночи мотался взад-вперед верхом на колхозной кляче между холмом и аулом. И себя не щадил и другим покоя не давал. Облечившись в чей-то замызганный полушубок, туго подпоясавшись ремненным поводком, он вместе со всеми, обливаясь потом, помогал разгружать машины и вязать тюки. Потом уселся верхом на черного дромадера и повел груженный тюками караван через снежные перевалы к чабанским становищам. В ауле долго и с неизменным восхищением вспоминали беспокойного и деловитого начальника из района, который в трудный час проявил мудрость и достоинство. И еще поговаривали, будто он крепко обиделся на Онбая и сказал ему: «За свое хозяйство ты болеешь душой, а вот к соседям у тебя ни жалости, ни сочувствия. Черствый ты человек». Слухов об этом человеке было в аулах немало. Говорили, что он строг, требователен, крутонравен, быстр и резок и в деле, и на словах. Потому, дескать, и понизили его в должности. «Теперь он, значит, здесь торговой частью заведует», — подумал про себя Карабала.

Курчавоголовый, широкогрудый, чернявый детина все еще о чем-то мучительно раздумывал.

– Что же делать, а? Ну да ладно. Уж вам отказывать грешно... А есть у вас человек, кто бы мог перегнать машину?

– Да у этого инвалида родной сын – шофер.

– Тогда пусть приезжает и заберет.

Оба вскочили, пожали друг другу руки.

– Как нынче дела в «Искре»?

– Ничего. Снега нынче было много.

– Прекрасно! Значит, есть виды на урожай.

Покончив с делами в конторе, Карабала отправился к стреноженному за поселком коню. Проходя мимо кирпичного дома на отшибе, из которого доносился звон посуды, он вдруг вспомнил, что сегодня еще не ел. Э-э... видно, это и есть та самая чайхана, которую все расхваливает Онбай. Карабала подошел, рванул дверь и услышал крикливый женский голос.

– Все, все!.. Перерыв!.. Приходите в пять!

– До пяти, дорогая, я почти до аула доберусь...

– Ладно. Пусти уж... – донесся за дверью другой голос. – Приезжай, видать. Проголодался.

Он вошел. Сел на первый столик у входа. Пышногрудая официантка тут же подплыла к нему.

– Что закажете, почтенный?

Карабала покосился на ее высокую, полуобнаженную грудь, круто выпирающую в вырез открытого платья, и смущенно отвел глаза.

– Что-нибудь перекусить бы...

– Может, что-либо для аппетита сначала?

– Это, милая, бешеная водица, что ли? Нет, нет... Я ее не очень-то жалую.

Пышногрудая повела плечом и усмехнулась краешком крашенных губ. Вскоре она поставила перед ним пузырившийся борщ в эмалированной тарелке и блюдечко с горстью вареного риса, поверх которого лежали три кусочка не то легкого, не то печени. Потом, виляя бедрами, направилась в угол зала, где за столиком обедало несколько таких же дебелых женщин в белых халатах. Они о чем-то оживленно перешептывались. Одна из них, широколицая, корявая, что-то сказала, прыснула, захлебнулась с полным ртом, и вслед за ней заколыхались бока у остальных.

Карабала нахмурился и принялся торопливо есть. Борщ

был невыносимо кислый и холодный, рис – жесткий, недоваренный. Карабала отчего-то весь взмок. В затылке зачесалось. Он гремел ложкой и ерзал на стуле. Две зеленые жирные мухи назойливо увивались вокруг, трепыхались над ложкой, норовили залезть в рот, жужжали над ухом: «У-у-у... Обж-ж-жор-р-ра... уйми-и-иссь!..»

Больше всего на свете презирал Карабала зеленых мух и разбитных баб, нагло похохатывающих в присутствии мужчин. Впервые он это отчетливо понял еще тогда, когда его вызвали в райвоенкомат. Учреждение как учреждение, ничего не скажешь, все чинно, благородно. Одно только плохо – то, что здоровенных мужиков заставляют стоять в чем мать, родила. Томятся мужики при божьем свете в просторной комнате, пропахшей потом, беспомощно озираются вокруг, ладонью прикрывая грех, и тут вдруг заходит к ним, дробно постукивая каблучками, целая стая женщин в белых халатах. Вот и к ним вошла тогда тоненькая, смазливая молодка, села за колченогий стол в углу и давай их растелешенных, одного за другим к себе подзывать. «О, аллах! – подумал про себя Карабала. – Как это я, черный, неотесанный мужчина, предстану перед этой беленькой прелестной девой?! Чем вынести «такой позор, лучше бы сразу погнажи в окоп под вражеские пули!..»

А молодка хоть бы что. Будто всю жизнь с голым мужичьем якшается. В упор разглядывает, маленькими ручками в резиновых перчатках потаенных мест касается. Услышав свою фамилию, Карабала вздрогнул, точно молнией его ударило. У него затряслись поджилки, пошатываясь, он кое-как доплелся до стола. Остановился. Сжался. Гусиной кожей покрылся.

– Руку, – небрежно бросила молодка, скользнув по нему взглядом.

– Что? – пролепетал он, холодея.

– Руку, пожалуйста, уберите, – улыбнулась она, обнажив белые, ровные зубки.

Он повел кадыком.

– Сестренка... это... неловко ведь... стыдно...

Молодка нахмурилась. И тут, как назло, влетела в окно зеленая муха, покружились-покружились над его головой и уселась на плечо, затрепыхала крылышками, засучила лапками. Он повел плечами и так и сяк, головой подер-

гал, пошевелил лопатками – ни в какую. Сидит проклятая муха, будто насмехается. Разозлился Карабала и обеими руками похлестал, пошлепал себя по затылку, по плечу. Лукавая молодка, пользуясь его замешательством, приникла к нему, осмотрела, что ей надо, и давай что-то записывать на бумаге. Пишет, а сама вся трясется, смех ее душит. Наконец не выдержала, откинула бумагу и перо и захохотала, вытирая слезы. Вслед за ней загоготали и все джигиты, разом забыв и про стыд, и про неловкость.

Хрупкая и смазливая, как райская дева, молодка почувдилась тогда Карабале самим Азраилом – ангелом смерти.

И сейчас, прислушиваясь к тому, как в углу за столом похихикивали дородные официантки, он представил, что среди них находится и та – запомнившаяся на всю жизнь молодка из военкомата.

Поев, он сразу же вскочил и бросился к вешалке. Подхватил под одну мышку шубу, под другую – треух, толкнул дверь. Не успел переступить порог, как женщины, точно вслед ему, дружно и громко расхохотались.

«Вот дуры! – подумалось ему. – Кобылы гладкие! Не чайхана, а обитель дьявола. Царство зеленых мух и игривых баб...»

Но вскоре доброе настроение вернулось к нему. Взобравшись на савраску, оставленную во дворе «Заготскота», и выехав на большак, в стороне которого раскинулся районный центр, он почувствовал вдруг такое приятное облегчение, что помимо воли затянул:

– Е-е-е-ей, рыжий мерин!

Девушка с джигитом глубину колодца...

Но тут же спохватился, подосадовав на себя, что непристойными словами чуть не осквернил уста, протяжно зевнул и добавил: «Э-э, аллах... Благодарение тебе за все твои милости!»

Саврасая трусила весело. Видно, тоже радовалась возвращению домой. Карабала прямо восседал в жестком, старом седле. Ну что ж, повторял он про себя, и это дело сделано! Напрасно Онбай крыл районное руководство. Дескать, чинодралы. Ничего подобного. Все трое благосклонно выслушали его. И даже охотно помогли. А двое из них, оказалось, лично его знают. Да и тот, с железным зубом, вроде бы знакомый. Да, да... где-то его ви-

дел. Но где? Когда?.. Подожди, подожди... На поминках тещи? Нет, такой на глаза не попадался. На второй свадьбе тестя? Тоже нет. Скорей всего один из уполномоченных, которые в страдное время косяками приезжают в аул. Разве их всех упомнишь? Да и у них нет к нему дела, кроме того, как при надобности что-нибудь в машине подладить. Впрочем... кажется, в позапрошлом году как-то ночью заехали двое в газике, покрытом брезентом. Даже не прошли в дом. Спешили, умоляли: «Отец родной, помоги, выручи. Видишь: рессора лопнула». Всю ночь протюкал тогда в кузнице. А на рассвете гости уехали восвояси. Видно, ночной охотой забавлялись. Край брезента был окровавлен и в спешке кое-как затерт зеленой травой. Помнится, один из них, мосластый, щербатый, прямо-таки места себе не находил. Все поторапливал, угваривал сделать быстрее. Кажется, он самый и был. Просто вставил зуб. Ладно... Как бы там ни было, а дело бедняги Онбая, из-за которого он уже столько времени бьется как рыба об лед, наконец благополучно решилось. Сколько раз этот крикун и задира гонял лошадей в район, какими только словами не ругал тамошнее начальство, и все зря, без толку. А он, тихоня Карабала, который весь изойдет потом, пока кое-как свяжет два слова, все уладил с первого же захода. И все это, видит аллах, благодаря чудодейственной силе тонюсенькой былинки во рту черепахи. Да, предки знали, знали, что такая былинка сулит удачу. И эта удача выпала Онбаю. Сейчас, когда он увидит документы, у бедняги от радости наверняка сердце зайдет. А потом опомнится откинет бедовую башку и расхохочется: «Смотри-ка, и ты, тюхтя, оказывается, еще на что-то способен!» Пусть смеется, может, хмурь развеет, может, на душе полегчает. Небось извелась его тоска за зимние долгие месяцы.

Прямо с дороги заехал Карабала к Онбаю. Тот полусидел у стенки на подстилках, обложив себя подушками. В комнате было сумрачно, тихо. Жена и детишки ходили на цыпочках и, казалось, даже не дышали. Словно это были не живые люди, а только тени.

Громко прихлебывая из блюдца, Онбай нетерпеливо покосился на родича, и в глазах его вспыхнули хитрые, злорадные искорки. Он кивком головы пригласил сестрь рядом. И когда Карабала, опустившись на одно колено, только открыл было рот, Онбай ядовито усмехнулся:

– Можешь не говорить. Попей сначала чаю.

И, звучно потягивая крутой чай, нервно пошевелил усами.

Карабала тоже отхлебнул из пиалы, но глоток застрял в горле.

Онбай допил, перевернул чашку, откинулся на подушку, натянул на грудь сползавшее полосатое одеяло.

– Ну, как съездил? Начальники живы-здоровы? – спросил он с ехидцей.

– Слава всевышнему.

– Тебя, полагаю, с распростертыми объятиями встретили?

– Да. Встретили неплохо.

Онбай вскинул бровь. Щепотку насыбая поднес к губам и тут же отвел руку.

– Что сказал этот, с железным зубом?

– Подготовил все бумаги.

Злорадная искорка в глазах Онбай на миг потухла. Однако бровь удивленно застыла на лбу.

– А к гордецу этому тощему заходил?

– Заходил.

– Небось мычал, как корова при отеле?

– Да нет.

Онбай приподнялся на локтях, пронзительно уставился на родича, как бы спрашивая: «Слушай, что ты здесь мелешь?!»

– А тот, верблюд? Прибедняться, наверное, начал? Сиротой прикинулся?

– Сказал: на базе имеются три машины. Пусть, говорит, одну возьмет. Вот документ.

Онбай осторожно развернул бумагу. Достал из-под изголовья очки и принялся, не торопясь, читать. Потом повертел бумагу и так и сяк. Покачал головой. Фыркнул. И опять на лице его застыла кривая усмешка.

– У этих нечестивцев, бывало, зимой снега не выпросишь. С чего бы это они так расщедрились вдруг?!

Огромная тяжесть будто свалилась с плеч Карабалы.

С радости хотел было рассказать о травинке во рту черепахи, о соломинке удачи, но тут же раздумал, осекся, заметив, как вдруг побагровело, вздулось, пошло пятнами измученное хворью и тоской лицо Онбая.

Никому в доме не было дела до радостной вести, дос-

тавленной Карабалой из района. Все только с недоумением и затаенным страхом смотрели на хозяина дома.

А Онбай вдруг схватился за культю, скрипнул зубами, точно от боли, и медленно повалился на подушку. Лицо его исказилось, побледнело. Скулы обострились. Желваки взбугрились. Сказал через силу, глухо:

— Ладно. Спасибо. Можешь идти домой.

Карабала встал. Нахлобучил треух. Взял камчу. У входа быстро обернулся, Онбай не шелохнулся. Лицо его словно окаменело. Гневная, злорадная ухмылка застыла в правом углу губ.

Выйдя на улицу, Карабала сунул руку за пазуху, чтобы удостовериться, на месте ли соломинка удачи. И только тогда вспомнил про рецепт. Ведя саврасую под уздцы, шел он к своему дому на краю аула. Ему показалось, что идет он слишком долго. Видать, верно сказано, что в темноте дорога удлиняется. Вроде бы под боком дом, а никак не доберется.

Карабала испытывал досаду оттого, что в суматохе забыл купить жене лекарство.

Перевод Г. Бельгера

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Еще не развиднелось, когда она открыла глаза. Моно-тонно долбил дождик. За юртой, в затишке, постанывала темно-серая верблюдица с верблюжонком: неуютно ей, бедняге, под дождем. Все никак руки не доходят, надо бы залатать крышу. Расползлась, продырявилась кошма. Чуть задождит, и в юрту вода натекает. Особенно здесь, в правом крыле. Кап-кап, тук-тук. Вот уж и край подстилки отсырел.

Свекор-то хоть куда, крепок: вон как во сне дышит. Сопит вовсю, а грудь так и ходит ходуном, словно кузнечные мехи. Чуть слышно посапывает во сне свекровь, прикорнувшая, как всегда, на самом краешке постели со стариком рядом. Вечно вот так: не припомнит она случая, чтобы свекровь раздевалась и ложилась спать в постель как положено.

До глубокой ночи крутит свекровь свое веретено и сидит долго-долго, пока сон не сморит. Тогда она, не раздеваясь, свернется калачиком у ног мужа, а то пристроится бочком с краешка. Зато поднимается задолго до восхода солнца. Схватит чайник – и во двор, а сама все с собой разговаривает, потом помоеет руки и быстрее дойти верблюдицу. Едва видна старушка под брюхом низкорослой верблюдицы, лишь платок ее белеет в сумраке утра. Она часто вздыхает, бубнит что-то себе под нос, неслышно пробирается в юрту и ходит из угла в угол. Возится, хлопочет, одному аллаху ведомо, что она делает в такую рань.

– Э не, – тихо говорит ей Торгун. – Полежали бы. Я сейчас встану.

– Да что ты, милая?! Спи, спи. Вздремни еще чуток до работы.

Сейчас свекровь спит. Значит, до рассвета далеко. Торгун повернулась на другой бок. И куда это сон проклятый подевался? Прямо беда. Со вчерашнего вечера как-то неладно, беспокойно у нее на душе... А тут еще этот дождик заладил. Когда теперь распогодится?.. Разве мокрую траву коса берет? Не прояснится до утра, никакой работы сегодня не будет. Козодой все тянет и тянет одно и то же: как-иик... как-иик... как-иик... Чтоб он подавился! Не то плачет, не то радуется, не поймешь. Где-то рядом, видно, на шестке устроился. Вот опять: как-иик... как-иик... как-иик... Кажется, радуется. Затих. Улетел. Верная примета: козодой радуется – к добру. Давно уже не было вестей от Даулета. Да разве этот рябой Сагит развозит почту? Стреножит почтовую гнедуху на лужайке за песками и пасет день-деньской своих овечек. Какое ему дело, что здесь люди истомились, измучились в ожидании...

Хоть и крепок еще свекор, а все-таки старость сказывается. Вот заметался во сне. Свекровь проснулась. «Эй! Эй! Старик! Очнись!» – «Ух!..Ух!» Задышаться стал. Да что там, устал, конечно. Устанешь, если изо дня в день, с утра до ночи тук-тук молотком по наковальне. Целыми днями тюкает молотом бедный старик. А порядочную железку нынче днем с огнем не сыщешь. Гниль одна ржавая. Чуть что – крошится. Серпов не напасешься...

Звякнуло в углу. Свекровка, значит, встала. Что ж это она в одном платье во двор подалась? Хоть бы безрукавку натянула. Свежо, сыро ведь. Снова хлопнула дверца. Торгун поправила соскользнувший на подушку платок.

– Невестушка, ты не видела мои кебисы?

– Под сундуком стоят. Свекровка опять вышла.

– Тьфу! Мученье одно с этим арканом. Чуть намокнет – колом торчит, – бурчит она за дверью.

– Сейчас, мать, я открою. Дождь-то перестал?

– Да ладно, спи. Накрапывает немного. Со скрипом, тяжело откинулся старый тундук. Из юрты стал виден клочок серого неба. Рассвело, значит. Холодок пополз к постели. Торгун поглубже натянула одеяло.

«Ах ты, животина! – ласково приговаривала старуха за юртой. – Скотинка моего сыночка».

Верблюдица издала утробный звук и неуклюже поднялась. «Слава аллаху!» – заученно прошептала старуха и тут же дробно застучали упругие капли молока о дно ведерка.

Торгун встала. Все равно, какой теперь уж сон. Вышла из юрты. Рыжие горбатые барханы вокруг аула в утренних сумерках казались серыми. Дождь прошел. Небо очистилось, сумеречные тени, бледнея, спешно отступали, прояснялось. Позади аула смутно белели меловые вершины. Аул просыпался. Первыми поднялись старухи, доить верблюдиц. А косари все еще отсыпались. Торгун приподняла ворот накидки, оправила полы бешмета и направилась в густые заросли чия, что рядом с аулом.

Тихо-тихо вокруг. Неподдалеку дремлют и чий, и осока. В кустарнике все еще пасся мухортый конь бригадира Бердена. Слишком рано, значит, поднялась она сегодня. Сон на заре обычно не давал разомкнуть веки, наливал их тяжестью, а сегодня как рукой сняло. Дождь взрыхлил супесь. Зеленый, нежный чий умылся влагой, распушился, и на едва заметном ветерке расчесывал теперь шелковистую бороду.

Когда Торгун вернулась домой, поднялся с постели и свекор. Он, кряхтя, натягивал на ноги тяжелые с длинными голенищами сапоги, словно собирался в дальний путь. Не терпит старик сырости. Надо, пожалуй, развести огонь сегодня в юрте. Кизяки, прикрытые верблюжьей попой, были сухи и ярко горели под таганом. На почетном месте, на подстилке, сидел свекор и расчесывал пальцами начинавшую сесть бороду. В углу возилась с посудой старуха. Она приподняла крышку деревянной кубышки, и в юрте остро запахло квашеным верблюжьим молоком. Старуха вылила в кубышку только что надоенное молоко и помешала большим, облезлым половником. Все трое молчали. Свекор о чем-то задумался. То и дело он теребил бороду и, не мигая, смотрел покрасневшими, воспаленными глазами на огонь, горевший под таганом. Видавший виды самодельный пузатый черный чайник начал тихо высвистывать свою песенку. Надо бы его еще разок подпаять. И дно казана тоже истончилось. Есть ли в этом доме хоть какая-нибудь целехонькая посуда?.. Все в трещинах, вмятинах, все не раз паяно, латано. Да и сказать по правде, пора. Скоро пять лет, как ни одной новой вещи не появилось в доме. Не служить же посуде вечно.

Прижавшись боком к огню, стоит на золе старый железный кумган. Старуха отлила из него себе на ладонь воды, помыла руки. Сотни раз на дню моет она руки. Не может иначе – привычка.

– Невестушка, чайник-то, кажись, вскипел.

И в магазине давно уже не были. В зеленом мешочке уже почти не осталось чая. Торгун достала из ларца щипчики и начала колоть, дробить сарсу. Щепотку сладкого она положила перед свекром, другую – рядом с блюдцем свекрови. За чаем тоже молчали. Было только слышно, как прихлебывали.

Первым, как всегда, заявился к ним Сакан, большеносый угловатый подросток. Лицо его обожжено солнцем и обветрено, вечно на нем какие-то трещинки и струпья.

– А ну, баба, отодвинься, – подражая взрослым, сказал он и вклинился между ними, словно было мало места за дастарханом. Потом уставился на старика, молча попивавшего чай.

– Куке! Что же это вы?! Сами обещали сделать, а все нет да нет...

Он приходился домочадцам дальним родственником, потому и держался как избалованный сорванец. Старик поднес пиалу ко рту, но, прежде чем отхлебнуть, заметил:

– А что толку? Сегодня сделаю, а завтра опять сломаешь.

Сакан сделал обиженное лицо и уткнулся в пиалу.

Свекор не охоч до чаю, потому вскоре перевернул пиалу вверх дном. Зато свекровь, мелко откусывая от твердого куса сарсу, пила чай маленькими глотками, не торопясь. Глаза ее повлажнели, лицо покрылось испариной. Казалось, она наелась копченой жирной баранины, потому не может утолить жажду. Сакан сунул руку в мешок, набрал полную горсть мелкого иримчика, высыпал крошки в поднос и принялся громко похрустывать. Чай в заварном чайнике, опоясанном медным обручем, стал совсем жидким. Поняв, что старуха с Саканом еще не скоро оторвутся от своих пиал, старик пробормотал молитву, провел ладонями по лицу и встал.

– Напьешься чаю – придешь ко мне, – сказал он, толкнув Сакана в плечо.

Сакан обиделся, но промолчал. Со стороны кузницы донесся голос Бердена.

– Эй, старина! Пока сохнет сено, отбей-ка серпы у косарей.

Кузница – неказистая развалюха, землянка, возле которой валяется пара старых колес от арбы. Видно, там собрался народ: слышны голоса.

Стали убирать дастархан, и свекровь посмотрела на шанрак. Торгун знает, в чем дело: давно уж не переставляли юрты, ууки сбились набок, покосились. Если до обеда не отправят на покос, надо бы ее, юрту, подправить. Не только они, оказывается, сняли продымленные, истлевшие кошмы. У многих торчали голые остовы старых юрт. Ничего не поделаешь: до собственной халупы руки не доходят.

Моль и всякая нечисть так и лезет в захламленные жилища. Чтобы избавиться от этой напасти, свекровь не раз обливала все вокруг керосином, обсыпала дустом и бог весть какой отравой. Едкая, вонючая пыль разъедает глаза, лезет в ноздри. А барахла разного накопилось – ужас! Пока сидишь на месте – еще ничего, а как дойдет дело до кочевки – не знаешь, что куда девать. Для чего, интересно, понадобились вот эти зубья от сенокосилки? Это, конечно, свекровь приберегла. Увидит какую-нибудь железку возле кузницы, непременно домой тащит. Потом свекор подолгу ходит вокруг кузницы, ищет пропажу и не находит. А придя домой, увидит железку у порога своей юрты, так и сверкнет глазами на старуху, однако промолчит. Напившись чаю, снова плетется в кузницу, захватив под мышку злополучную железку. Так вот и зубья эти небось несколько дней искал.

Возле кузницы стучал молот. Тут собрались аульчане. Кто косу отбивает, кто серп точит, а кто кузнецу подсобляет. Уж не ушел ли куда этот недотепа Сакан? Надо бы шанрак приподнять. Да вот он и сам плетется. Опять, видно, веревки клянчить станет. Разве напасешься аркана на железные фляги?

– Слушай, дружище! Помоги-ка шанрак поднять. Жидковат еще Сакан: силенок мало. Шест не удержат, из стороны в сторону мотается шанрак. Оттого-то и ломаются унины. Ух, еле-еле юрту поправили. Там, где лежали тюки, росла бледная, худосочная травка. Давно пора переменить жильё.

– Ну, ладно, ладно, иди, дружище! А то работа ждет. Сами управимся.

Возле кузницы дружно захохотали. Это над Саканом смеются. Норовистый, с рваными ноздрями верблюд зафыркал, заревел, не подпускает к себе мальчика. Сакан покраснел до ушей, разозлился. Хлещет хлыстом верблюда по морде. Вот люди, обязательно надо над кем-то посмеяться, не могут без того, чтоб не почесать языки. Сакан самолюбив, горяч. Теперь до самого перевала рысью будет гнать верблюда. Особенно изощряется бригадир Берден. Трепач несчастный! Мастак подкалывать — хлебом не корми.

До войны, рассказывают, горячее возил, и однажды, когда верблюд опрокинул арбу, ревел на дороге, как баба. А теперь забыл, значит. Над недоростком Саканом куражится.

Вот балбес! На лежачего верблюда залезть не может! На макушке торчит детская, сшитая из разноцветных лоскутков тубетейка. Маленькие, как верблюжий катышек, глазки заслезились. Мясистыми ладонями хлопает себя по ляжкам. Чему радуется, дурачок? Вот сюда теперь зенки направил. Так и шарит, так и щупает ими. Перед свекром стыдно.

Торгун ходила вокруг юрты, натягивала туурлук. Солнце после дождя нещадно пекло. По лицу и спине струился пот. Надо скорее накинуть кошмы, не то живьем сгоришь в такую жарынь. Свекровка тоже старается из последних сил. Маленькая, сухонькая старушонка — откуда только силы берутся: целыми днями копошится.

— Эй, жена, пошевеливайся! Чуешь, солнышко-то припекает!

Это Берден жене кричит, повелевает. Она тоже перекрывает юрту. Но эту горбоносую чернявую бабу криком не возьмешь.

— А тебя, видать, возле кузни стреножили, порази тебя оспа! — Огрызнулась она тут же и с яростью отпихнула ногой медный таз.

Торгун усмехнулась. Берден заковылял к себе, его протез глубоко увязал в песке. То-то же, голубчик! С горбоносой-то шутки плохи: живьем тебя съест.

А у кузницы все стучит молоток. Юрта уже почти перекрыта. Тундук еще еле-еле держится. Чем только его не укрывали: старая кошма, брезент — все пошло в ход. Совсем отяжелел тундук. С трудом подняли. А пылица-то вокруг! Ужас! Надо сбегать за водой, подмести, а то задохнешься от жары и пыли.

Взвалив на спину вместительный жбан и прихватив ведро, она отправилась за водой. Земля слегка подсохла. Однако в воздухе стоит удушливая влажность. Верхушки курака уже пожелтели. Больше мешкать нельзя: затвердеет курак, трухой будет. Надо его сегодня скосить.

Всю ночь вольно паслись в степи кони и верблюды, теперь потянулись к колодцу. Кто-то яростно ругается:

– Чтоб ты подохла!..

Голос Бердена. Это его рыжая одногорбая верблюдица стоит. Видно, горбоносая отправила его поить скотину. Обильным потом обливается бригадир. Широкие ноздри раздуваются со свистом.

– А! Это ты, дорогуша! Давай, подставляй – налью...

Он опрокинул бадью в деревянное корыто и выпрямился, широко расставив ноги. Таращит свои глазки. Нечистая улыбка бродит по лицу. Редкие волоски на губе встопорщились.

Торгун с трудом протиснулась сквозь табун коней и верблюдов к колодцу, опустила на землю жбан.

Берден визгливо прикрикнул на скот, плотным кольцом окруживший корыто, вылил остаток воды из бадьи в ведерко Торгун. И пока она наполняла жбан, без умолку тараторил:

– Эх, дорогуша! И почему только ты не подпускаешь меня к себе, а?!

– Что я тебя к себе не подпускаю, это еще полбеды. А вот узнает о твоём желании та дорогуша, которая живет у тебя в доме, думаю, тошно тебе будет. И на порог не пустит.

Наклонившись над жбаном, Торгун усмехнулась. Берден, закинув голову, захохотал.

– Если моя баба заартачится, подыщу молодку вроде тебя, а?.. Эй, эй! Чу, чу, проклятые!.. Вот хозяйева... До сих пор скотину не напоили.

Наполнив жбан, Торгун прилаживала затычку. Услышала, как позади нее Берден спрыгнул с коня. И вдруг кинулся к ней, и его руки жадно зашарили по ее бедрам. На лице застыла ухмылка, а руки дрожали.

– А ну! Прочь!

Недобро улыбнувшись, Торгун взвалила на спину жбан и зашагала.

– У, проклятые!.. Чтоб на вас ящур напал! – В его голосе слышалась гневная дрожь.

Вот привязался, наглец. И на покосе и всюду рядом вертится. Баба его горбоносая бесится, а ему хоть бы что. Кажется, и свекровь о чем-то догадывается. Как слышит голос Бердена, вся передернется. Особенно злится Сакан. Недавно, когда работал на сенокосе, на граблях, завернул он к женщинам-копнильщицам напиться. Как раз в это время приперся туда и Берден. Увидев Сакана, который, сидя на корточках, пил шалап, тут же накинулся на него.

— У, чтоб тебя болото засосало! Какого хрена здесь околачиваешься, когда сено на поле сохнет?! Из-за большой деревянной чаши Сакан стрельнул на него одним глазом. Медленно выпил весь шалап, вытер рукавом губы и дерзко уставился на Бердена. Бригадир побагровел.

— Эй, щенок! Что зенки вылупил, как бугай!

— Язык попрдержжи, слышь...

— Что-о-о?! Смотри у меня, сопля зеленая! Не успели заметить, как вскочил Сакан. Кинулся к Бердену, вцепился в его ворот и повис. Бригадир, видно, не ожидал от него такой прыти, растерялся, побледнел весь. Мальчишка! На глазах у баб позорит. Рассвирепев, хлестнул куцей камчой по плечу. Сакан дико взревел. Торгун не выдержала. Подлетела к Бердену, выхватила из рук камчу. Бабы все разом загалдели.

— Совсем обнаглел, кобель!

— Ишь вдов да сирот обижать вздумал!

— Свинья!..

Багровый, потный, Берден вскочил на коня и направился туда, где скирдовали сено.

А Сакан заупрямился. Два дня после этого не выходил на работу. Берден тоже не заезжал за ним: побаивался старого кузнеца. Чтобы избавиться от Сакана, поставил на грабли другого, а ему поручил возить кумыс из одного аула в другой. Мальчик то и дело по пути заворачивал к женщинам на покос. И, не видя среди них Бердена, победно усмехнувшись, ехал дальше.

Торгун забавляет и умиляет ревность ее маленького заступника.

Ну и печет сегодня. Страсть! У косарей языки от жары вываливаются. Горит земля. Тени не найдешь, чтобы укрыться. Небо чистое-чистое, словно тарелка, вылизанная обжорой. Душно, как в каменном мешке: с одной стороны горы, с другой — барханы. Ветерку не пробиться. Что

это возле юрты бабы собрались? А, верно!.. Сегодня ведь свекровь хотела веревки вить. Помогать, видно, пришли. Галдят, суется. Ну и аул! Юрты как попало понаставили. Привалились друг к другу, будто места мало. Вон из-за этой юрты ничего не видать. Кажется, и мужчины там собрались... Им-то чего надо?

Женеше, суюнчи! Суюнчи!

Что? Что этот мальчик говорит? Запыхался весь. Уж не вернулся ли Даулет... Вон трое верховых с коней слезают... Господи...

Ух, наконец-то и она добралась... Спина ноет от тяжести жбана. Кто это там обнимается со свекровью? Наше повисла старушка. Так это, кажется, секретарь аул-совета Баламан. Что он мог такое сообщить?

– Эй, старуха, сын-то твой здесь... – Голос свекра. Торгун быстро обернулась. Свекор легко отстранял от себя Даулета. – Иди, иди. К матери иди. Видишь, совсем сбрендила. От радости сына не узнала. На Баламане повисла, старая...

В самом деле, старуха, ослепнув от счастья, приняла за сына Баламана. Неверными шагами засеменила она к сыну и без чувств упала ему на грудь. Даже не вскрикнула. Бабы, толпившиеся позади, всхлипнули и принялись краешком платка вытирать слезы. Мужчины стояли в сторонке. Среди них – свекор. Не отрываясь глядел он на старуху и сына, но держался с достоинством, спокойно.

Даулет, бережно поддерживая, повел мать в юрту. Народ повалил со всех сторон. Одни протискивались в юрту, другие толпились у дверей. Торгун отошла за юрту, ухватилась за веревку, чтобы не упасть, смахнула слезы. Потом поправила платок и подошла к тагану. Черный от сажи таган, с ярко тлевшими под ним кизяками, казался тусклым, расплывчатым, словно она глядела на них через толстый слой воды. Все поплыло перед глазами. Торгун никак не могла найти чайник. Оказалось, соседка опередила: наполнив чайник водой, она уже выходила из юрты. Остальные женщины тоже сутились возле очага. Но она не соображала, что творится вокруг, что делают ее руки. Кто-то схватил ее за локоть.

– Иди в юрту, Торгун. Гостям чай надо разливать.

В юрте стоял гомон. На почетном месте, рядом со свекром, чинно восседали старики. Остальные мужчины сидели чуть пониже, вокруг Даулета. Две-три старухи

хлопотали в углу у сундука, возле ошалевшей от неожиданной радости свекрови. Бабы расстелили дастархан, насыпали перед гостями иримчик, курт, сарсу – все, что у соседей в ларях наскребли.

Торгун опустилась на краешек дастархана, где уже были расставлены пиалы. Кто-то из женщин поставил перед ней тазик с горячими углями, кто-то внес исходивший паром вместительный чайник. Торгун, не поднимая глаз, разливала по пиалам чай, чья-то проворная рука передавала пиалы дальше. Она ничего не замечала вокруг. Только и видела, как перед ней ставили пустые пиалы, которые она тут же наполняла густым горячим чаем.

Люди о чем-то громко говорили, казалось, все разом. Но Торгун ничего не понимала. В ушах звенело, а слова проплывали где-то мимо нее. Сколько прошло времени? Давно ли уже гости пьют чай? Она не знала. Вскоре пиалы начали возвращаться перевернутыми. Их тут же собирала какая-то женщина, полоскала и вытирала. Вот дастархан убрали. Но никто не поднялся, не вышел из юрты. Торгун встала, схватила тазик с потухшими углями. У самого порога незаметно посмотрела туда, где сидел Даулет, одетый во что-то серое. Но он был окутан табачным дымом, и она даже не разглядела его лица.

Она вынесла золу и оглянулась. У очага по-прежнему хлопотали женщины взад-вперед сновали дети. Какая-то старуха мочила в большой деревянной чаше затвердевшие – видно, долго хранили на дне ларя – куски копченого мяса. В жбане уже не было ни капли воды. Кто-то из женщин взвалил его на спину и отправился к колодцу. Куча кизяков возле очага заметно поубавилась. До вечера не хватит. Торгун взяла мешок, пошла в степь.

Она шла сквозь заросли чия. Своими пушистыми верхушками молодой, еще не окрепший чий гладил ее по лицу, по шее, задевал, ласкал плечи, руки. На почве после дождя образовалась тонкая, хрупкая корка. Она с хрустом ломалась под ногами, и они мягко увязали в глине. Все реже попадались стреноженные кони. Чий поредел. А она все шла, шла, почти не глядя вокруг. Почувствовала, как онемела рука, и перекинула мешок на другое плечо. Вот и кончился чий. То там, то тут торчали отдельные кустики джингила. Так обычно лежат овцы в знойный день, упрятав морды в шерсть и прижавшись друг к другу. Вот те раз, к самому солончаку притащилась. Откуда

здесь быть кизяку? Она пошла вдоль солончака в сторону белевшего вдали мыса. Почва там хоть и песчаная, но растет типчак, и наверняка найдется кизяк. А ближе к аулу нечего искать: малышня начисто все вокруг собрала.

Началась пыльная белесая степь. Здесь-то и пасутся верблюды. Прижав ноги к животу, развалилась верблюдица. Видать, давно лежит. Вытягивая онемевшие ноги и тяжело раскачиваясь, она еле-еле поднялась. Торгун скинула мешок. Вот тут-то она и наберет кизяку полный мешок.

Верблюды, дремавшие на горячем белом песке, поднялись и важно зашагали к солончаку. А жара-то заметно спала. Солнце уже к закату клонится.

Торгун посмотрела в сторону аула. Возле каждой юрты стояли верблюды. На каждом из них громоздилось по два косаря. Вот они потянулись к кураку за аулом. Значит, уже пора на работу. Торгун заспешила.

Когда она дошла до песков, перед ней проскочил табун косуль. Видно, спасались в ущелье от жары, а к вечеру отправились на пастбище. Козел вдруг наострил уши, стал как вкопанный. Вслед за ним стал и насторожился весь табун. Недалеко от них ехали двое всадников. Один — Баламан. Другой ехал на мухортом коне Бердена. Кто это? Сакан, что ли? Она вдруг вспомнила, что вернулся Даулет. Свекор, значит, отправил Сакана в центр.

Торгун вскинула на спину полный мешок, пошла к аулу. Далеко забралась, оказывается. Хоть и спала жара, а песок жжет, набился в легкие шарыки, переплетенные ремешками. Дойти бы скорее до зарослей чия...

Да, в зарослях прохладней. Прохлада с гор веет. Пушистые усики чия чуть заметно шевелятся. Запах зелени, умирающей в полуденный зной, сейчас снова щекочет ноздри. Небо, которое в полдень было раскалено добела, тоже ожило. С севера по всему небу растекается синева.

Спешит Торгун, торопится. Все уехали на работу. Должно быть, теперь опустело у них в юрте. Самое время посидеть с Даулетом, поглядеть на него, не таясь, поговорить всласть. Сейчас дойдет до дому, швырнет у очага мешок, зайдет в юрту... Да, но ведь свекор со свекровью дома. Конечно, они дома. Ненаглядный, единственный, долгожданный сын вернулся. Разве тут уйдешь?! Молчаливый свекор сидит, наверное, на подстилке и задумчиво тербит курчавую бороду. Свекровь пришла наконец в

себя и теперь устроилась подле ларя и, чтоб не гневался старик, тихонько всхлипывает. Даулет хорошо понимает состояние родителей, поэтому тоже молчит и сосредоточенно курит. Он устроился на шанрак юрты и отмечает про себя все изменения, которые произошли в ауле в его отсутствие. Все трое понимают друг друга без слов и, кажется, могли бы сидеть молча целый месяц.

Хорошо бы, если бы стариков не оказалось дома. Тогда Даулет спросил бы у нее, как жизнь, как дела. Она бы, наверное, не сдержалась, заплакала. Когда провожали Даулета, она побоялась свекра и даже слезам не дала волю. Слезы застряли в горле, и несколько дней после отъезда Даулета она не решалась рта раскрыть, боясь зареветь горько-горько, по-бабьи.

Интересно, какой сейчас Даулет? Она живо помнит проводы. Было оченьлюдно, оживленно. В сторонке стояли они вчетвером. Даулет сидел на коне и как-то жалостливо смотрел то на мать – то на отца, то на нее. Обычно шумливый, озорной, он был в тот день непривычно робок. Когда призывники тронулись в путь, он быстро догнал передних, оглянулся назад: все трое одиноко стояли возле конторы – и тут сердце матери не выдержало: она слабо вскрикнула. Даулет отвернулся, стегнул коня и выскочил вперед, в самую голову отряда...

Вот и добралась до аула. Возле кузницы толпился народ. Значит, свекор не дома.

Торгун сбросила мешок у очага. Вместе с мешком уронила и платок. Она подняла его, отряхнула, тщательно повязала и, прижав рукой конец платка к груди, робко открыла скрипучую дверь.

В юрте была одна свекровь. Она перебирала на подносе пшеницу, очищала от мелких камешков и шелухи. В юрте после гостей было неубрано: всюду валялись одеяла, подушки. На кереге не висели камчи и шапки. Значит, разошлись гости.

– Келин, надо бы муки намолоть. А то в доме ни горстки.

Торгун принялась крутить ручную мельницу. Время от времени она останавливала жернов, прислушивалась к голосам у кузницы.

Низкий сочный бас – голос Даулета. Только не разберешь, что он говорит. Он отправился в кузницу помочь отцу, за ним увязалась ватага ребятишек, и несколько

стариков поплелись туда же. Теперь вот расспрашивают его обо всем на свете.

С улицы вошла свекровь. Глаза ее опухли, слезились. Торгун стала быстро-быстро крутить мельницу. И тонкой струйкой потекла по желобку мука...

Намолот пшеницы, она тщательно выскребла, вымела всю муку, высыпала ее в мешочек, а свекровь, гремя ключами, открыла тяжелый сундук, обитый железом, и извлекла из него платье для Торгуна. Это платье – подарок золовки – в прошлом году привез свекор, когда гостил у дочери. Платье из белого ситца в мелкую крапинку. Пока свекровь рылась в сундуке, она примерила платье, украдкой вытащила из-под подстилки зеркальце, оглядела себя: в новом платье она казалась красивей, лицо мягче, нежней.

Уже вечерело, когда Торгун вышла из юрты. Она подошла к очагу и стала разжигать огонь под таганом. Потом поставила на треногу казан и, направляясь к юрте, взглянула в сторону кузницы. Дети и старики, слушавшие Даулета, а также старухи, сидевшие у землянки с прялками в руках, уставились на нее с любопытством.

Свекровь пекла лепешки. Торгун месила тесто, потом стала его тонко раскатывать. Уже в сумерки вернулись с работы косари. Свекровь отправилась разносить по юртам дарственные лепешки в честь возвращения сына. Люди, утолив жажду чаем, снова собрались у них в юрте и снова долго беседовали с Даулетом. Разошлись они глубокой ночью.

Они остались вчетвером. Было сумрачно. В углу, возле ларя, чадила, едва не угасая, лампа без стекла. Все молчали. Свекровь озабоченно открывала и закрывала сундук. Прямо, не шевелясь, сидел на почетном месте старик и привычно теребил бороду. Потом зевнул, провел ладонью по лицу и тихо, как бы про себя, сказал:

– Благодарение господу!

В тусклом свете лампы смутно виднелось лицо Даулета. Это был уже не тот юнец, которого они провожали когда-то. Лицо осунулось, черты его стали резкими, мужественными. Отчетливо выдавались скулы, возле рта залегли жесткие складки.

– Торгун, не осталось ли теплой водички в кумгане? Ноги бы надо помыть, – сказал он вдруг, стаскивая тяжелые солдатские сапоги.

– Осталось...

Ответила тихо, самой показалось, что едва шевельнула губами и слово не прозвучало. Впервые за четыре года услышала она свое имя из уст мужа. Дрожь охватила ее тело. Торгун с усилием подняла пузатый черный чайник, налила в таз воды.

Возле двери на приступке сидел Даулет. Он закатал штанины, и в мерцающем свете лампы она увидела на правой ноге длинный белый рубец. Рана. Сердце Торгун сжалось в груди.

Даулет был по-прежнему спокоен, с наслаждением подставлял под струйку теплой воды натруженные ноги.

Старикам постелили в юрте, ей с Даулетом в затишке на дворе.

Торгун опустила тундук, прислушалась к разговору свекра со свекровью.

– А вдруг Сакан вернется с пустыми руками? – озабоченно говорила старуха. – Людей надо бы известить... Стало быть, Сакана отправили в город. Той, видно, старики закатить решили.

– Ладно, старая, не тревожься, – в полусне ответил свекор. – Не гневи бога... Теперь уж все наладится.

Торгун подошла к постели, быстро разделась, легла. До чего сегодня небо звездное. Время от времени стремительно прочертив небо звезды падают во мрак.

В той стороне, где горы, как заведенная, чивикает какая-то птица. В зарослях чия за аулом слышны треск и шорохи: видно, там пасется скот. Тишина и покой. Торгун завернулась в одеяло. Дрожащая, робкая рука коснулась ее плеча. Она вздрогнула, горячая волна обожгла ее сердце, слезы комом застряли в горле. Она резко повернулась, прижалась к нему грудью, жадно вдыхая запах терпкого мужского пота, перемешанный с запахом солдатской махорки.

Темно-серая верблюдица за юртой перестала вдруг жевать свою жвачку и, утробно рыкнув, потянулась к верблюжонку. В соседних юртах храпели усталые косари. Над аулом нависла безмятежная ночь.

Перевод Г. Бельгера

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

Тяжелая дверь с табличкой «Ахметов Т. К.» закрылась без скрипа. «Та-ак...— сказал сам себе Сарсенов. — Теперь нужно позвонить Ержанову».

В углу просторного фойе висело полдюжины телефонов-автоматов. Сарсенов нашарил в кармане горсть монет и обрадовался: «двушек» оказалось сразу несколько. И трубку тут же поднял Ержанов:

— Оу, ты откуда свалился?! Вот-те раз! Хоть ты и главный инженер, а соображения ни на грош. Почему не звонил перед выездом? Э, оставь, не оправдывайся. Да все хорошо, в норме. Ну, ладно, ладно. Скажи лучше, сколько весит нынче твоя Шара? А как твои отпрыски? Растут? Уу-у, пес ты этакий!.. Ну, что торчишь на вокзале? Что-о?! В министерстве?! Да ты с ума сошел! Ну, знаешь... это, скажу тебе, форменное свинство! Какая гостиница? Будь ты неладен! Совсем рехнулся! Порядочный человек, приезжая в город, первым долгом навещает друга, которого не видел пять лет, представляет его жене, приносит подарок за смотрины, осматривает квартиру и лишь потом приступает к делам. Или боишься, что министерство убежит? Что-о?! И у Ахметова уже побывал? Ну-у-у... ты же все испортил. От него, несчастного, какой прок? Ладно, еще не все потеряно. Только добираться быстрее. Бери такси. На худой конец сам заплачу. И никуда не сворачивай. Понял? Дуй прямо ко мне. И не вздумай ограничиться телефонным разговором! Жду!

Все такой же Ержанов. Шумный, неумный, с душой

нараспашку. Говорит взახлеб, смеется раскатисто. Вот сегодня он его заговорит. Все новости планеты выложит. Возможно, ему неведомо, кто именно сейчас сидит в гостях у президента США, зато все остальное ему наверняка доподлинно известно. Все на свете он знает. Со всеми – от абитуриента до министра – на дружеской ноге. В своей скорлупе не замыкается. Щедр и приветлив. Душа-человек!

Как-то, приехав в командировку в Киянды, он зашел к Сарсенову и, едва переступив порог, принялся хохотать:

– Вот пес шелудивый! Да ты оглянись: не дом – хижина дяди Тома. Лачуга дервиша. Эти немецкие деревяшки давно уже из моды вышли. Выбрось на свалку. А холодильник «Бирюса» нынче только студенты в складчину покупают, чтобы пиво остужать. Слава богу, хоть железную кровать, которую всем курсом тебе на свадьбу подарили, выкинул. А ну, скажи, кто у вас тут торговлей заведует? Что-о, понятия не имеешь? Ну, конечно, тебе не с живыми людьми жить, а с машинами. Неспроста радовался, что экзамены станут не люди, а автоматы принимать. Беда с тобой. Такие, как ты, до девяноста лет в пионерах ходят.

И даже будучи здесь временно в командировке, он, к большой радости Шары, раздобыл для них модную импортную «стенку», новый холодильник и персидский ковер. А уезжая, сказал:

– Это, конечно, хорошо, когда во всех газетах-журналах пишут про новый метод да про оригинальные идеи Сарсенова. Но, по-моему, хватит тебе в Кияндинских Архимедах ходить, пора всерьез заняться наукой. Собери-ка все, что накопал, бери командировку, каких нынче много, и махни в столицу. Тебя, невзрачного степного воробышка, я мигом в видного столичного орла произведу.

С того дня Шара точила своего благоверного каждый божий день.

– Ну-у... когда же, наконец, к другу своему съездишь?

– Подожди, – отмахивался тот. – Дай сначала разделаться с квартальным планом.

Но Шара не из тех женщин, от которых так просто отмахнуться.

– Слушай, растяпа! Пока ты тут возишься со своими квартальными и годовыми планами, не заметишь, как

жизнь пролетит. А между прочим, у тебя жена и дети. Если стыдно командировку просить, поезжай за свой счет. Во время законного отпуска. Оттого, что один год не съездишь в Кисловодск, тамошние источники, думаю, не иссякнут.

Сарсенов и сам давно подумывал представить при случае свои работы на суд знатоков. И вот, наконец, решился: захватив десяток статей, опубликованных в спецжурналах, и несколько рукописей, приехал в столицу.

Еще одной причиной, побудившей его к этому шагу, была недавняя встреча с Ахметовым из министерства, приехавшим на областное совещание. Тот в разговоре тоже намекнул на целесообразность показаться ученому миру. Потому первым долгом Сарсенов заглянул к Ахметову. В несуразно огромном кабинете он сидел один. С достоинством изогнув тонкую бровь, заметил:

– А-а... ты тут как тут!..

Сарсенов тоже, не рассусоливая, сразу же заговорил о деле.

У Ахметова был весьма утомленный вид. Вокруг больших темных глаз легла густая сеть морщин. Слушал он молча, через силу, будто спрашивая: «И когда ты только кончишь?» Едва гость договорил последнюю фразу, бешено затренькал один из многих телефонов.

Ахметов вялым движением, как бы делая одолжение, взял телефонную трубку. Раскатистый густой бас учтиво поинтересовался здоровьем, житьем-бытьем и загрохотал без передышки. Сначала чуть дрогнул кончик жидкой бровки Ахметова. Потом озабоченно выгнулась ее середина. Потом по серому изможденному лбу промелькнула раза два тень, будто, взмахнув крыльями, пролетел мимо черный орел. Казалось, вот-вот разыграется буря на огромном челе, однако признаки ее еще не коснулись спокойных и усталых глаз. В них еще не вспыхивали грозные искорки, да и затеняли их прямые, длинные ресницы. Бас гудел, раскатывался в трубке, точно грозя взорвать ее, потом на мгновение затих, как бы выведывая: «Ну, что на это скажешь?!»

– Мы на этот счет исчерпали все свои возможности, – подчеркнуто корректно ответил Ахметов.

О, что сделалось с трубкой после одной этой фразы! Казалось, из нее сейчас хлынет селевой поток – бас на

том конце провода изрыгал из своей луженой глотки не слова, а бульжники. Ахметов, прикрыв трубку ладонью и держа ее чуть на отлете, терпеливо слушал, слушал... Наконец бас выдохся, буркнул что-то похожее на «до свидания».

– До свидания, – откликнулся Ахметов.

Было слышно, как на том конце провода швырнули трубку на рычаг. Ахметов, сохраняя сонную невозмутимость, мягко опустил трубку.

– Такие дела ведь не делаются с ходу, – обратился теперь Ахметов к посетителю. – Надо было известить заранее, посоветоваться. Сразу я ничего не могу вам сказать. Давайте завтра в одиннадцать... О, нет, нет, в одиннадцать я, оказывается, занят... – спохватился он, листая перекидной календарь перед собой. Зайдите после обеда, в три. Может, что-нибудь придумаем.

– Тогда до завтра.

– Всего хорошего!

Выходя, он оглянулся. Ахметов так уставился на него, будто из-под порога вылезла невзначай черепаха.

«Так-ак... – сказал тогда сам себе Сарсенов. – Теперь нужно позвонить Ержанову».

И с такси на этот раз повезло. Поджарый черноусый таксист, выслушав его, кивнул на сиденье.

Алма-Ата, где он когда-то учился, изменилась неузнаваемо. Знакомые дома попадались редко. И улицы стали значительно оживленней, многолюдней. Из-под подземных переходов, которых тогда вообще не было, бесконечной вереницей тянулись люди. Такие же толпы без конца спускались под землю. И даже облик людей был непривычен.

Мягко кренясь, голубая «Волга» свернула на широкую улицу. Тут же выплыл, точно огромный белый корабль в открытом море, новый многоэтажный дом длинный, во всю стену лоджии. Высоченные окна. Какие-то причудливые орнаменты, витражи. Сарсенов с открытым ртом уставился на это великолепие и не заметил, как машина остановилась у широкого подъезда.

Он выбрался из такси, поднялся на второй этаж и тут же очутился у дубовой двери с нужным номером. С непонятной робостью он нажал на красную кнопку возле косяка и удивился, услышав не привычную резкую трель, а нежный птичий перезвон. И вслед за ним донесся за дверью знакомый взрывной смех Ержанова.

– Х-а-а-а!.. А вот и он. Нарисовался... Сначала руки пожали. Потом обнялись. Потом потискались, похлопывая друг друга. Потом обменялись тычками в грудь. И в это время подошла-подплыла миловидная женщина в вышитом переднике, в нарядном платье с глубоким вырезом и, улыбаясь, подставила гостю щеку. Сарсенов нечаянно скользнул по ее белой шее, по ложбинке меж двух тугих бугров и смутился. Однако, галантно поднес к губам белые нежные пальчики, приложился к ним, и тут к звонкому, залиvistому смеху хозяйки присоединился раскатистый хохот хозяина. Гостю ничего не оставалось, как чмокнуть дебелиую радушную хозяйку в щечку, и она, точно осчастливленная, залилась еще звонче и сладко прошептала:

– Ну, вот... то-то же!..

Потом она повела обоих мужчин, точно маленьких, за руку через длинный коридор в просторный кабинет, все стены которого были заставлены книгами, и усадила в глубокие кресла, стоявшие рядом с громоздким письменным столом.

– Беседуйте, а я пойду на кухню. Проходя мимо, она игриво ущипнула мужа в затылок, и тот расцвел от удовольствия, сверкнул ей вслед всеми зубами. Потом на мгновение уставился в лицо приятеля, и опять губы расплылись до ушей. Глядя на него, гость тоже невольно улыбнулся.

– Ты, знаешь, пришел весьма кстати, – начал Ержанов. – Сейчас к нам должен зайти сам Даулетов. Э, а этот-то откуда появился? – встрепенулся сразу Сарсенов.

– Нет, нет, не тот, о ком ты думаешь. Даулетов, который учился с нами, я слышал, где-то в Кзылкумах воду ищет. Я как-то был там, но его так и не встретил. Речь сейчас идет совсем о другом Даулетове, о нашей знаменитости. Ты, наверное, читал в газетах: его нынче в академики выдвигают.

– Вон как?! Что ж ты по телефону не предупредил? Неловко ведь...

Ержанов, заметив искреннюю растерянность приятеля, хлопнул себя по коленям и зашелся в смехе, колыхаясь всем телом.

– Наоборот, очень здорово... Говорят же... удача джигиту светит, если его добрая тетушка приветит.

И, действительно, опомниться гость не успел, как опять по-птичьи запел звонок над дверью. Ержанов ловко оттолкнулся от шикарного кресла и устремился к выходу. Оттуда уже доносились возбужденные голоса. Из кухни опять выплыла, вся сияя, белотелая хозяйка. Испытывая неловкость от одиночества, вышел в коридор и Сарсенов.

Он так и не определил, кто же из двух пришедших мужчин, вокруг которых с подчеркнутой радостью увивалась хозяйка, является Даулетовым. Среднего роста, густобровый, носатый мужчина, несмотря на дородность, необыкновенно подвижен, живой. Другой же, высокий, лобастый, в золотых очках, несмотря на худобу, необычайно важен, степенен. Ручку белотелой хозяйки он, точно хрупкую драгоценность, осторожно поднес к своему лицу и едва-едва коснулся губами пальчиков. Смуглая женщина, пришедшая с ними, улыбаясь, смотрела на эту сцену. Ержанов, суетясь, то и дело бегал к гардеробу в конце коридора. Хозяйка пригласила гостей в кабинет.

– Познакомьтесь. Сокурсник Мурата.

Все трое учтиво протянули руки и поздоровались. Очкастый и его дама направились в кабинет, а полный мужчина, держа хозяйку под локоток, сразу же подался на кухню.

– Извините, друзья, уж больно приятный аромат струится из кухни. Я должен увидеть все собственными глазами, не то лопну от нетерпения.

– Ну, конечно, наш Алеке не успокоится, пока не отведаст лакомый кусочек прямо из котла, – усмехнулся очкастый.

Вскоре толстяк, пожевывая что-то на ходу, вернулся в кабинет и, цепко скользнув большими блестящими глазами по книжным полкам, с ходу заявил:

– Смотри-ка – у нашего Маке все, что угодно, найдешь. Так вот напомню вам добрый дедовский обычай. Он гласит: что пожелает добрый гость, спроси, когда он в дом заходит, что пожелает худой гость, спроси, когда он из дома уходит. Поэтому я свое желание выскажу сразу. Буду уходить – не забудь мне дать эти мемуары маршала.

Ержанов довольно расхохотался, обнажив все зубы. Очкастый и на этот раз снисходительно улыбался.

Белоликая пухлая хозяйка пригласила всех к дастархану. Гости двинулись в гостиную к огромному, всякой всячиной заставленному столу.

– Ну и ну! Столы нашей Алмашки могут полгода кормить городок областного подчинения, – воскликнул толстяк, от восхищения вскинув руки. Очкастый чуть шевельнул краешком губ. На самое почетное место – в кресло во главу стола – толстый едва ли не силком усадил тонкого. Стул справа предназначался смуглой даме, стул слева – гостю, приехавшему издалека. Чуть ниже, посередине, рядом с пухлой хозяйкой, был посажен Ержанов. И, распределив таким образом места за столом по достоинству, хлопотливый и решительный толстяк сам плюхнулся на стул напротив хозяина, очутившись между двумя женщинами. Сразу было видно, что он знал толк в компаниях и застолье.

– Что я вижу? Сон это или явь?! Черную икру и осетрину нынче и в ресторанах днем с огнем не сыщешь, а в этом доме – пожалуйста. Видно, далекий гость в своем корджуне привез, а?! – И он ловко выложил кусок балыка на тарелку смуглой дамы.

Сарсенов заерзал было, пытаюсь что-то сказать, но хозяин предупредительно стиснул ему колено.

– Да, слава богу, в Киянды еще имеются хорошие друзья, – вовремя подхватила хозяйка, сложив губки бантиком.

– Ну, друзья, если Алмашка и Make не будут возражать, я хотел бы взять бразды правления за этим столом в свои руки. Кто «за»? – спросил толстый, которого все почтительно называли Алеке. Все, кроме смуглой дамы, поспешно вскинули руки.

– Так, кто против?

Против не было.

– Кто воздержался?

Воздержалась смуглая дама.

– Я так и предполагал, что Жамиля-ханум воздержится. И потому в отместку предоставляю ей сразу слово. Все громко рассмеялись. Рассмеялся и Сарсенов. Жамиля-ханум встала, поправила ворот дорогого вечернего платья. Провела ладонью по густым, коротко постриженным, с приятной проседью волосам. Потом широко улыбнулась, ослепительно блеснув ровным рядом зубов, высоко подняла крохотную хрустальную рюмку с золотистым коньяком, полюбовалась переливом красок под яркой дорогой люстрой.

– Я, конечно, не такой оратор, как Алеке. Я хочу только сказать, чтобы свет в этом доме горел еще ярче.

- Bravo, bravo! – воскликнул Алеке.
- Прекрасно сказано, – заметил очкастый.
- Спасибо! – просияла смуглая дама.
- Жамиля-ханум говорит редко, да метко, – сказал Ержанов, скрипнув стулом.

Сарсенов вскочил и тоже почокался со всеми. После первой рюмки почтенный Алеке по-настоящему вошел в азарт и начал сыпать любезностями налево и направо. Сначала он самолично произнес красочный тост за каждого присутствующего в отдельности. Никого не забыл, никого не обошел. Всем воздал щедро, как говорится, и по достоинству, и с авансом. Он так искусно и обильно расточал хвалу, что каждый чувствовал себя едва ли не первым приближенным самого всевышнего. Сарсенова, которого вообще видел впервые в жизни, превознес на такую высоту, что у того сладко закружилась голова. Столько приятных слов ему не доводилось услышать даже от жены в пору медового месяца. Таким образом, пощекотав самолюбие каждого, кто сидел за столом, неумный тамада начал предоставлять слово гостям поочередно. Первым поднялся очкастый, которого называли Жаке. Голос Алеке звучал глухо и грубовато, как у самодельной домбры. Голос Жаке, наоборот, звучал звонко и чисто, точно фабричная домбра. И слова ронял он медленно, с томительными паузами, будто выкатывал их из глубин тайников, а потом тщательно взвешивал на весах. И если тамада, что называется, сразу брал быка за рога, то обладатель золотых очков начал речь издалека, подбирался к своей цели необыкновенно кружным путем, оттолкнувшись неподалеку от того места, где Адам и Ева совершили свой первородный грех. Жаке облетел все четыре стороны света и, покружившись некоторое время на недостигаемой высоте, наконец приблизился к нашей действительности. Значительное место в дальнейшей своей речи он посвятил небывалому расцвету духовной жизни и всеобщему благоденствию. После этого совершенно непостижимым образом степенная и возвышенная речь перешла на непревзойденное искусство тамады, на многогранность научных и житейских талантов Алеке, на всеми признанные кулинарные способности сестрицы Алмы, на трудолюбие, добрые товарищеские отношения и душевную широту хозяина дома и неожиданно оборвалась лаконичным тостом: «За взаимность и дружбу!» Все

вдруг, как по команде, повскакивали с мест: то ли несказанно обрадовались благополучному концу непомерно длинного тоста, то ли и впрямь все сказанное неподдельно взволновало их. Хрустальные рюмки с благородным напитком погасли было в томительном ожидании, но теперь и они ожили, засверкали, заискрились. Содержимое их, блеснув, точно расплавленное золото, при свете люстры, мгновенно исчезло во мраке глоток.

Должно быть, изысканная речь мужчины в золотых очках возбудила у всех активность мысли, а, может, отведав всяких яств со множества больших и малых тарелок на столе, гости испытывали приятную истому в теле... Как бы там ни было, разговор за столом заметно оживился.

Сарсенов сразу же отметил, что у себя дома, в Киянды, на подобных вечеринках речь обычно заходила о выполнении квартального плана, о производственных неурядицах, о погоде в целинных областях, о видах на урожай, потом – если позволяло время – слегка касались политического положения на Синайском полуострове и тут же недобрым словом упоминали «Кайрат», который вновь скатился на последние строчки турнирной таблицы. На этом застольная беседа обычно обрывалась, часть заядлых картежников устраивалась вокруг журнального столика, интеллектуалы разглядывали книги на полках, остальные, вооружившись томиком «Казахских песен», примыкали к представительницам прекрасного пола у пианино и нестройным хором подтягивали популярные напевы, то знакомясь «на берегу Арыси», то разгуливая с красавицами, «как цветы в степях Баяна в месяц май», то плывя по полноводному Яику, «где давно не бывали друзья».

Здесь же, за дастарханом столичного приятеля, разговор протекал совсем по иному руслу. Алеке поведал о том, как накануне по делу зашел в одно большое учреждение и там столкнулся с неким подонком, околавившимся у дубовых дверей. Тот сразу же насупился и отвернулся. И уже по одному его крутому загровку нетрудно было догадаться, что именно он там накапал высокому начальству. Потом высокое начальство, разговаривая с Алеке, дважды загадочно усмехнулось, вспомнив, видно, что только что говорил о нем тот подонок. «Ну, надо же! – возмутился Ержанов. – Когда толь-

ко у нас перестанут друг на друга кляузничать?!» Сказал так, будто сам он живет чуть ли не в Латинской Америке и к «нашим» никакого отношения не имеет. «Э, не говори, – безнадежно вздохнул Алеке. – Наши соплеменники еще не скоро угомонятся. Создавая других, бог заботился о руках и голове, создавая наших соплеменников, наградил их прежде всего языком и глазами. Отсюда сплетни и зависть...» И в досаде на своих сородичей Алеке смахнул ножом с большого блюда два-три кружочка жирного конского казы на свою тарелочку.

Теперь вступил в беседу очкастый, который до этого только молча и таинственно усмехался. «О, нет! – изрек он. – Сородичи тут ни при чем. Корни следует искать в истории. Она во всем виновата». И он упомянул аль-Фараби, чей юбилей только что отшумел во всем мире, знаменитую Отрарскую библиотеку, самую крупную и богатую после Александрийской, султана Бейбарса, каких-то знатных аристократок, с которыми якобы был на дружеской ноге Чокан Валиханов в петербургский период своей жизни. Вскоре густой чередой посыпались диких-то арабские, персидские, французские, русские, скифские, гуннские, тюркские, монгольские, чагатайские имена и фамилии, о которых бедный Сарсенов и слыхом не слышал.

Словно намекая на то, что «лекция» очкастого неприлично затянулась и настала пора встрепенуться, с нижнего этажа вдруг донесся грохот, топот, крик:

Давай споем, давай споем и спляшем,
Пусть песня звонкая взлетит, ликуя!
Хи-ах, хи-ах, хи-ах!..

– Внизу живет преподаватель института. Тоже, видать, гостей пригласил, – пояснил Ержанов.

Алеке спохватился, словно проснувшись от буйного топота.

– Э, а рюмки-то наши застоялись! Давайте предоставим слово гостю издалека.

У Сарсенова было два привычных и хорошо заученных тоста. Первый был совсем короткий: «За здоровье детей этого дома!», второй – чуть длиннее: «За здоровье милых женщин, собравшихся за этим щедрым столом!» Поскольку детских голосов с момента прихода он не услышал, то решил сегодня ограничиться вторым тостом.

– Вот это джентльмен! – сказала смуглая дама.

– Да, мы с Сарсеновым с особенным удовольствием выпьем за то, чтобы Жамиля-ханум в ближайшее время стала супругой академика! – слегка поправил хозяин неуклюжий тост приятеля.

Снизу снова всплыл мощный гвалт и топот.

– Ну, друзья, на правах тамады, объявляю, так сказать, небольшой перекур, – сказал Алеке.

Все сразу же встали. Ержанов проворно вышел вперед, включил свет в кабинете. Потом подошел к книжным полкам, выдвинул толстенный том словаря Брокгауза, неведомо где раздобытый, и достал из угла новехонькую колоду карт.

Алеке, разглядывая лакированные рисунки откровенно фривольного содержания на картах, изумленно прищелкнул языком.

– И откуда только наш Маке все это достает?! – Знакомый артист привез из Парижа.

– Надо же!..

Ержанов усадил вокруг журнального столика очкастого и смуглую даму и принялся раздавать карты.

– А что... может, и молодой гость желает испытать удачу? – спросила смуглая дама, одновременно стряхивая пепел с сигареты и откидывая со лба непокорную прядь.

– Из всех карт, насколько я знаю, Сарсенов признает только геологическую и политическую. Он трефового короля от бубновой дамы не отличит, – сострил Ержанов.

Очкастый и смуглая дама вежливо улыбнулись, а Алеке взял Сарсенова под локоток и повел к дивану.

– В таком случае мы с Ореке малость побалакаем. Всем телом откинувшись на мягкую спинку дивана, Алеке заинтересовался, какие заботы привели далекого гостя в столицу. Сарсенов сначала смутился, он совсем не был готов к такому повороту, однако собрался с духом и коротко выложил все свои дела.

– Понятно, понятно... А говорили с кем-нибудь на эту тему?

– Об этом заговорил со мной впервые товарищ Ахметов, когда приезжал на областное совещание.

– Хм-м... А здесь вы с ним еще не встретились? Сарсенов честно признался: да, еще днем был на приеме у Ахметова. И на лице Алеке тут же обозначилась снисходительная улыбка. Непонятно было, то ли он сочувство-

вал Сарсенову, то ли усмехался в душе над Ахметовым. Потом он начал расспрашивать о подробностях будущих работ и задумок. Сарсенов постарался как можно покороче и точнее изложить суть своих планов и наблюдений, которые ему еще недосуг было оформить на бумаге. Алеке молча слушал, время от времени кивал головой. И Сарсенов увлекся, разоткровенничался, не скрывая даже того, что в принципе не может согласиться с утверждением и выводами некоторых маститых ученых. Алеке прикрыл глаза, обхватил колено, чуть-чуть покачивался, погружившись не то в дрему, не то в дебри глубоких дум.

Сарсенов продолжал рассказывать.

– Жаль, – сказал вдруг Алеке, – раньше надо было все это сделать.

– Но... по-моему, и сейчас еще не поздно, – осторожно возразил Сарсенов, уставясь в лицо Алеке. Тот в это время косился глазом в сторону играющих. На последние слова Сарсенова откликнулся рассеянно:

– Может быть, вы и правы...

Сарсенов запнулся. Алеке, чуть улыбаясь, поднялся с дивана, достал из кармана пачку сигарет и направился к выходу. Уже на ходу заметил:

– Думаю, что из ваших стараний получится что-нибудь дельное.

Сарсенов не знал, следует ли сопровождать Алеке, или лучше оставаться на месте. Чтобы чем-нибудь занять себя, он достал со шкафа увесистый дорогой альбом с металлическими застежками и стал разглядывать фотографии. На первой странице на него открыто и пристально смотрела круглолицая девочка в больших белых бантиках. На второй странице эта же девочка кому-то доверчиво улыбалась. Фотографии были расположены в хронологическом порядке с каждой следующей страницей альбома девочка становилась все старше. На одной фотографии она сидела в кругу детей. Видно, это были соклассники. Еще через страницу круглолицая пухленькая девочка превратилась в миловидную девушку. Далее следовали почти одни групповые фотографии. Вот эта, должно быть, ее мать: степенная, светлолицая женщина с правильными чертами лица. А этот очкарик, играющий в карты, вполне возможно, ее младший брат, то есть, дядя миловидной хозяйки дома. Вот она, еще девушка, сидит с матерью и дядей. На следующих снимках пухленькая девушка была

запечатлена с группой джигитов примерно ее возраста. Молодые, безмятежные парни – с прилизанными волосами, с пробором, с буйной шевелюрой, с усиками и без – постепенно превратились в грузных мужчин в велюровых шляпах, норковых шапках, каракулевых папахах. А вот здесь пухлощекая на лыжной прогулке; вот она мечтательно прислонилась к цветущей яблоне. Почти на каждой фотографии рядом с ней какой-нибудь новый джигит. А вот и физиономия Ержанова мелькнула. Видный парень: рослый, лобастый, носатый, черноусый, лопухий, в глазах уверенная искорка. Глядит так, будто всех насквозь видит. Круглолицая игриво прижалась головкой к его плечу, а он улыбается явно снисходительно, как бы усмотрев что-то не совсем тактичное то ли в словах, то ли в поступке своей девушки. Эта улыбка – чуть снисходительная, осуждающая, насмешливая, свойственная людям с критическим складом ума, – застыла на лице Ержанова на многих фотографиях. С годами из круглолицей девушки вышла пухлая смазливая молодая женщина. И улыбалась женщина уже совсем не так, как в девическую пору. Радостное, наивное выражение в больших глазах сменилось лукавой надменностью. Хитроватый блеск в глазах лопухого джигита, казалось, передался теперь ей. А тот, еще недавно худощавый, поджарый, заметно округлился, погрузнел, лицо раздвинулось, расширилось, и нос уже казался не столь крупным, а уши – не столь большими. Глаза и вовсе сузились, спрятались в щелки, и насмешливые, озорные искорки исчезли в них бесследно, насовсем. Вместо них вначале появилась безмятежная, простодушная смешинка, а потом и она погасла, сменившись самодовольным и каким-то безучастным ко всему выражением.

Сарсенов, оторвавшись на миг от альбома, скосил взгляд в сторону Ержанова. Тот, развалившись в мягком кресле, отрешенно уставился в карты, которые держал веером в руках, и, казалось, любовался их рисунками. Крупное, мясистое лицо его лоснилось.

Мимо проплыла, томно улыбаясь, белоликая хозяйка. Скользнула взглядом по мужу, и в уголке губ мелькнула насмешливая, чуть-чуть презрительная ухмылка. Гость поспешно уткнулся вновь в альбом.

Та же чуть загадочная, высокомерно-снисходительная усмешка застыла на лице белолицей женщины и на фото-

графии. Рядом с ней сидел, нахохлившись, крупный, неотесанный, самодовольный муж.

Сарсенов перевернул страницу. Теперь на фотографиях пошли сплошь видные, солидные люди. На передний план вместо улыбчивых, благодушных молодых женщин и джигитов выдвинулись спокойные, дородные, с печатью собственного достоинства на лице дяденьки и тетеньки. Иные из них, едва показавшись, тут же бесследно исчезли, другие – наоборот – встречались все чаще и вскоре прочно обосновались на всех фотографиях. Один из таких постоянных – Алеке. На одной фотографии он был запечатлен в большом кругу милостивых людей. Возможно, это была его семья, родные и близкие. В последнем ряду среди моложавых и юных лиц затесались и Ержанов, и его круглолицая жена. Потом шел длинный ряд фотографий, на которых неизменно оказывался в центре, а Ержанов с женой – в последнем ряду, с краешка. Но по мере того, как лиц на фотографиях становилось все меньше, супруги Ержановы по-немногу выдвинулись вперед. Сначала выбралась в первый ряд пухленькая молодка. Она как-то робко пристроилась по правую руку Жамили-ханум, которая сама сидела справа от Алеке. Но вскоре белолицая очутилась уже слева от Алеке, и во всей ее осанке угадывались прочность и уверенность.

Ну, а Ержанов теперь стоял во втором ряду и при этом непременно рядом с сухопарым в золотых очках, а вот на этой фотографии они оказались лишь впятером. Должно быть, фотограф запечатлел их во время охоты: все облачились в легкую дорожную одежду. Жамиля-ханум, Алеке и светлолицая молодка поднимались к горному ручью, круто падавшему с черной скалы, а чуть в стороне, на громадном валуне, застыли, с улыбкой глядя на них, очкастый и Ержанов. Все пятеро улыбались, должно быть, по одному и тому же поводу, но улыбались каждый по-своему. Очкастый везде и всюду одинаково скалил зубы. В глазах Алеке и светленькой молодки поблескивали лукавые, игривые искорки. А смуглая Жамиля-ханум с упрямой прядью густых волос на лбу и крупноносый, усатый Ержанов улыбались отрешенно, вяло, словно размякшие от чужой радости и благостной красоты природы.

Это была последняя фотография в семейном, с золотым тиснением альбоме.

Картежники в глубокой задумчивости склонились над большим белым листом, испещренным, словно муравьиными следами, колонками цифр.

У Сарсенова пересохло в горле. Он направился в гостиную, чтобы выпить воды, но тут же сообразил, что, пожалуй, неприлично одному слоняться вокруг накрытого стола, не дай бог, еще не то подумают, и свернул на кухню.

Здесь было сумрачно, тусклый свет падал откуда-то сбоку, и, толкнув дверь, Сарсенов увидел, как в углу, за шкафом, кто-то громоздкий встревоженно отпрянул в сторону и за ним показалась белолицая хозяйка, смущенно поправлявшая растрепанную прическу.

Сарсенов поспешно отступил, сжался весь, тихо прикрыл за собой дверь и поплелся в кабинет.

Вскоре вернулся в кабинет и Алеке. Лицо его побагровело, точно вздулось. Не глядя на Сарсенова, он подошел к играющим и молча уставился в карты Жамили-ханум.

Через некоторое время показалась — аккуратно причесанная, уже в новом платье — раскрасневшаяся хозяйка и вновь пригласила всех к дастархану.

На этот раз беседа за столом явно потускнела. Тамада уже не вскакивал по всякому поводу, а руководил застольем сидя. Был он чем-то встревожен, озабочен, и эту его нежданную хмурь на лице первым заметил сам хозяин дома. До перерыва Ержанов сидел на своем месте спокойно, уверенно, а теперь заметно заволновался, то и дело подскакивал к Алеке, старался всячески ему угодить. Он даже поднял бокал специально за драгоценное здоровье почтенного Алеке. И пухлотелая хозяйка, избегая взгляда Сарсенова, произнесла тост в честь прекрасной Жамили-ханум.

Что-то незаметно изменилось в застолье. Чем сильнее хмурился Алеке, тем беспокойнее становились хозяева. Чем красноречивей восхваляли все Алеке, тем надменнее вскидывала голову смуглая дама. И один лишь сухопарый в золотых очках по-прежнему скалил зубы и сохранял невозмутимость.

Хозяйка уже в третий раз сервировала стол, но чаепитие прошло почему-то в спешке. Алеке, явно нервничая, несколько раз вставал из-за стола, удалялся в кабинет, с кем-то говорил по телефону. В голосе его то чувствовалось раздражение, то прорывались властные, нетерпеливые нотки.

– Ну, довольно! Хватит уже!

Сарсену почудилось, будто он где-то слышал этот раскатистый, гудящий голос, но так и не вспомнил где.

Из квартиры гостеприимных Ержановых Алеке вышел мрачнее тучи, однако, спускаясь по лестнице, он с каждым шагом вновь обретал былую уверенность и достоинство. Бедняга Ержанов, грузный, большой, увивался вокруг волчком, суетился, неуклюже размахивал руками. Он то выскакивал вперед, то отступал в сторону, прижимаясь к стенке. Увидев их, шумная компания, курившая у подъезда, вмиг замолкла и учтиво расступилась. Видно, это были гости из нижнего этажа. Вслед донесся чей-то изумленный голос:

– Ба! Да это ведь сам Даулетов! При этих словах Ержанов вынырнул из толпы, поравнялся с Алеке и с важным, независимым видом зашагал рядом, но едва дойдя до угла, вновь вышел вперед и перешел на трусцу.

У перекрестка стояла длинная черная «Волга». Ержанов распахнул заднюю дверцу, помог усесться Жамилеханум и Алеке.

– Ну, Make... большое-большое спасибо! – сказали в один голос супруги Даулетовы.

Ержанов замотал головой, точно конь на привязи! Алеке, закрывая дверцу, кивнул Сарсену.

– До свидания, гость-джигит. Свяжитесь со мной до отъезда. Поговорим. Может, что-нибудь придумаем.

Сухопарый в золотых очках, привычно скаля зубы, пожал-потискал провожающим руки и уселся с шофером.

– Ну, всего!.. Поехали... – буркнул шоферу.

И тут Сарсенова осенило: властный рык, который он днем слышал в трубке телефона в кабинете Ахметова, поразительно походил на голос Даулетова.

Черная «Волга» мягко тронулась с места. Жухлые листья взметнулись из-под колес, закружились в воздухе. Двое бывших сокурсников молча стояли под кряжистым тополем и глядели вслед. У перекрестка машина чуть притормозила задним красным светом и исчезла за поворотом.

Ержанов повернулся к приятелю.

– Ты заметил: у Алеке неожиданно настроение испортилось. С чего бы это? Может, ты что-нибудь некстати ляпнул?

– Да нет... ничего такого вроде не сказал.

– Тогда, считай, дело сделано. «Посмотрим» в устах Даулетова значительно больше, чем «сделаем» в устах других. Видно, его беспокоят выборы в Академии наук. Обычно он держится в компаниях безупречно. Странно... – Кажется, Ержанов сам себя пытался утешить. – Вообще, скажу тебе, очень нужный человек. Оч-чень! От знакомства с такими людьми никогда не прогадаешь.

И, ослабившись, уставился приятелю в лицо. Сарсенову он на миг показался точь-в-точь таким же добродушным, лопоухим парнем, как в студенческие годы. Долговязый, худой, смуглолицый, поступивший в институт после армии и перебивавшийся с копейки на копейку, он, бывало, вот так скалил зубы и простодушно глядел в лицо, когда, собираясь в театр, одалживал у друзей на вечер какую-нибудь приличную одежду. Он был общителен и добр, неизменно услужлив, и легко находил общий язык и с вахтером, и с ректором. Ержанова в институте все любили. Он был бессменным старостой группы. И за сокурсников своих стоял горой: старался, чтобы никто не оставался без стипендии и без места в общежитии.

И вот сегодня, неизвестно почему, Сарсенову вдруг стало жаль своего давнего приятеля, такого же добродушного и безотказного, как в те незабываемые студенческие годы.

От малейшего дуновения с деревьев густо осыпались, шелестя, желтые, ссохшиеся листья. Ержанов о чем-то говорил возбужденно и все чаще взглядывал на приятеля. Они вошли во двор. Курильщики у подъезда, заметив их, поспешно умолкли. Ержанов, только что легко трусивший рядом с приятелем, вдруг сразу перешел на степенный шаг, будто ноги его мгновенно налились свинцом. Проходя мимо курильщиков, он незаметно покосился на них, и в глазах и на лице его тут же изобразились достоинство и горделивость. Едва приятели вошли в подъезд, как позади послышалось шушуканье.

Когда поднялись на второй этаж, чванливое самодовольство на лице Ержанова опять уступило место простодушной улыбке. Сарсенов, шедший за ним, был поражен такой переменой, но лишь чуть-чуть, краешком губ усмехнулся, и усмешка получилась такая же, как на фотографии у пухлой молодой женщины. Не то жалость, не то снисхождение, не то осуждение сквозили в этой стран-

ной, скользкой ухмылке. Долгим взглядом смерил он приятеля, лицо которого расцвело от непонятной радости, и подумал про себя: «Сейчас возьму портфель и отправлюсь в гостиницу. Ведь завтра в три я должен встретиться с Ахметовым. Да... да... завтра... в три...».

Перевод Г. Бельгера

БЕЛАЯ БЕРЕЗА

Сегодня Бекен впервые переступил порог ресторана. Настоял Малик. Утром, увидев список, поступивших в институт, Малик проговорил:

– Мальчик мой, это событие следует вечером торжественно отметить.

В детстве Бекен несколько раз видел Малика, но близко не был знаком. Перед отъездом в город отец настойчиво советовал:

– Бекенжан, Алма-Ата такая большая, что взглядом не охватишь. Без надежного человека, кто знает, что может с тобой случиться. Недолго оказаться под колесами машины. Говорят, что сын Садыка, нашего дальнего родственника, остался там работать. Я написал ему письмо, чтобы взял тебя под свое крыло. Очень уж нелюдимый ты, не вздумай его сторониться. Один пропадешь ни за грош. Смотри, как приедешь, сразу же его разыщи.

Малик, сын родственника, кряжистый, как саксаул, смуглый парень, был весь в движении, какой-то неуговорный. Глядя на его лихие кудри, вздернутый нос, Бекен было подумал, уж не пройдоха ли новый знакомый. Однако, вскоре убедился, что этот новый житель столицы еще недалеко ушел от аульных джигитов. Малик оказался простоватым, добродушным.

Сегодня после обеда он только и занимался тем, что наводил лоск на Бекена. Свой единственный габардиновый костюм, купленный отцом, он одолжил Бекену. Костюм лежал на дне чемодана и был весь измятый. Малик

привел его в порядок. Обойдя десяток магазинов, он купил Бекену белоснежную вьетнамскую сорочку с твердым, как жесть, воротником. Из стаи галстуков, висевших на спинке кровати, он подобрал Бекену галстук. Галстук жал шею и Бекен не хотел его носить. Но опять же уступил настоянию нового друга.

Малик в ресторане был поглощен изучением цен, словно собирался запомнить их навсегда. Бекен с напряженным вниманием смотрел в зал. Его взгляд иногда скользил быстро, боясь пропустить что-то интересное, или надолго останавливался за каким-нибудь столом.

Раньше он часто видел этот ресторан в парке, недалеко от открытой эстрады, а рядом белую березу. Когда уставал от подготовки к экзаменам, приходил сюда отдохнуть. Вокруг железной решетки ресторана тек поток людей. Иногда кто-нибудь выходил оттуда шатаясь.

Вспоминались слова отца: «чего и кого только нет в городе. Ближе не подходи к ресторанам. Там одни пьяницы». Поэтому Бекен сторонился этого белого здания. Теперь он был удивлен: кругом все сияло и блестело. Посетители были одеты празднично. Предупредительность, особая ресторанный культура царила кругом. Бекен никогда не думал, что здесь могут быть такие очаровательные девушки.

На небольшой подмосток в другом конце зала, вышла группа оркестрантов. Мощный звук заполнил зал и толстые стены ресторана слегка задрожали. Шум-гул. Стало беспокойно, но интересно.

– Бекен, что тебе заказать?

Бекен обернулся на голос Малика и увидел у стола молоденькую девушку. Она, здороваясь, слегка кивнула.

– Полагаюсь на твой вкус.

Облокотившись о стол, почти касаясь Бекена, девушка стала записывать в блокнот заказ. Руки ее, нежные, белые, округлые поразили Бекена. Нет, он никогда не видел таких быстрых, чутких рук – рук музыкантши. Бекен любил музыку и сам недурно играл, так говорили.

Девушка приняла заказ и прошла к другому столу. Бекен долго ощущал нежный аромат духов и слышал частый стук ее туфель. Заказ она принимала просто, без ужимок. Бекен мог примерно догадаться, как иногда эти ужимки отражаются на кошельке посетителей. Девушка прошла на кухню.

Стук, шум с маленькой сцены все ширился и захватывал зал. Над сидящими, кажется, поднялся легкий туман, а белые шторы казались уже не такими чистыми.

Малик равнодушно поглядывал на соседей... Бекену не хотелось его беспокоить вопросами. Его стали занимать все белые порхающие официантки, со снежно-белыми наколками, напоминавшими белых голубей в полете.

Пришла из кухни их официантка. Миловидное лицо ее чуть потемнело. Тонкие пальцы под тяжестью железного подноса изогнулись, казалось вот-вот не выдержат. Она прямо прошла к их столу. Поднос поставила рядом с Бекеном. Поправила скатерть, быстро разложила вилки, ножи и с какой-то особой скромностью подала тарелки. Хотела открыть шампанское, но Малик сделал джентльменский жест, означавший не беспокойтесь, мол, мы сами. Она снова прошла на кухню. Бекен протянул руку к вилке...

Оттого ли, что раньше не пил или от того, что был возбужден, вино быстро подействовало на Бекена. Холодное, как лед, шампанское сначала обожгло, затем по телу разлилась теплая истома. Бекен не заметил, как сигарета, лежавшая перед Маликом, оказалась в его зубах.

— Вот это джигит, — сказал Малик, протягивая спичку.

К микрофону на сцене подошла полная рыжая женщина. Тряхнув копной рыжих волос, застыла в глубоком реверансе. Кокетливо оглядела зал подведенными восточными глазами. Показав крупные вставные зубы, улыбнулась и, широко раскрыв большой, чувственный рот, запела. Голос ее звучал сухо. И Бекену не понравился. Казалось, с ее пением дым в зале стал гуще. Неясные очертания лиц, одежды людей воспринимались как изпод воды. В глазах рябило. Закружилась голова. Бекен искал официантку. Она сидела недалеко, у окна. Зал ее не интересовал. Она смотрела на вечеревшее небо, сливавшиеся ветви сосен. За железной решеткой накапливался народ. У ворот решетки стоял бородатый старик, одетый, как генерал, пестро и ярко.

Девушка сидела неподвижно. Светлые локоны рассыпались по плечам. Округлая, нежная шея и руки, свободно лежавшие на подоконнике, притягивали взор.

Ресторан сейчас походил на легкомысленного человека, растерявшего всю напускную серьезность. По настоятельной просьбе краснощекого человека в сером кителе, поминутно закручивавшего маленькие усики, оркестр ис-

полнил «чеченский вальс». Тощий черный вскочил из-за стола и, путаясь о широкие брюки, поднялся на сцену. Схватив за руки пианистку, пролепетал: «А-ак Майдайлым». Чернявый вытащил из кармана красную бумажку.

Оркестр заиграл. Игривая мелодия разлилась над залом, когда два собеседника (один в выпуклым водянистым глазом, другой толстый с отвислым животом) прервали свой шумный спор и пробасили: «В диких степях...»

Полная женщина с растрепанными волосами, с размаху ударила по столу. Батарея бутылок издала протяжный звон.

Оркестранты понеслись в каком-то бешеном ритме. Юноша в полосатом свитере и девушка с высокой прической, равнодушно слушавшие музыку, вскочили. В неистовом танце они то хватались за руки, то быстро отходили. Плечи, руки, туловища, ноги конвульсивно извивались.

В головокружительном ритме ресторанной жизни на прежнем месте одиноко сидела наша знакомая. Милое лицо девушки заволокло тонкое облачко грусти.

Друзья засиделись. Наконец, Малик попросил официантку сделать расчет. Расчитываясь, Малик пошутил. Девушка слегка улыбнулась. Когда выходили из зала, Малик сказал:

– Бекен, ты подожди, пожалуйста, меня около эстрады.

Бекен, подходя к ограде, обернулся и увидел Малика, беседующего с официанткой. Бекен подошел к знакомой белой березке. Зрители открытой эстрады весело смеялись. Среди густых крон высоких крепких сосен белая березка выглядела сиротливо, одиноко. Под слабо мерцающими лучами далеких электрических ламп крупные ее листья напомнили Бекену что-то близкое сердцу.

– Бекен, чего задумался? – раздался голос Малика. – Ну, мальчик, знай наших. Ты же видел официантку. Как-то один знакомый говорил о ней. Согласилась. Завтра, оказывается, она свободна. Бекен уже не слушал. Слова Малика падали на него тяжело и оглушительно. Он смотрел на белую березу. О, он вспомнил. Да, да, листья напоминали слезы. Они падали крупными каплями из необъятно больших зрачков.

Бекен зашагал прочь. Малик его догнал, взял под руку.

НУ И ЧУДЕСА!

Все происходило точь-в-точь как в учебниках по арифметике. Представьте сами. К узловой железнодорожной станции из двух противоположных точек стремительно приближаются два пассажирских поезда. Оба скоростные и оба курсируют между двумя всему миру известными городами. Разумеется, скорость поездов одинакова. И, конечно же, на узловую станцию они прибывают в одно и то же время. При этом в обоих составах передают по радио один и тот же концерт популярного зарубежного джаз-оркестра, недавно гастролировавшего в нашей стране.

Заразительный шлягер, триумфально облетевший земной шар, не оставляет равнодушным никого из пассажиров встречных поездов. Молодежь самозабвенно отстукивает коваными ботинками по железному полу вагонов. Женщины, трепеща ноздрями, невольно дергают головами и даже пытаются подпевать. Дородные мужчины ритмично вздрагивают тугими, как мяч, животами. А в двух мягких вагонах, ближе к ресторану, в тех, что некогда громко и пышно назывались «международными», а нынче с легкой руки доморощенных зубоскалов чаще всего именуются «передвижными казино», бреются электрическими бритвами двое гладких, вполне упитанных, с крутыми загривками мужчин, пребывающих в том блаженном возрасте, который одинаково неловко считать ни молодым, ни — тем более — пожилым. Оба в благодушном настроении, оба вполне довольны жизнью и собой, и по-

тому, охваченные игривой музыкой, с удовольствием надувают лоснящиеся щеки и разглядывают себя в большом зеркале, встроенном в дверь.

– Пам-пам, па-па-па... По-моему, сегодня печет еще сильнее, чем вчера, – говорит пассажир поезда, спешащего с запада на восток.

– Там-там, та-та-та... С утра уже дышать нечем, – говорит пассажир поезда, спешащего с востока на запад.

Тщательно побрившись, оба легкими массажными движениями кончиками пальцев наносят на щеки, подбородок небольшое количество знаменитого болгарского крема, потом освежаются огуречным лосьоном, растирают, гладят лицо, шею, радуясь тому, что кожа приобретает приятную смугловатость и упругость и еще раз придирчиво осматривают себя в зеркале – не осталась ли где щетинка, не выскочил ли где прыщик. Словом, широкое, скуластое, как должно быть у истинного степняка, лицо обретает безукоризненный лоск с каким, пожалуй, не грешно предстать хоть перед самим королем. Потом оба облачаются в синее шерстяное олимпийское трико, на плечи накидывают просторный, необычайно яркий жилет из индийского ситца. Сейчас на станции они оба выйдут из вагона подышать воздухом, поразмять кости. А если базар окажется поблизости, то непременно купят большую душистую продолговатую дыню, издавна славящуюся на юге. Вот поезда, натужно отдуваясь, приближаются к станции. За окном мелькают шлагбаумы, за которыми тянется хвост грузовых машин, арб, верховых, пеших, ишаков, мотоциклистов, велосипедистов, потом проносятся мимо стрелочники с маленькими флажками, товарные составы, водонапорная башня, сараи, склады, дома.

Видные мужчины, конечно, не толкаются в тамбуре, а выходят степенно, с достоинством, не первыми и не последними. Оба пробиваются сквозь крикливые пестрые ряды торговков, высыпавших на перрон с ведрами и тазами яблок, помидор, огурцов, с пирожками, арбузами, дынями, с айраном, кумысом, кумраном, шалапом и прочими напитками в деревянной, жестяной, стеклянной, пластмассовой посуде и направляются к пыльному базарчику за аляповатым зданием вокзала.

Они прогуливаются вдоль рядов, поглядывая на прилавки, прогибающиеся под тяжестью овощей и фруктов. Идут с разных концов навстречу. Их сыновья-подлетки в

обтянутых фирмовых джинсах, одинаково косматые и долговязые, нетерпеливо озираются по сторонам и подбегают то к одной, то к другой куче полосатых, дымчатых, оранжевых, продолговатых и круглых дынь и ломким басом спрашивают:

– Папа, а эта как? А эта?

Позади плывут их мамы, поджимают губки, помахивают ручками. Папы похлопывают возбужденных отпрысков по плечам, как бы призывая к спокойствию и сдержанности.

В середине длинного солнечного ряда взгляды двух мужчин неожиданно и в одно мгновение встречаются.

– О-хо! – удивляются оба, вскинув руки.

– Ну и чудеса! – восклицают оба, раскрыв объятия.

– Как живется? – спрашивают оба, обнявшись, точно борцы на ковре.

– Прекрасно! – отвечают оба, пожимая теперь взаимно руки.

Их жены, стоя поодаль, удивленно вскидывают брови, обмениваются быстрым взглядом. Потом вспыхнув глазами, блеснув белыми зубами, изображают улыбку. Подростки в одинаковых джинсах, вызывающе подбоченясь, косятся друг на друга.

Мужчины, все еще растягивая рот до ушей, поворачиваются к своим благоверным.

– Познакомься, мой товарищ-сокурсник, – говорят оба одновременно, тыча друг друга в грудь.

Жены, еще не совсем утратившие приметы молодости, с высокими, как копна, прическами, обе несколько неопределенного возраста, опять обнажают белые зубы и протягивают ручки.

Мужчины, выпрямив стан, учтиво склоняют головы и прикладываются к ручкам, один – к смуглой, сухой, другой – к белой, пухлой.

– Моя супруга, – замечает каждый, кивая в сторону.

Мужчины кланяются. Женщины, называя себя, обмениваются рукопожатием.

– Ну и ну! Как летит время, а?! – изумляются и громко вздыхают мужчины, точно опытные артисты, играющие на сцене многомудрых стариков. – Надо же! Уже семнадцать лет прошло, как мы окончили институт.

Мужчины, взявшись под руку, выходят вперед. Женщины послушно семенят за ними. А в конце, вытягивая длинные шеи и хмурясь, нехотя плетутся акселераты.

Мужчины громко рассказывают друг о друге.

– Ну, я один из небольших руководителей района, – говорит пассажир поезда, следующего из областного центра.

– А я замначальника треста, – отвечает пассажир поезда, следующего из столицы.

– Жена – врач, – продолжает один из небольших руководителей отдаленного района.

– А моя – преподаватель института, – откликается замначальника столичного треста.

– У нас двое сыновей, одна дочка, – говорит муж той, что работает врачом.

– У нас две дочки и один сын, – отвечает муж той, что преподает в институте.

– Едем в отпуск, – продолжает мужчина, направляющийся из столицы.

– Мы тоже, – откликается мужчина, направляющийся в область.

– В последние годы сердчишко что-то пошаливает. Дрожит порой, как овечий хвост. И давление повышенное. Даже сейчас голова, что бурдюк с перебродившим айраном, – простодушно признается мужчина из района.

– И у меня то же. Третий год лечусь, – подхватывает более сдержанный мужчина из столицы.

– С нами старший из сыновей, – сообщает мужчина, привыкший говорить первым.

– Выходит, ровесник, – заключает мужчина, предпочитающий говорить после других.

– Судя по всему, этот месяц будет необыкновенно жарким, – замечает тот, что из района, и смотрит на небо.

– Да, об этом и газеты писали, – соглашается тот, что из столицы, и смотрит на собеседника.

В это время хрипит-накаляется репродуктор. Тусклый, как бы сонный голос станционного диктора объявляет, что до отхода поезда остаются считанные минуты.

Две семьи, неожиданно встретившиеся на узловой станции, выходят на перрон, где почти рядом встали два длинных пассажирских поезда.

– Ну, будьте здоровы! Счастливого вам отдыха, – говорит мужчина из района. – В следующий раз приезжайте в наши края. На озере покатаемся. Уток-гусей постреляем. Особняк у нас просторный. Отдохнете на славу.

– Если не уедете до нашего возвращения, милости просим, зайдите к нам. Найти нас просто. Высотный дом на проспекте, что тянется в горы. Сорок первая квартира. На дачу съездим, яблок наберем. Чаем угостим со смородиновым вареньем. Жена сама варила, – отвечает мужчина из столицы.

Мужчины пожимают друг другу руки. Женщины целуются. Подростки-акселераты довольствуются небрежным кивком. Два протяжных гудка над шумным перроном, и оба поезда, погромыхивая, продолжают путь: один на запад, другой – на восток. И вот уже все стремительней, стремительней – остаются позади серый вокзал, пестрый базар, крикливые торговки и дети с ведрами, корзинами, тазами со всякой снедью, высоченная водонапорная башня, полосатый шлагбаум, за которым длинным хвостом тянутся грузовозы, арбы, верховые, пешие, мотоциклисты, велосипедисты и прочий вечно спешащий люд.

Вернувшись в свои вагоны, мужчины не входят в купе, а застывают у окон в коридоре. Вскоре начинается ровная пустынная степь с унылым рядом бетонных столбов. Радио, молчавшее на станции, вновь начинает хрипеть. Нетерпеливые пальцы радиста прощупывают все волны, вырывая из безбрежного эфира обрывки фраз и звуков. Протяжный, истомленный восточный мотив захлестывает лихая балалаечная дробь. Чье-то унылое, гнусавое спотыкливое чтение по бумажке решительно забивает пулеметная очередь бойкого комментатора, захлеб рассказывающего об очередном государственном перевороте в одной из латинских стран. Радисту, видно, все это не по душе, и он с еще большим рвением крутит ручку радиоприемника.

«Да-а... переменялся он... больно важный стал», – думает про себя каждый из мужчин.

«А как он скромно представился! Один из небольших руководителей района, говорит. Хм-м... Знаем мы этих «небольших»! Один рывок и станет первым. Что ж... язык у него еще тогда был хорошо подвешен. Да и шустряк был – в любую дырку пролезет. Такой далеко пойдет», – решает джигит из столицы.

«Этот тихоня еще в те годы ловко обделывал свои делишки. Надо же... в замы начальника треста пробрался! Эдак, дай срок, еще не в одном мягком кресле восседать будет...» – предполагает джигит из района.

«Помнится, он дружил одно время с какой-то простушкой из торгового техникума. А эта у него заносчивая. Видно, из состоятельной семьи. Судя по тому, что он, такой задиристый и нахрапистый, не поскользнулся на полдороге, а, наоборот, пробился в верха, чья-то сильная рука поддерживает его подмышки», – рассуждает замначальника треста, хорошо разбирающийся в дебрях служебных связей в столице.

«Помнится, еще студентом он всегда слонялся по вечеринкам, утверждая, что родители его девушки, знатные почтенные люди, не пускают дочь в сомнительные компании. Понятно, понятно... Значит влиятельный тесть и теща волокли его по крутому склону жизни. Иначе куда ему, серенькому коняшке, каких много в косяке?!» – размышляет один из небольших руководителей района, тоже весьма искушенный в тонкостях служебных связей местного масштаба.

На этом течение мысли у обоих мужчин обрывается. Они глубоко задумываются, покусывая роговые душки очков, и в это время чем-то похожи на студентов, которые не могут извлечь кубический корень. Мысленно они тщательно, досконально выверяют, вымеривают логарифмической линейкой свои чины, звания, ступени карьеры, уровень житейских благ, стараясь определить, кто больше преуспел в жизни. И, оказывается, у обоих есть свои плюсы и минусы, оба ответственные работники и ценные кадры и находятся, примерно, на одном уровне общественного положения. Так сказать, примерное равновесие. Паритет. Вывод этот их утешает, и тогда они принимают сравнить своих жен.

«Смотри, каким он везучим оказался! Отхватил смазливую смуглянку. Глаза, как уголья горят. Видно, огоньбаба, привыкла держать повод в своих руках. Такие, когда надо, и пришпорят, и приласкают. А без этого иной наш брат, точно верблюды у брода, назад пятится и роняет то, что сама судьба сует ему в руки», – рассуждает муж белолицей женщины.

«Сразу видно, что жена в культурной семье выросла. Беленькая, пухленькая, ни складочки, ни морщинки. А шейка нежная, мягкая, как у девушки. Не женщина – мечта! Благо, свалившееся мужчине с неба. Знатоки утверждают, что нынче богатым столом, путевкой на курорт, намеренным проигрышем в карты никому не польстишь.

А вот красавица-жена выводит иногда мужа-недотепу на недосыгаемую орбиту», – полагает муж смуглой женщины.

«Два сына, одна дочь, говорит. Да-а... два сына – две опоры. Выведет в люди – сам черт ему не брат», – продолжает думать горожанин, у которого две дочки и сын.

«Значит, у него две дочери и один сын... У такой матери, надо полагать, и дочки – красотки. Подрастут – он их выгодно выдаст за отпрысков тузов с длинными руками и с тугой мошной, и тогда плевать он хотел на всех подряд, – решает селянин, у которого два сына и одна дочка.

«Ну и хитер же! – думает одновременно каждый друг о друге. – Наверняка своего косматого юнца в обтрепанных джинсах везет определять в институт. А парень-то у него что бродяга-дервиш, травленный собаками. «Едем в отпуск»... Ох, и лукавый же ныне народ пошел!..»

А в купе на мягких диванах, откинувшись на спинку, рассеянно листая журнал мод, думают о своем и жены.

«Неплохо устроились! В столице, в центре, шикарная квартира. В горах – дача. Такие не упустят своей доли, знают, как жить», – вздыхает «горемычная» из района.

«Свой особняк. На озере покатаемся, говорят. Гусей-уток постреляем. Видно, на широкую ногу живут», – вздыхает «бедолога» из столицы.

«Если он преподает в институте, то, понятно, на доходном месте сидит. Поговаривают, что иные преподаватели на одних только заочниках состояние наживают. А с абитуриентов сколько дерут?» – поджигает от зависти губки всезнайка из района.

«Врач на селе как сыр в масле катается. Там у всех по две-три ставки. А подарков несут – больше профессорской зарплаты», – кривит от досады губы всеведущая из столицы.

«А в каких туфельках она щеголяет! Конечно, в городе всегда все найдешь. Мы же, бедолаги, не можем даже показать то, что имеем», – думает красавица степей, чувствуя, как отчего-то горит пятка.

«Материал, из которого сшила она платье, ни в одном столичном магазине не найдешь. А в районе они – хозяева. Все лучшее на складах через их руки проходит. Сливки с молока снимают», – думает городская красавица, чувствуя, как отчего-то зудится плечо.

В это время их мужья заходят в купе и в это же время из хриплого радио прорывается, наконец, разудалая пес-

ня. Знаменитый певец хорошо поставленным бархатным баритоном взывает к воспоминаниям: «Где вы, где вы, сверстники-друзья? Где наша юность безмятежная?»...

— Ну, заладил... Еще студентами были — он это горланил. Как бы ни возносили этих артистов, а они не расстаются со своим старым «а-ляу-ляй». Неужели им трудно обновить репертуар?! — ворчливо замечают оба мужчины и выключают радио.

Но старый репертуар знаменитого певца совсем тут ни при чем. Дело в том, что в соседнем купе едет большо-ой человек. И со вчерашнего дня, просыпаясь, он забавляет себя пулькой. А вдруг он сейчас постучит кулаком в стенку, вдруг скажет: «Эй, вы... может, приступим?» — и не дай бог, чтобы голос его, бо-о-ольшого человека, заглушил восторженный баритон певца. Разве разумно не воспользоваться честью составить компанию скучающему бо-о-ольшому человеку?

Оба мужчины не прочь отделаться от неприятного осадка, оставшегося после неожиданной встречи на узловой станции, и потому обращаются к женам и покачивают головами:

— Ну и чудеса! Верно говорят: гора с горой не встретятся, а человек с человеком — всегда. Семнадцать лет не виделись — и вдруг на тебе.

— Да-а... действительно, поразительный случай, — согласно кивают жены.

И только косматые юнцы в обтрепанных джинсах молчат и равнодушно смотрят в окно, за которым стремительно плывет назад бескрайняя бурая степь. Они очень недовольны тем, что так и не попробовали сладкой душистой дыни, славящейся на юге. А ведь горами возвышались на пыльном базарчике — гладкие, дымчатые, овальные, круглые, оранжевые... «Чудеса, чудеса!»! Чего чудного-то увидели? Ну, встретились. Обнялись. Расцеловались. Полюбезничали. Поехали дальше. Тоже мне — чудеса!». От досады долговязые юнцы принимаются тихо насвистывать песенку, которая только что звучала по радио.

А разгоряченный поезд мчится все дальше, дальше, словно хочет непременно догнать свою тень, и колеса вагонов монотонно постукивают: «так, так, так», как бы подтверждая сомнения двух косматых юнцов.

ЕСБОЛАЙ

– Тьфу... Уа, тьфу!.. Ух, мать твою, если она водится у этих деревяшек. Так и не стоит на месте проклятая штуковина, эта самая подставка под струнами, словно хвостик ветреной козы, жаждущей случки.

Не только она, эта самая ничтожная пустяковина, все, буквально, все в этом доме не желает ему повиноваться. Ничто не хочет признавать его – старого крикуна Есболая, которого в этом ауле знают все от мала до велика и все, даже самые злые собаки раньше непременно пускались наутек, увидев его издалека. Никто не противостоял ему, когда в его глазах ярким пламенем возгоралась ярость. А вот в последние годы появились смельчаки, откровенно стали проявлять к нему явное пренебрежение, не оказывать почтительности. Даже в его собственном доме, в этой неказистой саманушке, собачьей конуре, стали теперь встречать его с прохладцей. Вот и домбра его собственная, ему не подчиняется.

Он уже давно не брал ее в руки, и она сегодня почему-то бренчит так глуховато, будто вечно бурчавшая себе под нос его ворчливая жена. Лады тоже переместились. Покойный Ораз поправил их, наладил, когда заглянул сюда в последний раз. С тех пор она, эта выдавшая виды домбра, залежалась, завернутая старухой во что-то. Теперь у ней струны высохли, дребезжат, готовые лопнуть. Ну и пускай. Тьфу... Вот, вот, так и надо... А ну-ка, попробу-

ем... Нет, не получается. А куда запропастилась эта долгополая старая карга, ведь только что стояла у двери, когда он зашел сюда.

– Ау, старая...

Нет, не отвечает. Оглохла что ли? Или она, эта вздорная дурнушка, тоже подобно тому брюхастому хитрюге Дуюмбаю собирается проучить его и разыгрывает свою злость...

– Ау, старушка, ей, где ты?

Даже не подает голос. Чего она добьется таким ослиным упрямством. Гляди-ка, сегодня даже подушку не подала, когда он, Есболай, вернулся домой и свалился сходу, как поваленный ветром дряхлый карагач.

А она сидит там, в передней, и не выходит, словно у нее дел невпроворот... Ну и пусть там подохнет, если ей неохота даже словом обмолвиться с ним...

И чего я мучается? Не могу вспомнить эту самую нехитрую мелодию, которую научил играть на домбре отец Ожрай... Даже слова из памяти выпали. Надо же... «Уа, Аллах, дал бы ты мне, раз такой щедрый, песню красивую, вместо этих сорока коз шелудивых...».

Что, что?.. Кто там заговорил?!.. Вот, вот, давно бы так, чем прятать голову в пуповину. Что?.. Что ты мелешь?.. И ты не довольна старым Есболаем... Да, да, правду говоришь... Да, вдруг мне стало так весело... Да, вдруг я выворачивал свою душу и выставлял напоказ перед всеми... Говорил обо всем. Ничего не утаивал. Соскребал до последней пылинки все, что лежало, копилось в этой волосатой груди, не раз покусанной сволочной пулей фашистов...

У меня, у этого «Крикливого Есболая», которого так окрестили недавно, только в последние годы, а раньше хвалили за прямоту, хлопали по плечу, называли «наш неистовый Ес-ага, у него душа не как у иных людей, у которых она подобно ворсистому войлоку, где что лежит – не увидишь. У этого Есболая, у этого старого крикуна, у которого, что в мысли, то и на языке, душа до того прозрачна, ну совсем как граненый стакан, что торчит в посуднице старухи и чье назначение известно любому дураку. Пусть увидят, пусть узнают, пусть услышат – что на душе у старого Есболая! Зачем ему прятаться? Чего

прятать? Если прячутся, пусть прячутся те вороватые, которые пили, ели, тащили украдкой. Если лебезят, пусть лебезят те, кто подохнет, если не подлизывается, не подхалимничает, не прилипает. А ему, Есболаю? Чего ему бояться, от чего хорониться? Слава богу, он пришел на этот свет благодаря известной причине, расположению душ. Двух, никак не способных вилять, изворачиваться, выпендриваться друг перед другом – покойного Ожрая, пусть земля ему будет пухом, тоже шумливого и прямодушного, как и он, его сын, и его тихой, смиренной, (никак не похожей на его, Есболая, ворчливую жену), простодушной жены, Зейнеп. Слава богу, не было случая, чтобы он, Ожрай зарился на чужое добро, цеплялся за чужую славу или имя, выпячивая свое дальнейшее единокровие, с кем-то из знатных, не говорил: «Ойбай, мы ведь связаны с ним пуповиной в таком-то колене, в таком месте, мол, разветвляемся». Не было у него такой нужды, жил старик сам по себе, делясь своей доброй. Овец, которых пасли предки других, пас и его предок. Шкуры, которые в то время, когда не были еще всякие потребкооперации, дубили матери других, дубила и его мать. С чего же ему пасовать перед другими?!..

«Вздыбился на старости лет...», – услышал шепоток за спиной. – Ну и слова! В молодости не скажи, опасаясь как бы не напороться на отместку, в старости не скажи, боясь, как бы за тобой не пошла худая молва, сплетня. Когда же можно сказать обо всем, что накопилось? Поделиться накопившимся? Может, кротам, войдя в могилу. Нет, он скажет сейчас, все выскажет до своей смерти. Пусть лопнут у них кишки, но он скажет. Разве это справедливо – думать до тех пор, пока мысли перельются через край, как вода в недавно построенном водохранилище.

Как и до каких пор можно терпеливо сносить, глядя на несправедливости, творящиеся вокруг, на беды других людей, на их несчастья? Быть как то самое водохранилище, вобравшее в себя всю воду с окрестных речушек, в долинах, которых весь колхоз и колхозники заготавливали корма для скота на всю зиму.

С каких это пор стало правилом считать за благоразумие безотказное поддакивание начальникам, махая при

этом головой, как виляет хвостом приبلудный щенок, а высказать свое сомнение напрямик – за дурость. Если уж говорил, то говорил, что, мол, распоясалась всякая пронырливая шваль... Если уж говорил, то говорил о проделках этого самого толстобрюхого, как дородная баба, продавца Дуюмбаая... Ух, треклятый. Только разве баба слушает чьи-то слова...

«Снова бес пощекотал» – кричишь ты. – Причем тут бес... Ничего подобного... Все началось с пустяка, самого элементарного.

Вчера, в полуденную жару появилось одно дело и я оказался около конторы, а там сидит и нюхает табак-насыбай – вездесущий Кошен, этот безбородый негодник. Подошел, понюхал из его табакерки, вместо «спасибо» обозвал его «бездельником» и вошел в контору. Когда возвратился из конторы, увидел – этот самый безбородый балабол пристал со всякими расспросами к какому-то взлохмаченному парняге.

«Поздоровайся с этим аксакалом», – сказал безбородый парню. «Ассаламагалеюкум» – протянул руки тот.

«Аллеюкумуассалам», – ответил я, принимая приветствие. Еще раз понюхал из табакерки безбородого и направился на почту. Отправил своему ненаглядному внуку, находящемуся на учебе, немного денег. Когда выходил из конторы, увидел, что безбородый шустряк, нашел еще одного взлохмаченного да кривоногого, то спросил:

«Кто этот широкоштаный, куцегрудый?»

«Племянник из города, студент», – ответил безбородый.

«Вижу, что твой племянник. По приплюснутому его носу, похожему на примерзшую картошку, узнаю», – заметил Есболай.

Приплюснутый нос взглянул было на него, выпучив глаза.

«Характер у этого старика такой. Он – дядя твоего дяди», – смеясь пояснил безбородый. Есболай еще раз нюхнул из табакерки безбородого. И снова вошел в контору. Теперь ему было нужно к главному инженеру.

Уладив свое дело, снова вышел. Теперь в тени, где расположился безбородый, толпилось несколько человек.

«Зачем бы я мчался домой, взяв ноги в руки? Разве

ворчливая старуха соскучилась по мне? Лучше послушаю болтовню этого безбородого пустомели», – подумал Есболай. Только он подошел к толпе, трещотка безбородый пустил свой язык иноходью.

«Ойбай, Ес-ага, от жары в доме стало невмоготу и я потрусил в эту тень, она, тень эта прохладная, и навела на мысль, почему бы не подержать в руках голову только что зарезанного барашка в одном из домов этого аула».

«А ты кто, чтобы для тебя каждый день лишали головы барашка? Не эпидемия же ты скотская», – пожал плечами Есболай.

«Что ты, Ес-ага! Тебе барашка жалко, а этих тощих городских и этих троих куцых, продырявивших штаны на досках конторских стульев, не жалко. Вот один из них бухгалтер, – ткнул он пальцем в одного. – Он говорит, что чабан Балакан, у которого торчит юрта вот там, на увале перед самым аулом, вчера лопатой сгреб синенькие, каждая бумажка с дастархан, и все в виде премиальных за прошедший квартал. Те два «Уазика», недавно поднимавшие пыль здешних дорог, на которых приехавшие начальники вручили медаль его жене за то, что она народила тьму детей. И еще вдобавок к этому его средний сын оказывается получил похвальную бумагу за хорошую учебу.

А он, Баламан, за столько радостей, вместо того, чтобы зарезать для трех случаев трех баранов, созвать гостей, устроился на сопке и притаился в уединении. Вот мы и собрались к нему. Пойдем и заставим пожертвовать одним барашком. Зайдем в магазин, посадим Дуюмбаю в машину с ящиком водки, ящиком конфет, мешком сахара, мешком муки и к Баламану. Очистим голову жирного барашка, наедемся свежей сурпы, изгоним из себя жар. Потом разложим карты, поиграем, схпаем у этого скопидома, скряги все припрятанные гниющие в тюках деньжонки, до дырявой копейки.

И будет это святым делом. Мы уже все это обговорили не хватало одного, настырного старикана, способного шагнуть впереди нас через порог юрты этого скупердяя. Как хорошо, что вы сами нагрянули, – тараторил безбородый, не давая Есболаю что-нибудь осмыслить. Но главное он уяснил и ему тоже захотелось набить брюхо, в

котором гулял ветер. Ему ли, бедняку Есболаю, жалеть богача Баламана.

Он тут же буркнул: «Добро».

Понюхал еще раз насыбай из табакерки Кошена...

«Что, что??!» Черви залезли в твои уши, что не отвечаешь?» – Баба что ли эта говорит? И что она этим хочет сказать? А ему чем отнекиваться? Тем, что уже перевалил за возраст пророка? Допустим, он откажется, как все его однолетки, от этих самых ста граммов, которые до недавнего времени исправно вливал в горло, уступая на праздниках настойчивым просьбам людей, не будет притрагиваться к насыбаю, уймет зуд в горле, возникающий при виде табакерки...

Ну, что она еще скажет, чего потребует бросить, от чего отказаться? Только после всего этого, что останется для него в этом мире? Валяться в черной ветхой лачуге да еще мять радикулитную поясницу треклятой старушки! Нет у него ничего даже заурядного и от религии, чтобы стать муллой, подобно Коштаю, который вначале был постоянно на коне, орал на всех, как и подобает активисту тех лет, а теперь взялся за посох и перебирает четки. Тогда ему что делать?

Пусть этот плаксивый Коштай позаботится сразу о его благополучии на том и на этом свете, об остатке этой жизни и загробной. Если в этой короткой жизни он заклепает себе глотку, замурует глаза, отрежет язык, то разве на том свете займет место у бога? Если богу нужен помощник, то эту должность наверняка давно присвоил себе тот Ораз.

Неспроста он заторопился туда, опережая всех. Может, чуял что-то. Пусть создатель облагоденствует того непутевого, который не знал других слов кроме как «Аллах», не пил не то что водку, даже скисшего горького молока, не знал не только лица, даже имени женщины, кроме своей рябой бабы!

Когда в тот раз он возвращался с бахчи и, желая прочесть молитву бедолаге, завернул на кладбище, то увидел, что у его могилы его, Ораза, сын. «Ау, зачем явился сюда? Не мать ли послала узнать, как бы твой отец не поднялся оттуда и не пошел погулять? Разве в живых не сделавший и шага от своей покосившейся хибары этот

горемыка сможет стать притким гулякой после смерти? Лежит же вон, приплюснутый, словно ляжки никчемной бабы».

А парень говорит:

«Хотелось решить как построить надмогильное сооружение».

Есболай вскипел:

«Чего тратить камень на этого непутевого, лучше бы построил матери телятник. Он всю жизнь от зари до зари бегал за колхозной отарой, и в каждую весну был у него самый большой приплод, а осенью награда все равно доставалась Баламану. Так что не сумевший в живых заставить людей заговорить о себе, разве сможет кого-то удивить мертвым!»

Покойный Ораз даже легким дуновением ветра не приставал к людям. «Если даже сама смерть позорит, то явись к ней не прямиком, а окольно», – поговаривал он. Вот и пришел окольными путями. Плевать смерти на его личности! Смерть – это заряженное ружье. Висит не выстрелит, а выстрелит разве промахнется?

«Не заживайся», – говорит эта треклятая старуха. Подумай-ка, она никак не может избавиться от него. Избавившись, что она сделает? Посадит на его место картошку, что ли? Ах, ух, свинушка! А-а, ведь она ведет речь о том самом случае. Ну, конечно, о том...

Вчера он за собой гуськом группу бездельников во главе с пронырливым безбородым вел в магазин. Народу там тьма. Чуть не через окно лезут, влезают. Крик, гам. Особенно колет уши истошный вопль старухи Бибатпы. А продавец Дуюмбай, как верблюд, в ноздрях которого завелись червяки, никак не может повернуть шею.

«Говорил ведь, пусть очередь установится», – важничает он.

«Родимый, разве и ты не родился от такой старухи как я? – надрывается Бибатпа. – Сам знаешь, что я выдала замуж единственную дочь. Так еду к сватам. Пусть это будет им подарком. Не пожалей одного ковра».

«Что с ней делать ведь она бедная тоже говорит путевое», – думает Есболай, слушая вопль Бибатпы.

А продавец тянет свое:

«Апырмай, что вы за человек, в свои шестьдесят лет

не понимаете слов... Сказал ведь понятно, у ковра уже есть покупатель».

«Родимушка, ну и твердолобым оказался ты, я говорю о том, что дочку замуж выдала, а ты даже ушами не шевелишь», – продолжала Бибатпа.

И тут будто кто-то подтолкнул Есболая. Он грудью проложил дорогу к прилавку.

«Ойбай, Ес-ага, не вмешивайся в спор, попытался остановить его безбородый. – Пути к барашку этого Баламана нам не будет, улетучится он, скроется от нас».

Есболаю захотелось послать куда подальше прожорливого безбородого вместе с головой жирного барашка Баламана, но удержала вежливость. Не гоже было старику распоясываться перед молодыми женщинами и девушками, стоявшими тут же. Он прикусил язык, повернулся к Дуюмбаю:

«Ну и кто же его купит, кому определен ковер-то?!».

«Разве не хватит того, что сказано», – пожал плечами Дуюмбай. Слова он произносил словно завязанным в узел языком, из-за лежащего за губами насыбая.

«Раз так, я объясню людям: секретный этот покупатель я! – воскликнул, расталкивая людей, пробился к лежащему на прилавке коври, уперся в него грудью Есболай.

«Это за какие же заслуги?» – опешил Дуюмбай, вытаращив удивленные глаза.

«За такую!» – вскинул голову Есболай. Он вынул из-за пазухи деньги, завернутые в тряпочку, бросил на прилавок. Ты скажи, сколько ковров за все годы отпустил этой старухе?

«Нет, ей ни одного ковра», – растерялся Дуюмбай.

Так, и я до этого своего возраста не купил в этом магазине ни одного ковра. А где они? Нам не досталось ни одного ковра. Как же получается? Я уверен, – из района-то посылали. Так что будем считать, теперь ковер получил тот, кому он предназначен. Мы скажем, что получили их, а ты скажи, что продал! – заявил Есболай и, стащив с прилавка ковер, сложил его и сунул удивленной и обрадованной Бибатпе.

В магазине повисла тишина. Люди напряженно ждали, что же будет дальше, смотрели на Есболая и Дуюмбая.

«Да что вытворяет этот старик, а!» – восклицает Ду-

юмбай и пытается ухватиться одной рукой за угол ковра, вырвать его из рук Бибатпы. Но она вцепилась в ковер обеими руками, прижала к груди.

«Да, что же вытворяют эти старики?! Снова восклицает продавец и пытается свободной рукой уцепиться за второй угол ковра, но рука попадает в стоящий тут же раскрытый мешок с мукой. Стряхивая муку, он обсыпается ею весь с ног до головы. Это окончательно выводит его из себя. — Ох уж эта выжившая из ума старуха! Видели, что она вытворяет?! — обращается он к замершим покупателям. — Ох эта проклятая».

«А ты придержи свой змеиный язык, — вмешивается Есболай. — Иначе я вырву его с зубами и жирными твоими щеками». Изготовившись, он вырвал из рук продавца ковер и снова передал старухе, вытолкнул ее из магазина. Постоял у прилавка, глядя в упор, на опешившего продавца, потом прошел к двери. Люди расступились, пропуская его.

За дверями, у крыльца стояла, прижав ковер к тощей груди, Бибатпа. Она со страхом ожидала, чем кончится скандал Есболая с продавцом, боялась уйти с ковром. Вскинув глаза на вышедшего из магазина, она бросилась к нему.

«Апырай, чего наделал? Что скажет продавец?! Люди?! — бормотала она испуганно. Хорошо, если ковер, пропади он пропадом, будет на радость детям».

«Ты, старая, чушь несусветную несешь! — буркнул рассерженный Есболай. — У кого-то есть проклятие, а у тебя нет что ли? Если пропадет проклятый человек, то пусть перво-наперво сгинет от наших проклятий этот Дуюмбай».

Ободренная Бибатпа успокоилась, но шла домой, прижимая ковер.

Есболай зашагал к роднику. Безбородый Кошен трусил за ним бормоча:

«Ух, вот она, рядом, перед нами эта самая голова барашка жадюги Баламана...»

Все еще кипевший от злости Есболай рявкнул на него: «Ей, чтоб твою голову собаки обглодали! Отстань со своими стенаниями!».

Есболай дошел до родника. Он все еще продолжал

мысленно спор с Дуюмбаем, когда, тарахтя своим мотоциклом, нагрязнул здешний инженер и сразу:

«Как дела?»

«Как на фестивале: гогочу громче всех, рукоплескаю дольше всех», – буркнул Есболай.

«Вы сердиты на что-то Ес-ага?» – спросил инженер.

«Ох, мой дорогой, кишки себе запутал от смеха», – продолжал в том же духе Есболай.

«Мы решили этот большой насос перенести в другое место. Вам дадим насос поменьше», – вдруг заявил инженер.

Есболай распалился, окончательно, покраснелся словно арбуз.

«Забирай, забирай! Воду вон того родника и каплю воды, оставшуюся на месте двух старых колесных водоподъемников тоже высосите, придя вместе со всеми чадами и домочадцами. А те, еле появившиеся зеленые ростки, отдайте своими козам, зубами ли вырвете из земли или косарей напустите. Все это осталось от моего отца. Пускай от меня ничего не останется! Забирайте, забирайте! Мой отец, Ожрай, когда лишился шестерых детей, мешком осел на эту землю. Не перестал крутить эти два построенных им колеса-чигира, сохой царапать землю. Построил тот одинокий, в этой глуши дом.

Когда мать родила меня, он отрезал мою пуповину серпом, закутал своим халатом и принес в это место. Он поднялся на тот черный камень и прокричал мне в ухо: «Ей, в ухо тебя, щенок этакий! Теперь ты стань хозяином этих двух колес, чтобы они не оказались во власти разрушения. Будь хозяином тех двух-трех родников. Будь хозяином этой, величиной с потник, земли. Умно властвуй над этим стойбищем, которое осталось до глухоты пустым, покинутое твоими земляками, разошедшимися по степи за баранами. Ей, помни, будь хозяином, следи умно! Имя тебе дали Есболай – хозяин, а не Ес-малай – безропотный слуга.

Исполняя наказ отца, я за свои семьдесят лет на глазах коз и прочего скота этого аула, потому что гоню их отсюда, превратился в азраила-душегуба. Недобрым словом поминают меня и ребяташки, любители пошнырять по бахчам. От непрерывного крика на них я охрип.

Оставшиеся от моего отца два колеса и два-три родника кое-как наполняли желудки твоих земляков в трудные голодные годы плодами этой земли. Теперь вы объелись, стали таскать мешками яблоки из столицы, дыни да арбузы из областного центра, муку из магазинов. К чему теперь для «Киянды» посев, к чему вода, хватит и той, да текущей со всех сторон пищи! Старые колеса, оставшиеся от старика Ожрая, могли стоять до вчерашнего дня. Наверно стало холодно заднице нашей снохи – жены твоего начальника, она решила, что времена колес прошли, и решила разрушить их, превратив в дрова для самовара.

Старики говорили, что жила здесь благословенная желтая змея, которая была покровительницей родников. Ребятишки этого аула, подстерегая днем и ночью, убили ее. Теперь и родники остались сиротами и без присмотра. Так берите их, отрежьте еще клочок моей бороды, сделайте из него своим бабам скребку для котла и тогда в раз, вконец измените облик этого мира! В голове у вас разжиженные мозги! – вдруг гневно заключил он, повернулся и пошел прочь».

Новоиспеченный инженер остался пригвожденным у родника.

«...Ну, ну, хватит уже. Как остра на язык».

«Когда прекратишь царапать лица людей, старый каскрат? Если возомнил себя жеребцом, то введи в дом молодую жену». «Ишь чего надумала... Почему эта дельная мысль не пришла ей в голову, пораньше, тогда он, может быть, и последовал совету. Насмехается на ним на старости лет. К ее ругани он привык, но все-таки пусть эта беззубая корова перестанет кусать его за бока, иначе он может взяться и вырвать у нее язык.

Нынче утром он услышал, что инженер уже написал бумагу на имя своего начальника. Разве спутаешь ноги этим дипломированным грамотеям! Чего не скажет языком, напишет на бумаге, сделав бумагой то, чего не способен сделать руками.

Разве в эти дни есть что-нибудь, чего не добьется листок бумаги с ладошку! Возвеличит человека, или столкнет в пропасть, изничтожит. Бледный пацан – инженер, оседлавший тарахтелку, вчера лицом к лицу не смог вы-

молвить хотя бы, подобно Дуюмбаю, «треклятый», и остался серым от бешенства. Наверняка всю ночь не ложился возле жены, проливал весь свой яд на белую бумагу, – решил Есболай.

Утром, управившись с хозяйством, он пошел в аул. Не разлучающийся с конторской тенью безбородый пронира, едва увидев его, заголосил, запричитал. Из его причитания Есболай уяснил – вчера, как только они ушли из магазина, Дуюмбай сразу же закрыл его, смотался домой, а сегодня нырнул к родичу своему – начальнику Жиынбаю.

Люди узнали как он лебезил, сыпал: «Любезный брат, ничего не выйдет, если не воспользоваться бумагой инженера и не обуздать этого шумливого старикашку. Всем сел на голову. Вчера перед массой народа в магазине вовсю честил меня. Вам тоже досталось от него порядочно. Если вы не отрежете на корню его жалящий всех и вся длиннющий язык, уподобив его хвостикую носящегося с поносом теленка, то наши уши не покинет в жизни его боевой крик.

А про то, что сам трясся перед стариком, Дуюмбай умолчал. Не сказал, как от страха его рука оказалась в мешке с мукой. Тоже умолчал. Наверно усовестился, что заработал «палку» от еле носящего свои кости старика.

...Ну, так вот, Жиынбай вызвал его на собрание. Широкий стол перед ним, блестел словно на него перенесли зеркальную гладь озера. И стулья, расставленные вокруг стола, мягкие да блестящие.

«Как они сверкают эти бесстыжие, один ярче другого. Будто лица неродящих баб», – отметил про себя Есболай.

Контора есть контора. Тут приходится все умерить. Из уважения к конторе. Он вошел с непокрытой головой, ему так и хотелось выпалить собравшимся: «Если хрящи сморщенных да иссохших ушей старого Есболая будут лекарством на ваши болезни, то отрежьте их».

Первым начал, еле выдавливая из себя слова, Жиынбай. В прошлые годы он был легким, вертким в движениях, теперь, поправив свое состояние, взял за правило говорить сквозь зубы, лениво и блаженно, словно впервые родившая молодуха.

Сначала, процеживая слова, рассказал о вчерашнем случае в магазине. Сказал, что Есболай нарушил порядок в общественном месте, оскорбил человека во время нахождения того на службе. (Почему оскорбил, как оскорбил, не сказал). Сказал, что не к лицу это на старости лет. Мол, уважали его возраст, а теперь не могут простить.

Перед законом и стар и млад равны – тянул он. – Кто бы ни был человек. Сказал, что закон не может позволить унижать достоинство любого человека.

Слушая, Есболай думал: «Ох эти благословенные, золотые слова, как вы низко пали в устах такого неуважаемого».

Вот так, выдавливая из себя слова, Жиынбай медленно и уверенно катил на Есболая колесо благословенного закона. Хочет сделать так, чтобы не дать ему, Есболаю, заблестеть, расплющить его, как старого козла, попавшего под колесо водоразбрасывателя.

По нему выходит, что закон не является справедливостью, равной для всех, кто шагает по этой круглой земле, ему кажется, что закон – нож, жаждущий крови, который постоянно используют крикливые бедолаги подобные Есболаю.

А те толстозадые, подобные здесь сидящим, ни в коем случае не отвязывают его от пояса. Живут мирно. Вынимают его лишь когда и где им придется туго. Вот тогда вытаскивают его из ножен и пускают в ход против «злодеев». Именно сейчас наступил такой момент: Жиенбай, защищая справедливость, вытащил из ножен, показал и держит едва не касаясь морщинистого, как у крикливого петуха, горла Есболая, острым, как игла, концом. Сидящие вокруг него подхалимы, молча, со страхом затаились, словно были свидетелями светопредставления.

Цедящий слова треклятый хочет напугать его законом и повалить к ногам Дуюмбаю, хочет растоптать, бросив под свои пятки, вырвать его шумливое багряное горло, еще вчера гремевшее громом, и прогнать, уподобив шелудивому верблюжонку.

Наверно ему кажется, что он, Есболай, козлородый крикливый старикашка из старого аула, которого можно сначала ублажить, поднося ему все сочные да мягкие кус-

ки мяса, если не обманется от этого, то попугать его, этим самым лезвием ножа. Успели-таки эти прожженные в это благодушное время превратить в угрозу почет, данный им народом, доверие оказанное людьми – в пугало для тех же людей, ответственность возложенную на них – в гордыню, прыгающую через голову их, людей же. Мягкие кресла под ними и заставили их забыть, как они, эти «крикливые старики», как они их называют, в свое время стелили под себя камень, укрывались льдом.

Мирная тишина, стоявшая теперь вокруг них, – даже полета мухи не слышно, – заставила всех забыть, как они, эти старики, не раз боялись, как бы от страшного грохота и гула, происходящего вокруг, не лопнули их ушные перепонки.

Да, они все забыли, а он, старик Есболай, помнит и не позволит себе пасть перед ними, не склонит старой груди, которую одинаково равно облизали холод, сырость и пуля на множестве сопок, встретившихся на пути от «Киянды» до Варшавы. Пусть выскажется, думал он, ожидая конца.

Жиынбай вызвал с улицы безбородого Кошена, кивнул на него: «Вот эти люди видели собственными глазами, пусть расскажут». Процедив слова, он поудобней устроился своим грузным телом в сафьяновом кресле, словно говоря безбородовому: «А ты, ничтожный, разве сможешь говорить одновременно за убегающего и за преследующего?» И недобрыми глазами посмотрел на Кошена.

Постоянно сидящий на подветренной, теневой стороне конторы, оказывающийся свидетелем всяких споров безбородый перейдет реку, ноги не замочив. Что же, давай заливаться.

«Да, вчера, то ли Ес-ага думал, что Дуюмбай моложе, не возьмет в обиду, на самом деле сказал лишнего. Но ведь говорить в глаза правду, даже горькую, обидную младшему по возрасту – обычай наших предков. Он Ес-ага старый человек и поэтому по-старинному обычаю...» – продолжил было безбородый, как кто-то из сидящих сбоку вставил: «Да, проныра, сегодня и вправду появился обычай по-любому поводу вытаскивать за ноги древних предков и бросать их поперек дороги. К чему заставлять

этих бедных затыкать нам уши, тогда как их собственные почти сгнили давным давно».

«Этот человек такое выкинет», – заключил безбородый.

«Ау, начальник, закон, о котором говорил ты, для меня всегда оказывается на месте, а когда дело касается Дуюмба, то он – закон, уезжает в командировку, что-ли? – Поднялся из кресла Есболай. – Разве то, что я проделал с Дуюмбаем, сказать по-справедливости, не было твоим делом, с которым ты давно должен был справиться? Если бы сделал это, то народ поцокал бы языком, считая, вот это справедливость, но сделал я и поэтому оно стало хулиганством. А что, разве горемычка Бибатпа самая ничтожная из людей, чтобы ей за всю жизнь не достался ковер величиной с потник?» – вопрошал он.

«Была ведь очередность, был предварительно составленный список!» – не сказал – выкрикнул Жиынбай.

«Пока эта очередь насытит всех близких и родных Дуюмба, выданная замуж дочь Бибатпы, народит отару колобков-детей и, как это там называется, заполучит звание героини-бабы», – тоже повысил голос Есболай.

Сидящие за столом еле удерживали смех.

Дуюмбай вскочил, словно его пронзили шилом.

«Этот старый постоянно так начинает свою речь, постоянно тычет «родичами», «близкими», – выкрикнул он.

«Дорогой, потерпи, – не выдержал Есболай. – Если бы ты не забыл, что кроме своих многочисленных родственников есть и живут другие люди, то разве я имел бы к тебе какие требования, разве у меня лично к тебе претензии? Да благословит их боже, твоих родственников, может быть твои предки и были добрыми. Да разве бывают среди предков плохие? И чей предок выскочил из-под земли, не явившись на белый свет обычным путем? Но чтобы все земляки сходились в одном решении, чтобы народ был спаянной семьей разве обязательно, чтобы мы все бредущие по земле, были явлены в мир из-под подола одной старухи! Оу, Дуюмбай, чем кидаться на каждого, заявлять, что тот оскорбил отца, этот оскорбил мать, не лучше ли подумать об этом».

Чуть не лопающийся от злости Жиынбай побагровел, постучал по столу.

«Старик, будьте осторожны, что это за слова. К чему такие речи, делящие пятерых на десять враждующих групп», – промудрствовал он. Сидящие за столом с опаской, не зная, куда увильнет ход разговора, закивали головами. От внезапности Дуюмбаю тоже растерялся. «Вот, так бы мне сказать, – с завистью соображал он».

«Бастыкжан, – сказал Есболай тоже заупрямившись, – оставь своего Дуюмбаю и оглянись вокруг своего стола. Ну зачем, ты созвал сюда этих своих родственников? Чтобы посоветоваться насчет похорон отца или насчет свадьбы дочери? Тут дастархан твоей жены или общее для всех собрание правления колхоза? Я не могу понять, объясни-ка».

Лицо Жиынбая стало похожим на набухшее молоком вымя породистой белоголовой коровы. Он сидел, не отрывая глаз от лежащей перед ним блестящей белой бумаги. Помолчав, огляделся вокруг, словно спрашивая: «Ну, что скажете?». Есболай тоже впился глазами в лица сидевших у стола. Все они молчали будто со связанными языками.

После затянувшейся паузы с места поднялся зоотехник, приустроившись у правой руки председателя.

«Этот поступок не к лицу старшему по возрасту, – рубанул он сразу. – Разве можно нести всякое, что взбрет в голову, и не к месту, невзирая на лица, а потом оправдываться своим характером. Если товарищ Ожраев настолько правдив, насколько честен, то почему не явился сюда и не рассказал о недостатках в работе продавца товарища Дуюмбаю? Или выступил бы на собрании. Помоему этот человек, чтобы оправдать свой вчерашний неприглядный поступок, нарочно задевает нас всех», – сказал он. Есболай не выдержал, перебил его:

«Ох, моя родимушка, трудно ведь приходится ублажить вашего родного Дуюмбаю. Кто сказал ему в лицо правду, тут же превратился в хулигана. А скажи про него худое – правду – за глаза, наверняка назовут кляузником. Не говорить о его недостатках, схватив за руки, хвалить его на весь мир, подобно вам, грамотным, молодым, я не умею».

Бледнолицый инженер, подобравшись ястребом, кинулся в бой.

«Чем снова и снова спорить о том, кто-то, где, что сказал, почему бы нам не обсудить главное – о чем говорит и что повторяет этот человек, – бросил он.

Кстати, вчера Ожраев оскорбил и главного инженера, кивнул он на сидящего».

«У нас есть документ, поданный по этому поводу. – Вмешался Жиынбай.

Державшийся в стороне от спора Дуюмбай, услышав последние слова, покраснел, поднялся:

«Я не обиделся на слова аксакала. Считаю, что те жесткие слова будут уроком для подобных мне молодых специалистов, – и я хочу поблагодарить этого человека».

«За его оскорбления?» – зло спросил Жиынбай.

«Разве не все равно как он сказал, раз говорил о правильной проблеме, – ответил до этого молчавший главный инженер, не дрогнув ни одним мускулом лица».

«Тогда для чего написали эту бумагу?» – сказал Жиынбай, вытащив из ящика четыре или пять листов испанной бумаги.

«Каждое письмо не обязательно. На этих листах я написал свои соображения и предложения, пришедшие в голову после слов товарища Ожраева. Но я прошу, чтобы вы не смешивали этот вопрос с сегодняшней беседой. Я считаю правильным обсудить его потом, в присутствии Есболая и других знатоков прежних дел в этих местах» – заключил инженер.

Эти слова упрямого главного словно разгладили и выправили сморщенную кожу и скрипучие кости Есболая. Встречались ему и раньше лукавые людишки с добрыми речами, которые, находясь внизу, казались ангелами, а стоило взобраться на высоту сразу превращались в настоящих дьяволов. Лишь бы, дай бог, и этот парень не оказался в их числе. Пока вроде бы у него правильно устроенная голова. Слова инженера подтолкнули даже Баламана, который не раскрывал рта не только при других, но и при жене.

«Хоть он мне и родня, Дуюмбай, я скажу, – повернулся он к Жиынбаю. – Ты сам настолько убогий, что не можешь ходить правильной дорогой, спокойно, а поддеваешь других. Чем отрезать язык все пережившему, все перевидевшему Есболаю, лучше бы навел в себе, в своей душе порядок», – пробубнил он.

От этих слов Жиынбай было растерялся, но тут же оправился – он не раз обжигал руки и на том поднаторел.

Не отвечая на критику, Жиынбай заговорил о дисциплине не только в работе, но во взаимных обращениях. Предупредил, что даже в правильных словах и правильных делах нельзя отходить от дисциплины. И на любом заседании, собрании, нужно говорить о деле. Плохо когда созовешь собрание, потеряешь час и уходишь ни с чем.

«...Что, что? Ей, что болтает она, эта бедолага старая – жена?»

«Явился, перевернув белые горы, раздвинув черные». – Люди, слышавшие, говорят: «Нести всякую чушь ради одного ковра...» Фью-ют... Но разве речь о ковре?! Сгниет благородное слово, подохнет, если не сказать его к месту. Сидеть в тени и шушукаться наподобие хитрых биев – народных судей все мастаки. А сказать в лицо – так не найдешь ни одной души с поднятой головой. Все шепотом, шепотом, говоря о чем-то стоящем, дельном. А стоит только завести разговор, которому в его пустоте нет ни конца ни края, тут охотников толпа. Выйдут перед народом и давай горланить, давай чесать языками. Пока они, краснобаи эти, таким образом болтают, либо шепчутся, разворотистые дуюмбаеподобные носят на задранной голове шапки набекрень.

Что она там снова? «Или ты изничтожишь все беды своими речами? Что такой своей кичливой честностью свое имя мужа превратил в дурашливого крикуна?» «Фьют, чушь. И смелым Есболаем одни зовут, и придурком Есболаем – другие. Одни ругали – те, кому доставалось от него. Но Есболай не изменил себе... Да, да, потому что считает: лишь ему досталось исправить кривизну мира...».

«Ходил бы себе, берег здоровье». – Это снова она. – Но на кой оно здоровье?» Таким здоровьем, он будет чай заправлять что ли? Или может быть в свои семьдесят лет станет космонавтом, в небо полетит? Ну и болтает эта баба. «Потеряв цену своей головы, себе!..» – Выкрикивает она. «И чего орет, бормочет? В одном случае его голову, обретшую уважение и цену, что она завтра после его смерти, отделает золотом, серебром, повесит на стене

что ли? О люди!». «Умер бы по-доброму!» – Это снова она: «Ей! Он и после смерти будет намного лучше вас. Пока вы будете все затаивать и ходить заживо умершими, те, прожженные, будут говорить: «Этот Есболай в бытность свою нам не раз пересаливал суп». И это будет до умопомрачения злить их...

Хотя вы сейчас и говорите «свихнувшийся Есболай», зато потом будете вспоминать как «Благословенного Есболая». А эта баба болтает, что придет в башку! Чего ему бояться бога! Разве он опрокинул его казан или продырявил бурдюк для кумыса? На беду этот старикан задерживается, не попадается ему на глаза. А он, Есболай не боится показаться. У него давно теснится в груди пара слов, предназначенных Всевышнему.

А из той комнаты опять доносится:

«Хватит указывать, довольно уж... даже проныра Кошен теперь будет избегать тебя...»

Нет уж, старая! Как я вышел из конторы, он первым прибежал ко мне, говорит: «Молодец, Ес-ага! Пусть знают, что правда-матка не совсем сдохла!» Тогда, в тот момент Есболай и дал ему жару. А он попятился, как пудель от сторожевого пса. Оправдывался:

«Пойми мое положение... Я же давно на пенсии. Нужны дрова на зиму? Нужны! Сено для двух дойных коров... До зарезу! Если сейчас их разозли, то завтра окоченею от холода... Никто им не пресекал дорогу, не только в этом ауле, даже в целом районе. И этому безмозглому Дуюмбаю... Потому что Дуюмбай родной брат Жиынбаю, а Жиынбай двоюродный брат районному вершителю, а тот, говорят, женил недавно своего сына на племяннице того, кто верховодит в области...»

И тут Есболай вскипел:

«А твой этот толстозадый завмаг, случайно не свояк тому, кто властвует за семью морями?!»

Что странно, на его слова тот самый безбородый просто расхохотался. И говорит:

Извини, дорогой, Ес-ага, я, выходит, немного поторопился... не надо было мне давать показания эти самые, на том заседании... Оказывается, Жиынбай сегодня получил весть из района... Его срочно вызывают... Подписал ее первый, второй... А это означает многое. Об этом я только что узнал у телеграфиста».

Тут проныра Кошен вновь захорохорился, давая понять, что достопочтенный Ес-ага, сколько бы он ни пережил на этом свете, все еще не так сведущ в околонторских тонкостях.

Есболай тогда не совсем понял, что это значит... Но вдруг на душе стало легче, чем раньше, он зашагал домой. А тут эта, его ворчливая старуха, никак не хочет понять что с ним происходит... Ставит в укор, что он вдруг взял в руки давно забытую домбру и что-то бормочет себе под нос. Да, ему вдруг захотелось петь. Какая-то смутная радость щекочет горло. Такое он испытал до этого только один раз, когда его отец Ожрай вдруг ни с того, ни с сего гаркнул ему, шестнадцатилетнему юнцу:

«Теперь поаккуратнее с носом, сопляк... Я уже тебе сосватал дочь Мергенбая из соседнего аула!» И тогда в его памяти завертелись эти самые бесхитростные слова, что и сейчас лезут на язык... «Ой, аллах, дал бы ты мне, раз такой щедрый, песню красивую, вместо этих сорока коз шелудивых... а-у, ш-е-лудивых...» Ух!

Перевод А. Сергеева

СТАТЬЯ

Г. ГАЧЕВ

Известный философ, эстетик Георгий Гачев, автор серии сравнительных описаний национальных культур, из которой уже опубликованы «Образы Индии», «Русский Эрос», «Космо-Психо-Логос», «Америка в сравнении с Россией и Славянством» и других, выпустил книгу «Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца» (М. Институт ДиДИК, 1999). Одно из центральных мест в ней отведено историческим произведениям Абиша Кекильбаева.

КАРАВАН ДУМ

Читал вчера и днесь Абиша Кекильбаева повести и роман «Конец легенды»¹ – все исторические, а и философические, уведшись от злобы нашего дня в даль веков, писатель рельефнее дает проступить главно-интересно-ценному в Космо-Психо-Логосе казахском. Потому приглядимся, что тут.

Поражают – кровь (сладоэрастные описания казней и жертвоприношений и избиений – подробно и детально). Эрос гаремный: тайна женщины. А фактура вся: монолог-переплетень воспоминаний-саморазмышлений главного персонажа, как его страшный самосуд, – такой тут раскрут-караван образов и видений и соображений; караван жизни проходит цепочкой пред очами души и

¹ Кекильбаев Абиш. Степные легенды. М., 1983.

совести. И так пробуждается и сострояется личность – одного; а обочь его – ситуации и характеры людей, как задачи-загадки ему на решение-поступок тот или иной: как принять однозначное решение?

Ибо в центре – хан, человек воли, силы и принимающий решение. Единое творящий, как Аллах, посередь множественности и сложности жизни, и несущий ответственность. Потому и – сверхчеловек и сверхперсонаж, тогда как другие – лишь фон и подголоски.

Кстати, недаром нет многоголосого пения в Казахстане, но одноголосье, все одно поют. Полифонии нет, как нет и допустимости многих «я» внутри коллектива-целостности, хотя допустимы многие коллективы-целостности (роды).

Романы-думы, по жанру: будто едет человек долгий путь через степи, пустыни, раскачивается в седле – и думу думает, припоминает жизнь; а сейчас ничего совершаться не может – в то время, когда думает...

Городской иль земледельческий роман, или приморский-эллинский, может даваться как действие в настоящем: тут и деяния, тут и думы-анализы по их поводу, психология принятия решений ныне.

Роман казаха строится так, что ведет дума-воспоминание – переоценка и передумывание, а внутри этого, как кочевник-народ внутри животного, в его утробе, – и жизнь-живот проводит вереницею своего каравана. Караван жизни внутри каравана дум...

Монолог – монгол – моно-голость пустыни – повтोरю основа это уравнение образное.

Да и кровавость избыточная связана с песком Небытия, ему в контраст усилена, на его кромке – жизнь и кровь, яркость и жар их, свой – в отличие от смертоносного жара-жала Космоса тут. (Не «хаосом» ли лучше это назвать, энтропийно-смертельное?.. Но «хаос» – тоже элемент Космоса, его устройства: нужно ведь и место для небытия, своя помойка и сток нечистот и нестроений).

И Художник, чей принцип: Бытие и Творение, – состязается и побеждает принцип Хана: Воли и Единодушия, – рождая в хане недоумение, неуверенность, а отсюда Слабость, дао, сумасшествие и гибель. А Любовь дается художнику личная, в отличие от гаремно-множественного Эроса. Гарем – коллектив тоже сплоченный, единомышленников, стадо коллектива, лживое.

Так в «Балладе забытых лет» певец на домбре примиряет туркмен с казахами, душу жестокого хана смущает, Жонеута-мстителя, и тот засомневался в своем уставе: жизни и мести и праве силы и воли.

А Чингисхан, победив и истребив тангутов, был уничтожен ханшей Гурбельжин, которая, зная, что он ее возьмет в гарем и, казнив ее мужа, бросится упиваться ее телом, всунула во влагалище перстенок с обоюдоострым ножичком, что постыдно и смертельно поранил великого монгола. И в поэме русского поэта Павла Васильева, выросшего в Казахстане, «Принц Фома», – герой смерть в такой же ситуации обретает: на женщине.

Но все вокруг завитка женского сладострастно-смертельно вьется-разжигается наш интерес, на спор: чья возьмет? Тут тоже спор и айтыс и агон: спорщики и состязатели в пустыне, кочевники (вспомним байгу, игры и пр.).

Таков и строитель мечети Биби-Ханым, в чьей архитектуре художник воплотил облик видимой им сверху в гареме купающейся ханши, в кого влюбился, и она в него: башня от земли в небо, как видение и не мираж ли? – возникла. Тут тоже своеобразный Логос: видение тела (скульптура) перелилось в храм. Но в нем округло-нежные формы женского тела проступили открыто – те, что скрыты гаремно и под чадрой и что запретно изображать в искусстве, – в отличие от Запада, где скульптура спокойно и откровенно развивается наряду с архитектурой. Нет полярности и исключения. Они усиливаются к Востоку, где в православии уже не скульптура, а плоская иконопись во храме. (Хотя Индия? Там и телесные божеества во храмах, пещера «тысячи будд» и пр.).

Однако вчитаемся в символику и мысль вступления к роману «Конец легенды». Повелитель (Тимур-ленг – «хромой» значит) возвращается через Великую Пустыню после похода домой, в Самарканд, и все дается через думу его – этого Сверх «я» в глазах людей, извне; внутри же – это просто страдающий и путающийся, ищущий человек и сбивающееся сознание среди путаницы всего.

Действующие персонажи тут: Песок, Время, Сила и Слабость... Даются неожиданные, на наш русско-западный взгляд, уравнения и соответствия. Приглядимся к ним.

Ветер, тайна и родник

11.V.86. Продолжаю удерживать душу и ум в казахском бытии. Итак, приводим к Космосу – Психею и Логос казахские, как они проступают в романе А. Кекильбаева «Конец легенды».

«Крошечные воронки, появляющиеся под копытами устало бредущих коней, тут же вновь заполняются песком. И мгновенно исчезают бесследные следы... Зыбучий песок, безмолвный и бездушный, издревле привыкший к непостоянству и тщетности бытия, мигом стирает малейший отпечаток на бескровном лице этого безбрежного серо-пепельного мертвого пространства».

Песчинки – атомы небытия. Из них образуется упругий смерч пыльный, что смешал небо и землю. «Казалось, какая-то чудовищная сила, распалая себя, в пепел, в прах истолкла всю твердь земли и провеивала ее на жестком ветру».

Барханы – письма «ветра-каллиграфа» «навевали тягостные думы о том, что сама жизнь не что иное, как бессмысленные, беспорядочные знаки на песке», и все будет погребено «сыпучим песком, имя которому Время». Суэта и бессмысленность... И недаром образ Соломона витает тут: и мудрость его, и меланхолия оттого, что все преходит и нет ничего нового под солнцем; и женолюбство его, и умение лишь пригублять чашу с вином, самый аромат снимая тонкий, не упоаясь.

Во Времени – где Вчера? «Где они, что жили вчера? Как случилось, что те, кто еще вчера сражался с ним, сегодня погребены песком забвения? Неужели их сразила лишь его пощады не знающая сабля? Нет, конечно! В своей гибели они повинны сами. Вернее, слабость их повинна. Выходит, Вчера – попросту разновидность слабости. Точнее, другое ее название. Лишь ослабев, обессилев, Сегодня превращается во Вчера... Истинное имя силы – Вечность.

Сила Повелителя в состоянии держать чернь между Страхом и Надеждой».

Перед нами – особая онтология и психология; выводятся уравнения: Вчера = Слабость. Вечность = Сила. Сегодня = Страх и Надежда. Сегодня = Счастье. Вечность = Слава. Слабость – вина человека, его грех. Сила = Свобода воли.

Символическая рассказывается притча: «Спросил од-

нажды муравей у пророка Соломона: «Ведаешь ли, отчего всеблагий подчинил себе ветер?..» В том заключен намек, что царство и могущество твое когда-нибудь ветер же развеет».

На Руси Ветер – образ Свободы, всеведающий. Тут – шайтан и Небытие. Значит, все живое и смысл – противостояние Ветру. Такова Юрта: обтекаемость ветром; таковы груди коней и горб верблюда; таковы и формы тела человека и плода – упруги. Грудь женская и бедра, их упругость – это воля в теле. А в Психее обитель Абсолюта – это чистая Воля.

Ветру противостоит не прямая стена правды и чести, а обтекаемость, чтоб ветер, искривясь, мимо прошел. Лукавость и хитрость тут в почете. Обмануть, надуть врага. «Каждому своему военачальнику он (Повелитель – не случайно по этому качеству – Воли – назван главный персонаж. – Г.Г.) неустанно внушает: «Какие бы напасти ни подстерегали тебя, не попадайся в тупик, из которого нет выхода. Заранее позаботься о лазейке для спасения... Слабость – тот же тупик.... Надо в запасе иметь уйму уловок, чтобы не очутиться в ее тенетах».

Но ведь Ветер вздымает фюзеляж самолета: враг может быть во благо употреблен, если хитро и с умом обтекаемую форму Ветру навстречу предоставить.

Простодушие и искренность = прямолинейности, что могут быть в почете у растительных народов, но тут они = не-ум, не со-образование, а образ надо принимать разный. В этом – обтекаемость хитрости, гибкость и упругость кривой линии.

Во Логосе кочевника Тайна ценна: она – глубина, как вода жизни и кровь – в Верблюде. Тайна – поддон «я» и жизни резервуар. Повелителю нужна и важна прозрачность в окружающих; их он молча выслушивает, располагает к доверительности, даже прикидываясь глупым, а те начинают кичиться и поучать его – и выбалтывают свое тайное и глубину – и силу. Сам же, как источник воды живой жизни, блюди тайну свою, как «я»: «Теперь старайся, чтоб они ни за что не догадывались о твоей слабости...» Он думает=пережевывает, будто несварение некое: «Зачем он вновь и вновь жует свою жвачку, давась отрыжкой, словно старый, шелудивый верблюд?.. Он не позволял себе передумывать то, что было им однажды решено».

Тайна, Память, Колодец, Глубина – вот что против Ветра: сокрытость! – основа и родник Жизни и воли, и силы. Если по-гречески Истина = «а-лет-хейя» = НЕ-СОКРЫТОСТЬ, открытость, прозрачность на глаз и вид (идея = вид!), то тут суть – суметь спрятаться и так выжить на Ветру.

Недаром Муравей умнее Соломона. А что есть муравей? Это самоходная песчинка – обтекаемой формы и с цепко-упругими конечностями волевыми, чтоб удержаться против прямой Ветра. Да, это Ветер ходит по прямой или вихрями-кругами. А Тайна – как жизнь в юрте: закрытая, без окон-глаз наружу. Как живот и колодец.

Потому молчаща фактура повествования тут: думы молча наедине и в одиночестве. Все части романа – монологи воспоминаний разных персонажей: Повелителя, Зодчего, Младшей ханши. Так и у Айтматова: покачиваясь в седле, припоминает и обдумывает жизнь и все смыслы герой; есть время в долгом переходе, когда говорить не с кем, а лишь жвачку своих дум из глубины тайны выволакивать и пережевывать, и рассказывать себе. Так и выживает человек.

Тут мне припомнилась «байка», что Гадильбек Шалахметов, нас принимавший в Казахстане, рассказывал:

– Когда испытывали космонавтов на долговременность небытия в камере, где постоянно свет и не различишь времени суток, отчего Гагарин лучше всех выдержал? «А я со скуки начал все себе переговаривать, что случается и что вижу», – объяснил он свой секрет. И так удержался в уме – как в седле.

Но подобно и кочевник, и его акын: что видит, то и фиксирует словом, «натуралистически»: сплавляя со словом и думой однообразную бесконечность – и так ее оживляя, вдувая Слово, как Бог, что вдувал живую душу, творя мир и существа.

Так и себя поддерживают тут в существовании и смысле. То есть забота о том, чтобы не засыпал свой родник: не засыпал и не засыпался. Сон = засыпание, uspение.

Потому и сны так важны в фактуре повествования: в них Небытие говорит – антипод и тайна сама – прямо; тебе ж в этом НАМЕК, разгадывай его в долгой и неспешной думе.

Так и в романе: протяженность каждой части – это разгадывание притчи. Красное яблоко с червем внутри,

подсунутое Повелителю Великой ханшей, ведет думу первой части; к концу он разгадывает, что это – измена Младшей ханши с кем-то в его доме! Вторая часть – «Минарет» – от лица Зодчего: его жизнь и судьбу разгадка смысла Башни, им построенной как сказание его любви к ханше.

И вообще Логос тайны – это НАМЕК; впрямую тут не выражаются: нельзя против Ветра=Повелителя, его воли и глаз: все отводят. Но – перешептываются: слухи, молва – и проступает истина лишь косвенно: не в прямом слове, а обтекаемо, фюзеляжно, сокрыто в предмете (как яблоко с червем), и полуулыбке служанки, в эротических формах построенной Башни.

Так что и мысль должна виться, а не прямо шагать, поступательно, как в Логосе европейских культур, растительно-городских, с самостью личности и безопасностью прямого слова от «я» в лицо.

«...Недобрая весть доводилась до него намеками. И если ему требовалось знать все подробности, скрывающиеся за иносказанием, он вызывал к себе гадателей и приказывал истолковать донесение. Те известную им недобрую весть тоже не сообщали открыто, а преподносили лишь разные ее толкования, которые он мог понимать, как ему угодно было. На основе намеков и их толкований Повелитель сам выносил решение... Находить истинную суть каждого иносказания, а также единственно правильный выход... – нелегкое занятие».

Значит, обиняк, намек, иносказание, притчеобразный Логос тут изыскивается самим устройством Космоса (Ветер) и Социума (единая воля хана). Нельзя тут впрямую, а лишь косвенно и обтекаемо и хитря. И в этом – эстетика даже и интерес: не прямота слова и истины, а их зашифрованность в теле, предмете, форме, так что нужны гадатели и истолкователи, а не ученые и мыслители-философы, что ценят кратчайшее расстояние между точками и вещами и словами и понятиями – в логике прямолинейной.

Здесь же и логика – витиевата должна быть: все и так и сяк понимаемо быть может; и это – при Единстве Неба и Солнца и Воли Аллаха и хана... Уклончивость Истины = ее любовь к тайне и ночи, а не открыто обитать, как это в Европе и России, где Идея и Свет знания, и прямота, и правда, и справедливость – в почете и ценности.

Потому все ловят друг друга, чтобы выведать-поймать тайну твою – как средоточие и суть. Вот как Логос сопряженно Психеей (что норовит тут уклониться) и с устройением Социума (единая воля): «Порой Повелитель поневоле поражался непонятливости своих приближенных, тому, что их разумению оказывались недоступными самые простые вещи. Потом, размышляя об этом наедине с собой, приходил к выводу, что поражается напрасно. Ведь ему-то легко: у него нет необходимости кому-то угождать или стараться понравиться, а его подчиненным, угожливо ловящим каждое его слово, постоянно смотрящим ему в рот, следящим за каждым движением бровей, не мудрено, разумеется, споткнуться на ровном месте».

То есть ему одному присущ прямой луч и свет, и взгляд – как вертел, на который нанизываются уклончивые обиняки, как лапша и лагман – на палочку.

«Во время беседы с приближенными он искусно заставлял их высказываться без утайки, а сам между тем лишь молча слушал. Даже не перебивал собеседника. И тот чувствовал себя робким учеником, плохо выучившим урок, перед строгим, педантичным до угрюмости наставником. Повелитель, точно окаменев, смотрел собеседнику в глаза (т. е. ему присущ прямой луч. – Г.Г.)... А Повелителю совершенно ни к чему, чтобы его подчиненные что-то утаивали, скрывали. Ему выгоднее, чтобы перед ним все выворачивали наизнанку свои душонки (как требуху животного съестного. – Г.Г.)... Ибо в подвластном ему мире только один-единственный человек имеет право на какие-то тайны. Это он сам, властелин... Нет покоя его душе, пока он не визнает до доньшка все, что в сердце и помыслах приближенных. Здравый человек не садится на коня, чьи повадки ему не знакомы... Твоя тайна, пока она при тебе, – твое оружие, но с того дня, как ты однажды кому-то ее доверил, она уже оружие чужое».

Значит: тайна = оружие. И во враждебном мире – такой Логос. Но есть и другой подход – исповедь, покаяние: тогда человек именно хочет освободиться от тайны и грязи в себе как черни – и доверяет другу, Богу, исповеднику, как лопате и врачу-лекарю, пускающему дурную кровь и дух подлый из души. А оберегая свою тайну как оружие, человек тем самым заявляет, что он душой настроен обитать в Космосе вражды и его сам строит – своей Психеей и Логосом.

Значит, если я прям и простодушен и искренен, я – свободен, в том числе и от страха: не знаю его (как Зигфрид у Вагнера); и Истина простодушная побивает космос хитрости, и зла, и тайны – как обители сатаны и тьмы, ночи и Матьмы¹ Материи...

Итак, на недружественный Космос вся настройка тут. Он и везде-то во зле и вражде. Но этика человечества разработала волеизъявление ко Благу, чем и творится Благо и новый мир, и Космос: из моей свободной воли – Сократа и Христа, прямо отвечающих.

В космосе тутошнем есть такой персонаж, что слушает Бытие и искренен: это Художник (зодчий тут, юноша) и Певец-акын (в повести «Баллада забытых лет»), кто не боится и, что слышит, то и поет. Но он огражден безумием неким, есть одержимый меджнун, дервиш, суфий – тоже в этом, как в животе и шкуре самки-матки, содержится охранно, в этой славе и мнении и роли признанной, функции...

Антипод Ветру – РОДНИК: источник воды живой и духовной: «Он забирался в укромный прохладный уголок сада и подолгу сидел на валунах у звонкого, говорливого родника. Только вот здесь на крохотном клочке земли, рядом с вечным родником, он не чувствовал себя могущественным властелином. Здесь он мог не повелевать («повелитель» – это его функция-маска в маскараде ролевом Социума. – Г. Г.), и были ему непослушны, неподвластны и неустанно журчавший прозрачный родник, и бесчисленные птахи, безмятежно щебетавшие в густой зеленой листве... Здесь никто его не боялся».

Вот Космос свободы Духа: растительность из самочинной ВОДЫ. Другой Властелин. Вода – тоже Тайна: прячется, сокрыта от Ветра наружи и поверхности. Вода, родник, колодец = самораскрытие тайны – свободно на встречу нам, хитрым рабам во Социуме и в Космосе, приниженным и во страхе.

Потому у колодца и в оазисе самость есть у человека, и там возникает Личность и мысль, и дума, и одиночество (тогда как в степи лишь коллективом выжить можно).

И Повелитель здесь часами сидит в задумчивости и

¹МА-ТЬ = ТЬ-МА – из тех же слогов перестановка.

одиночестве. Вода течет ровно, мысли же его путаются, растекаются ручейками.

Тут-то он и разгадывает намеки: «Подлую беду, которую Повелитель обязан знать, сообщают ему только предсказатели и шейхи-дервиши, и то лишь осторожными намеками.

Не исключено, что и красное наливное яблоко, поднесенное ему на подносе, — определенный намек».

Отсюда надобность звездочетов-гадателей. Это — в социуме, при дворе. Но в оазисах, при родниках мудрецы и философы — Аль-фараби, Абу Ибн-Сина и пр. — разгадывали притчи природы, формы веществ и сути, и истины, все ведая, слушая, как вещают вещи, что родники.

Итак, национально-восточное в этом романе, что он — разгадывание замысловатой загадки и намека, данного человеку и в каждой вещи (яблоко, минарет), да и вообще в собственной жизни: в ее таком вот течении, что припоминается, проводится перед думой, обговаривается во внутреннем монологе, — и в ней ищется смысл, а судьба трактуется как пришествие потока жизни к форме и образу... А таков издревле дух Востока: притча, сказка и разгадыванье — толкование намеков, герметизм и эзотерика, шифровка... И в этом — остроумие. И в «Панчатантре» так, и Шехерезада...

Но и алгебра = тоже шифровка и обиняк: не впрямую числом, простодушно выговаривающим свое количество и величину (как арифметика эллинская), а сокрыто, тайною буквы, значка-знамения.

И так, притчами, и движется мысль-дума-разгадывание памяти: «Что может быть противнее гниющих фруктов?» — и идет философема орнаментальная о том, как они были нежными соцветиями еще недавно, потом «сосали солнечную грудь неба» — образ животного моделирования мира.

И это тоже Повелителю подсказ и притча: только вверх лезть, иначе падешь — и превратишься в гниющий фрукт и мерзость. И потому он вынужден все лезть в высь, подстрекаемый злорадством и завистью врагов.

Но также и Зодчий из кочевников: строит минарет все выше и выше, чтоб расширить кругозор — и через Высь придти в Даль и Ширь и увидеть родную степь поверх скученности рабского и суетного города. И вот он уже углядел что-то родное рыжеватое: «И еще ему мерещи-

лось, что простор, стремительно надвигающийся из-за открывшейся вдруг черты, спешит сюда, чтобы освободить его, одиночку, пришельца, сироту, лишившегося своей вольной степи заживо замурованного в кирпичные стены».

И тут уравнения: «еще дальше, еще выше»; «пустыня, точно этот опостылевший город»; «Густая синева горизонта приоткрывала рыже-бурое пространство».

Так видится дрожащее дно сквозь прозрачную глубину».

Родное рыжеватое приведено к воде и роднику: есть ДНО = тоже Тайна, что таится. Но вода – свет и зрак, и истина Родник = откровение тайны – истиною.

«Минарет чудился ему единственной дорогой...». Тоже уравнение выси с далью. Дорога – река жизни кочевника.

Минарет = выход и выдох в небо – из кучи города, из суеты его и через уразумение – гадание-толкование это узнается.

Повелитель выталкивается вверх (только туда стремясь, может уцелеть) завистью и злорадством униженных им. Реактивно.

Зодчий-юноша «чтобы не задохнуться в этой смрадной житейской грязи, лезет вверх по крутой каменной башне, туда, к синему, прозрачному поднебесью».

И только теперь Жаппар понял, почему нужны минареты. Оказывается, они выражают высокое и гордое стремление рода человеческого отрешиться хотя бы на мгновение от всего привычного и низменного, что клонит... со всех сторон (! = круг. – Г. Г.) к земле, где на уровне ослиного хвоста незначительное кажется значительным.... – и подняться... Ведь неспроста даже суслик (все животные модели – братья. – Г.Г.) и тот время от времени испытывает потребность оставлять свою опостылевшую, вонючую норку (запах и нюх у кочевника силен и развит: детей любимых – нюхают, а не целуют. – Г. Г.) и растянуться, выставив солнцу круглый бочок...

Быть может, этот минарет, точно прорвавшийся из земли, не просто выражение гордой и дерзкой человеческой мечты, а необоримый порыв, неумемная тяга самой земли... к небу? Разве эти маленькие жженые кирпичики в его руках еще вчера не были слепой, копейки недостойной серой глиной под копытами ишака? А вот сегодня, словно одухотворенные некой чудодейственной силой,

передающейся через его руки еще недавно бесформенной глине, превращаются в вполне осознанную... цель – в гордо устремленный ввысь минарет».

Эта вариантность толкований – как гирлянды сравнений, навешанных в восточной поэзии на один предмет (на красавицу, например). Это – не линейная дедукция западной логики, что выводит через анализ (= «распутыванье») понятие за понятием, но тут с разных сторон заход и взвиденье – будто юрту, вещь обходят, кругами, орнаментами вия мысль.

И еще обращает на себя внимание фактура *вопросительная*. Вот как Город глазами степняка передан: «Словно мало им (людям) необъятного божьего пространства, будто они боятся простора... Мудрено ли не свихнуться в таком котле, постоянно сталкиваясь друг с другом (котел, ступа, муравейник – наворачиваются сравнения. – Г. Г.)?! Какая злая сила, смешав, сгрудила их в одну кучу, когда столько безлюдной, вольной шири вокруг?! Живи они вразброс по беспредельной степи, какой вражина позарился бы на них? И наоборот, разве не велик соблазн растоптать, расшвырять, развеять кишаций муравейник?.. Для чего, к примеру, понадобилась вот эта строящаяся башня?.. Для чего? Какой смысл?..».

Вопрос = разрыхление тверди положения. Если западная мысль преимущественно движется тезисами = положениями, утверждениями, ценя твердь среди хлябей матери-сырой земли, жижи болот, морей, то в восточной мысли, в центре Евразии, где крепчайша твердь Космоса (Памир, Гималаи, Кара-Кумы!), что ценно? – Разрыхлить = возжизнить: впустить воздух и воду. Вопрос = колодец. А и минарет – тоже вопрос, что земля задает пространству, небу...

А что же тогда жанр изречений, коротких афоризмов, рубаи и притч?.. А это драгоценные камни, что здесь отграниваются, и столь моделирующие, что даже понятие «материи» тут толкуется по образу и подобию драгоценного камня (арабск. «джавахер»), тогда как для греков материя («хюлэ») = лес, древесина, а для других народов – «мать»...

В стиле мышления Запада тоже есть вопрос и сомнение. Но они тут же требуют попытки ответа – для нового потом вопроса: диалектика!.. Здесь же можно навешивать вопросы – без ответов сразу.

Но само задавание вопроса есть уже и некое сказание о данном предмете...

Тут прерывистость, пунктир в мыслепроведении, многоначатие и непоследовательность.

И это можно так понять. Единое и прямое тут = еди-нодержавный логос Повелителя, его монолог. Но он – приказ, твердь тезиса, рубин камня, редок и мощен.

Под этим насильственным Единым – множественность Жизни и существ, и тел со своим логосом и словом. Но они, раздавленные в бок, увиливают и юлят, и нет диалога и диалектики перехода Единого во Многое, и наоборот. Они – разноначальны и неисповедимы друг другу. Потому между ними – тайна, намек, гадание: это – мерцание, и нет пряника моста рассуждения и анализа и диалектики.

Несамоопорное и несамодостоверное «я», и не правомерное, тут имеет логос вопрошения, жалобы, стона-плача или восхищения, что и выражают певцы и поэты... Но в этом – большое множество и гибкость, и артистизм, и клубление сравнений. И это ценится в айтысах = состязаниях поэтов. Вон и в айтысе между Кулмамбетом и Джамбулом – фактура вопрошений и сравнений, рядом навешиваемых и не нуждающихся в связи и развитии друг во друге.

Итак, нет тут во Логосе задачи европейской мысли: как сопрячь Единое и Общее? (Через Особенное, как средний термин силлогизма, – у Аристотеля...).

Я тоже не много знаю про здешнее... Я предполагаю, фантазирую из своего образа здешнего Космо-Психо-Логоса, вязь свою плету. Она претендует не на верность, а быть неким наведением на возможную верную мысль – иль взвидение некоего нового аспекта...

Но введем еще одно измерение из Космоса: казнь Жаром. «Солнце, казалось, стояло на привязи (как конь. – Г.Г.)... Воздух застыл, загустел, стал вязким, тяжелым, словно закисшее молоко (тоже образ из кочевья и скотоводья. – Г. Г.). Ослепительное солнце выжгло... Казалось, некое чудовище, сказочный злой великан, засучив рукава, разводил на земле гигантский костер и сжигал все дотла, чтобы из горы пепла и щелочи варить потом в необъятно-огромном казане черное, как деготь, мыло. И раскаленное солнце чудилось все сжигающим огнем под тем непомерно громадным казаном» (тоже образ из быта юрты. – Г. Г.).

Итак, Ветер и Жар – вот тут казнители, облики Смерти. А полюс плюса что? Вода, безусловно, а также способность увильнуть (тоже свойство Воды) от прямостояния и сожжения; и цепкость Жизни и Воли. И не Свет, а Тайна, сокровенность: сокровение своего родника, сердца.

Служение этому – Хитрость как гениальность.

Ценен также Образ как Намек: сказать истину, все – и не уловиться в прямолинейные тиски, увильнуть. Понимай как знаешь...

Потому художественность тут входит в стиль Логоса, а не изгоняется из него, как на Западе, где взыскуют: «Да или нет?» – прямого ответа и правды, и истины – как стояния.

Тут же возлежание и кейф – вот поза думы и познания.

– Нашу передачу «Приглашение на лагман», – говорил Гадильбек Шалахметов, шеф радио и телевидения, – надо смотреть не сидя, а лежа – вот как! Чтоб домашни и расслабленны были все, а то иное телевидение будто во фронт призывает встать зрителя даже у себя дома, как на параде и в мундире иль при галстукке. Так официально ему говорят с экрана.

Во всяком случае Свет тут не в таком плюсе, как на Западе и на Руси, а Тьма – не в таком минусе. Напротив Тьма – как обитель Тайны и сокровенного, лоно и живот, и глубина – есть место обитания человека и истины, и блага – в большей степени. Открытый Свет и пространство тут – опасны и смертельны... Смерч и испепеление.

Бог и Аллах – тут Огонь поядающий и испепеляющий, как Судия. А Христос – источник «воды живой» и Богоматерь – Великая Матерь – все эти символы в близком по широте космоса Палестины и Египта...

Из лях – в казахи

Модуляцию в Казахский Космос совершаю ныне, забросив Польский – и симметрично это тому, как 10 лет назад, в 1976 году, разогнавшись писать «Космос Ислама», был я прогнан женой путешествовать в Эстонию и написал Эстонский Космос (близкий к Польше).

Так что неплохо будет развернуть карты друг друга и им посмотреться-остраниться друг другом.

Польша – посредница между Западной Европой (германством) и славянством и даже Евразией. Была, как и

Орда, татаро-монголы, разлита-славна в свое время благодаря еще слабости окружных (России, Пруссии, Украины...), а потом стала тесниться в свои берега и даже уже еще: разделы Польши пошли меж уплотнившимися целостностями соседей; так и Орда распалась на улусы и «жузы» потом: Старший, Средний, Младший...

По стихиям Космоса же тут обратные соотношения: в Польше наличны Вода и Воздух, стихии посредства, и желанны Земля (твердь) и Огонь. Тут же даны просторы жесткой земли-тверди и палящий казан геенны солнца. А желанны Вода и Воз-дух, легкий, покойный, а не Ветер-смерч-движение в Пространстве.

И звучности языков, акустики разные. В польском языке – шипящие = загашение огня чрез роль пани, женщины.

Тут же бренчит «Н», «Р», «Ы», «Е» – такие отличности уловил мой слух. Это сухой космос, мужеский. И если шипящие – то сухие: «Ж», «Ш», а не мокрые: «Щ», «Ч». Тут звон струны-тетивы – в этом «ННН» при всяком звуке и «Р» огненно-деятельном. А «Ы» – звук Дали, простора. «Е» – вместо «О» = «я» и центра. Тут – скошенность в ширь и бок и в стороны, как и косоглазие: слегка приплюснуты шары глаз, как и носы, придавлены и придалены миндалины глаз. Шар-круг тут в эллипс Ширью растянут.

Также и тяготение О – Ю (как немецкое Ü - «умлаут») означает тоже скос шара – уже во глубину, в колодец, бурдюк-утробу и требух. В живот, что важнее шара-головы, которой «секим-башка!» с легкостью тут и за все...

Множественное число в тюркских языках – на «лар»: дрожит-звучит женско-мужеское, андрогиния! («Л» – женское, «Р» – мужское начало).

Вообще разнозвучие в степи важнее разновидия, что в лесу и в средней полосе. Потому такое разнообразие музыкальных инструментов и типов извлечения звука в кочевье. Люди – прислушиваются. И звуки – животны, сурдинны, гнусавы...

Это мы были в прекрасном музее народных музыкальных инструментов в Алма-Ате. Разновидности домры, ударно-щелкающие пары копыт, губные бренчания – такая изобретательность в извлечении звука: щипок, треньканье... Лук как инструмент, арфа...

Комуз шаманский – раскрытое чрево и поверх него струны, и как бы сама земля говорит из недра своего, а мы слушаем и толкуем звук.

Вообще толкования – вот модус восточного Логоса, ибо принята презумпция и постулат, что ни Бытие, ни Аллах прямо не выражаются, но устройением мира и вещей; так что наша роль – не научиться их самим также делать (= принцип Запада) и так упростить и прямолинейность все во тождество бытия и мышления, рационалистическим разумом уловляемое (*причинность* = *при-творность*: чинить = делать, начинать-кончать), но – угадывать смысл данного завета и сказа вокруг и во всем. Девинация = разгадывание – принцип восточного Логоса. Оттого там в таком почете звездочеты и гермевты всякие, кудесники, акыны. (Кстати, слово акын – очень космо-акустическое тут: А = простор от земли до неба, высь. ЫI = даль понизовая, к земле прижатая. Н = звон сухого твердого воздуха, и нет смягчения=овлажнения-оженствления согласных. К = заднесмычный, на выходе из живота-утробы в горло, как из гор через горловину ущелья – в степь; и тут взрыв, кашель, отдувание...).

Нет точного знания (чей идеал именно точка, атом, прямая линия, их связующая, два тезиса и истины), а есть окольно-криволинейное угадывание – не по данным, а по *намекам*, не по фактам = «сделанностям» нашей рукой и умом, а по *притчам* = прислонениям нашего ума-разума к вещам, беря и толкуя их как символы и подсказки.

Тут более священства и таинства и чудесности в мире прозревается; блюдетя пиетет и скромность малости нашего ума и «я» – и в этом и плюс, и минус Востока. Запад в надменности «я» и его радио слишком упростил мир, а бытие слишком рано объявил легко понятным и управляемым – и вот доуправлялся до грани самоуничтожения – пуще Чингисханова и Тимурова. Уж так своим умом будто бы до всего допер человек тут: и смысл Истории постиг, и как люду во общество идеальное устроиться, и смысл земли-природы и Космоса... Ан нет, в морду получает самодовольный рассудок западной цивилизации: выпустил именно «джиннов» (восточных бесов), с коими не управиться... Восток оказался целомудреннее и умереннее: уничтожал если что – так человек жизни (черепа Тимуровских курганов), но зато Природу Земли не изувечил и оставил в порядке будущим поколениям. Люди тут проявили самопожертвование: если есть в нас

Эрос-ярость-охота к уничтожению чего-нибудь, так уж лучше самоуничтожимся, раз бес наш разум обуял и отнял, но не посягнем на Матерь-ю Великую Природу.

Запад же переоценил «я» человека (гуманизм Ренессанса, «звучит гордо»!) и если что увечил, то Мать-Природу, на нее посягнул, хотя и человек в итоге тоже еще поболее Чингисов поуничтожал...

Итак, умеренность в преобразовании Природы – принцип Востока, его априорное как бы Дао. Из малого внедрения в природу творят многое, интенсивно хозяйствуют: Китай, Япония, Персия; да и кочевники не пашут, не срезают слой земли, а смиренно со животными, меньшими своими братьями, сожительствуют и их уважают, и чтут, и приноравливаются...

Да и в Логосе: не просто это «сравнение» с животными в их литературе – как материал характерно-национальный. Но тут именно *уравнение* человека с животным, его с ним со-мирение: один они Космос общий обитают, и одна, общая нам и животным, тут мера дана и принята человеками как закон. Демократия тут – равенство и братство с конем и овцой и верблюдом, уважение к ним и приноравливание, значит, и нор свой человек подналаживает под них, что на Психею, характер человек, особь статью налагает. И потому – молчат, как кони и овцы, и верблюды. В себе передумывают-переговаривают. Так и романы-повести Айтматова и Кекильбаева построены: внутренним монологом-воспоминанием-думанием-дедукцией понимания-угадывания смысла всего, своей жизни и ее случаев... Все – как самоколдуны-шаманы: и Едигей, и Повелитель себя расколдовывают, разгадывают знамения, данные им в случаях их жизней-судеб. Молчаливые чревовещатели...

Народы, живущие среди растений, лесов, – более глагольны, раскрыто-диалогичны: шелестят литературою, прозою диалогизируют; разверзты уста листов, непрерывно шумят-беседуют. И птицы тож... И человеку тут не стыдно многоглаголовать и романом, и философской системой (многогомьем Гегеля иль Толстого). А тут – песнь, афоризм, изречение, притча, сказка, легенда – вот жанры, экономящие по словам, сбитые...

Хотя стоп! А ЭПОС? «Манас» в сотни тысяч стихов! «Шахнаме» Фирдоуси?.. («Махабхарату» не называю: она – в буйной растительности и живности Индостана...).

Да, во время перегонов кочевья – молчание и дума в седле, покачиваясь, медитируя полусонно. Но приходит зима, долго в юрте – надо ж время провести. И тут – акыны и эпос, и споры, и карты... Большие картежники, оказывается, – нам друзья поведали про казахов. И понятно: на подушке в юрте естественно тянет к сидячей игре... А уединения для писания – «кабинета» – кельи-пещеры нет ни у кого, скита тут: все на виду в быту и вместе, и каждое слово сразу сообразуется с окружающим людом, а не со вниканием во глубь себя, как в комнатке дома на Западе, – не в русской избе, где тоже не расчленено пространство на части-отсеки и где все – вместе: коллектив нерасчлененных индивидов-личностей. Отсюда и Логос «один за всех и все за одного», и принцип единодушия взыскуется в каждый данный момент: всем одно думать... Потом – другое, но опять же всем вместе. А не то чтобы одновременно одни думали одно, а другие – другое, что тоже бы естественно: ведь одним видна одна часть истины, другим – другая...

Но в юрте такое невозможно: единоначалие и единодушие внутри изыскуемо.

А вот между юртами уже возможен спор. И тягание, и байга – состязание: скачки, борьба, айтысы акынов. Этим тоже заняты, таково препровождение Времени у степняков на стоянках.

Но тут – однокачественность: *вариация* разных образов, а не развитие-диалектика, с рождением-выведением-дедукцией нового понятия и звена мысли, как это в диалогах романа западноевропейского, по шелесту листвы сообщение мыслей – (в)идей.

На Востоке же – орнаментальность и глаголов, статическая вариационность, а не симфоническая разработка. Но вот в романе Кекильбаева или в повестях Айтматова монолог-дедукция: караван-шествие сквозь жизнь и наведение-угадывание смыслов все новых ситуаций – и, значит новые уразумения друг за другом выводятся.

Так что в «Конце легенды» Кекильбаева в итоге выстроилась целая философема: изложена и картина мира природы, и история, и устройство социума, и психики человека разных, и система внутренних мотивировок поведения тонко расчленена, и там всяческая игра, и психология, и диалектика-разработка. Но все это внутри одного ума-существа, которое таким образом – как бог,

набухает, как Вселенная. В самом деле, тут и целая «Полития» типа Платона изложена: система управления людьми, государством и прямо-таки «Князь» Маккиавелли – вот что из уст Повелителя мы: принципы власти народом – узнаем.

Но тут и антропология своя: устройство человека и его существа и ценностей, и противоречивость в нем разных сторон. Отсюда сложное улаживание всего – в душе, в страстях и понятиях. Психология... Тут и бытописание, и эротика... Тут и приведение Величайшего к нулю, что и проделал в своем уразумении Повелитель полумира: что он несчастен и лишен тех радостей, что имеет самый бедный его подданный: простодушия семьи и любви. Что он – раб, сам себя оковал, поработив всех, не шевельнуться свободно ему: все его охраняют...

Тут и теология: от Повелителя полумира один и следующий естественно шаг и вопрос – о Боге, Аллахе, Всевышнем: что Он есть и как Ему живется-можется? Не так ли, как Повелителю смертному? Или нет? Ведь Он, как бессмертный, не окован и свободен даже в сотворенном скверно – из зла и греха – мире своем?..

Интересно смыкание со христианством даже: Юноша-Зодчий, немой и честный и глядящий искренними глазами, перед Повелителем = как Иисус перед Понтием Пилатом (или Иешуа в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»). И вдумываясь в ситуацию свою с ним, Повелитель засылает слухачей в толпу, ловит слухи: не говорят ли о его прелюбодеянии с ханшей? – вдруг узнает молву и слух, что Повелитель, наверное, ослепит Зодчего, чтобы его шедевр остался единственным в мире и не мог бы тот своим талантом подобное иль лучше еще сотворить у другого властителя. И Повелитель цепляется за этот подсказ толпы, отдавая ей как бы на растерзание Зодчего, подобно тому как толпа кричала: «Распни его!» и требовала выволить: «Варавву» – и Понтий Пилат умыл руки. «И потому самое справедливое – осуществить волю, удобную толпе. Если уж необходимо непременно докопаться до истины, то вовсе не он, Повелитель, палач молодого зодчего, отмеченного божьим даром, а крикливый черный сброд, охотно распространяющий самые невероятные слухи... Все зло, все беды – от черни. Даже кару для него (Зодчего. – Г. Г.) придумала и подсказала Повелителю – она. Что ж... – так и будет! Пусть утешится презренная чернь!»

ПРИМЕЧАНИЯ

«Конец легенды». Роман написан в 1971 году. Опубликовано на казахском языке в журнале «Жулдыз» (1973, № 1). На русском языке опубликовано в журнале «Простор» в 1979 году. Издан отдельной книгой издательством «Жалын» в 1979 году. Включен в книги «Баллады забытых лет» (1979), «Степные легенды» (1983). А также издан на немецком, венгерском, турецком языках.

«Призовой бегунец». Написан в 1966 году. Включен в книги «Когда уходят Плеяды» («Художественная литература», М., 1980) и «Степные легенды» («Художественная литература», М., 1983)

«Автомобиль». Повесть написана в 1976 году. На русском языке публикуется впервые.

«Встречный-поперечный». Рассказ написан в 1975 году. Опубликовано в журнале «Юность» (1985). Включен в книги «Мартовский снег» («Жазушы», А., 1985), «Мартовский снег» («Советский писатель», М., 1988).

«Соломинка удачи». Рассказ написан в 1976 году. Включен в книги «Мартовский снег» («Жазушы», 1985), «Перевал» («Жазушы», 1981), «Мартовский снег» («Советский писатель», М., 1988). Переведен на ряд иностранных языков.

«Самый счастливый день». Рассказ написан в 1963 году. Включен в сборник казахских рассказов «Белая аруана» («Художественная литература», М., 1975).

«После встречи». Написан в 1976 году. Включен в книги «После встречи» («Жазушы», 1985) и «Мартовский снег» («Советский писатель», М., 1988).

«Белая береза». Написан в 1959 году. На русском языке публикуется впервые.

Примечания

«Ну и чудеса». Написан в 1975 году. Включен в сборник казахских рассказов «Горная тропа» («Жалын», 1983).

«Есболай». Написан в 1976 году. На русском языке публикуется впервые.

Г. Гачев «Караван дум». Из книги «Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца». (М., Институт ДиДИК, 1999).

СОДЕРЖАНИЕ

Роман

Конец легенды (перевод Г. Бельгера) 5

Повести

Призовой бегунец (перевод И. Шухова) 227

Автомобиль (перевод А. Сергеева) 261

Рассказы

Встречный-поперечный (перевод Г. Бельгера) 321

Соломинка удачи (перевод Г. Бельгера) 349

Самый счастливый день (перевод Г. Бельгера) 381

После встречи (перевод Г. Бельгера) 395

Белая береза 413

Ну и чудеса (перевод Г. Бельгера) 417

Есболай (перевод А. Сергеева) 425

Статья

Г. Гачев. Караван дум 447

Примечания 466

Кекильбаев А.

К28 Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI томах. – Алматы: Жазушы, 2001. – 472 с.

Т. 2: роман, повести, рассказы, статья

В романе «Конец легенды» получили дальнейшее воплощение по-современному переосмысленные историко-философские, художественно-эстетические ценности казахского народа.

В повестях и рассказах автор талантливо воссоздает не только нравственный облик яркого и сурового прошлого, но и поднимает глобальные проблемы современности.

К $\frac{4702230200-30}{402(05)-2001}$ без объявл. – 2001 ББК 84 Каз 7-44

ISBN 5-605-01744-6 (общ.)
ISBN 5-605-01755-1 (том 2)

© «Жазушы» баспасы, 2001
© А. Кекильбаев, 2001

АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

2 том

Редактор *О. Бреусова*

Корректор *Г. Сыздыкова*

Дизайнер *Б. Серикбай*

Технические редакторы: *А. Тлеукеева, Л. Линькова*

Набор и верстка *Г. Кудинова*

ИБ № 6051

Сдано в набор 14.05.2001 г. Подписано в печать 03.08.2001 г. Формат 84x108 1/32. Печать офсетная. Гарнитура «Мысль». Бумага офсетная. Усл. п.л. 24,78+0,5 вкл. Усл. кр. отт. 25,62+0,5 вкл. Уч. изд. л. 26,33+0,30 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 365.

Республика Казахстан. Издательство «Жазушы»
480009, г. Алматы, пр. Абая, 143



Издательский дом «Кітап», 480009, г. Алматы, пр. Гагарина, 93.
Тел.: 42-36-31, 42-07-90, too_kitap@mail.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ваши отзывы о книге просим направлять по адресу:

480009, г. Алматы,
проспект Абая, 143,
ТОО издательство «Жазушы»





